

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования

<i>Н. Ю. Авина</i> (Вильнюс). К исследованию языка диаспоры: лингвистический аспект (на материале русских Литвы)	5
<i>Э. М. Береговская</i> . Давид Самойлов — лирик: лингвостилистический портрет	14
<i>И. Васева-Кадынкова</i> (София). Межъязыковая асимметрия при выражении побудительности неимперативными глагольными формами в русском и болгарском языках	27
<i>Д. Вайс</i> (Цюрих). Русские двойные глаголы и их соответствия в финно-угорских языках	37
<i>А. А. Гиппиус</i> . Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической реконструкции. I	60
<i>А. К. Жолковский</i> (Лос-Анджелес). Об инфинитивном письме Шершеневича	100
<i>В. Ф. Занглигер</i> (София). Владимир Даль у истоков русской паремиологии	118
<i>О. Йокояма</i> (Лос-Анджелес). Интонация как средство характеристики коммуникативного модуся повествования в зощенковском тексте	127
<i>Л. Л. Касаткин</i> . Факторы, определяющие течение фонетического процесса — изменения $C'C' > CC'$ в современном русском языке	144
<i>С. М. Кузьмина</i> . История и уроки кодификации русской орфографии в XX веке	173
<i>Е. В. Падучева</i> . Таксономическая категория как параметр лексического значения глагола	192
<i>Е. В. Урысон</i> . Семантическая и валентная структура слов с уступительным значением	217

Полемика

- E. Klenin* (Los Angeles).
The Smolensk Trade Treaty of 1229 (Copy A): Observations on Pragmatics,
Text Boundaries, and Orthographic Variation 247
- Т. Д. Славова* (София).
Ответ на вызов (по поводу статьи К. А. Максимовича «Текстологические
и языковые критерии локализации древнеславянских переводов») 260

Рецензии и обзоры

- Восточнославянские изоглоссы. 2000. Вып. 3. М., 2000 (*Л. В. Вялкина*) 283
- Fenyvesi István. Orosz — Magyar és Magyar — Orosz szlengszótár /
Русско-венгерский и венгерско-русский словарь сленга. Sycsa Klado,
Budapest, 2001. 633 с. (*О. П. Ермакова*) 287
- Давайте говорить ПРАВИЛЬНО! Трудности современного русского
произношения и ударения. Краткий словарь-справочник /
Составители Вербицкая Л. А., Богданова Н. В., Скляревская Г. Н.
Филологический факультет СПбГУ. СПб., 2002. (*Н. А. Еськова*) 291

Информационно-хроникальные материалы

- Международная научная конференция «Фонетика сегодня: актуальные
проблемы и университетское образование» (*А. М. Красовицкий,*
А. А. Соколянский) 295
- Gender-Forschung in der Slawistik — Гендерные исследования в славистике:
Материалы конференции «Гендер — Язык — Коммуникация — Культура»
(28 апреля — 1 мая 2001 г.). Институт славистики, университет Йены //
Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 55, Wien 2002.
(*Н. А. Фатеева*) 303
- Международная конференция «Агрессия в языке и речи» 320

ИССЛЕДОВАНИЯ

Н. Ю. АВИНА (Вильнюс)

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЯЗЫКА ДИАСПОРЫ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (на материале русских Литвы)

Вопросы, связанные со спецификой речевого общения в среде, неоднородной в языковом отношении, достаточно широко освещены в лингвистической литературе, но интерес к ним не угасает. В русистике, в частности, в последнее время интенсивно исследуется язык русского зарубежья. Предметом пристального внимания лингвистов становятся особенности речи эмигрантов из России, проживающих в Австрии, Германии, Израиле, Канаде, США, Франции, Финляндии и других странах. Язык, рассматриваемый в живом естественном функционировании, «таит много интереснейших фактов; их изучение ставит перед исследователями сложную задачу дифференцированного социолингвистического, культурологического, художественного анализа материала» [Земская 1995: 241]. Исследования показывают ([Грановская 1995; Крысин 2000; Гловинская 2001; Земская 2001; Красильникова 2001 и др.]), что русская диаспора обширна, многолика, неоднородна во многих отношениях, но в многообразии индивидуальностей необходимо выявить общие закономерности, установить факторы, способствующие/препятствующие сохранению родного языка. Центральными в таких работах становятся вопросы о том, какие участки системы и почему в первую очередь поддаются воздействию чужих языков, а какие являются наиболее устойчивыми.

В связи с этим вызывает интерес русский язык ближнего зарубежья, функционирующий в отрыве от основного этносоциума. Объектом нашей работы является язык русских Литвы. Материал исследования, собранный в период 1991—2002 гг., — язык средств массовой информации (газеты, издающиеся на русском языке в Литве, радио- и телепередачи), записи живой устной речи русских, преимущественно жителей г. Вильнюса.

Рассматриваемый период характеризуется существенными социально-политическими, экономическими и другими преобразованиями в обществе. Активные процессы происходят также в русском языке; но в языке диаспоры они находят специфическое отражение, в Литве, в частности, обусловленное значительным влиянием литовского языка, усиливающимся в последнее десятилетие. К наиболее существенным переменам в языковой жизни республики начала 90-х г. относится изменение статуса языков: ли-

товский язык становится государственным, а русский — языком одного из национальных меньшинств. Русский по-прежнему употребляется в качестве языка обучения и является предметом изучения в сферах среднего и высшего образования, это язык средств массовой информации, науки и культуры, язык национального самовыражения и регионального общения. Но при этом отмечается сужение сфер употребления и функций русского литературного языка (в частности, практически отсутствует официально-деловой стиль). Изменение языковой ситуации и языковой политики приводит к тому, что владение литовским языком для русскоязычных становится жизненно необходимым: он выполняет весь объем общественных функций; не зная государственного языка, человек не может интегрироваться в общество, не может жить полноценно. Поэтому в последние годы уровень владения литовским языком значительно повысился, и это касается прежде всего младшего поколения русских.

Отлучение языка от функций, придающих ему престиж, например от роли государственного языка, часто снижает его авторитет и уменьшает сопротивление интерференции, способствуя закреплению нововведений, вносимых двуязычными носителями [Вайнрайх 1999]. Для речевого поведения многих русских, прежде всего, живущих в таких многонациональных городах, как Вильнюс, Клайпеда, свойствен билингвизм и полилингвизм, что позволяет в зависимости от ситуации общения легко переключаться с одного языка на другой. Поликодовость определяет некоторые особенности русской речи в области лексики, грамматики, фонетики и др.

Процессы, происходящие в родном языке при лингвистическом контактировании, сложны и разнообразны. В данной работе обращается внимание на один из них — активизацию интернационализмов в родном языке как средство повышения эффективности коммуникации в бикультурной ситуации.

Залог успешного речевого взаимодействия, как известно, — общность лексиконов коммуникантов. От богатства лексикона языковой личности зависит эффективность речевого поведения, способность полноценно воспринимать и перерабатывать поступающую в вербальной форме информацию. Успех речевого общения зависит от согласованности речевых действий коммуникантов. Одна из необходимых составляющих такой согласованности — общий для участников коммуникативного акта языковой код; из этого тезиса и исходит современная теория речевых актов (например, [Серль 1986] и др.). Лакуны же в лексиконе могут вызвать коммуникативные сбои, снизить эффективность коммуникации, привести к неадекватному речевому поведению; чтобы избежать этого, активизируются общие для взаимодействующих языков элементы. Это положение рассматривается в теории языковых контактов. Так, А. Мартине [1979: 19] пишет: «Все мы в большей или в меньшей степени приспособляем свою речь к внешним обстоятельствам и видоизменяем ее в зависимости от собеседника. Если сотрудничество крайне необходимо, каждый научится быстро языку другого человека настоль-

ко, чтобы можно было общаться, даже если эти два контактирующих средства общения генетически не связаны и не сходны в своем синхронном состоянии...» У. Вайнрайх [1999: 7] замечает: «Если бы процесс коммуникации ограничивался рамками языковых коллективов, то в отношении культур человечество являло бы не менее пеструю и разнообразную картину, чем в языковом отношении. Но дело обстоит иначе... Случаи поразительного единообразия в области культуры в условиях пестрого разнообразия языков служат доказательством того, что общение может преодолевать и действительно преодолевает языковые границы». В условиях речевого общения в лингвистически неоднородной среде глубинное, типологически универсальное вытесняет поверхностное, типологически своеобразное [Розенцвейг 1972]. В основе контакта языковых систем «лежит образование устойчивой сети межъязыковых связей на всех уровнях... Общей тенденцией разнообразных процессов интерференции в этих языках является направленность изменений к установлению изофонии, изоморфии, изограмматизма и изосемии как систем в целом, так и их подсистем и микросистем» [Жлуктенко 1974: 162].

К аналогичным выводам об активизации общих для контактирующих языков элементов приходят и современные исследователи языка русского зарубежья: «На переходном этапе от одной коммуникативной системы к другой вырабатывается некоторая общая для употребления обеих систем выражения основа» [Протасова 1996: 59]. Изменения в русском языке, функционирующем за пределами своей этнической территории, носят универсальный характер и проявляются в виде переносов способов выражения из одного языка в другой, прямых заимствований, калек, построений по аналогии, упрощений, выравниваний, конвергенции языковых систем и др. Одним из проявлений такой общности при взаимодействии языков могут быть интернационализмы, ведь «именно в лексике отражены в первую очередь контакты между различными народами и в лексике же сосредоточено то, что является общим для многих самых различных языков» [Шмелев 1977: 20]. Любопытным представляется следующее замечание Б. Гавранека: «Влияние чужого языка — не только внешний фактор, но также и нечто, связанное с внутренним, имманентным развитием языка, который избирает то, что требуется соответственно его структуре и языковым условиям его существования. То, что язык избирает, становится составной частью его имманентного развития, или, другими словами, активным является заимствующий язык, а пассивным язык, из которого заимствуют, и было бы неверно представлять это отношение обратным» [Гавранек 1972: 107]. Использование же интернационализмов — слов, образованных в основном из греческих и латинских элементов и широко распространенных в языках мира, — это коммуникативное удобство, связанное с экономией усилий партнеров по коммуникации, что является особенно актуальным при языковом контактировании; это стратегия культурно-языкового поведения.

В нашей работе внимание акцентируется на следующих явлениях, связанных с использованием в языке русских Литвы интернационализмов: их активизация, семантические изменения, отклонение от литературных норм.

1. Активизация интернационализмов

В целом в современной речи активизация иноязычных слов — один из наиболее живых и социально значимых процессов, который проявляется в первую очередь в языке средств массовой информации. Интенсификация коммуникативных контактов, открытая ориентация на Запад в области экономики, политической структуры государства, культуры и т. д. — все эти процессы послужили важным стимулом активизации иноязычной лексики в последние годы [Крысин 1996]. Иноязычные заимствования при этом адаптируются в языке довольно быстро, образуя разряд нейтральных безоценочных номинаций.

Заимствования, широко используемые в русском языке на рубеже веков, в русском языке Литвы представлены, вероятно, еще шире. Это связано с тем, что литовское общество в большей степени, чем российское, ориентировано на западный образ жизни. Региональную специфику процесса интернационализации определяет влияние литовского языка — как косвенное, так и прямое. Важным фактором заимствования и активного вхождения иноязычного слова в речевой оборот является коммуникативная актуальность обозначаемого им понятия. С появлением новых реалий меняются лексические парадигмы, и неизбежным становится употребление в русской речи безэквивалентной интернациональной лексики, частотной в литовском языке и активизирующейся в русском языке благодаря средствам массовой информации. С возникновением новых партий, политических движений в Литве активизируются слова, относящиеся к сфере политики, — *сейм, консерваторы, либералы, социал-демократы*; происходит замена названий государственных учреждений, политических институтов и под. (*департамент миграции, департамент инфраструктуры, муниципальная полиция, президентура, инаугурация президента*), наименований должностей (*спикер, вице-спикер, мэр, канцлер*). В частности, в сфере просвещения в связи с реформой высшей и средней школы появляется следующий ряд слов, характерных для западной культуры: *нострификация, сенат, бакалавр, магистр, магистрант, хабилитация*. Об их новизне свидетельствуют графико-произносительные варианты: *магистратура / магистрантура, габилитированный / хабилитированный доктор наук*. Некоторые интернационализмы (*эдукология, сигнатор, кредит* в значении ‘единица измерения учебного времени’) не фиксируются в современных толковых словарях русского языка и словарях иностранных слов.

Наряду с безэквивалентной лексикой через литовский язык происходит интеграция интернационализмов, имеющих соответствия в родном русском

лексиконе. В ряде случаев лексические соответствия могут иметь прагматические, денотативные и коннотативные различия; при этом слово русское может вызвать ненужную ассоциацию, а слово заимствованное помогает адресату быстро и однозначно осуществить референцию к этому объекту. Поэтому вряд ли удачной можно считать следующую попытку перевода слова в газетном тексте: *Кто может сказать, почему **подписант** (**сигнатор**) посчитал себя вправе пустить от собственного имени на благотворительные цели деньги, принадлежащие Вильнюсу?* (Л. К., № 52, 2000) (лит. *signataras*). Активизация подобных слов вызвана прежде всего частотностью их употребления в литовском языке для обозначения современных политических реалий. Одновременно в этом — и проявление языкового вкуса эпохи [Костомаров 1994], мода на англоязычные слова и социально-психологическая маркированность иноязычных слов в сознании говорящих: подобные слова, относящиеся к книжному стилю, как бы являются приметой престижности, высокого социального статуса [Крысин 1996]: *По признанию самих **фундаторов** — Минкультуры и Литовского фонда культуры — институт создан в спешке* (Об., № 22, 1999) (лит. *fundatorius* ‘основатель, создатель, спонсор’); *В конце 20-го века в порабощенных странах выдвинулась новая плеяда политиков — Гавел, Далай Лама, Ландсбергис, — которая вернула политике моральную **дименсию*** (Респ., 18—24 февраля, 1992; выбор интернационализма, вероятно, обусловлен его многозначностью в английском языке — ‘измерение, размер, объем, величина, размах’; здесь — ‘важность’).

Иноязычные слова, обозначающие коммуникативно важные понятия, попадают в зону социального внимания: в определенные периоды — обычно довольно короткие — их частотность в речи становится необычайно высокой, они легко образуют производные: *Принято решение о перезахоронении останков **резистентов*** (Т., 13.XII.1991); *Открыт памятник партизанам **резистенции*** (Т.); ***резистентское** движение*; *Но институт **толерантности** будет — Евросоюз решил, что Вильнюс этого достоин* (Об., № 1, 1999); *Демократическое общество не может быть **толерантно** к таким событиям* (Т., 31.IV.1992); ***толерантный, толеранция*** (Т.).

Подобные слова, первоначально проникающие через язык средств массовой информации, впоследствии не отличаются стилевой ограниченностью и, теряя функционально-стилевую окраску, становятся общеупотребительными: ***Абсолювент** одной престижной столичной гимназии* (Э. Н., № 41, 2002) — ‘выпускник’; ***Прелиминарно** могу сказать следующее* (Т.) — ‘предварительно, заранее’; *Сходи в **амбасаду*** (РР) — ‘посольство’; *Однажды в воскресенье брат нам такую **аттракцию** устроил: на рыбалку пригласил* (РР) — ‘развлечение’.

Интернационализмам отдается предпочтение также в качестве локальных вариантов наименований, ср.: в России — *палатка* и *киоск*, *сотовый* и *мобильный телефон*; в Литве только *киоск*, только *мобильный телефон* (в разговорной речи также *мобиляк*, *мобилка*, *мобильник* и др.). При возмож-

ности выбора предпочтительность варианта, общего для контактирующих языков, т. е. интернационализма, среди лексико-семантических инноваций в языке русских Литвы отмечалась и ранее [Синочкина 1989]: *каденция* ‘срок полномочий’, *продекан* ‘замдекана’, *секция* ‘секционный шкаф’, *гольф* ‘водолазка’, *тренинг* ‘тренировочный костюм’, *дантист* ‘врач-стоматолог’ и другие.

2. Семантические изменения интернациональных слов

Как показывают наши материалы, в ряду других слов именно интернационализмы чаще всего подвергаются семантическим изменениям. Типичными являются следующие процессы.

2.1. Расширение (реже — сужение) семантики ряда частотных в литовском языке интернационализмов, обозначающих актуальные реалии современной жизни. Появление нового значения наблюдается в основном при наличии в русском языке эквивалента в данном значении: *Как называется эта студия?* (РР) — ‘курс, учебная дисциплина’; *Сейчас он руководит центром студий глобализации Йельского университета* (Л. К., № 50, 2001) (здесь ‘изучение’); *Нужно все решить в определенные термины* (Т.) — ‘сроки’; *акция* — наряду со значением ‘действие, выступление кого-либо, предпринимаемое для достижения какой-либо цели’ используется в значении ‘скидка’: *Акция — 30%. С 15 августа по 15 сентября — пошив демизимнего пальто — со скидкой 30%* (Э. Н., № 36, 2002); сочетаемость слова самая разнообразная: *Акция осенних цен* (Л. К., № 39, 2001); *Горячая акция* (Э. Н., № 36, 2002); *Сентябрьская акция. Учимся вместе — папа, мама и я. Компьютерные курсы для начинающих. Акция продлится весь сентябрь* (Л. К., № 39, 2001).

Сужение семантики отмечается в слове *институт*: значение ‘организация общественной деятельности и социальных отношений’ активизируется в слове *институция*, распространенном в русском языке при косвенном влиянии литовского языка: *Государственные институции* (Об., № 42, 1999); *Вопрос об институции президентства* (Т.). Подобные употребления, характерные прежде всего для языка mass-media, фиксируются в разных коммуникативных ситуациях (в докладе по философии, официальной беседе).

2.2. Расширение сочетаемости ряда интернационализмов с последующими семантическими сдвигами. Специфика данного процесса в русском языке на рубеже веков состоит в том, что он происходит без видимых ограничений. Так проявляется процесс демократизации русского языка на рубеже веков, взаимодействие устной и письменной речи, динамизм современной языковой ситуации. При этом происходит стилистическая нейтрализация и стилистическое перераспределение слов, расширяющих сочетаемость. В частности, в книжных словах ослабляется функционально-стилистичес-

кая окраска, и, будучи помещенными в нейтральные контексты, они становятся нейтральными. Например, расширяется сочетаемость некоторых интернационализмов с наименованиями бытовой сферы; это наиболее очевидно в языке рекламы, в объявлениях. Так, встречаются контексты, в которых возможно употребление слова *аренда* с расширительным значением (вм. ‘временное пользование недвижимым имуществом на договорных началах за собственную плату’, — ‘временное пользование любым предметом...’). Ср. показательный пример: *аренда свадебных, вечерних нарядов, платьев для первого причастия* (Э. Н., № 50, 2001).

3. Отклонения от литературных норм в использовании интернационализмов, обусловленные влиянием литовского языка

Культурно-речевая оценка подобных интернационализмов вряд ли может быть положительной.

3.1. Особенности произношения:

а) акцентологические ошибки более характерны для языка радио и телевидения и чаще наблюдаются в общественно-политической лексике, топонимах, а также в бытовой лексике: *Регламент должен быть не только для Сейма* (Р.); *парламент, кредиты, баллотироваться, экспорт* (Т.); *А вот более подробная информация из Вашингтона* (Р., 10.XII.1992), *совещание в Брюсселе* (Т.); *В магазине большой выбор линолеума* (Т., реклама); *мониторы* (Р.); подобные примеры встречаются также в разговорной речи: *Эти йогурты очень вкусные; конкурсы* (РР);

б) орфоэпические отклонения от норм: *Встретимся в шесть около ка[т]едры*; (ср. кафедра; здесь — Кафедральный собор); *Что получил по а[л]гебре?* (РР); *Вы слушаете литовское радиё* (Р., 23.01.1993); в словах, для которых в русском языке характерна вариативность произношения твердого/мягкого согласного, под влиянием литовского языка явно доминирует произношение мягкого согласного: *биз[н]ес, фо[н]етика, компью[т]ер, компью[т]еризованный* (примеры из речи русскоязычных дикторов, читающих рекламу на литовском телевидении).

3.2. Отклонения, связанные с морфемной структурой слова:

а) исчезновение суффиксов в ряде слов: *Когда была программа норвегов, они где-то полтора часа пели* (лит. *norvegas* ‘норвежец’); *Было слишком много комментариев* (лит. *komentaras* ‘комментарий’) (РР);

б) появление слов-гибридов, когда словообразовательный формант — часто продуктивный в русском языке суффикс *-(ир)ова-* — присоединяется к производящей основе литовского слова: *diferencijoti* ‘дифференцировать’ — *Нужно дифференцировать эти проблемы* (Т., 21.03.02); *redaguoti* лит. ‘редактировать’ — *редагировать*, *korreguoti* лит. ‘корректировать’ — *коррегировать*, *bankrutuoti* лит. ‘обанкротиться’ — *банкрутировать*; либо к производящим основам интернационализмов, давно освоенных русским

языком, присоединяется суффикс *-ij-* литовского слова: *министерия* (лит. *ministerija* ‘министерство’), *телевизия* (лит. *televizija* ‘телевидение’), *элеганция* (лит. *elegancija* ‘эlegantность’);

в) смешение разных в русском и литовском языках суффиксов интернационализмов *-arium / -арий* (наблюдения [Бразаускаене 2000]): *планетариум* (лит. *planetariumas*) — *планетарий*, *соляриум* (лит. *soliariumas*) — *солярий*.

3.3. Нарушение орфографических норм обусловлено:

а) написанием слова в литовском языке — это частотные ошибки в письменных работах учеников и студентов: *инжИнер* — лит. *inžinieris*, *магнЕ-тофон* — лит. *magnetofonas*;

б) произношением слова в литовском языке: *Д. Баниониса поздравили лауреаты премии «Сантарве» прежних лет: президент Альгирдас Бразаускас, монсеньЕр Казимерас Василяускас* (Л. К., № 1, 2001).

Подобные отклонения в использовании интернационализмов, обусловленные влиянием контактирующих языков, отмечаются также в языке русских в разных иноязычных окружениях: таковы, например, особенности ударения и произношения интернационализмов у русских во Франции — *принци́п, комплѐксы, синони́м* [Голубева-Монаткина 1993], Америке — *депа́ртмент, апа́ртмент; ка́ледж* — ср. в русском *колледж, эвѐню* — ср. в русском *авеню*; образование слов-гибридов [Земская 2001], утрата суффиксов — *мусу́льман, архите́кт* (ср. *мусульманин* и *архитектор*) под влиянием немецких слов в языке русских эмигрантов в Германии [Протасова 1996] и др.

Следовательно, изменения, связанные с активизацией интернационализмов в языке русских Литвы, во многом схожи с процессами, происходящими в языке русского зарубежья; региональная специфика обусловлена прежде всего влиянием соответствующих контактирующих языков. Подобные исследования выявляют общие, независимо от языка окружения, неустойчивые при языковых контактах участки родного языка, связанные, в частности, с функционированием интернационализмов. Дальнейшее сопоставительное изучение способствовало бы выявлению общих тенденций развития родного языка при лингвистическом контактировании. Более того, процессы, происходящие в родном языке в отрыве от основного этносоциума, имеют опережающий характер; тенденции в такой ситуации как бы вырываются наружу [Гловинская 2001]. Таким образом, подобные исследования позволяют предвидеть динамику отклонений от норм литературного языка в метрополии.

Условные сокращения

Об. — газета «Обзор»

Л. К. — газета «Литовский курьер»

Э. Н. — газета «Экспресс неделя»

Респ. — газета «Республика»

РР — разговорная речь

Р. — передачи Литовского радио

Т. — передачи Литовского телевидения

Литература

- Бразаускаене 2000 — Е. Бразаускаене. Грамматические особенности русского языка в Литве // Русский язык сегодня. М., 2000. Вып. 1. С. 19—25.
- Вайнрайх 1999 — У. Вайнрайх. Одноязычие и многоязычие // Зарубежная лингвистика. М., 1999. С. 7—42.
- Гавранек 1972 — Б. Гавранек. К проблематике смешения языков // Новое в лингвистике. Вып. 6. М., 1972. С. 94—111.
- Голубева-Монаткина 1993 — Н. И. Голубева-Монаткина. Об особенностях русской речи потомков первой русской эмиграции во Франции // Русский язык за рубежом. 1993. № 2. С. 100—105.
- Гловинская 2001 — М. Я. Гловинская. Общие и специфические процессы в языке метрополии и эмиграции // Язык русского зарубежья. Общие процессы и речевые портреты / Отв. ред. Е. А. Земская. М.; Вена, 2001. С. 341—493.
- Грановская 1995 — Л. М. Грановская. Русский язык в «рассеянии»: Очерки по языку русской эмиграции первой волны. М., 1995.
- Жлуктенко 1974 — Ю. А. Жлуктенко. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев, 1974.
- Земская 1995 — Е. А. Земская. Еще раз о языке русского зарубежья // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995. С. 233—241.
- Земская 2001 — Е. А. Земская. Общие языковые процессы и индивидуальные речевые портреты // Язык русского зарубежья. Общие процессы и речевые портреты / Отв. ред. Е. А. Земская. М.; Вена, 2001. С. 25—277.
- Костомаров 1994 — В. Г. Костомаров. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994.
- Красильникова 2001 — Русский язык зарубежья / Под ред. Е. В. Красильниковой. М., 2001.
- Крысин 1996 — Л. П. Крысин. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 142—161.
- Крысин 2000 — Речевое общение в условиях языковой неоднородности / Под ред. Л. П. Крысина. М., 2000.
- Мартине 1979 — А. Мартине. Предисловие // У. Вайнрайх. Языковые контакты. Киев, 1979.
- Протасова 1996 — Е. Ю. Протасова. Особенности русского языка у живущих в Германии // Русистика сегодня. 1996. № 1. С. 51—71.
- Розенцвейг 1972 — В. Ю. Розенцвейг. Языковые контакты. Л., 1972.
- Серль 1986 — Дж. Серль. Косвенные речевые акты // НЗЛ. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986. С. 195—222.
- Синочкина 1989 — Б. М. Синочкина. О некоторых региональных особенностях русского языка в Литве // Языкознание. Вильнюс, 1989. № 40 (2). С. 75—83.
- Шмелев 1977 — Д. Н. Шмелев. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.

Э. М. БЕРЕГОВСКАЯ

ДАВИД САМОЙЛОВ — ЛИРИК: ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Давид Самойлов ушел из жизни 11 лет тому назад. И теперь уже совершенно ясно, что он прочно занимает в русской поэзии второй половины XX в. одну из ключевых позиций.

О Самойлове много писали еще при его жизни такие видные литературные критики, как Л. Аннинский, Ю. Болдырев, Е. Осетров, С. Рассадин, Б. Сарнов, С. Чупринин и другие. Ему посвящено серьезное литературоведческое исследование В. С. Баевского [Баевский 1986], в 1999 г. была защищена диссертация Л. Ю. Клевцовой о его творческой эволюции [Клевцова 1999].

Настало время для основательного лингвостилистического анализа его творчества. Хочется внести в решение этой задачи свою лепту, кратко обрисовав основные черты лингвостилистического портрета Самойлова-лирика.

Самойлов поздно вошел в литературу. Получив солидную филологическую подготовку, он пошел на фронт и прошел всю войну рядовым. Лев Копелев, с которым он был дружен, сказал: «Мы все воевали офицерами, политработниками, а Дезик был солдатом, пулеметчиком, разведчиком. Это другая война» (личное сообщение).

Общепризнано, что Самойлов — один из лучших поэтов, писавших о войне, его стихотворение «Сороковые» стало классикой, эти стихи знают все, даже те, кто совсем не знаком с русской поэзией. Но Самойлов не остался поэтом одной темы. Он поэт политематический. Медитативная лирика и лирика пейзажная, стихи о любви и стихи о стихах, стихи о трагической судьбе своего поколения, стихи на историческую тему, сочные зарисовки довоенного и послевоенного быта, сюжетные поэмы и баллады — Самойлов очень разнообразен в тематике и жанрах.

Самойлову свойственна виртуозная версификационная техника, которая именно в силу своей виртуозности совершенно не бросается в глаза.

Звукопись он почти не использует. Есть у него аллитерации (например, *Съедаем море, реки, лес, / Вонючий воздух выдыхаем. / Съедаем синеву небес, / Земную зелень пожираем...*), есть ономотопеи (например, *Раскачалась звонница — / Донн-донн! / Собирайся, вольница, / на Дон, на Дон. / или Воет, воет — вью да вью! / Вьюга, как пустой горшок*). Изредка в его стихах встречается паронимазия (вроде *облики облака, зареяло зарево*). Все это

отдельные случаи, которые лишь подчеркивают общую тенденцию: звукопись для идиостиля Самойлова не характерна.

Словарь самойловской лирики представляет собой сложный лексический конгломерат. Главное в нем — никак стилистически не маркированные, нейтральные лексемы. И это вполне осознанная селекция:

... Люблю обычные слова,
 Как неизведанные страны.
 Они понятны лишь сперва,
 Потом значенья их туманны.
 Их протирают, как стекло,
 И в этом наше ремесло ¹.

Самойлов умеет извлекать из обычных слов необычный, неожиданный стилистический эффект. Иногда он достигает этого, заставляя мерцать в одном слове одновременно два разных значения. Контекст организуется так, что возникает силлепс. В стихотворных строках «*Как потрясенное растение, я буду шелестеть листом*» *лист* — это и зеленый лист дерева, и лист бумаги, на котором пишутся стихи. В двух значениях, буквальном и метафорическом, употреблено и слово *потрясенный*. В других случаях слово повторяется, меняя при этом значение, — возникает антанаклаза ². В трагическом стихотворении «Мне выпало счастье быть русским поэтом...» так используется глагол *выпасть*, который сперва появляется в значении ‘достаться’, а в конце приобретает значение ‘упасть откуда-либо’:

Мне выпало счастье быть русским поэтом.
 Мне выпала честь прикасаться к победам.
 Мне выпало горе родиться в двадцатом,
 В проклятом году и в столетье проклятом.

Мне выпало всё. И при этом я **выпал**,
 Как пьяный из фуры, в походе великом.

Как валенок мёрзлый, валяюсь в кювете.
 Добро на Руси ничего не имети.

На фоне нейтральной лексики яркими вкраплениями воспринимаются вводимые в микроскопических дозах архаизмы вроде *поселяне, погост, плачеи, музыка, вешество* и коллоквиализмы вроде *задарма, влёт, сигать*,

¹ Все цитаты из стихотворений Д. Самойлова приводятся по изданию [Самойлов 1989].

² В античной традиции «силлепс» сначала означал просто вид зевгмы или синекдохи, а «антанакласа» была синонимом иронии, но теперь они чаще всего употребляются в указанных значениях.

патлы, вдребадан и тому подобные. Архаизмы используются преимущественно в стихотворениях с исторической перспективой. Приведем в качестве иллюстрации одну строфу из стихотворения «Иван и холоп»:

А опереться могу на кого?
 Лисы-бояре, да волки-князя.
 С младости друга имел одного.
 Где он, тот друг, и иные друзья?
 Сын был наследник мне Господом дан.
Ведаешь, раб, отчего он усоп?
 Весело мне? — вопрошает Иван.
 — Тяжко тебе, — отвечает холоп.

Почти все введенные в текст стихотворения архаизмы — это архаизмы языковые (*младость, ведать, усопнуть, вопрошать*), но есть и историзмы — та разновидность архаизмов, когда слово почти исчезает из обихода в прямом значении потому, что исчезло стоящее за ним явление (например, *холоп*).

Фамильярная и просторечная лексика появляется в стихотворениях с элементами сказа, как в стихотворении «Семен Андреич», посвященном боевому другу — алтайскому пахарю Семену Андреевичу Косову:

...И кабы раньше про то узнать бы,
 Что жизнь текла, как по лугу, ровно,
 Какие бывали крестины и свадьбы,
 Как в девках жила Пелагея Петровна,

 Зори — красными петухами.
 Ветер в болоте осоку режет.
 А я молчал, что брежу стихами.
 Ты б не поверил, подумал — брешет. <...>

 Помнишь? Была побита пехота,
 И мы были двое у пулемёта.

 И ты сказал, по-обычному просто,
 Ленту новую заложив:
 — Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!)
 А я останусь, покуда жив.

Мастерское использование архаизмов и коллоквиализмов, этих лексических классов с темпоральной и социальной стилистической коннотацией, позволяет поэту переходить от одического тона к говорному, а в сюжетных стихотворениях, например в балладах, создавать стилизацию с романтическим флером.

Столкновение в одном малом контексте лексем подчеркнуто книжных, даже архаичных, с лексемами коллоквиальными, фамильярными порождает стилистический парадокс, сочетание несочетаемого. Так, к примеру, просторечное *парень* сталкивается с сугубо книжным и устаревшим заимствованием *дессу* в «Белых стихах»:

В это утро по главной дорожке
Шёл весёлый и рыжий парень
В желтовато-зелёной ковбойке.
А за парнем шагала лошадь.
Эта лошадь была прекрасна,
Как бывает прекрасна лошадь —
Лошадь розовая и голубая,
Как дессу незамужней дамы...

Аналогичным образом сталкиваются в одном микроконтексте архаичные *свершать* и *шествие* с просторечным *издалече* в стихотворении «Получил письмо издалека...».

Л. В. Зубова, говоря о стилистике лексического архаизма, отмечает, что для поэзии последних лет характерны стилистический контраст и нарочитая стилистическая дисгармония [Зубова 2000: 110]. Самойлов как бы предугадал, предвосхитил эту современную тенденцию.

Наблюдения над семантическим полем «Природа» в составе словаря самойловской лирики дают возможность сделать некоторые обобщения относительно его пейзажных стихов. Здесь преобладает флора, а не фауна и гиперонимы, а не гипонимы. Конечно, в стихах Самойлова есть и рябина, и яблоня, и ракита, и береза, и клен, и дуб, и бук, и липа, и тополь, и сосна, и ель, но чаще всего дерево у него — это дерево. То же касается и пернатых: стихи населяют журавль, кукушка, коростель, ворон, галки, сыч, дятел, беркут, орел, гуси, филин, чайка, но чаще всего здесь фигурируют просто птицы. Животных представляют конь и корова, совсем нет всяких жучков и паучков, хотя стихов о природе у Самойлова довольно много. В пейзаже преобладают море, океан, волны, залив, речка, ручей, пруд; небо, звезды, облака, тучи, закат, ветер, дождь, туман, снег, метель, буран, лес, роща, поле, луг, степь. Можно сказать, что взгляд Самойлова на природу — это прежде всего взгляд, окрашенный любовью, и еще — что это взгляд человека, выросшего на городском асфальте. Это отражено и в декларативном стихотворении из цикла «Птицы»:

О как я птиц люблю весенних,
Не зная их по временам.
Я горожанин. В потрясениях
До этого ли было нам?

Я житель улиц, житель парков,
 А не тайги и не степей.
 И скромных городских подарков
 Я жду от птиц и талых дней.

Большой культурный слой входит в лирику Самойлова как органичная часть его собственного мира и мира читателя, к которому обращена его поэзия. Это выражается прежде всего в антропонимах. Их много, и они представляют разные сферы русской и мировой истории, мифологии, литературы, живописи, музыки. Самый длинный ряд антропонимов включает писателей: Державин, Крылов, Батюшков, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Л. Толстой, Чехов, Блок, Северянин, Хлебников, Ахматова, Маяковский, Пастернак, Цветаева, Заболоцкий, Петровых, Тарковский, Слуцкий, Высоцкий, Соколов, Гомер, Гесиод, Феокрит, Данте, Петрарка, Свифт, Диккенс, Ламартин, Мицкевич, Верлен, Рембо, Кафка, Радноти, Галчинский — тут вся мировая литература.

Несколько меньше ряд, включающий исторических лиц: Гостомысл, Кирилл, Мефодий, Игорь, Ярославна, Софья Палеолог, Борис, Глеб, Иван Грозный, Курбский, Петр Великий, Ганнибал, Пугачев, Павел I, Александр I, Пестель, Каховский, Дельвиг, Дантес, Пален, Победоносцев, Курчатов, Ромул, Рем, Цезарь, Магеллан, император Максимилиан, Бертольд Шварц, Бонапарт. Из музыкантов фигурируют Моцарт, Гайдн, Глюк, Шуберт и Рихтер, из художников — Саврасов и Брейгель.

Далее следует отметить группу мифонимов — Гелиос, Прометей, Аполлон, Атлант, Аргус, Харон, Адам. К этим знаковым для Самойлова антропонимам примыкает группа литературных героев, в которую входят Савельич, фольклорная Аленушка, Наташа (Ростова), Гамлет, Офелия, Полоний, Дездемона, король Лир, леди Макбет, Дон Кихот, Санчо Панса, Дульцинея, Лаура, Беатриче, Вертер, Золушка, Мегре. Подчеркнем, что многие из перечисленных антропонимов появляются у Самойлова в самой сильной позиции — в заголовке: «Стихи о Царе Иване», «Софья Палеолог», «Атлант», «Дворик Мицкевича», «Заболоцкий в Тарусе», «Бертольд Шварц», «Шуберт Франц», «45-я Гайдна», «Конец Пугачева», «Пестель, поэт и Анна», «Блок. 1917», «Подражание Феокриту», «Анна Ярославна», «Брейгель», «Афанасий Фет», «Рихтер», «В духе Галчинского», «Фантазия о Радноти», «Пушкин по радио», «Леди Макбет», «Рем и Ромул», «Северянин», «Реплика Данте», «Хлебников», «Смерть императора Максимилиана» и другие.

По известным онимическим лекалам скроены карикатурные «значащие имена» самоейловских героев — маркиз Картон де Труляля и Амалья-Гамадрилла Фюнф. В стихотворении «Сандрильона» литературный антропоним становится основой для гротескного окказионализма — наименования персонажа:

Сандрильона ждёт карету.
 Чинно курит сигарету.

Ждёт, чтоб прибыл сандрильонец
Из компании гуляк —
С туфелькой на «Жигулях».

Отметим попутно, что окказионализмы в самойловской поэзии появляются крайне редко и всегда эстетически мотивированы. Некоторые из таких авторских окказионализмов приобретают какую-то античную величавость: *Ветер в деревьях звучит многострунно...* или *Польется жаркий теплопад / Наружу из багровой точки*. В иных случаях потенциальное слово выступает с уничижительной, пейоративной коннотацией: *Полухарактер — ложный поводырь. / Он до конца ведет дурной дорогой* или *Транзисторщики и магнитофонцы. / Мы музыку таскать с собой привыкли и приспособивать ее к жилью, / А Рихтер музыку возводит в зал / И возвращает музыку в музыку*.

Укорененность поэзии Самойлова в мировой культуре, которая питает ее столь же плодотворно, как реальные впечатления от пережитого, выражается и в той группе его стихотворений, которые представляют собой сюжетные реминисценции («Оправдание Гамлета», «Золушка», «Старик Державин»). Исторические фигуры, творцы искусства и их герои составляют для Самойлова неотъемлемую часть его жизненного багажа, мира, в котором он живет.

Сюда же надо отнести и явные или скрытые, точные или трансформированные цитаты, которые вплетаются в ткань самойловских стихов. Тут Самойлов воплотил в своей лирике одну из типичнейших черт поэзии конца XX в., ее интертекстуальность [Земская 1996; Козицкая 1998]. Он то и дело перекликается с современниками и классиками, например с Алексеем Толстым, с Анной Ахматовой, с Владимиром Маяковским: *Когда среди шумного бала / Они повстречались случайно, / Их встреча, казалось сначала, / Была не нужна и печальна; Ах, наверное, Анна Андревна, / Вы вовсе не правы. / Не из сора родятся стихи, / А из горькой отравы, / А из горькой и жгучей, / Которая корчит и травит. / И погубит. / И только травинку / Для строчки оставит; Ах, как было прекрасно / В зимней синей столице! / Всюду светились окна, / Теплые, как рукавицы. // Это было похоже / На новогодний праздник. / И проняло поэтов / Нехороших, но разных*.

Чаще других интегрируются в самойловский текст цитаты из Пушкина. Это может быть едва уловимая тень, интонация, слово: *Пусть буду дыханием холмов ее освежен, / Медлительным вежеством добрых крестьянских застолий*. А может быть никак не выделенная в тексте трансформированная, но легко опознаваемая цитата:

Лихие, жёсткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лёд.
Читатель ждёт уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждёт.

Неповторимы эти зимы.
И этот лёгкий ковкий звон,

И нимб зари округ берёзы,
Как вкруг апостольской главы...
Читатель ждёт уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови её, лови!..

(«Мороз»)

Цитата может быть введена в самойловский текст в кавычках, но без названия источника, хорошо всем известного: *Я — маленький, горло в ангине. / За окнами падает снег. / И папа поет мне: «Как ныне / Сбирается вещий Олег...»*

А в стихотворении «Пушкин по радио» цитата встроена в контекст с соблюдением всех правил цитирования, есть и кавычки, и автор указан, — но Самойлов организует сложную игру на интертекстуальных связях, так что разъятые пушкинские строки *Любви, надежды, тихой славы / Недолго нежил нас обман и Исчезли юные забавы, / Как сон, как утренний туман*, повторенные трижды в контексте, который описывает обыденную и страшную сцену на военном вокзале, мимолетный флирт, бомбежку и смерть кругом, обогащаются каждый раз новым дополнительным смыслом, и пушкинские слова становятся как бы собственными словами лирического героя и других персонажей стихотворения.

Самойловская лирика в высшей степени метафорична. Тропы Самойлова не поражают внешней эффектностью, броскостью. *Увижу рассвет за венозным окном* — такая экзотическая метафора у него исключение, а не правило. То же самое можно сказать о метонимии *скрип сосен канифольный* или о катакрезе *Рябины легкое вино. И синий звук. И желтый воздух*. Преобладают у Самойлова простые, будничные сравнения, метафоры, олицетворения: *Словно пестрая корова, март пасется у реки* или *Дождей тяжёлая телега все тянется мимо окна*.

Подаются тропы обычно в сильной концентрации, например: *Слышно все. В соседней улице / Просквозила легковая. / Ветер с яблоней целуется / До зари, не уставая. / Фортка хлопнула. Калитка пискнула. / Скорая проквакала сиреней. / Слышно: с расстояния неблизкого / Крякнул дуб под тяжестью вселенной. Сочетание одночленных и развернутых олицетворений придает антропоцентричность этой зарисовке с природы, выполненной густым метафорическим мазком. Такая высокая степень метафоричности приводит к тому, что оживают даже стертые языковые метафоры, и все вместе производит завораживающее впечатление, как в стихотворении «Ночная прогулка»:*

Ветер звал. Тропа вела.
Жёлтый мёд луна пила.

Ночь была большой и сильной,
Как табун степных коней.
Лишь потом полоской синей
Прочертилось утро в ней.
Посерели небеса
И заплакала роса.

Характерно для Самойлова совмещение границ тропа и поэтического текста. Целостность «троп = текст» может представлять собой беглый пейзажный набросок, как «Апрель» или «Первый гром» из книги «Ближние страны». В стихотворении «Мост» из той же книги такая развернутая на целый текст метафора переводит пейзажную зарисовку в другую категорию — в стихи о сути искусства: *Стройный мост из железа ажурного, / Застекленный осколками неба лазурного. // Попробуй вынь его / Из неба синего — / Станет голо и пусто. // Это и есть искусство.* «Троп = текст» может быть и емкой образной характеристикой большого жизненного этапа, как «Деревянный вагон» из книги «Второй перевал» или «Названья зим» из книги «Дни». Последнее из названных стихотворений, блестящий образчик самойловской любовной лирики, целиком построено на развернутой метонимии:

У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.

Еленю звалась зима,
И Марфюю, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.

И были дни, и падал снег,
Как тёплый пух зимы туманной...
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех ³.

Еще одной характерной чертой самойловского стиля является относительно широкое использование грамматической метафоры (в смысле Якобсона), [Якобсон 1983]. Установлено, что грамматическая метафора всегда строится на каком-нибудь контрасте [Шендельс 1972]. Таких контрастов по меньшей мере пять: контраст между основным значением морфологичес-

³ Поэт Юрий Левитанский написал на это стихотворение однофразовую пародию «А эту Зину звали Анной», и сам Самойлов считал эту пародию лучшей из всех, какие были когда-либо написаны на его стихи [Баевский 1992: 40].

кой формы и контекстом; контраст между грамматической формой и ситуацией; контраст между грамматической формой и лексическим наполнением; контраст между гипертрофированной концентрацией грамматической формы в микроконтексте и ее средней, нормативной концентрацией; контраст между отдельными частями одной грамматической парадигмы [Береговская 1998]. Самойлов предпочитает играть на контрасте между морфологической формой и лексическим наполнением: *добыча ржави; одни воздушные струи вдруг всплакивают сквозь ракету; все мгновенной и мгновенной жизнь моя; колдует над своей периодической системой любвей и нелюбвей; на тайные суги глядя сквозь неясные бреды; и стоустой молвы стоустей* и т. п. Но и другие формы грамматической метафоры ему не чужды. В стихотворении «Про Ванюшку», например, метафора, построенная на контрасте между нормативной частотностью уменьшительных суффиксов и их относительно высокой концентрацией в тексте, служит средством стилизации под простонародно-архаизированную речь:

Просит Ванюшка у мамушки:
 — Испеки ты мне шанежки —
 Целый пуд.
 — А зачем тебе, Ванюшка,
 Шанежек целый пуд?
 — Я шанежки возьму
 Да на торг пойду.
 Продам шанежки,
 Получу за них денежки.

В использовании синтаксических фигур наблюдается у Самойлова та же тенденция, что и в тропах: он, как правило, избегает изысков и активно использует самые известные фигуры — контактный повтор, риторический вопрос, градацию в архитектурной функции. Приведем для иллюстрации «Солдатскую песню», где контактный повтор в конвергенции с риторическим вопросом и полиптом (поле, над полем, по полю, в поле, на поле) позволяет добиться высокой степени драматизма — при том что в стихотворении всего 25 знаменательных слов:

Вот поле, поле, поле.
 А что растёт на поле?
 Одна трава — не боле,
 Одна трава — не боле.

А что свистит над полем?
 Свистят над полем пули,
 Ещё свистят снаряды.

А кто идёт по полю?

Военные отряды,
Военные отряды.

Идут они по полю
С гранёными штыками.
Потом уткнутся в поле
Холодными щеками,
Холодными щеками.

А что потом на поле?
Одна трава — не боле,
Одна трава — не боле.

Обращает на себя внимание тяготение к фигуре-каркасу, которая держит целый текст. Например, к рамке (анэпифоре):

Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного,
Но, если б можно бы сначала
Жизнь эту вымолить у Бога,
Хотелось бы, чтоб снова было
Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного.

Или к цепному повтору. Частая в фольклоре, в авторской поэзии эта форма встречается чрезвычайно редко. А Самойлов неоднократно к ней прибегает: *Разговаривает ветер / С майской рощей. / Разговаривает роца / С майским солнцем. / Разговаривает солнце / С майской тучей. / Разговаривает туча / С майским небом. / Разговаривает небо / С майской речкой.* В конвергенции участвуют еще синтаксический параллелизм и анафора, но архитектурной доминантой служит цепной повтор. Использует Самойлов цепной повтор и в легкой поэзии. Например, в шуточном стихотворении, написанном на пляже в Пярну:

Лежит на пляже поролон,
На поролоне — Парамон,
На Парамоне — плавки...
Какой сюжет для Кафки!

Самойловский юмор строится на трех основаниях:

- 1) Анахронизм — как в «Свободном стихе»: *В третьем тысячелетье / Автор повести о позднем Предхиросимье / Позволяет себе для спрессовки сюжета / Небольшие сдвиги во времени — / Лет на сто или на двести. // В его повести / Пушкин / Поедет во дворец / В серебристом автомобиле / С крепостным шофером Савельичем.*

- 2) Ирония — как в «Советчиках»: *...Тот советовал мне уехать, / Тот советовал мне остаться, / Тот советовал мне влюбиться, / Тот советовал мне расстаться. // А глаза у них были круглые, / Совершенно как у лещей, / И шатались они по комнатам, / Перетрогали сто вещей: {...} // Ах вы, лещики, мои рыбочки, / Вы пестикари-голавл! / Ах спасибо вам, ах спасибочки, / Вы мне здорово помогли!*
- 3) Пародия — как в «Доме-музее»: *Заходите, пожалуйста. Это / Стол поэта. Кушетка поэта. / Книжный шкаф. Умывальник. Кровать. / Это штора — окно прикрывать. {...} // Здесь он умер. На том канале, / Перед тем прошептал изречение / Непонятное: «Хочется не...» / То ли песен? А то ли печенья? / Кто узнает, чего он хотел, / Этот старый поэт перед гробом! / Смерть поэта — последней раздел. / Не толпитесь перед гардеробом...*

Пародийность в стихотворении «Дом-музей» ощущается уже в эпиграфах, где после пафосного «Потомков ропот восхищенный, блаженной славы Парфенон» с подписью «Из старого поэта» идет усеченная квазичитаташтамп из книги отзывов «...производит глубокое...». Здесь ясно слышится издевательская самоейловская интонация.

* * *

Самойлов писал очень легко, он сочинял стихи на ходу. В. С. Баевский пишет: «Как нам не надо садиться за стол, для того чтобы дышать или разговаривать, так ему не надо садиться за стол, чтобы слагать стихотворение» [Баевский 1986: 228]. Но несмотря на легкость, с какой шли у него стихи, поэтическое наследие его совсем невелико по объему: 400 стихотворений и 9 поэм. Подсчитано, что это составляет в среднем всего одну стихотворную строку в день. Это объясняется тем, что при всей поистине моцартианской легкости сочинительства поэт был необыкновенно строг к себе. Он серьезно занимался теорией стиха и уверял, что это не только не мешает, но помогает писать стихи: «Поэт должен знать свое ремесло изнутри. Он не пташка на ветке: сел и запел» [Самойлов 1980: 57]. 31 января 1982 г. он записывает: «Поэт должен поступать с собой, как учитель с плохим учеником: ставить себе заниженные отметки, карать за дурное поведение и порой выгонять из класса» [Баевский 1986 : 225]. Именно так он и поступал. Стихи писались как бы сами собой, но он взыскательно контролировал себя. Самойлов — это редкий случай самоконтроля и объективной самоидентификации. Он ощущал свою принадлежность к классической реалистической традиции. Он знал, что о нем и его близких товарищах по поэтическому цеху скажут: «Они из поздней пушкинской плеяды».

Но одновременно Самойлов ощущал себя и романтиком. Нет ли в этом какого-то противоречия? Главными красками романтической палитры являются, как известно, гипербола и антитеза. Поэтике Самойлова гипербо-

личность и антитетичность в общем чужды. Его романтизм проявляется иначе — в приверженности к романтической балладе. Разумеется, следуя романтической балладной традиции, он несколько модернизирует ее: привносит в балладу инородные стилистические включения и легкую иронию, которые романтической балладе не свойственны. Так что баллады Самойлова звучат вполне в духе нашего времени.

У Самойлова-лирика есть свои индивидуальные стилистические пристрастия и предпочтения. Эти приметные черты развиваются и проявляются на фоне более общих черт, среди которых насыщенная метафоричность, классическая стройность фразы, чеканность ритма и рифмы — черты, свойственные реалистической традиции русской поэзии.

Определяя персональные особенности поэтического почерка Самойлова, следует иметь в виду, что его лирика — очень сложное политематическое и многослойное явление, невозможно выделить одну какую-то черту, которая заметно доминирует в его идиостиле. Тут вырисовывается целый комплекс:

- любовь поэта к стилистическим парадоксам, столкновению в одном малом контексте слов сугубо книжных с налетом архаичности и сугубо фамильярных слов;
- тяга к тонкой игре значений, в результате которой образуются силлеспс и антанаклаза;
- преобладание лексем, связанных с флорой, над теми, которые отражают фауну, и гиперонимов над гипонимами в пейзажной лирике, что привносит в нее урбанистическую точку зрения;
- органическая связь с русской и мировой культурой, которая проявляется в антропонимах и цитатности;
- систематическое использование грамматических метафор;
- обилие прямой речи;
- пристрастие к целостной композиции текста по формуле «текст = троп», «текст = синтаксическая фигура»;
- вариативность стилистических тональностей — от одической до рашной.

Как отдельные черты внешности — небольшой рост, плотная, но подвижная фигура, высокий лоб, пронизательный взгляд близоруких глаз, усы щеточкой — могут быть свойственны и другим людям, и только в сумме они позволяют контурно очертить физический облик Самойлова, так и каждая из названных лингвостилистических черт, свойственных лирике Самойлова, не уникальна, уникально их сочетание. Именно оно создает ее неповторимость.

Л и т е р а т у р а

Баевский 1986 — В. С. Б а е в с к и й. Давид Самойлов. Поэт и его поколение. М., 1986.

Баевский 1992 — В. С. Б а е в с к и й. В нем каждый вершок был поэт. Записки о Давиде Самойлове. Смоленск, 1992.

Береговская 1998 — Э. М. Б е р е г о в с к а я. К проблеме грамматической метафоры // Четвертые Поливановские чтения. Ч. 4. Смоленск, 1998. С. 122—125.

Земская 1996 — Е. А. З е м с к а я. Цитация и виды ее трансформации в заголовках современных газет // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур. М., 1996. С. 157—168.

Зубова 2000 — Л. В. З у б о в а. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.

Клевцова 1999 — Л. Ю. К л е в ц о в а. Поэтическая эволюция Давида Самойлова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1999.

Козицкая 1998 — Е. А. К о з и ц к а я. Цитата в структуре поэтического текста: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Тверь, 1998.

Самойлов 1980 — Д. С а м о й л о в. Рукоположение в поэты // В мире книг. 1980. № 6. С. 122—125.

Самойлов 1989 — Д. С а м о й л о в. Избранные произведения. Т. 1: Стихотворения. М., 1989.

Шендельс 1972 — Е. И. Ш е н д е л ь с. Грамматическая метафора // Филологические науки. 1972. № 3. С. 48—57.

Якобсон 1983 — Р. О. Я к о б с о н. Грамматика поэзии и поэзия грамматики // Семиотика. М., 1983. С. 462—482.

И. ВАСЕВА-КАДЫНKOBA (София)

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ АСИММЕТРИЯ ПРИ ВЫРАЖЕНИИ ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ НЕИМПЕРАТИВНЫМИ ГЛАГОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ

Сопоставительный анализ фактов двух языков дает возможность не только установить сходства и различия между ними, но и понять специфику каждого из сопоставляемых языков, проникнув в суть явлений.

Данная статья опирается на большое исследование, посвященное выражению побудительности в русском и болгарском языках [Кирова, Васева 1999] и имеющее целью указать, как можно преодолеть межъязыковую асимметрию при переводе.

Термин «межъязыковая асимметрия» пока не общепринят. (Он встречается, например, в публикациях В. Г. Гака, см. [Гак 1975: 25].) О межъязыковой асимметрии мы говорим тогда, когда в качестве функционального (переводческого) эквивалента используется элемент, не совпадающий со структурным эквивалентом в другом языке, т. е. межъязыковая асимметрия охватывает случаи грамматически разнотипных (алломорфных) межъязыковых соответствий.

Предпосылкой для выражения побудительного значения другими (неимперативными) глагольными формами является полисемантическая и полифункциональность языковых средств, т. е. то, что одна и та же форма или структура может выражать несколько разных значений. Часть их не зависит от контекста (выступает в первичной функции), другая часть имеет данное значение только в конкретных контекстуальных условиях (т. е. во вторичной функции). Вторичные значения существуют только в конкретном контексте, в данной ситуации. Их можно понять только в зависимости от их конкретной функции, от коммуникативной цели высказывания и от отношения и эмоциональной оценки говорящего.

Транспозиция касается плана содержания. Она представляет собой переосмысление языкового знака: под влиянием контекста, ситуации и интонации меняется модальность транспонированных грамматических категорий.

Неимперативные глагольные формы, употребленные в императивной функции, выражают в контексте все значения, входящие в состав семанти-

ческой категории «побудительность», — от категорического приказа до робкого предложения и мягкой просьбы.

В близкородственных языках основные категориальные значения и первичные функции наклонений совпадают, но некоторые из наклонений различаются по активности. Типичный пример межъязыковой асимметрии — сослагательное и изъявительное наклонения в русском и болгарском языках. В русском языке сослагательное наклонение более активно и встречается в своей первичной функции в два раза чаще, чем сослагательное наклонение в болгарском. Это объясняется не только тем, что в сложном предложении условия формы сослагательного наклонения используются как в протазисе, так и в аподозисе (*Если бы знала, я бы пришла*), но и тем, что они стилистически нейтральны, звучат нормально как в авторской, так и в прямой речи, в репликах людей всех социальных слоев и возрастов.

В болгарском языке формы сослагательного наклонения (*бих казал, бих помогнал*) употребляются редко. В сложном предложении условия в обеих частях обычно используются индикативные формы: *Ако знаех* (имперфект), *щях да дойда* (будущее в прошлом). Правда, во второй части возможна и форма сослагательного наклонения (*бих дошла*), но она не вполне синонимична индикативной — ни семантически, ни стилистически. Индикативная форма — будущее в прошлом (*щях да дойда, щях да кажа*) — представляет действие как зависящее от внешних условий, в то время как условная (*бих дошъл, бих казал*) выражает готовность, зависимость от воли говорящего [Андрейчин и др. 1977: 279]. Кроме того, в болгарском языке формы сослагательного наклонения воспринимаются как книжные и встречаются только в речи интеллигенции (*Бихте ли помогнали?*). Они выражают деликатное и ненавязчивое желание, предложение (*бих желал, бих помогнал, бих посъветвал*). В речи необразованных людей и детей они звучали бы неестественно.

Очень редкое использование сослагательного наклонения в сложном предложении Л. Андрейчин объясняет тем, что условное значение выражено достаточно ясно союзом *ако* (= *если*), [Андрейчин 1978: 253].

Неодинаковая активность наклонений в обоих языках приводит к разной степени склонности к транспозиции вообще и в данном случае — к транспозиции в императивной функции. Эта транспозиция возможна благодаря общему для сослагательного и повелительного наклонений семантическому признаку ‘нереализованное действие, нелокализованное во времени, которое воспринимается как будущее’ [Широкова 1980: 15]. В русском языке очень активное сослагательное наклонение широко используется для выражения самых разнообразных императивных значений: от мягкого побуждения (*Унялся бы ты, Костя!*) и вежливой просьбы (*Вы не могли бы?*) до грубого приказа (*Чтобы он явился сразу!*).

Весьма ограниченное использование форм сослагательного наклонения и отсутствие инфинитива, который в русском очень часто выражает побуждение, компенсируется в болгарском языке широким употреблением инди-

катива, который выступает не только чаще, чем русский индикатив, но и в более разнообразных формах, выражающих различные побудительные значения.

В обоих языках из всех индикативных форм чаще всего выступают в императивной функции формы будущего времени. Общая для индикатива будущего времени и императива сема 'неосуществленное действие в неопределенном будущем плане' создает условия для транспозиции индикатива в речевые условия, характерные для императива: диалогический текст, прямое обращение к собеседнику (2 л.), побудительная интонация, наличие других побудительных форм и вводящих глаголов типа *приказывать*. Как было отмечено раньше, существенную роль при этом играют контекст, интонация и вся речевая ситуация. Например:

— *Сделаешь уроки, потом пойдешь*, — *распорядилась Лариска* (Токарева).

Во всех этих случаях диалог происходит в неофициальной обстановке при подчеркнуто неодинаковом социальном статусе коммуникантов. Так, начальник, руководитель, отец побуждает к действию зависимого от него человека.

В зависимости от контекста и ситуации побуждение может иметь различные семантические интерпретации: оно может восприниматься как приказ, инструкция, наставление, запрещение и пр. Ср., например:

— *Меня ссадишь у клуба*, — *сказал директор*, — *а сам съездишь в Сосновку* (Шукшин).

— *Ты не тронешь его, тварь!* — *сорвалась Люсьен* (Шукшин).

Нередко формы будущего времени выражают более категоричный приказ, чем императив.

В порядке исключения будущее время может выражать просьбу. Ср. широко распространенное в болгарском быту *Ще ме извинявате, но...* (*сега нямам време*), где семантика глагола *извинявать* исключает приказ.

В обоих языках употребление форм 2 л. будущего времени в императивной функции характерно для разговорной речи, а отсюда и для художественной литературы при передаче диалога.

Побудительное будущее время — экспрессивный способ выражения волеизъявления. Нередко в том же высказывании есть несколько разных экспрессивных средств, что характерно в большей степени для русского, чем для болгарского языка.

В [Русская грамматика 1982, I: 619] сказано, что употребление изъявительного наклонения в ситуации побуждения характерно для форм 2 л. ед./мн. ч. будущего времени и для форм прошедшего времени отдельных глаголов совершенного вида.

Но, хотя и редко, побуждение могут выражать и формы настоящего времени изъявительного наклонения. Например:

- Ты, Федька, первый отвечаешь, — приказывает Хомяков (Тендряков).
 — Значит, так, — Саня вышел из-за столов и уже отдавал распоряжения:
 — Каждый кладет на стол десять копеек! (Алексеев).

В болгарском языке форма настоящего времени индикатива выступает в императивной функции гораздо чаще, чем в русском. Это модальное употребление настоящего времени представляет действие как уже осуществляющееся: говорящий уверен в его осуществлении, не ожидает возражений и внушает собеседнику установку на восприятие приказа как уже выполненного. Поэтому повелительное настоящее время звучит более категорично, чем будущее и императив. Ср.: *Иди и се извини!* — *Ще идеш и ще се извиниш!* — *Отиваш и се извиняваш!* Или: *Ела с мен!* *Идваш с мен!*

В болгарском языке настоящее время индикатива от всех глагольных основ может выступать в императивной функции, но чаще встречаются узальные выражения от ограниченного круга глаголов:

- а) без частицы *да*: *почваш, свъшваш, тръгваш*;
 б) с частицей *да*: *да се махваш!*

Формы настоящего времени без частицы *да* звучат как беспрекословный приказ. Они возможны только при более высоком социальном статусе говорящего: офицер приказывает солдату, начальник — подчиненному, не допуская никаких возражений со стороны слушающего. Например:

Ти оставаш тук и живееш така, както си е било (Цончев).

Как императив от глаголов несовершенного вида, так и индикативные *да*-формы от глаголов несовершенного вида выражают нетерпеливый приказ. Ср.: *Качи се* (сов. в.); *Качвай се!* (несов. в.) — *Я да се качваш!*

Да-формы от глаголов совершенного вида в императивной функции выражают довольно разнообразные значения: от резкого приказа (*Да се махнеш от тук, че...*

Ти да мълчиш, щото и тебе така съм те крал! (Радичков))

до предложения и предупреждения *Да не паднеш!*, которое соответствует русскому *Смотри не упади!*

Для военных приказов, требующих немедленного выполнения, характерны возвратно-пассивные *да*-формы совершенного вида: *Да се прекрати всякаква стрелба!* Эти формы встречаются также в условиях задач: *Да се изчисли...*; *Да се решат уравнения...*

В отличие от прямого приказа, при котором осуществляется прямой контакт между коммуникантами (конкретное лицо побуждает конкретного адресата к конкретным последовательным действиям), при инструкции ситуация другая: анонимный (или неанонимный) инструктор адресует указание неопределенному множеству анонимных потенциальных потребителей инструкции. Обобщенность и анонимность адресатов оказывает влияние на потенциальное, хотя и конкретное будущее действие — в обобщенном тем-

поральном плане осуществления побуждения. Это обуславливает использование транспонированных побуждательных форм, в наибольшей степени устраняющих говорящего и слушающего и называющих только само действие. В болгарском языке — это формы возвратного пассива, в русском — неопределенно-личные формы индикатива. В различных типах инструкций имеются узуальные формы. Например, в русском языке в руководствах для специалистов, в паспортах машин, инструкциях по приему лекарств и пр. выступают обычно неопределенно-личные формы, в кулинарных рецептах — чаще (75%) инфинитив. Например:

Прежде чем приступить к основным измерениям, производят градуировку баллистического гальванометра. С этой целью подключают конденсатор и т. д.

В «Руководстве к практическим занятиям по технологии неорганических веществ» (1968) и «Руководстве по лаборатории электромагнитного поля» (1966) вся технология (порядок выполнения работы) излагается при помощи неопределенно-личных форм.

По сравнению с безличным пассивом у неопределенно-личных форм значение необходимости, обязательности чувствуется слабее. Эти формы выражают опосредствованно значение необходимости. Например:

Картофель варят в кожуре....

Формы *варят, очищают* указывают, как принято делать, как делают и отсюда — как следует делать.

Наш материал дает основание говорить о двух типах транспонированных инфинитивных конструкций — инструктивных и императивных.

И н с т р у к т и в н ы й и н ф и н и т и в встречается в инструкциях и руководствах по использованию кухонных приборов, в паспортах машин, в кулинарных рецептах, в оформлении задач и пр. Например: *Построить график температур воды... Вскрывать в темноте! Перед употреблением взбалтывать!*

И м п е р а т и в н ы й и н ф и н и т и в — узуальный способ выражения военной команды. Например: *Встать! Штыки прикнут! Построиться в одну шеренгу!* Императивный инфинитив употребляется не только при конкретном адресате в военных командах, но и тогда, когда адресат и объект выясняются из контекста и ситуации. Например: *Помиловать!* может означать *Помилуй!* или *Помилуйте его/ее/их!*; *Схватить!* — может относиться ко второму лицу (*Схватите*), к 3-му лицу (*Пусть схватят...*), но может выражать и побуждение к совместному действию.

Интересно, что в пословицах, которые тоже «инструктируют» — внушают, поучают, предупреждают, дают наставления — почти отсутствуют характерные для инструкции обобщенно-личные и инфинитивные формы.

Лежачего не бьют;

Языком капуста не шинкуют;

В добрый час молвить, в худой помолчать

являются исключением. Побуждение в русских пословицах выражается обычно императивом или всей структурой пословицы.

В болгарских пословицах широко распространены безличные предложения с безлично-пассивной глагольной формой в настоящем гномическом времени. Например:

*И в хамбара с мярка се сипва. // И в амбар надо насыпать с мерой.
От поп се иска пред хора. // От попа надо просить (проси) при людях.
Без пушка на лов се не ходи. // Не ходи на охоту без ружья!
Огън не се гаси със слама. // Не гаси огня соломой!*

В русских пословицах такая транспозиция встречается исключительно редко. Например:

Криком изба не рубится, шумом дело не спорится.

В болгарских пословицах безличные предложения синонимичны обобщенно-личным (подробнее см. [Васева 1967]).

Индикатив прошедшего времени выступает в императивной функции в русском языке только в разговорных конструкциях с *чтобы*, выражающих категорическое требование: *Чтобы я здесь его больше не видел! Чтобы здесь больше не шумели!* [Русская грамматика 1982, II: 112].

Там же [Русская грамматика 1982, I: 620] сказано, что значение побуждения может быть выражено формами прошедшего времени некоторых глаголов (*начать, кончить, поехать, полететь, взять/ся*), употребленных в роли главного члена бесподлежащего предложения со значением побудительности: *Кончили разговоры! Раз-два, взяли! Пошли!*

В болгарском языке побудительное значение могут иметь разнообразные перфектные и плюсквамперфектные *да*-формы, но также лишь ограниченного круга глаголов совершенного вида. Например: *Да не съм те видял! Да не съм те чул! Да не си казал (рекъл, продумал, повторил)! Да не си поискал (попитал, шавнал, шукнал, излязъл)!*

Они выражают категоричный запрет — более категоричный, чем *да*-формы будущего и настоящего времени. Ср.: *Да не излезеш!* и *Да не си излязъл!*, *Да не кажеш!* и *Да не си казал!* Эти формы встречаются редко и поэтому очень экспрессивны. Они отчасти компенсируют отсутствие в болгарском языке отрицательной формы повелительного наклонения от глаголов совершенного вида.

Плюсквамперфектные формы изъявительного наклонения также могут выражать необходимое действие в будущем. Это так называемый деликатный императив (*да го беше попитал, да беше му казал, да бяхте му напомнили!*).

В определенной речевой ситуации эти же формы могут выражать и побуждение к какому-либо действию в настоящий момент или в ближайшем будущем. Например:

Да беше си починала! (=Почини си!; Отдохни!)

Да беше влязла за малко! (=Влез!; Заходи!)

Та же самая плюсквамперфектная форма может выражать и шутивное предложение (*да бяхме си тръгнали; да бяхме останали*) или волеизъявление + раздражение (*Да беше млъкнал! Да беше помълчал!*).

Изредка в определенной речевой ситуации употребляется в императивной функции и будущее в прошлом как вторичное напоминание, вторичное смягченное предложение или приглашение [Иванова 1995: 259]. Например:

Щеше да ми дадеш книгата (в подтексте: *Ты обещал дать мне книгу, дай ее!*).

Щеше да дойдеш с мен (т. е. *ты обещал прийти со мной — исполни свое обещание*).

Побудительные формы совместного действия (инклюзивные формы) включаются в парадигму глаголов повелительного наклонения [Русская грамматика 1982, I: 622] или же рассматриваются как омонимичные формам 1 л. индикатива [Грамматика 1970: 416]. Это касается как форм будущего времени глаголов совершенного вида (*купим, сыграем*) и глаголов однонаправленного движения (*идем, бежим*), так и будущего времени несовершенного вида (*не будем ссориться*), которое употребляется редко.

В болгарской грамматике эти формы или вообще не включаются в императивную парадигму, или упоминаются в связи с тем, что при помощи частиц *да* или *нека* можно образовать сложные (описательные) формы повелительного наклонения для всех лиц единственного и множественного числа [Андрейчин и др. 1977: 275].

В обоих языках инклюзивные формы употребляются обычно в бытовых ситуациях и имеют разговорный оттенок, но встречаются и в учебниках и руководствах. Например: *Разберем следующий пример...* Здесь они рассматриваются только для того, чтобы подчеркнуть некоторые различия.

1. В русском языке инклюзивные формы от глаголов движения имеют все три темпоральные формы (*идем, пойдём, пошли; едем, поедём, поехали*), хотя все эти формы выражают призыв к будущему действию. Притом самое мягкое побуждение выражает форма будущего времени (*пойдём, поедём*), самое резкое и экспрессивное — форма прошедшего времени (*Пошли! Поехали!*). Они выступают обычно в однословных предложениях.

В болгарском языке, в котором имеется девять глагольных времен, четыре из которых прошедшие:

аорист — *четох, играх*,

имперфект — *четях, играх*,

перфект — *чел съм, играх съм*,

плюсквамперфект — *бях чел, бях играл*,

нельзя образовать инклюзивную форму прошедшего времени. В нем прошедшие времена всегда сохраняют свое темпоральное значение (за исключением *да*-форм, о которых уже была речь). Следовательно, в болгарском языке нельзя выразить побуждение к совместному действию разной степени интенсивности и экспрессивности.

2. В обоих языках повелительное наклонение от глаголов несовершенного вида выражает более категоричное побуждение, чем императив от глаголов совершенного вида (ср. *Возьми! Бери же! — Возьми! Возьмай!; Встань! Вставай! — Стани! Ставай!*). В инклюзивных формах это наблюдается только в русском языке, к тому же — только при глаголах однонаправленного движения (ср.: *Пойдем! Поедем! и Идем! Едем! Бежим отсюда!*).

Остановимся на использовании вопросительных конструкций для выражения побуждения.

Каждый вопрос, в сущности, побуждает к ответу. В соответствующем контексте одна из трех сем ('вопрос', 'сообщение', 'побуждение') актуализируется, другие нейтрализуются.

В обоих языках сказуемое вопросительных предложений с побудительным значением выступает в форме будущего или настоящего времени.

Вопросительные предложения с побудительным значением выражают более разнообразные субъективно-модальные и эмоциональные оттенки, чем императивные.

Вопросительные конструкции со сказуемым в будущем времени.

Выражают слабое побуждение — приглашение, просьбу. Например:

Тата, выпьешь со мной чайку? (Лавренев).

Ще влезеш ли за малко?! Зайдеш ли на минутку? (Д. Димов).

Та же самая структура в другой ситуации и при другом лексическом составе может выразить грубый, резкий приказ и раздражение. Например:

Ще млькнеш ли? Събрали сме се да преговаряме, а не да коментираме (Д. Димов).

Этот тип вопросительных предложений в русском языке выражает побуждение к совместному действию в виде одночленного предложения: *Пойдем? Начнем? Попробуем?* В болгарском языке эти вопросительные предложения оформлены как *да*-конструкции с вопросительной частицей *ли* или без нее: *Да тръгваме (ли)? Да опитаме (ли)?*

Этот тип вопросов сохраняет свое вопросительное значение: говорящий ожидает услышать мнение и согласие собеседника и одновременно побуждает его к совместному действию, которое он считает целесообразным.

Подобное значение имеют русские вопросительные предложения с инфинитивом и дательным падежом (*Не оставит ли нам эту затею?*), выражающие не только предложение, но и колебание, размышление.

Нередко эти вопросы включают *может*, которое делает предложение еще менее настойчивым. Например: *Может, выьем? Может, поделитесь?*

Есть и случаи, когда деликатная форма вопроса констатирует содержание волеизъявления. Например, говорящий стоит выше собеседника и вопросом *Ты, может, помолчишь?* выражает не просьбу, а приказ + раздражение и упрек (= *Помолчи! Замолкни!*). Таких примеров много. В них противоречие между деликатной формой и содержанием создает экспрессивный эффект.

Вопросительные конструкции со сказуемым в настоящем времени.

Большая группа вопросительных предложений с побудительным значением включает модальный глагол *можешь*, *можете* и, чаще, *не можешь ли*. Это касается не только русской части собранного нами материала, в котором почти 2/3 вопросительных побудительных реплик содержит отрицание, но и болгарской. Например:

Юра, не можете ли заглянуть ко мне на минутку? (Шефнер).

В некоторых случаях *не можешь ли/не можете ли, нельзя ли* выражает побуждение к прекращению действия + неудовольствие, раздражение, досаду. Например:

Не можете ли да млькнете за малко? (Стратиев).

— *Нельзя ли без фокусов?* — тихо сказал майор (Яковлев).

Сюда можно отнести и широко распространенные в русском быту вопросы *Не найдется ли* + инфинитив (*закурить*) и *не найдется ли* + род. п. (*спичек*)? К ним отнесем и имплицитно выражающие вежливую просьбу узуальные вопросительные структуры *Нет у вас мелочи?*; *Нет у вас лишнего билетика?*; *Вы не скажете, который час?* и *Не хотите ли...*, *Не дадите ли...*, в которых отрицание придает вопросу оттенок мягкой деликатности. При переводе на болгарский язык исчезает отрицание, а с ним и оттенок вежливости, и поэтому следует выразить его лексически (*Извинете, колко е часът?*) или использовать форму сослагательного наклонения (*Бихте ли ми казали колко е часът?*).

Эти наблюдения, иллюстрирующие межъязыковую асимметрию между двумя близкородственными языками, можно использовать как в преподавательской практике — при обучении русскому языку болгар и болгарскому русским и при обучении переводу, так и в переводческой работе. Всегда следует подчеркивать, какое огромное значение имеет узус при оформлении определенных типов текста, и указывать на асимметричные узуальные способы выражения (например, вежливой просьбы, военного приказа, запрета).

Для преподавательской практики существенны и различия в частотности соотносительных форм и структур. Например, формально отрицательные вопросительные предложения встречаются в русском языке так часто не только потому, что они являются узуальным способом выражения веж-

ливой просьбы, но и потому, что русский язык чаще окрашивает речь эмоционально, чем болгарский (о разнице в степени экспрессивности и эмоциональности см. [Васева 1980]).

Асимметрия в степени экспрессивности наблюдается также при употреблении императива в обоих славянских языках. В русском языке чаще, чем в болгарском, используются частицы, повторение повелительной формы, накопление эпитетов и восклицаний — особенно при выражении просьбы [Кирова, Васева 1999: 220].

Л и т е р а т у р а

Андрейчин и др. 1977 — Л. А н д р е й ч и н, К. П о п о в, С. С т о я н о в. Граматика на българския език. София, 1977.

Андрейчин 1978 — Л. А н д р е й ч и н. Основна българска граматика. София, 1978.

Васева 1967 — И. В а с е в а. Безлични и безлично-пассивни конструкции в българските пословици // Известия на Институт за български език. БАН. № 16. София, 1967. С. 627—637.

Васева 1980 — И. В а с е в а - К а д ы н к о в а. Некоторые наблюдения над эмоциональностью высказывания в болгарском и русском языках // Opera universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Filosofica. (= Spisy University J. E. Purkyně v Brně. Filosofická Fakulta). 227. Otázky slovenské syntaxe. IV/2. Brno, 1980. С. 131—136.

Гак 1975 — В. Г. Г а к. Межъязыковая асимметрия и прогнозирование переводческих трансформаций // Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков. М., 1975.

Грамматика 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Иванова 1995 — М. И в а н о в а. Прояви на асиметрия при превод от полски на български език. Начин на изразяване на подбудителност // Прояви на междуезикова асиметрия при превод от чужд на български език. София, 1995. С. 183—292.

Кирова, Васева 1999 — Т. К и р о в а, И. В а с е в а. Изразяване на подбудителност в руски и български език // Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Кн. I. Т. 88, 1995. София, 1999. С. 166—281.

Русская грамматика 1982 — Русская грамматика. Т. I—II. М., 1982.

Широкова 1980 — А. Г. Ш и р о к о в а. Некоторые вопросы эквивалентности в связи с транспозицией форм наклонений // Съпоставително езиковедство. 1980. № 3. С. 3—13.

Д. ВАЙС (Цюрих)

РУССКИЕ ДВОЙНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Двойные глаголы в современном русском языке: дополнительные наблюдения над расширенным корпусом

Данная статья является продолжением двух предыдущих работ, посвященных так называемым двойным глаголам¹ в современном русском языке [Вайс 1993; 2000]. В этих статьях обсуждался весьма обширный круг вопросов, в том числе формальные и семантические типы двойных глаголов (по критерию ударности, по совпадению/несовпадению отдельных граммем, по количеству описываемых ситуаций (одно/два действия), по временной соотношенности обоих членов и т. п.), семантические ограничения, накладываемые на первый глагол, частичная десемантизация глаголов *сидеть*, *ходить*, *взять*, *пойти* в составе двойной конструкции, фразеологизированные подтипы (особенно сочетания с глаголами-интенсификаторами), случаи употребления первой глагольной формы в функции частицы, возможные перифразы (сочинительные ряды, сочетания с инфинитивом или деепричастием), случаи возможного синтаксического распада из-за перегрузки набора насыщенных валентностей, трудности разграничения двойных и бессоюзных сочетаний и т. п. Рамки настоящей статьи не позволяют подробно останавливаться на всех этих аспектах. Поэтому ограничимся указанием на определение всей конструкции, которое было дано в работе [Вайс 2000: 357]. Разобьем его на два этапа: сначала приведем необходимые критерии, которым должен удовлетворять любой претендент на статус двойного глагола, а потом перейдем к критериям, характерным для прототипических случаев.

¹ Поскольку описываемая конструкция допускает в принципе и трехчленные структуры (см. ниже), традиционный ярлык «двойной» оказывается не вполне удачным. Ввиду того что русская конструкция во многом напоминает так называемые сериальные глаголы, представленные в целом ряде внеевропейских языковых семей (подробнее об этом см. [Вайс 1993: 86—87, 92—93]), стоит подумать о том, не лучше ли называть двойные глаголы сериальными (устное предложение Н. В. Перцова); однако для целей настоящей работы я отдал предпочтение традиционному названию.

Так, двойные глаголы в современном русском языке отличает следующий набор свойств:

- а) *морфологическая однооформленность* по репрезентации (либо финитные формы, либо инфинитивы) и следующим грамматическим категориям: лицо, число, род, наклонение, залог (но не вид и время);
- б) *общие синтаксические валентности*: общее подлежащее; возможность общих вторых актантов и сирконстантов;
- с) запрет на *повтор служебных морфем* в аналитических формах: ср. *Пошел бы поискал, Ты (у меня) будешь сидеть молчать*, в отличие от однородных сказуемых, ср. *Пошел бы, поискал (бы)* и т. п.;
- д) возможность *перестановки*:
 - е') самих глаголов без ущерба значения: $XY' > Y'X$, ср. *Ты бы легла пошла, Рассказывай садись!*
 - е'') дополнения: $XYa > aXY$, ср.: *Я тебя сижу дожидаясь, Она на нас стоит смотрит.*

Семантика и просодика данной конструкции нуждаются в дальнейшей дифференциации. Напомним, что конструкции с двойными глаголами в просодическом и семантическом отношениях образуют неоднородное поле. Его внутреннюю структуру можно представить в виде континуума, объединяющего два противоположных полюса:

раздельность	<<<	слитность
	просодический континуум:	
два самостоятельных ударения	одно ударение, отсутствие паузы	
	семантический континуум:	
логическая конъюнкция:		модификация,
два самостоятельных действия		одно действие

Распределение двух крайних разновидностей, однако, совсем не одинаково: до сих пор мои исследования однозначно показывали, что правый полюс (т. е. примеры с одним ударением и описывающие одно-единственное действие) имеет прототипический статус, поскольку преобладает в современной живой разговорной речи, примеры же с двойной вершиной и/или с двумя отдельными действиями относятся преимущественно к языку фольклора. Эта картина осложняется в настоящее время за счет включения нового материала из прессы и современной художественной литературы. Как будет в дальнейшем показано, именно в этих разновидностях современного русского языка активизируется тот смысловой потенциал конструкции глагольного удвоения, который заложен в фольклорной традиции. Это наблюдение не безразлично в сопоставительном плане, поскольку таким образом ярче вырисовываются те типы семантических отношений, которые имеют аналогии в двойных глаголах финно-угорских языков.

Контраст между разговорным и художественным материалом станет очевидным, если привести сначала несколько примеров из расширенного кор-

пуга спонтанной речи «рядовых» носителей русского языка; сюда относятся прежде всего неопубликованный корпус записей устной речи под названием «Тампере» (интервью, взятые группой социологов у жителей Петербурга в начале 90-х гг.), а также письма читателей в редакцию газеты или населения в «органы». Как видно из следующих примеров, этот новый материал приносит мало новых наблюдений:

пойдем к спонсору сходим (Тампере 54, 22); по магазинам *ездишь-сравниваешь* (Тампере 44, 27); там вот целый ряд женщин *стоят тресут* [sic!] этими тряпками (Тампере 55, 25); они пьют много // в ларьках в этих это самое водка продается // *покупают пьют* (Тампере 55, 24); *взять рубануть* (Тампере 55, 28); *взяли грабанули* банк (Тампере 55, 25); *падают ломают* себе руки и ноги (Тампере 55, 22); И пробыв я у старика до ночи ², и я *пошел нанял* ямщика довести до своей деревни Коноваловой (Голос народа 1998, 29); *пошли лучше погуляем*, — ответил он (АиФ, № 21, 2000); Ради чего *пишу-жалуюсь?* (письмо читателя, АиФ, № 12, 2001).

По сравнению с этими довольно трафаретными примерами примеры из прессы и художественной литературы ³ отличаются большим разнообразием. Среди них можно выделить группу с подчеркнуто изобразительной семантикой, ср.:

и идут-плывут цыганки (Даниэль); Просто купола церкви перекрасили в сероголубой цвет, который полностью *сливался-растворялся* с небом (АиФ, № 4, 2002); когда вот смерть *свистит-подлетает* (Солженицын); В этот-то момент и *рвануло-шарахнуло* до полного оглушения (Алешковский); Даже хихикаю, когда *шумят-склочничают* гром и молния (ЛГ, № 20/21, 2002); быстро ходит, а не *спешит-семенит* (Солженицын); ... но сегодня не требовалось, и зря *не мелькать-не дразнить*, назначили тут (Солженицын).

Иногда попадаются весьма необычные сочетания, свидетельствующие о сугубо творческом подходе к изучаемой конструкции:

Сколько *и били-учили* метели / Руки и летом совать в рукава? (Даниэль); я ж тебя [картофелину] *копал-ненавидел* (Алешковский); Как вам там *живется-суетится?* (Галич); Пороху у меня еще хватит, на год-то наверняка. А там — *кививрём-верем* (для несведущих — «*поживем-увидим*») — французская поговорка с владимирским диалектным произношением) (Даниэль); Я ему в бутылку *открытую-недотую* порошок кидаю (Алешковский); а еще хожу на обед (это такое мероприятие, очень интересное, под девизом «*Ширну-мырну*, с чем вынырну?») (Даниэль).

² Этот пример примечателен не только своим неправильным синтаксическим оформлением (деепричастие входит в сочинительный ряд с глаголом, как это бывало до Ломоносова), но и одновременным употреблением подчеркнуто разговорной и письменной конструкции (двойной глагол + деепричастие).

³ Большинство этих примеров автор обязан С. Курт, за что хотелось бы здесь выразить ей нашу благодарность.

Последний пример по фонетическому составу имитирует формулы-близнецы вроде *хухры-мухры*, *татары-матары*, заимствованные из тюркских языков⁴. Примеры с двойным причастием (ср. предпоследнюю цитату) обнаружены в моем корпусе пока только у Алешковского.

О явно индивидуальном творчестве свидетельствуют примеры с тройной глагольной цепочкой:

Там такие милые, смешные чертенятки *цапали-царапали-кусали* мне животики... (Ерофеев); *вздрагивать-постукивать-резонировать* в такт (Алешковский); ...пускай *идет учиться-развивается*. Вот как выходит у вас. Значит тот кто *работал спину гнул работал пахал* и не покладал рук тот и не родной, гады эти блядские они роднее (Сорокин).

Особо стоят примеры с имитацией просторечия и вульгаризмами в несобственно-прямой речи или во внутреннем монологе:

Ну Любаня *подъедет поможет* (Сорокин); Вот как. А они и пальцем не пошевелили они *приедут накрут* и уедут. И вы в дураках (Сорокин); А что вам *посрала поели* и все а мы *убирай подметай да сей* опять (Сорокин); Они *посрут поедят* а я *работай на них ноги ломай* (Сорокин).

Остальные примеры из этой группы менее оригинальны, их лексическое наполнение скорее напоминает примеры «из реальной жизни», т. е. из разговорного корпуса:

...сюда собирались только *суживать-засесть*, а Козьма здесь осел весь... (Солженицын); ...как надо бы при разговоре *стоять-уцираться* (Солженицын); ездили экономисты *смотреть-удивляться* (Солженицын); всякая мать при том плачет, а эта мать — держится. Сеньку за щеки руками, *глядит-любуется*, а не всхлипнула (Солженицын); ...а интереса не было, *слушал-не перебивал*, но и сердцем не встречал рассказа (Солженицын); И степенно головою *кивнув-поклонясь*, Елисей Никифорович принял приглашение (Солженицын); ...и не уставал *частить-говорить* таким же проворным тонким говорком (Солженицын); я *лазил заглядывал* в окна (Даниэль); *ступай поужинай* (Даниэль); и везде его *бежала-искала* по коридорам мать этой девочки (Петрушевская); Помню мамину подружку... и ее сына Гарика, с которым мы дружили. Однажды зимой *бежали-резвились* и провалились в колодец (А. Зубрев, интервью, Очная ставка № 11, 2000); ...мост, по которому эдак бодренько из этого самого «котла войны» *движется-возвращается*... легкоузнаваемая фигура нашего Аркаши с оператором (АиФ, № 49, 2000); А вот и к нам полномочные зашастывают, *ходят-заряются*... (Солженицын); в конце жизни пришел *выступать-плакать* на вечере той же ненавистной ему госструктуры (ЛГ, № 18—19, 2002); Ободовский *обернулся-держался*, как бы ища защиты (Солженицын); он *извинил-позвонился*, то есть *позволил-извинился* (Новиков); Будем *жить-воровать* (блатная песня); Да расчет сколько-то *пожить-полежать* во время нашей артиллерийской подготовки... (Солженицын); *светлел-зиял* прямоугольник на стене (Солженицын).

⁴ Подробнее об этом см. [Plähn 1987].

Фразеологизированные двойные конструкции также присутствуют в художественно-газетном корпусе, ср.:

То есть «за наши грехи — платите вы». И *пошло-поехало* отключать газ и цены повышать... (ЛГ, № 49, 2000); *Прости-прощай*, моя швейная карьера (Даниэль); Братцы-кролики, здравствуйте! Как *живете-можете*? Я ничего себе, спасибо, так, помаленьку-полегоньку (Даниэль).

Наряду с подобными прототипическими представителями двойной конструкции встречаются в публицистике и художественной литературе, однако, и такие, которые совсем не характерны для разговорной речи, зато очень частотны в языке фольклора. Они отличаются от разговорных типов наличием одного из следующих семантических отношений между глагольными компонентами: синонимия, когипонимия, антонимия, конверсив. Появление таких фольклорных образцов в указанных жанрах письменной речи может быть частично продиктовано установкой на эстетический эффект. Прежде всего это безусловно верно для семантических пар, построенных по принципу синонимического перифразирования. При этом следует подчеркнуть, что в большинстве случаев мы имеем дело с неточными синонимами (в смысле [Апресян 1974/1995]), то есть с пересечением значений (Syn_{\cap}), реже — с их включением (Syn_{\supset} , или Syn):

старик Пифагор *просил-умолял* человечество уважать цифры (ЛГ, № 11, 2001); А на следующее утро *ныл-канючил* Толстому (АиФ, № 8, 2002); А парень на скамейке *раздирался-кричал* (Солженицын); сам он, правда, *клянется-божится*, что в собственно преступлениях не виноват (Даниэль); И снова *снится-дремлется* (Даниэль); А ведь *виделось-представлялось* (ЛГ, № 11, 2001); С Новым годом! Как вам *встречалось-праздновалось*? (Даниэль); не зная, как проститься, руку ли *пожать-потискать* (Вл. Маканин); *пропадай-погибай* (Чуковский); Без меня она фантастически *вянет-пропадает* (Новиков); И десятки раз он воскресал. В речке на Николиной Горе не утонул, в самолете не разбился, в автокатастрофе не погиб. Два путча выиграл. Горбачева *перехитрил-переиграл*. Такую партию разломал! Просто герой из русской сказки (Жириновский о Ельцине, в: [Алтунян 1999: 249]); его внутренний мир реально *проявляется-просачивается* во внешнее пространство (ЛГ, № 43, 2001).

В разговорном корпусе пока засвидетельствован лишь один-единственный пример, относящийся к этой группе:

везде где человек так сказать / *бывает находится* (Тампере 55, 24).

Метакоммуникативный маркер *так сказать* здесь уже предваряет необычную формулировку. Кроме того, синонимическая перифраза не чужда и блатным песням, ср. следующий пример, который прямо является фольклорной цитатой:

Турки *думали-гадали* (блатная песня).

Особенно частотны такие синонимические пары при передаче эмоциональных состояний и их внешних проявлений; в художественной литературе они (как заимствование из фольклора?) представлены уже и XIX в.:

Стонет-ноет ретивое от проклятой от судьбы [Ковшова 1994: 141]; Женка плакала-выла, да ничего не поделаешь (Чехов); *плачет-рыдает* (Бунин); *вдохнула-простонала* (Чуковский); старушечка все *грустит-печалится* (блатная песня); Бабы в телогрейках — с молитвой и без — *поревут-поплачут* (Ратушинская); *Плачет-огорчается* / Зверь бурундук (Ратушинская); На НТВ *мучается-страдает* бедняга Новоженов (АиФ, № 12, 2002); Вот что *гложет-томит* нас (ЛГ, № 42, 2001); И совсем *забыться-потеряться* бы среди полей пространств (Пригов).

Основную функцию таких квазитавтологиических пар следует, по всей видимости, усматривать в интенсификации, иначе говоря, второй глагол здесь выступает в качестве значения лексической функции Magn первого глагола⁵. Таким образом, прием синонимического перифразирования служит той же цели, что и прием однокоренного удвоения (сочетания типа 'глагол-основа + производный глагол')⁶, ср.:

родители вернулись домой и *звонят-названивают* ее подружке в Москву (Петрушевская); *считать-пересчитать* (Вл. Маканин); *ждут-ожидают* (Алешковский); Менты... принялись восстанавливать *истоптанную-перетоптанную* клумбу... (Алешковский); не может у *пуганых-перепуганных* не лопнуть терпение (Алешковский)⁷.

К этому можно добавить и отдельные примеры, где один из членов пары, не будучи синонимом другого, все же содержит сему, которая также усиливает смысловой компонент парного члена:

старушечка все *плачет-надрывается* (блатная песня); *заливается-плачет* (Достоевский. Записки из мертвого дома).

Последний пример содержит даже сложную лексическую функцию InscrMagn.

Некоторые пары лишь с трудом допускают синонимическую интерпретацию даже в самом широком смысле, ср.:

Да Воротынцев, *признаться-сказать*, и ждал такой телеграммы (Солженицын); «вдруг *пригодятся-потребуются* простые факты действительности» (ЛГ, № 4, 2002).

⁵ Подробнее о сочетаниях типа 'X-ует + Magn (X-ует) = интенсивно X-ует' см. [Вайс 2000: 367 и сл.].

⁶ Ср. богатый материал, приведенный в [Шведова 1960].

⁷ Напомним, что такой же прием работает и с прилагательными, ср. «все *священные-рассвященные* границы нашей похабной страны» (Алешковский).

Последний пример подтверждает, что следует по возможности считаться с существованием целого континуума, распространяющегося между двумя полюсами (одна ситуация : две ситуации). Перейдем теперь к рассмотрению второго случая.

Как уже упоминалось, наш материал содержит много примеров, которые приходится признать семантически двучленными (называются два «равноправных» действия); эта двучленность обыкновенно отражается в их просодии (оба глагола ударны). Тем самым этот тип отходит от прототипической двойной конструкции, которая отличается просодической и семантической слитностью обоих глагольных компонентов. Если эту группу свести к общему семантическому знаменателю, то на такую роль годится, скорее всего, *суммирующее* значение. Особенно многочисленны примеры с действиями, которые соотносятся как аналоги (в смысле лексикографической концепции, лежащей в основе [НОСС]), часто даже как когипонимы⁸. Таковы парные глаголы, связанные с пищей и/или питьем:

ели-пили рядом ... *ели-сочиняли* песни (Петрушевская); Сталинисты и обыватели, железные Шурики и покладистые Ильичи (одни мечтали навести без него настоящий порядок, другие до отвала *наестся-напиться* и напраздноваться) одинаково не хотели, чтобы Хрущев подавал пример, нацеленный в будущее (А. Стреляный 1988, в: [Хрущев. Воспоминания IV: 539]); Вы здесь только *жрите-пьете*, а люди на фронте кровь проливают (Алешковский); Завтра они тоже устраивают какое-то *выпить-закусить* ([Красильникова 1988: 115]); ...тебя, гада, советская власть *поит-кормит* — и ты еще недоволен (Солженицын).

Данный трафаретный тип глагольных пар (как известно, он также бытует в языке фольклора) может служить образцом для возникновения более индивидуальных, семантически производных пар:

Где выросла эта красота, чем ее *кормили-поливали*? (об овощах, АиФ, № 28, 2001).

С не менее важной группой основных человеческих потребностей соотнесены глаголы, связанные с одеждой (например, фольклорное *одеть-обуть*) и с уходом за собственным телом:

Это потому, что и сам Пал Палыч скрягою не был. Древний Кремль в золото *одел-обул*. Ельцину сделал чудо-самолет (АиФ, после приговора Бородину в Женеве); а они отмывались и *стриглись-брились* (Даниэль); *стригут-перекрашивают* (АиФ, № 8, 2002).

Последний пример носит опять более индивидуальный характер, чем предыдущее трафаретное *стричь-брить*. Первый пример показателен тем,

⁸ Напомним, что согласно [НОСС] существование двух или более когипонимов отнюдь не предполагает существования какого-либо общего для них гиперонима. Так, *арбуз* и *дыня* трактуются как когипонимы, между тем как ближайшим гиперонимом является только *фрукты* (устное сообщение Ю. Д. Апресяна).

что пара *одеть-обуть* здесь претерпевает любопытную метафоризацию, вследствие чего описываемая ситуация воспринимается не как два действия, а как одно-единственное («Бородин позолотил Кремль»).

Парами охотно сочетаются и звукоподражательные глаголы:

Тихонечко *вою-силлю* (ЛГ, № 27, 2001); она вдруг *крякнет-свистнет* (АиФ, № 14, 2002); *раскудахталась-раскукарекалась* так нахраписто (Алешковский); ты, Писулькин, когда *жахаешь-квкаешь* (Алешковский).

Глаголы коммуникации также способны входить в парные конструкции, построенные по принципу когипонимии:

Ленин иначе *писал-говорил!* (Солженицын); Интересно, сколько в Москве таких нигде не числящихся, не умеющих *читать-писать?* (ЛГ, № 22, 2001).

Встречаются и парные глаголы, связанные с художественной деятельностью:

Вон в Америке, где я живу: был Клинтон — Клинтон *писали-лепили*, сейчас Буша *пишут-лепят* (АиФ, № 5, 2002, письмо читателя на тему культа личности Путина); А *спеть-сплясать?* (АиФ, № 51, 2001).

Сугубо индивидуальный отпечаток носят следующие пары квазикогипонимов:

пора *высматривать-вынюхивать* свою вторую половину (АиФ, № 12, 2001, тема: весна); он так и не вышел за пределы «*подай-принеси*» (Совершенно секретно, № 3, 2001).

В последнем примере цитируемый двойной глагол функционирует уже как именной актант ⁹.

Итак, суммирующее значение весьма богато представлено в публицистике и художественной литературе. Можно предположить, что прием удвоения здесь частично обусловлен отсутствием подходящего гиперонима, ср., например, *читать-писать*; в других случаях, однако, такое объяснение оказывается несостоятельным, ср. *писать-лепить* (при гиперониме *изображать*). Следует добавить, что некоторые из этих пар требуют не соединительного, а разъединительного прочтения, поскольку соотносимые действия не могут совершаться одновременно, ср. *писать-лепить*; другие же примеры допускают и одновременную, и альтернативную интерпретацию, ср. *спеть-сплясать*.

Сюда примыкает группа примеров, где оба компонента по смыслу исключают друг друга (второй член соотносится с первым как альтернатива), ср.:

⁹ Подобное сочетание императивных форм существует и в современном польском языке, где оно обыкновенно приобретает трехчленный вид, ср. (taki) *przynieś-podaj-rozamiataj*.

не подъехать-не подойти (Тампере 55, 21); А все кругом *стояли-сидели* (Солженицын); или *убьют-ранят*, или вперед пойдем, или не дай Бог еще отступим (Солженицын).

В примерах с положительной полярностью проявляется в таких случаях дистрибутивная референция имени-субъекта, ср.: «кто сидел, кто стоял». При отрицании возникает отношение *ни... ни...*, ср.: «нельзя ни подъехать, ни подойти». Иногда альтернатива относится к метакоммуникативному плану: в следующем примере предлагаются две метафорические формулировки для одной и той же ситуации:

Но вот *пробежал-прокатился* по траве порыв ветра (ЛГ).

Весьма редко члены двойной суммирующей конструкции семантически настолько отдаленны, что их нельзя признать какого бы то ни было рода аналогами:

...хотя умел все, водить машину, *чинить-паять* (Петрушевская).

Самым ярким проявлением отношения семантического взаимоисключения, безусловно, является *антонимия*. В работе [Вайс 2000: 358] еще отмечалось почти полное отсутствие антонимичных пар. Эта ситуация изменилась коренным образом за счет расширения нашего корпуса, ср. следующие примеры:

Картошка и квашеная капуста могут даже весной обеспечить полностью витамином С, но только при условии, что капуста хранилась не на балконе, где *промерзала-оттаивала* всю зиму, а картошка — не жареная, а печеная (АиФ, № 13, 2000); да в экипажах *подъезжают-отъезжают* Парвизы, Айвазы, Нобели да Розенкранцы (Солженицын); *Отвези-привези*, чтоб колебались устои царизма. *Отвези-привези*, сделаешь доклад, мы обсуждать будем жандармов (Солженицын); ...а то скакивала Ольга в халатике *отдернуть-задернуть* оконные занавески или бегом-бегом принести поесть в постель (Солженицын); Двигатели *включаются-выключаются* «одним щелчком» ручки на электрошите (АиФ, № 30, 2001); Пьянчужка был совершенно раздавлен, сидел, теребя и комкая за края шапчонку, как свою судьбу, *согнет-разогнет* (Вл. Маканин); ...рисовали шишки, цапфы, шарниры, сочленения, чтобы наипроворнейше пушка их *собиралась-разбиралась* на перенос (Солженицын); бойко *собирает-разбирает* замок (Солженицын); ...гайки, которые надо *откручивать-закручивать* (Даниэль); ...денежки на еду, жильё и образование, на *уехать-приехать* (Петрушевская); *зарывают-отрывают* (Тампере 54, 31); Развозил консервы по оптово-розничным рынкам, сам *грузил-разгрузил*, экономя на грузчиках (ЛГ, № 24/25, 2001); *встречавших-провожавших* поезда (Солженицын).

Как видно, все эти примеры относятся к первому из выделенных в [Апресян 1974/1995] трех типов антонимов, т. е. «начинать — переставать» (= Anti 1 [288—292]). По форме они, за исключением двух последних примеров, построены с помощью антонимичных префиксов. Пример Петрушевской опять обращает на себя внимание не только своим подчеркнuto

разговорным синтаксисом, но и своим суммирующим значением (*на уехать-приехать* = *на поездки*).

Добавим, что из конверсивов пока единственным общеизвестным примером остается пара *покупать-продавать*, которая, кстати, имеет и именное соответствующее образование (*купля-продажа*). Следующий пример, правда, содержит также конверсивную пару, но из-за трехчленности и именного синтаксиса также имеет оттенок индивидуального творчества:

Сама Наташа состояла в должности «*подай-прими-вымой тарелки*» (Даниэль).

Весьма часто глагольные пары относятся к какому-то общему фрейму (скрипту), из которого они выделяют цепочку двух отдельных шагов. Таковы следующие примеры:

позвонишь-встретишься (Тампере 55, 17); *Наливай-насыпай*, у нас самообслуживание (Петрушевская); *постирать-погладить* ребенку (Петрушевская); с возможностью *поносить-привыкнуть* (об одежде — АиФ, № 8, 2002); Она-то все делала как заправская мастерица, *обмерила-записала* (Даниэль); и никто не звал священника — ни отпеть, ни *исповедовать-причастить* (Солженицын); Якушкин заговорил о страшных, как кара, болезнях, сурово (теперь уже с полным знанием дела) он *набросал-нарисовал* картинку, как они умирают — умирая (Вл. Маканин); стремительно ввел проект через Горемыкина, не дали *ознакомиться-подготовиться* министрам, ни даже торговли-промышленности (Солженицын).

Как видно, названные два действия не обязательно следуют непосредственно одно за другим, ср. *постирать-погладить* (опускается промежуточное звено *высушить*, которое в отличие от названных действий не требует активных усилий). Отметим, что «фреймовый» подход в таких случаях, как *постирать-погладить*, не исключает одновременную трактовку обоих глаголов как когипонимов, а в парах типа *набросал-нарисовал* — по крайней мере как аналогов с пересекающимися значениями¹⁰. Выше приводился пример *выпить-закусить*, которому можно также приписать фреймовый характер. Добавим, что данный «двухэтапный» тип парных глаголов не чужд и языку фольклора, ср. *пахать-сеять*.

Как и следовало ожидать, в только что приведенных примерах преобладают названия действий. Сравним теперь с ними следующие два примера, где фрейм объединяет два состояния¹¹:

Вон он в вашем музее зря *хранится-пылится* (о кинжале Лермонтова, ЛГ, № 26, 2001); Бородка как будто длинней и гуще. И *загорел-обветрел*, не петербургская кожа (Солженицын).

¹⁰ Именно такую трактовку предлагает [НОСС 2000], где *набрасывать* выступает в качестве аналога *рисовать*.

¹¹ Точнее говоря, первый пример указывает на местонахождение предмета и связанный с этим процесс, а второй — на состояние-результат предыдущих неконтролируемых процессов (перфектное видовое значение).

Легко увидеть, что в этих случаях снимается также фазовая семантика: данные состояния совпадают во времени. Этим, по-видимому, обусловлен тот факт, что они воспринимаются, скорее всего, как описание не двух, а одной-единственной ситуации. Следующий же пример является скорее описанием двух отдельных действий в рамках одной устойчивой процедуры, хотя их последовательность остается нефиксированной:

Просвечивают-осматривают бдительнее, чем грузинские рейсы во «Внукове» (АиФ, № 26, 2001).

Фреймовой семантикой обладают также следующие описания ситуаций дружеского общения, где, однако, вообще отсутствует идея временной соотнесенности отдельных действий:

Сегодня был день рождения Виктора. Уж было *пито-едено*, *курено-говорено!* (Даниэль); И как вам *пьется-разговаривается?* (Даниэль).

Наряду с общепринятыми сценариями встречаются и более индивидуальные представления об устройстве человеческой жизни:

Когда дите под боком, не больно разгуляешься. А так хата пустая, *ней-спи* — не хочу (Маринина); тем более что хозяин дома начал испытывать к блондинке платонические чувства дружбы и сострадания, что гораздо более опасно, чем простая человеческая грязь, *потихались-разошлись* (Петрушевская).

Последний пример также выполняет скорее номинативную, чем предикативную функцию.

Кроме различных фаз фреймовая семантика охватывает также и случаи, где одно действие (обычно обозначенное первым глаголом) относится ко второму как часть к целому (это, разумеется, не имплицитует того, что первый глагол является гипонимом второго)¹², ср.:

Мы *пьем-гуляем* в Познани (Галич); *напевала-колдовала* (Даниэль); «Никто его *резать-раскулачивать* не будет» (прямая речь «деревенского мужика», АиФ, № 24, 2002).

В следующем примере речь идет о целом фольклорном обряде (рекрутские проводы были одним из подвидов причитаний):

А потом Ивана забрали в солдаты, почему-то неурочно, прежде льгота ложилась на него. И войны никакой не было, а *провожала-плакала*: навсегда (Солженицын).

Пора подвести итоги этого раздела. Наблюдения над новым корпусом данных приводят к значительным изменениям полученной до сих пор картины: в современной прессе и у некоторых авторов художественной прозы конструкция глагольного удвоения показывает большее семантическое и

¹² Единственный известный мне пример, где первый глагол мог бы претендовать на статус гиперонима, — это пара *готовить-печь*.

просодическое разнообразие, чем ее употребление в живой разговорной речи. Кроме трафаретных случаев, таких как *сижу-скупаю, бегали-искали, сядем-подумаем, по(й)ди-сходи*, столь распространенных в спонтанном узусе, у определенных авторов пользуется популярностью прием синонимического варьирования вроде *спится-дремлется* и прежде всего наблюдается тенденция к образованию «естественных пар», построенных на когипонимии (например, *стричься-бриться*), антонимии (например, *собрать-разобрать*) или фреймовой семантике (например, *постирать-погладить*). Тем самым тип двойной конструкции, представленный глаголами с одним ударением, описывающими одно действие, который абсолютно преобладает в разговорной речи, в новом корпусе данных частично утрачивает свой привилегированный статус. Таким образом, создается впечатление, что язык современной прессы и отчасти художественной прозы использует и творчески развивает семантический потенциал двойной конструкции, заложенный как в разговорной речи, так и в фольклорной традиции. При этом надо подчеркнуть, что и частотность, и предпочтение для определенных подтипов зависит от индивидуальных предпочтений авторов.

В синтаксическом отношении картина противоречива: с одной стороны, в новом корпусе не отмечено ни одного случая внутреннего разрыва вроде *посидим где-нибудь поболтаем*, встречающихся сплошь и рядом в разговорном узусе, иначе говоря, бросается в глаза бóльшая последовательность в использовании «чистой» двойной модели с контактной позицией обоих глаголов без каких-либо актантов и сирконстантов между ними. С другой стороны, некоторые авторы (особенно Петрушевская, Даниэль) используют двойные глаголы как готовые блоки, способные функционировать как именные группы (ср. *деньги на уехать-приехать, должность «подай-прими-вымой тарелки»*) или вообще выделиться в самостоятельную синтаксическую структуру (ср. *А так хата пустая, пей-спи — не хочу*). Такой свободный подход к синтаксису, разумеется, обусловлен индивидуальной поэтикой данного автора, и в частности — выбранной им техникой передачи речи или мыслей персонажей (внутренний монолог, несобственно-прямая речь и т. п.).

Наши наблюдения над новыми данными могут также пролить свет на вопрос о степени сериализации двойной конструкции, который поднимался в [Литвинов 1984] и [Вайс 1993: 86—87, 91—92]. Ввиду того что классические признаки глагольной сериализации (ср. [Bisang 1995: 143—154]) представлены в русской конструкции лишь в зачаточном виде, в последней из указанных работ говорилось о зародыше сериальной техники: глагольная цепочка состоит обычно лишь из двух компонентов, грамматикализация одного (первого) компонента вырисовывается слабо и только у очень немногих глаголов (*пойти, ходить, сидеть, взять*), а слитное ('односитуативное') прочтение всей цепочки не работает в случае собственно парных, двувершинных пар типа *есть-пить* и т. п. Против последнего аргумента можно, однако, возразить, что и для сериализации в целом односитуативное прочтение отнюдь не является обязательным критерием [Bisang 1995:

14]: свидетельство тому — многочисленные примеры из юго-восточноазиатских языков, в которых описывается целая цепочка событий. Кроме того, приведенные в настоящей статье примеры с суммирующим соотношением компонентов и с фреймовой семантикой указывают на то, что в русской конструкции заложен и лексический описательный потенциал, подобный тому, который проявляется, например, в западноафриканском языке йоруба, в кхмерском в Камбодже или в языке джабем на Новой Гвинее¹³. Мало того, даже примеры с внутренней синонимической связью находят свое соответствие в так называемой узкой сериализации (термин Бисанга, [Bisang 1995: 148]) в кхмерском, где встречаются разнокорневые пары со смысловой структурой, ‘live’ — ‘live, be at’ или ‘compare’ — ‘compare’. Во всех этих случаях основная разница между русскими и нерусскими глагольными конструкциями сводится к тому, что русские примеры относятся к периферийному пласту языкового арсенала, а западноафриканские или юго-восточноазиатские — к основным средствам номинации.

2. Параллели в других европейских языках: генетическая или ареальная обусловленность?

Перейдем теперь к рассмотрению внешних связей интересующей нас конструкции. Анализ славянских параллелей, если отвлечься от украинского и белорусского языков, где она, правда, широко представлена, но для которых нельзя исключить влияния русского образца, мало показателен: как оказывается, двойные глаголы либо полностью отсутствуют (так выглядит, по-видимому, ситуация в современном чешском и обоих лужицких языках), либо существуют лишь в зачаточном виде в императиве в составе групп с глаголами ‘идти’/‘приходить’ или ‘взять’ в качестве первого члена, ср.:

ц.-сл.	пидѣвъ повѣдаєвъ Пролог 1432 г. [Жолобов 1998: 96];
полаб.	<i>Hejd zang</i> (= ‘иди сядь’),
с.-хорв.	<i>Idi kupi sladoled, Dođi sedi ovde.</i>

В польском отмечены те же глаголы, но здесь возможно и 1 л. презенса или будущего времени, ср.:

	<i>Idź kup sobie loda, Chodź pobaw się ze mną,</i>
но также:	<i>idę kupię sobie loda, pójdę się przebiore,</i>
	<i>weź popraw firankę / weź puknij się w głowę / weź się zastanów!</i>

Особенно заметна здесь десемантизация глагола ‘взять’, который, как и в русском языке, обозначает неожиданное событие, но по употребительнос-

¹³ Для иллюстрации приведем следующие вполне прозрачные примеры в англ. буквальном переводе: ‘Dada buy cow kill eat’ (йоруба, [Bisang 1995: 147]) и ‘he take luggage go village’ (кхмерский, [Bisang: 149]).

ти превосходит русское соответствие, ср. недопустимость буквальных переводов **возьми постучи себя по голове*, **возьми сообрази*. Однако другие словоформы глагольной парадигмы остаются заблокированными, ср. **poszli kupili loda*, **wziął umarł*; здесь необходима сочинительная конструкция, ср. *wziął i umarł*.

Особого комментария требует ситуация в македонском, которая была предметом статей [Topolinjska 1984] и [Topolińska 1995: 243]:

Фату ги озени; зеде напиша ‘he decided to write and wrote’, *стана, отиде*, ‘he decided to go and went’.

Как видим, наряду с общебалканской аналитической моделью с придаточным предложением, вводимым союзом, здесь появляется как бы двойная конструкция, первый компонент которой состоит из глагола начинания (*зема, почна, фату*). Таким образом, вся группа приобретает ингрессивное значение, однако элемент неожиданности, столь характерный для русских и польских примеров, исчезает, а, кроме того, по словам Тополинской, в случае отсутствия союза имеет место пауза между двумя глагольными формами. Эти особенности указывают на то, что при всей семантической близости нельзя отождествить македонские примеры с русской двойной конструкцией.

Интересно отметить, что тот же зачаточный этап императива глаголов ‘идти’/‘приходить’ не чужд и германским языкам. В частности, это верно для немецкого и английского языков, ср.:

нем. *Komm spiel mit mir! Geh kauf dir ein Eis! Ach komm geh!*
англ. *Come play with me! Go buy an ice-cream! Come go eat with us!*
Everyday I come get the paper. I told you to come get the paper.

Как показывает последний пример, английская конструкция выходит за пределы императива и может даже привести к тройным цепочкам¹⁴. В случае нем. *komm geh!* обращает на себя внимание далеко продвинутая десемантизация обоих глаголов, исходные значения которых прямо антонимичны, что отнюдь не мешает их совмещению в одной группе.

Ввиду вышесказанного возникает вопрос об общеевропейском распространении глагольных сочетаний с первым десемантизированным членом. В статьях [Kuteva 1999] и [Csató 2001] обсуждаются преимущественно два типа, сходные с русскими примерами двойной конструкции. Один содержит глагол ‘сидеть’ в качестве маркера актуальной или узуальной длительности; он представлен в шведском, венгерском и болгарском языках, ср.:

болг. *Седи и чисти* по цял ден в кьшти ‘она (обычно) весь день убирает дом’,

¹⁴ Из-за отсутствия показателя *to* нельзя приписать второму члену этих групп статус зависимого инфинитива. Обо всей конструкции см. [Pullum 1990: 219—222].

венг.	<i>Ül és meél</i>	‘он(а) рассказывает (историю)’;
швед.	<i>Han sitter och läser</i>	‘он читает (в данный момент)’.

Как видим, утрата первичного смысла ‘сидеть’ (обозначение пространственной позиции), например, в болгарском более продвинута, чем в русском, ср. недопустимость буквального перевода **сидит убирает*. Добавим, что в венгерском показателем длительности может также оказаться глагол ‘стоять’, ср. *All és csodálkodik* ‘Он(а) стоит удивляется’. Однако, с другой стороны, во всех приведенных примерах глаголы входят в сочинительную группу, ср. союзы *и, och* и *és*; по [Csató 2001: 183], при не указанных ею точнее условиях союз может отсутствовать лишь в венгерском. То же самое верно для остальных глаголов, появляющихся в той же позиции, например швед. ‘держат > продолжают’, ср. *Han håller på och läser* ‘Он продолжает читать’ или венг. ‘пойти’ > маркер досады/огорчения говорящего, ср. *Jön és (nekem) panaszkodik* ‘Он (у меня) пойдет пожалуется’¹⁵. Иначе говоря, данный материал по синтаксической структуре не совпадает с русской двойной конструкцией. Кроме того, приведенные языки не относятся к какому-либо замкнутому ареалу.

Иначе обстоит дело со вторым типом: сочетания с глаголом ‘взять’ (в смысле ‘неожиданно/внезапно сделать X’) отмечены, например, в шведском, финском, а также в польском (ср. выше) и русском; таким образом, вырисовывается общая прибалтийская зона, в которой представлен данный тип десемантизации. Для иллюстрации удовлетворимся лишь двумя следующими примерами:

швед.	<i>Ta och fundera på det här!</i>	‘Начни думать об этом!’
фин.	<i>Meidän kissa otti ja kuoli</i>	‘Наша кошка взяла да подохла’.

Не примыкает к прибалтийскому ареалу венгерский язык, где этот тип тоже отмечен, ср. *Fogya magát és elmegy* ‘Он внезапно ушел’. Группа языков, участвующих в данном явлении, имеет продолжение на юго-востоке: подобная утрата первичного значения глагола ‘взять’ характерна даже для турецкого и персидского языков, о чем ниже.

Итак, кроме семантического сходства, в приведенном материале из других европейских языков не удалось обнаружить параллелей с русской двойной конструкцией: ввиду присутствия внутренней союзной связи, глагольные компоненты в указанных примерах не образуют ни синтаксического, ни (как следует полагать) просодического единства; кроме того, они не допускают перестановки членов, столь заметной в русских примерах. Особого внимания заслуживают, однако, факты венгерского языка, поскольку в

¹⁵ Десемантизация глаголов ‘идти’ и ‘приходить’ в европейских языках заслуживает особого рассмотрения, поскольку здесь наблюдается, несомненно, более широкое распространение и большее смысловое разнообразие, чем у глаголов, описывающих пространственную позицию.

этом языке наблюдаются единичные точные соответствия русских примеров суммирующего типа (т. е. без десемантизации первого члена), ср. ниже.

Ситуация ненамного меняется, если перейти к рассмотрению тюркских языков. Как указано в целом ряде работ (например, [Krueger 1961; Porre 1968; Schönig 1984; Csató 2001]), эти языки просто избытуют двойными глагольными конструкциями с десемантизацией первого компонента; в частности, здесь могут выступать глаголы с первичными значениями ‘брать’, ‘давать’¹⁶, ‘посылать’, ‘класть’, ‘стоять’, ‘сидеть’, ‘лежать’, ‘идти’, ‘приходить’, образуя все возможные видовые и акциональные модификации соотнесенного с ними глагола, но модель $V_{\text{finit}} + V_{\text{finit}}$ редка. Поэтому приведем всего два примера:

узб. *Oxladi qāldi* букв. ‘заснул остался’ = ‘крепко уснул’,
 турецк. *Unutmus gitmisim* ‘я забыл пошел’ = ‘я совсем забыл’.

«Каноническая» же модель тюркских языков выглядит иначе: она строится по принципу не равенства, а иерархизации глагольных компонентов, поскольку в ее состав входит конверб (деепричастие), ср. $V_{\text{conv}} + V_{\text{finit}}$, причем грамматикализации (= десемантизации) подвергается V_{finit} , а при компоненте V_{conv} возможна сериализация. Проиллюстрируем и этот вариант двумя примерами:

турецк. *Ölü verdi* ‘умерев взял(а)’ = ‘взял(а) умер(ла)’,
 кирг. *Men erte menen turup*_{conv} ‘Я встаю_{conv} утром, занимаюсь_{conv}
*zaryadka žasap*_{conv} зарядкой, одеваюсь_{conv}, умываюсь_{conv}
*kiyinip*_{conv} *žunup mektepke* [и] иду_{finit} в школу’.
*baražatam*_{finit}.

Резюмируя эти наблюдения, нельзя не отметить полное несовпадение русской и тюркской моделей удвоения как по морфологическому составу, так и по порядку слов и главной функции (грамматикализация пре- или пост-позитивного члена). Следовательно, тюркское происхождение интересующей нас русской двойной конструкции не находит лингвистического подтверждения, не говоря уже о его социолингвистической неубедительности (какое-либо массовое и длительное двуязычие до XIX столетия отсутствовало).

3. Ситуация в финно-угорских языках на территории России (волжская и пермская группы)¹⁷

В отличие от рассматривавшихся до сих пор языков, в финно-угорских языках вне прибалтийской группы обращает на себя внимание тождествен-

¹⁶ На этот счет ср. русск. *давай(те)*, в котором уже давно усматривают кальку по образцу татарского вспомогательного глагола *бир-* ‘давать’; о татарском см. [Schönig 1984: 90 и сл.].

¹⁷ В отличие от пермской группы, волжская группа понимается здесь не как генетическое, а лишь как географическое единство, поскольку новейшие исследования

ная по сравнению с русской синтаксическая структура: как и в русской конструкции, для этих языков характерно бессоюзное контактное (нераздельное) сочетание двух или более одинаково спрягаемых глагольных форм. Из богатого материала, приведенного в работах (коми:) [Безносикова 1982; Сидоров 1992; Дудыкова 1995], (мари:) [Чхаидзе 1960], (удмурт., мордов.:) [Kokkonen 2000], процитируем сначала следующие примеры:

коми: *сейны-юны* ‘есть-пить’, *сывны-йоктыны* ‘петь-плясать’, *буавны-горзыны* ‘выть-плакать’, *думайтны-мөвпавны* ‘думать-размышлять’, *овны-вывны* ‘жить-быть’ (ср. русск. *жил-был!*);
 удмурт.: *шудыны-серекъяны* ‘играть-смеяться’ = ‘восхищаться’; *тодыны-валаны* ‘знать-понимать’ = ‘знать’;
 мари: *модаш-воштылаш* ‘играть-смеяться’ = ‘восхищаться’; *шорташ-ойгыраш* ‘волноваться-рыдать’ = ‘волноваться’;
 мордов.: *панжемс-сёлгомс* ‘открывать-закрывать’ = ‘пользоваться дверью’, *лисемс-совамс* ‘выходить-входить’ = ‘быть беспокойным’; *киштемс-морамс* ‘плясать-петь’ = ‘веселиться’; *сокамс-видемс* ‘пахать-сеять’ = ‘работать на поле’; *явомс-сеземс* ‘разделять-отделять’ = ‘разделять’.

Семантические аналогии с русской конструкцией очевидны: прежде всего, наблюдается такой же континуум, распространяющийся между двумя полюсами (два самостоятельных действия : одно действие). Так, к первому полюсу тяготеют примеры из коми яз.: *ки’ссö шонтис-пöляплис* ‘руки грел-дул’, *полöни-локтöни еджыдъяс* ‘боятся-идут белые’, *сулалö-вугралö вöрыс* ‘стоит-дремлет лес’, а к полюсу (одно действие) — все бесчисленные сочетания подчеркнута изобразительного характера вроде (опять из коми) *тапикасьö-мунö* ‘идет, грузно ступая широкими ступнями ног (обычно медведь)’, *баджъялö-ветлөдлö* ‘ходит, ступая вразвалку тяжелой походкой (обычно курица)’, а также сочетания с полной или частичной десемантизацией (грамматикализацией) второго члена, ср. *грым-мунö* ‘загромыхает’, *жуль-мунö* ‘разлетится вдребезги’ [*мунö* = ‘идет’]. Кроме того, русскую картину напоминает наличие как синонимических, так и антонимических примеров; к последнему типу относятся вышеприведенные примеры из мордовского языка ‘открывать-закрывать’ = ‘пользоваться дверью’ и ‘выходить-входить’ = ‘быть беспокойным’. Особенно показательны квазисинонимические сочетания со значением ЛФ Magn или длительности; ср. коми: *думайтны-мөвпавны* ‘думать-размышлять’, *сёрнытны-варовитны* ‘говорить-болтать’, эрзя-мордов.: *теемс-анокстамс* ‘делать-производить’, мари: *чияш-ясанаш* ‘одеваться-наряжаться’. Как и следовало ожидать, прием суммирующего (кумулятивного) сочетания, столь распространенный в словообразовании финно-угорских языков, присутствует и в глагольном удвое-

финно-угорских языков склоняют к выводу о том, что представление о существовании какого-либо общего предка мордовского языка и языка мари беспочвенны (см. об этом: [Abondolo 1998: 3]).

нии: в частности, все известные из русского фольклора примеры вроде *есть-пить*, *кормить-поить*, *готовить-печь*, *пахать-сеять*, *одевать-обувать* имеют свои точные эквиваленты в указанных финно-угорских языках. В связи с этим следует также упомянуть о венгерских образованиях *eszik-iszik* ‘ест-пьет’ и *étel-ital* ‘кормление-поение’ > ‘воспитание’ [Пачаи 1995: 98].

Ввиду этих несомненных общих черт расхождения между восточнославянской и финно-угорской моделью оказываются второстепенными. Самое яркое из них — отсутствие возможности перестановки глагольных компонентов в финно-угорской модели: так, в сочетаниях, выражающих темпоральную последовательность, иконический порядок строго фиксирован, ср. коми: *гӧрны-агсасны* ‘пахать-боронить’ при недопустимости **агсасны-гӧрны* [Сидоров 1992: 25]. Все остальные различия имеют сугубо локальный характер. К примеру, кроме «чистой» модели удвоения в таких языках, как мари и удмуртский, подвергавшихся раньше длительному влиянию соседних тюркских языков (чувашского, позднее и татарского), встречается и вариант ‘спрягаемый глагол + конверб (деепричастие)’¹⁸; при этом финитные глаголы вроде ‘пойти’, ‘прийти’, ‘взять’ и ‘кончить’ часто превращаются в маркеры видовых значений. Для мордовского особенно характерны однокоренные сочетания, в составе которых деепричастие выступает как интенсификатор (т. е. как выражение ЛФ Magn), ср. *ливтязь ливтямс* ‘летя лететь’ (в русском здесь отдается предпочтение «чистому» удвоению типа *ждать-ожидать*). И наконец, глагол ‘делать’ употребляется в коми в функции маркера аттенуативного способа действия: ср. *зуйны-керны* ‘дремать’, а в удмуртском языке тот же глагол оформляет заимствования из русского языка, ср. *исследовать карыны, изливать карыны*.

Ограниченные рамки данной статьи не позволяют вдаваться в какие-либо сравнения количественного характера. Отметим лишь, что тип образительного (образного или звукового) описания данного действия, например, в коми представлен гораздо богаче, чем в русском, и что некоторые глагольные корни путем грамматикализации превратились в суффиксы (см. [Сидоров 1992: 28]); кроме того, следует учитывать отсутствие какой бы то ни было стилистической окраски либо прикрепленности к определенным функциональным разновидностям языка, как это наблюдается в случае русских двойных глаголов. В целом можно констатировать, что процесс глагольной сериализации в финно-угорских языках более продвинут, чем в русском, хотя и здесь и там тройные цепочки появляются редко. Оно и неудивительно: принцип глагольного удвоения, как было показано, в славянских языках вторичен и может рассматриваться как результат сокращения сочинитель-

¹⁸ Не лишним будет напомнить, что в финских диалектах вместо деепричастных оборотов представлены сочетания типа ‘неспрягаемый глагол + инфинитив’ в функции «колоративной конструкции», причем иногда дескриптивный инфинитив принимает значение Magn, ср. *syuvä jauha* ‘есть-молоть’, *itkii huutaa* ‘плакать-кричать’ (см. [Оллыкяйнен 1981]).

ного ряда; в финно-угорских же языках, где первоначально союзная связь (и тем самым союзное сочинение) полностью отсутствовала, он имеет самые древние корни. Этим объясняется и бóльшая семантическая слитность некоторых финно-угорских сочетаний по сравнению с их русскими соответствиями: если, например, мордовское сочетание 'выходить-входить' обозначает 'быть беспокойным', то его русский эквивалент в силу своей эфемерности допускает лишь буквальное прочтение. Отметим попутно, что сам принцип замены родового понятия (гиперонима) с помощью суммирующего сочетания двух гипонимов особенно характерен для финно-угорского словообразования, ср. общеизвестные названия 'лица' в виде 'рот-нос', 'глаз-нос', 'глаз-рот'.

В связи со сказанным хотелось бы указать на малоизвестную среди русистов монографию [Ткаченко 1979], где тщательно прослеживаются возникновение и судьба русского сказочного зачина *жил-был*. На основании косвенных доказательств (например, отсутствия точного структурного соответствия в других славянских и соседних неславянских, но индоевропейских языках, а также более широкого распространения — не только в претерите, но и в презенсе или в нефинитных формах, кроме того, не только в зачине, но и в середине или конце сказок и даже в функции формулы вежливости¹⁹ той же формулы в самых различных финно-угорских языках, в том числе и эстонском, карельском и т. п.) автор приходит к выводу, что русское *жил-был* является калькой финно-угорского сочетания **elä(-)wole-*, унаследованного в качестве субстрата из какого-то вымершего финно-угорского языка, на котором раньше говорили на территории центральной России²⁰. По свидетельству древнерусских хроникальных записей, таким языком мог быть меря и, возможно, граничивший с ним муромский.

Кажется, что этот вывод можно обобщить: не только отдельные лексикализованные формулы оказываются кальками финно-угорских парных сочетаний, но и сам принцип русского глагольного удвоения как таковой заимствован, по всей видимости, из соседствовавших когда-то с русским представителей финно-угорской языковой семьи. Но и это не последнее: как известно, принцип удвоения охватывает также другие части речи, в том числе именные сочетания вроде *мать-отец*, *купля-продажа*, *путь-дорога*. Несмотря на очевидные различия между именными и глагольными парными образованиями (в отличие от последних, именные пары могут, например, за счет несклоняемости первого компонента перейти от синтаксической конструкции к словообразовательной модели; кроме того, они чаще всего

¹⁹ В связи с этим следует указать на русский фразеологизм «Как живешь-можешь?», который также отражает финно-угорский образец.

²⁰ Интересно отметить, что все еще пользующаяся среди русистов популярностью альтернативная гипотеза о славянском происхождении формулы *жил-был* (обычно ее выводят из давнопрошедшего времени) отстает исключительно авторами, которым работа [Ткаченко 1979], по всей видимости, неизвестна.

стилистически нейтральны и употребляются даже в качестве научных терминов), нельзя отрицать их просодические и семантические сходства: оппозиции ⟨одно действие : два различных действия⟩ у глагольной модели соответствует оппозиция ⟨один референт : два различных референта⟩ в случае именной модели, кроме того, встречаются также суммирующее, синонимическое, антонимическое и конверсивное соотношения обоих членов и т. п.²¹

Тривиальным образом, параллельная структура глагольного и именного удвоения становится еще прозрачнее при номинализации глагольных пар, ср. *купля-продажа* (ср. *покупать-продавать*) или *жизнь-бытьё* (ср. *жил-был*). Генетическая картина здесь, однако, осложняется, поскольку в случае именных сочетаний существует, с одной стороны, праславянская модель, а с другой стороны, на этот раз и тюркские языки не исключены как пробразец отдельных образований²². Тем не менее несомненно заслуживает внимания мысль, высказанная И. Пачаи [Пачаи 1995], который предлагает рассматривать все парные слова русского языка в контексте «восточноевропейского ареала», включая не только уральскую и алтайскую группы, но также дальневосточные и новоиндийские языки.

Здесь нет возможности обсуждать другие предполагаемые заимствования из финно-угорского субстрата; как известно, в большинстве случаев его действие отражается только в севернорусских диалектах²³. Единственным надежным кандидатом на общерусское распространение и на литературный статус являлось до сих пор оформление посессивных бытийных предложений с помощью адессивного предлога у²⁴. Кажется, что прием глагольного удвоения представляет собой второе, хотя в стилистическом отношении

²¹ По поводу синтаксических и семантических сходств и различий между именным и глагольным типами удвоения см. [Вайс 2000: 361—363] (там же литература об именных парных образованиях).

²² О подобных именных парных словах в татарском языке см. [Ганиев 1982], об одной конкретной модели, тюркское происхождение которой не подлежит сомнению (рифмованные образования с семантически пустым вторым членом типа *хухры-мухры*), см. [Plähn 1987].

²³ Сюда относятся, например, постпозитивная частица *да/дак*, постпозитивная посессивно-определенная частица *-то* и результативные времена типа *у его уехано*; об этом см. [Leiponen 1998a, 1998b и 2002], где автор, кстати, не исключает и адстратного фактора. Влиянию прибалтийской группы финно-угорских языков приписывается обычно цоканье (о его древности см. [Зализняк 1995: 34]) и так называемое дополнение в именительном падеже, см. [Timberlake 1974].

²⁴ На тему частичного вытеснения общеславянского глагола *имети* адессивной моделью см. [Dingley 1995] и [Weiss, Raxilina 2002: 202]. В случае внешнего посессора, где предложный вариант, как известно, соперничает с дательным, употребление локативной конструкции приближает русский язык не только к финно-угорским языкам, но и ко всему северноевропейскому ареалу, включающему скандинавские, исландский и ирландский языки; об этом см. [König, Haspelmath 1998].

более ограниченное, но тем не менее тоже общерусское наследие финно-угорских языков, вымерших под давлением соседних восточнославянских диалектов после длительного периода массового двуязычия.

Источники

АиФ — Аргументы и факты

Голос народа — Голос народа: письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 1998.

ЛГ — Литературная газета

Совершенно секретно — газета

Тампере — Неопубликованная транскрипция магнитофонных записей интервью, взятых у жителей С.-Петербурга в начале 90-х гг. Составлены в университете в Тампере (Финляндия). Рук. М. Лейнонен.

Хрущев. Воспоминания — Н. С. Хрущев. Время, люди, власть. Воспоминания. Т. I—IV. М., 1999.

Литература

Алтунян 1999 — А. Г. Алтунян. От Булгарина до Жириновского. М., 1999.

Апресян 1974/1995 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика. М., 1974/1995.

Безносилова 1982 — Л. М. Безносилова. Синонимические отношения глаголов движения в коми языке // Советское финно-угроведение. XVII. 1982. С. 105—111.

Вайс 1993 — Д. Вайс. Двойные глаголы в современном русском языке // Категория сказуемого в славянских языках: модальность и актуализация. Акты международной конференции. Certosa di Pontignano (Siena), 26—29.03.1992. München, 1993. С. 67—97.

Вайс 2000 — Д. Вайс. Русские двойные глаголы: кто хозяин, а кто слуга? // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 356—378.

Дудыкова 1995 — В. М. Дудыкова. Синтаксис коми рассказа 20-х годов // Грамматика и лексикография коми языка. Сыктывкар, 1995. С. 48—53.

Ганиев 1982 — Ф. А. Ганиев. Образование сложных слов в татарском языке. М., 1982.

Жолобов 1998 — О. Ф. Жолобов. Символика и историческая динамика славянского двойственного числа. Frankfurt a.M.; Berlin; Bern, 1998.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Ковшова 1994 — М. Л. Ковшова. Концепт судьбы: Фольклор и фразеология // Понятие судьбы в контексте различных культур. М., 1994. С. 137—142.

Красильникова 1998 — Е. В. Красильникова. Инфинитив — имя существительное: (К соотношению их функций в подсистеме русской разговорной речи) // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988. С. 112—124.

Литвинов 1984 — В. П. Литвинов. Свойства эnumerативных предикатов // Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин, 1984. С. 54—62.

НОСС — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. Вып. 1—2. М., 1997—2000.

Оллыкайнен 1981 — В. М. Оллыкайнен. Описательные глаголы в финских диалектах в аспекте лексикографии // Прибалтийско-финское языкознание. Вопросы лексикологии и лексикографии. Л., 1981. С. 13—16.

Пачаи 1995 — И. Пачаи. Ареальные аспекты парных слов в русском языке. Ниредьхаза, 1995.

Сидоров 1992 — А. С. Сидоров. Избранные статьи по коми языку. Сыктывкар, 1992.

Ткаченко 1979 — О. Б. Ткаченко. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979.

Шведова 1960 — Н. Ю. Шведова. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.

Чхайдзе 1960 — М. П. Чхайдзе. Спаренные глаголы в марийском языке. Йошкар-Ола, 1960.

Abondolo 1998 — D. Abondolo (ed.). The Uralic Languages. London; New York, 1998.

Bisang 1995 — W. Bisang. Verb serialization and converbs differences and similarities // M. Haspelmath, E. König (eds). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. Berlin; New York, 1995. P. 137—188.

Csató 2001 — E. Csató. Turkic double verbs in a typological perspective // K. H. Ebert, F. Zuniga (eds.). *Aktionsart and Aspectotemporality in non-European Languages*. Zürich, 2001. P. 176—187.

Dingley 1995 — J. Dingley. *Imeti* in the Laurentian Redaction of the Primary Chronicle // H. Birnbaum, M. Flier (eds). *The Language and Verse of Russia = Язык и стих в России: In Honor of Dean S. Worth. On His sixty-fifth Birthday*. М., 1995. P. 80—87.

Kokkonen 2000 — P. Kokkonen. A comparison of Komi serial verbs with those in Udmurt and Volgaic // *Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum 7.—13.8.2000, Tartu. Pars V / Red. Tonu Seilenthal*. Tartu, 2000. P. 113—120.

König, Haspelmath 1998 — L. König, M. Haspelmath. Les constructions a possesseur externe dans les langues d'Europe // J. Feuillet (éd.). *Actance et Valence dans les langues de l'Europe*. Berlin; New York, 1998. P. 525—606.

Krueger 1961 — J. R. Krueger. *Chuvash Manual*. Bloomington, 1961.

Kuteva 1999 — T. A. Kuteva. On 'sit' / 'stand' / 'lie' auxiliations // *Linguistics*. Vol. 37/2. 1999. P. 191—213.

Leinonen 1998a — M. Leinonen. Syntactic convergence in Komi Zyryan and Northern Russian dialects // L.-S. Hahmo e. a. (eds). *Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 30-jähr. Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen*. 21—23. Nov. 1996. Maastricht, 1998. P. 151—157.

Leinonen 1998b — M. Leinonen. The postpositive particle *-to* of Northern Russian dialects, compared with Permic languages (Komi Zyryan) // *Studia Slavica Finlandensia*. T. 15. 1998. P. 74—90.

Leinonen 2002 — M. Leinonen. Morphosyntactic parallels in north Russian dialects and Finno-Ugric languages // *Scando-Slavica*. T. 48. 2002. P. 103—122.

Plähn 1987 — J. Plähn. Хуйня-муйня и тому подобное // *Russian Linguistics*. Vol. 11. 1987. С. 37—41.

Poppe 1968 — N. Poppe. *Tatar manual*. Bloomington, 1968.

Pullum 1990 — G. K. Pullum. Constraints on intransitive quasi-serial verb constructions in modern colloquial English // B. Joseph, A. M. Zwicky (eds). *When verbs collide. Papers from the 1990 Ohio State mini-conference on serial verbs*. Ohio State University. 1990. P. 218—239.

Schönig 1984 — C. Schönig. *Hilfsverben im Tatarischen*. Wiesbaden, 1984.

Timberlake 1974 — A. Timberlake. *The Nominative Object in Slavic, Baltic and West Finnic*. München, 1974.

Topolinjska 1984 — Z. Topolinjska. Perifrastični inhoativni konstrukcii vo južnomakedonskite dialekti // *Makedonski jazik*. XXXV. 1984. S. 29—43.

Topolińska 1995 — Z. Topolińska. Convergent Evolution, Creolization and Referentiality // *Travaux du Cercle linguistique de Prague*. Vol. I. 1995. P. 239—246.

Weiss, Raxilina 2002 — D. Weiss, E. Raxilina. Forgetting one's roots: Slavic and Non-Slavic elements in possessive constructions of modern Russian // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. Bd 55/2. 2002. P. 173—205.

А. А. ГИППИУС

СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА: ОПЫТ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ. I

§ 1. Произведения Владимира Всеволодовича Мономаха дошли до нас, как известно, в составе Лаврентьевской летописи 1377 г., включенные в статью 1096 г. «Повести временных лет» (далее — ПВЛ) под общей рубрикой «Поучение». Поскольку более дробная рубрикация летописной подборки отсутствует, название «Поучение» нередко используется также как обозначение первой и основной ее части; как две другие рассматриваются при этом послание Мономаха к Олегу Святославичу («Письмо к Олегу» или просто «Письмо») и заключительный молитвенный текст («Молитва»). Сам Мономах называет «Поучение» в узком смысле (как, впрочем, и послание к Олегу) «грамотицей». Договоримся использовать название «Поучение» только в узком смысле, обозначая подборку в целом сокращенно: ПВМ-Лавр. или просто ПВМ.

В более чем двухсотлетней истории изучения ПВМ, впервые изданного в 1793 г. А. И. Мусиным-Пушкиным, имеется четко обозначенная кульминация, разделяющая ее на два почти равных с точки зрения настоящего момента отрезка. Эту кульминацию образуют появившиеся почти одновременно, в последний год девятнадцатого и первый год двадцатого века работы Н. В. Шлякова [1900] и И. М. Ивакина [1901], остающиеся до сих пор наиболее обстоятельными исследованиями ПВМ, а книга И. М. Ивакина — и единственным в своем роде полным историко-филологическим комментарием к текстам Мономаха. Подведя итог изучению памятника в XIX в. и основательно продвинув его вперед, работы двух исследователей в то же время с редкой наглядностью продемонстрировали то, что и спустя сто лет продолжает характеризовать текстологическую проблематику ПВМ: она складывается почти исключительно из спорных вопросов. Темперамент, с которым два исследователя, работавшие с одним и тем же материалом и в равных стартовых условиях, доказывали противоположное по ключевым проблемам истории текста и его интерпретации, не мог, из-за одновременного появления их трудов, найти выхода во взаимной полемике, о чем приходится пожалеть: такая полемика неизбежно обнажила бы как сильные, так и слабые стороны в аргументации обоих авторов, что, возможно, позволило бы нащупать пути преодоления расхождений. Этого не произошло, и в

дальнейшем разброс во взглядах на происхождение и состав ПВМ только продолжал расти.

Главная причина медленного прогресса в текстологическом изучении ПВМ вполне очевидна. Сохранность памятника в единственном списке до крайности затрудняет получение объективных результатов как в области критики текста, так и в плане его истории, превращая текстологию ПВМ в поле конкуренции более или менее правдоподобных гипотез, верифицировать которые чаще всего не представляется возможным.

Единственным прибежищем «внешней» текстологии в изучении текстов Владимира Мономаха является поиск их источников и параллелей к ним. Не удивительно, что именно в этой области русской филологией XIX в. были достигнуты наиболее значительные успехи. Круг известных сегодня источников ПВМ и его предполагаемых литературных образцов более чем на 90% составляют тексты, указанные С. Протопоповым [1874], В. А. Воскресенским [1893], Н. В. Шляковым [1900] и И. М. Ивакиным [1901]. Из позднейших уточнений и добавлений наиболее важные были сделаны Г. Кайпертом, обнаружившим непосредственный источник цитируемой Мономахом речи Василия Великого в житии святого [Keipert 1975]; см. детальное сопоставление текстов: [Müller 1979], и Р. Матъесеном [1971], опознавшим в 13-м фрагменте «Молитвы» один из тропарей «Канона молебного» Кирилла Туровского. В основном же внимание исследователей XX в. привлекали уже более отдаленные аналогии «Поучению» вроде поучения англосаксонского короля Альфреда [Алексеев 1935], «Советов Кекавмена» [Suževska 1952] и др., вплоть до «Октавия» Минуция Феликса [Данилов 1947].

В области критики текста ПВМ двадцатый век также главным образом пожинал плоды девятнадцатого. Многочисленные ошибки Лаврентьевского списка потребовали исправлений уже от первых издателей памятника. Большинство конъектур, принятых в современных публикациях, восходит к работам Ф. Миклошича и И. М. Ивакина. Последний, упрекая Миклошича в злоупотреблении конъектурами, в действительности пошел гораздо дальше своего предшественника, предложив большое количество собственных поправок, отчасти — вполне обоснованных, но нередко излишних, а иногда и произвольно меняющих смысл ясно читаемого текста. Е. Ф. Карский, публикуя сочинения Мономаха в 1-м томе ПСРЛ, прибегал к конъектурам с большой осторожностью, внося их в основной текст лишь в случаях крайней необходимости. К сожалению, последующие публикаторы пошли по иному пути. Можно только удивляться тому, насколько некритически даже самые фантастические из конъектур И. М. Ивакина (речь о них подробно пойдет ниже) были приняты А. С. Орловым [1946], а затем и Д. С. Лихачевым в академическом издании ПВЛ [1950/1996]. Авторитет этого издания способствовал тому, что интерес к критике текстов Мономаха (как и в целом — ПВЛ) был в значительной мере утрачен отечественной наукой второй половины XX в.¹

¹ К немногим исключениям относятся работы Н. А. Мещерского [1977; 1980].

Во втором издании 1996 г. «Поучение» было перепечатано без существенных изменений, а во вторичных публикациях, основанных на издании 1950 г. [ПЛДР 1978, БЛДР 1997], — и без критического аппарата, в результате чего читатель, получающий текст с конъектурами, даже не подозревает, насколько существенно он местами расходится с рукописью.

Малоудовлетворительно выглядят и итоги историко-текстологического изучения памятника. В настоящее время ни у кого не вызывают сомнений, как кажется, только два положения: 1) что в летописную подборку включено письмо Мономаха к Олегу Святославичу, написанное в 1096 г., и 2) что сложение комплекса относится ко времени после 1117 г., которым датируется последний поход, названный в «летописи путей». И то и другое было установлено еще первыми исследователями ПВМ.

Еще по ряду вопросов имеет место, скорее, видимость консенсуса. Так, после работы Р. Матъесена [1971] считается доказанным [Лихачев 1987: 100; ПВЛ 1996: 637; Подскальски 1996: 352], что заканчивающая подборку «Молитва» перу Мономаха не принадлежит, поскольку в ней использован «Канон молебный» Кирилла Туровского. Это, а также отсутствие комплекса сочинений Мономаха во всех списках ПВЛ, кроме Лаврентьевского, является основанием для широко распространенного ныне взгляда, согласно которому комплекс в целом был включен в летопись сравнительно поздно — не ранее второй половины XII в. Разбору этих положений будет посвящен специальный раздел нашей работы, пока же заметим только, что логика их обоснования кажется более чем спорной ².

§ 2. Особенно малоудачным приобретением новейшей историографии ПВМ представляется выделение в качестве самостоятельного сочинения Мономаха его «Автобиографии», или «Летописи», см. [Обнорский 1946: 33, 80; Рыбаков 1962: 269—272; Лихачев 1987: 100; Толочко 2003: 91—96]. Станным образом, этот взгляд, пришедший на смену традиционному представлению об «Автобиографии» как органической части «Поучения», никогда и никем специально не обосновывался ³. Тем не менее он настолько прочно закрепился в литературе, что в последних публикациях

² Тезисное изложение нашей позиции по этим вопросам см.: [Гиппиус 2003]. Заметим сразу, что мы видим достаточно оснований считать, что «Молитва» в ее первоначальном виде была составлена Мономахом и изначально находилась в составе подборки его сочинений.

³ В подробных комментариях Д. С. Лихачева к изданию ПВЛ 1950 г. ничего не говорится о самостоятельности «Автобиографии», тогда как в работе 1987 г. она представлена уже как самоочевидный факт. Первым об «Автобиографии» как самостоятельном произведении Мономаха заявил, как кажется, С. П. Обнорский [1946], ссылаясь при этом на В. М. Истрина. Однако Истрин [1922: 163] вовсе не склонен был отделять «Автобиографию» от «Поучения» и полагал лишь, что при составлении «Поучения» Мономах использовал какие-то дневниковые записи.

автобиографическая часть «Поучения» печатается даже с отдельным подзаголовком: «Рассказ Мономаха о своей жизни» [ПЛДР 1978: 403; БЛДР 1997: 465].

Выгоды от такого членения летописной подборки столь же сомнительны, сколь очевидны трудности, которые оно создаст для изучения комплекса. Чтобы отделить «Автобиографию» от «Поучения», приходится резать по живому; собственно «Поучение» оказывается при этом лишенным конца, в то время как концовка «рассказа о жизни» имеет отчетливо дидактический характер. Композиционно автобиографический рассказ составляет неотъемлемую часть «Поучения»: перечисление княжеских «трудов» Мономаха — его «путей и ловов» — вырастает из призыва к детям неустанно трудиться, а продолжающее его описание образа жизни автора идейно и текстуально увязано с наставлениями, содержащимися в той части текста, которую иногда определяют как «княжеское зеркало».

Можно было бы предположить, что эти композиционные связи вторичны и возникли в результате взаимного приспособления текстов «Поучения» и «Летописи», произведенного самим Мономахом. Так представлял себе дело Д. С. Лихачев, отмечая, что «Летопись», как и письмо к Олегу, присоединена к «Поучению» «путем литературных переходов, носящих признаки сделанных автором» [Лихачев 1987: 100]. Сходным образом рассуждает и П. П. Толочко, замечая, что «Летопись» «не механически приложена к «Поучению», как, вероятно, поступил бы позднейший сводчик древних текстов, но органически была введена в его ткань. Для этого Мономаху пришлось перенести несколько заключительных фраз собственно «Поучения» в конец «Летописи» [Толочко 2003: 96].

Реконструкция редакторских усилий Мономаха по введению одного своего сочинения в композицию другого имела бы смысл, если бы вычленимый текст «Автобиографии» характеризовался внутренней законченностью и мог претендовать на сколько-нибудь определенный литературный статус. Между тем именно этими свойствами он не обладает. Очевидно, что летописью в собственном смысле слова «Летопись» Мономаха не является и что такое ее обозначение — не более чем условность. Так же, впрочем, как и название «Автобиография» — с той разницей, что автобиографический жанр не представлен «в чистом виде» ни в древнерусской, ни в византийской литературе этого времени, см.: [Hunger 1978: 161]. Между тем сочетание автобиографического начала с дидактическим — явление хорошо известное; оно присуще, в частности, типологически родственному нашему памятнику жанру царских завещаний (поучений), широко распространенному в литературах Древнего Египта, Двуречья и Малой Азии. На связь «Поучения» с этой литературной традицией с полным основанием указывает Дж. Гини [Ghini 1990: 86], анализируя сочинение Мономаха в контексте литературы «премудрости», к которой принадлежат и египетские «царские завещания». Есть все основания полагать, что сходство это не является только типологическим. В корпусе переводной церковнославянской книжности

представителем названного жанра являются апокрифические «Заветы 12 патриархов». Одна из частей этого апокрифа — «Завет Иуды» — уже давно обращала на себя внимание в связи с «Поучением» Мономаха. Еще П. А. Лавровский [1864: 344] указал на сходство между описанием черниговской охоты Мономаха и охот Иуды. Несмотря на отсутствие прямых текстуальных совпадений, сходство это настолько разительно, что делает весьма вероятным использование Мономахом «Завета Иуды» как литературного образца для описания своих охотничьих подвигов⁴. Но поскольку в апокрифическом «заветании» соответствующий фрагмент, как и изложение военной биографии Иуды, неотделим от наставления детям, восходящей к этому тексту следует считать и саму модель «поучения-автобиографии», использованную Мономахом. Старый взгляд, не отделявший «Автобиографию» от «Поучения», представляется поэтому совершенно справедливым (его, заметим, придерживается и ряд современных исследователей, см. [Копреева 1972; Кусков 1982: 72; Робинсон 1984: 424; Оболенский 1998: 477—479; Конявская 2000: 63—64]).

Нельзя вместе с тем не признать, что в том виде, в каком «Автобиография» (условно сохраним это обозначение за автобиографической частью «Поучения») читается в ПВМ-Лавр., с однообразным перечислением «путей», сбивчивой хронологией, перечнями отпущенных и перебитых полковничьих князей и т. д., она вряд ли может восприниматься как органичная составляющая дидактического по общей направленности произведения, что, вероятно, и породило мысль о первоначальной самостоятельности этого текста. Впрочем, далеко не цельное впечатление производит и первая часть памятника, перегруженная выписками из церковных книг и демонстрирующая малопонятные скачки авторской мысли. Современного читателя «Поучения», имеющего представление о специфике средневековой эстетики и при этом не сковывающего себя абстрактным пиететом перед «классикой» древнерусской литературы, не покидает ощущение контраста между редкостной выразительностью отдельных фрагментов и бросающейся в глаза аморфностью общей композиции. В последнем проще всего увидеть проявление литературной неискусственности Мономаха. Так поступает, например, Г. Подскальски: излагая содержание «Поучения», он несколько раз прибегает к выражениям типа «без всякой логики», чтобы заключить под конец: «Некоторая несвязность мысли, очевидно, была заметна и самому автору, коль скоро и в начале, и в середине, и в конце *Поучения* он просит у читателя снисходительности» [Подскальски 1996: 354]. Хотя стандартные формулы авторского самоуничижения вряд ли следует под пером Мономаха понимать столь буквально, эта трезвая оценка литературных достоинств текста, каким он дошел до нас в Лаврентьевской летописи, кажется существенно более перспективной, чем попытки увидеть в нем безупречную «дихотомиче-

⁴ Недавно на значение этого источника Мономаха вновь указал И. Н. Данилевский [1999].

скую» композицию [Шляков 1900: 256—257] или какой-либо иной строгий план.

Исследователи, не склонные закрывать глаза на композиционную непоследовательность «Поучения», как правило, объясняют ее жанровой спецификой Мономаховой «грамотицы» или же нахождением ее вне жанровой систематики как таковой. Т. Н. Копреева [1972: 107] пишет о «конструктивной нечеткости», заложенной в природе автобиографического жанра, к которому она относит ПВМ в целом; Дж. Гини [Ghini 1990: 88] видит в «отсутствии жесткой структуры» структурную характеристику «дискурса премудрости» (*'discorso' sapienziale*), в русле которого, по его мнению, создавал свои тексты Мономах; Е. Л. Конявская [2000: 59] говорит о композиционной и жанровой «нерегламентированности» как определяющих чертах «Поучения».

«Нерегламентированность» (с точки зрения риторической организации византийской литературы), вообще говоря, до некоторой степени свойственна ранневосточнославянской литературе в целом, см. [Живов 2002: 100—108], и летописная подборка сочинений Мономаха демонстрирует это весьма ярко. Вопрос только в том, действительно ли это качество было присуще «Поучению» с самого начала (в таком случае его естественно объяснять сводным характером текста, вобравшего в себя литературные материалы различного происхождения) или же композиционная «нечеткость» нашего памятника есть результат его постепенного формирования, следствие тех изменений, которым подверглось в процессе редактирования первоначальное «Поучение», обладавшее более внятной композицией и более выдержанное в жанровом отношении. Более вероятным нам представляется второе.

Важнейшие свидетельства того, что композиция «Поучения», какой мы застаем ее в ПВМ-Лавр., действительно не является первоначальной, были приведены И. М. Ивакиным, но остались незамеченными в последующей литературе. Не получила развития и брошенная вскользь мысль Д. С. Лихачева о том, что написанное в 1099 г. «Поучение» было основательно переработано Мономахом в 1117 г., см. [Лихачев 1987: 100]. И это не случайно. В текстологическом изучении сочинений Мономаха акцент, как правило, делается на количестве входящих в него произведений, их границах и отношениях между собой. Намного меньше внимания традиционно уделяется фактам, свидетельствующим о внутренней неоднородности отдельных частей летописной подборки. Можно сказать, что проблема линейной, «горизонтальной» сегментации комплекса практически полностью заслонила в историографии проблему «вертикальной» стратификации его составляющих. Между тем именно стратификационный подход, направленный на выявление в сочинениях Мономаха исходной основы и вторичных напластований различной глубины, способен, как мы постараемся показать, пролить свет на ключевые вопросы истории комплекса.

§ 3. Проблема текстологической стратификации «Поучения» (еще раз напомним, что речь идет о «Поучении» в узком смысле, т. е. тексте ПВМ-Лавр. за вычетом «Письма» и «Молитвы») неотделима от проблемы его датировки, и, прежде чем заняться ею, следует коснуться этой стороны дела. Существо дискуссии, ведущейся уже двести лет вокруг времени создания «Поучения», ее главную «интригу» составляет вопрос: было ли «Поучение» одновременно создано Мономахом после 1117 г. или же складывалось поэтапно?

Первая точка зрения восходит к А. И. Мусину-Пушкину [Духовная 1793], рассматривавшему «Поучение» в целом как духовную грамоту Мономаха, написанную им в преклонном возрасте. Первооткрыватель памятника исходил при этом, с одной стороны, из факта окончания «летописи путей» походом на Ярославца Святополчича, датируемого на основании ПВЛ 1117 г., а с другой — из понимания слов *сѣдѣ на санѣх*⁵ в начале Мономаховой «грамотицы» как образного выражения, означающего 'будучи при дверях гроба'.

Альтернативная гипотеза, автором которой является М. П. Погодин [1861—1863], исходит, напротив, из буквального (или близкого к таковому) прочтения этих слов как указания на конкретные обстоятельства зимнего санного пути, в котором Мономах писал свою «грамотицу». Такая их трактовка проистекает из сопоставления двух мест «Поучения»: читаемой в середине «летописи путей» фразы *се нынѣ иду Ростову* [250. 2—3]⁵ и сцены встречи на Волге с послами братьев, предложивших Мономаху, в нарушение крестного целования, участвовать в походе против Ростиславичей. Отказ Владимира, отъезд послов и гадание на Псалтыри, в которой Мономах искал утешения в тяжелую минуту, представлены в «Поучении», по мнению Погодина, как давшие импульс к составлению всего труда. Поскольку путь в Ростов пролегал по Волге, Погодин отождествил поездку, в которой Мономах повстречал послов, с той, о которой он говорит в «Поучении» в настоящем времени, и заключил, что именно в ней и было написано «Поучение». Согласно Погодину, послов к Мономаху отправил Святополк Изяславич, который, изгнав Давыда Игоревича из Владимира весной 1099 г., «нача думати на Володаря и Василька» [ПВЛ: 114]. Датируя этим временем создание основного текста «Поучения», Погодин считал продолжение «летописи путей» (после слов *се нынѣ иду Ростову*) написанным позже, после 1117 г.

Общая схема рассуждений М. П. Погодина была воспринята С. М. Соловьевым [I: 380, 679; II: 84, 85], сделавшим к ней следующую очень существенную поправку. Посольство, встреченное Мономахом на Волге, Соловьев связал не с действиями Святополка в 1099 г., а с походом, который коалиция князей замышляла против Ростиславичей годом позже, в связи с невыполнением ими решений Витичевского съезда, собиравшегося в авгу-

⁵ Текст ПВМ цитируется по [ПСРЛ 1962], с современной пунктуацией. В скобках указываются столбцы и строки издания.

сте 1100 г. Временем написания «Поучения» оказывается в таком случае зима 1100/01 г. В редакции Соловьева гипотеза Погодина была принята М. С. Грушевским [1905: 99] и А. А. Шахматовым [1916: XXXVIII—XL] ⁶.

В ее оригинальном виде погодинская гипотеза была подвергнута критике И. М. Ивакиным, вернувшимся к предложенной А. И. Мусиным-Пушкиным трактовке «Поучения» как текста, созданного единовременно после 1117 г. Основные возражения Ивакина против схемы Погодина сводятся к следующему.

1. Факты, сообщаемые Мономахом в том разделе «Поучения», где речь идет об отношениях с половцами, указывают на время после ряда крупных побед, одержанных русскими князьями над степью в 1103, 1107, 1111 гг.
2. Поездка Мономаха в Ростов, о которой говорится в настоящем времени, не может быть тождественна той, в которой произошла встреча с послами. Основания утверждать это Ивакин приводит следующие:
 - 2.1. Судя по положению фразы в «летописи путей», поездка в Ростов могла иметь место не ранее 1102 г., тогда как встречу с послами Погодин относит к 1099 г.
 - 2.2. Поскольку согласно ПВЛ Владимир был взят Святополком в Великую субботу, приходившуюся в 1099 г. на 9 апреля, посольство к Мономаху, отправленное после этой даты, не могло встретить его на зимнем пути в Ростов.
 - 2.3. Послы, направлявшиеся из южной Руси, вообще не могли встретить Мономаха по пути в Ростов — на этом пути они могли его только догнать, тогда как в «Поучении» сказано: *оусрѣтѡша*.
3. В «Поучении» встреча с послами представлена как повод к гаданию по Псалтыри, а вовсе не к составлению всей «грамотицы».

Считая таким образом проводимые Погодиным связи между тремя контекстами мнимыми, Ивакин настаивает на метафорическом прочтении слов *сѣдѣ на санѣ* и в качестве единственного датирующего признака рассматривает доведение «летописи путей» до 1117 г. «Для всякого непредвзятого исследователя, — пишет Ивакин [1901: 6], — упомянутый в грамотице поход на Ярославца есть прямое указание на то, что она написана после него».

На пути возвращения к старому взгляду на «Поучение» как текст, созданный целиком после 1117 г., оказалось единственное препятствие в виде настоящего времени фразы *се нынѣ иду Ростову*. Ивакин обошелся с ним

⁶Особое ответвление погодинской гипотезы представляет точка зрения Н. В. Шлякова [1900]. Поездку в Ростов, о которой Мономах говорит в настоящем времени, исследователь датирует 1106 г. и путем сложных умозаключений обосновывает исключительную по своей точности датировку памятника: 8—10 февраля 1106 г. в погосте Волга недалеко от Ростова. Искусственность этой датировки справедливо отмечалась в литературе (см. [ПВЛ 1950/1996: 515]), в связи с чем мы специально не обсуждаем ее.

самым решительным образом, сочтя это место испорченным и предложив для него конъектуру: *и-Смоленска идохъ Ростову* [Ивакин 1901: 201—202].

Насколько убедительны контраргументы Ивакина против погодинской гипотезы?

Отвести первый не составляет труда, нужно лишь предположить, что пассаж о победах над половцами был дописан тогда же, когда была продолжена «летопись путей», т. е. после 1117 г.

Относительно аргумента 2.1 заметим, что относительная и абсолютная хронология «летописи путей» сама по себе составляет сложнейшую проблему. Как мы увидим в соответствующем разделе нашей работы, фрагмент, о котором идет речь, допускает альтернативные толкования, так что жестко обуславливать одним из них датировку памятника в целом в принципе не следует. Забегая вперед, скажем, что, с нашей точки зрения, данная поездка Мономаха в Ростов могла состояться не ранее зимы 1099/1100 г., что противоречит гипотезе Погодина в ее оригинальном виде, но вполне укладывается в ее усовершенствованную версию, предложенную Соловьевым.

Принятием соловьевской поправки полностью отводится и аргумент 2.2. Действительно, если бы послов отправлял Святополк весной 1099 г., они, с учетом времени, необходимого для поездки с Волыни на верхнюю Волгу, не могли застать Мономаха «в санях». Но если дело происходило после Витичевского съезда, собиравшегося в августе 1100 г., зимняя встреча оказывается вполне возможной.

Аргумент 2.3 настолько остроумен и изящен, что может показаться несколько легковесным (сам Ивакин отмечает данное обстоятельство как «курьез»). Между тем это наиболее серьезный из приведенных Ивакиным доводов против погодинской схемы. Употребление Мономахом глагола *оустьрѣсти* действительно предполагает, что послы двигались по Волге ему навстречу, и, следовательно, чтобы встретить их, Мономах должен был идти не в Ростов, а из Ростова. Защищая погодинскую схему, можно было бы предположить, что в данном употреблении акцентирован сам момент встречи, а не встречный характер предшествующего ей движения, однако такое допущение является уже определенной натяжкой.

Можно отчасти согласиться и с третьим контраргументом Ивакина. Встреча с послами и в самом деле жестко увязана в «Поучении» только с гаданием на Псалтыри, а не с написанием «Поучения» в целом. Однако данное соображение скорее заставляет сомневаться в деталях воссозданной Погодиным картины, чем опровергает ее. Невозможно, с другой стороны, согласиться и с Ивакиным в его попытке представить эпизод гадания как воспоминание из прошлого. Из текста недвусмысленно следует, что результаты гадания были тогда же упорядочены и записаны Мономахом, и таким образом возникла подборка псалтырных цитат, входящая в «Поучение». К этому мы еще специально вернемся.

Итак, из пяти аргументов Ивакина против схемы Погодина, с учетом поправки к этой схеме Соловьева, реальный вес может иметь только один —

2.3. Этого, однако, достаточно, чтобы признать данную схему не вполне адекватно описывающей подлинную ситуацию.

В то же время и предлагаемая Ивакиным альтернатива достигается слишком большой ценой. Конъектуру *и-Смоленска идохъ Ростову*, при помощи которой исследователь разделяется с не устраивающей его формой настоящего времени, нужно признать верхом бесцеремонности в обращении с древним текстом. Между тем это произвольное решение было воспринято последующей историографией, вошло в академическое издание ПВЛ и через него — во вторичные публикации «Поучения», в которых оно воспроизводится уже без упоминания действительного чтения Лаврентьевской летописи. Для текстологии «Поучения» этот конъектурный произвол имел самые печальные последствия.

Принятие конъектуры Ивакина (как и любых других «исправлений» для этого абсолютно ясно читаемого места)⁷ по сути дела закрывает возможность объективного восстановления истории текста памятника, выводя из игры ключевое свидетельство этой истории и сообщая любому построению, основанному на данной конъектуре, неприемлемую степень гипотетичности.

Восстановление в правах подлинного чтения Лаврентьевской летописи означает, что Мономах действительно работал над «Поучением», находясь в пути. Тем самым и выражение *сѣдѧ на санѣхъ*, вопреки устоявшейся традиции, должно восприниматься как отражающее в первую очередь эти путевые обстоятельства. Данное сочетание, напомним, употреблено в начале «Поучения» дважды, в следующих контекстах: 1) *Сѣдѧ на санѣхъ, помыслихъ в дѣи свои и похвалихъ Ба, иже мѧ сихъ днѣвъ грѣшнаго допровади* [241.4—6]; 2) *Аще ли кому не любѧ грамотица си, а не похрѣтаютьсѧ, но тако се рекуть: на далечи пути, да на санѣхъ сѣдѧ, безлѣвицу си молвилъ* [241.14—16]. Трактовка этого оборота Ивакиным и его последователями окрашена в полемические тона и далека от объективности. Вполне тенденциозной является уже попытка представить альтернативное толкование как «грубо-буквальное» [Ивакин 1901: 7], хотя в действительности оно точно так же предполагает в этих словах метафору, только более конкретную — обозначение обычного зимнего пути, а не пути в мир иной (ср. современное *сидеть на чемоданах* как метафору предотъездного ожидания). Представлять Мономаха в буквальном смысле пишущим в санях нет никакой необходимости, а

⁷ Такая попытка была совсем недавно сделана Д. Г. Хрусталевым [2002: 103—106]. Справедливо недоумевая по поводу легкости, с которой конъектура Ивакина закрепилась в изданиях «Поучения», исследователь предлагает взамен ее еще более фантастическое чтение: *с спѣльнъ идохъ Ростову*. Как полагает Д. Г. Хрусталев, здесь упоминается переяславский епископ Ефрем, сопровождавший Мономаха в походе в Ростов в 1101 г. для освящения Успенского собора в Суздале. Несмотря на детальнейшую палеографическую аргументацию того, каким образом из одной фразы получилась другая, данная конъектура вряд ли может рассматриваться иначе, как текстологический курьез.

долгие вечера в зимних становищах предоставляли князю более чем достаточный досуг для литературного творчества.

Удивление вызывает и комментарий Д. С. Лихачева: «Не ясно, зачем Мономаху надо было упоминать в данном контексте о том, что свое «Поучение» он писал в дороге; не ясно также, почему писание в дороге может оправдать какую бы то ни было “безлепицу”» [ПВЛ 1996: 517]. Второе замечание особенно странно ввиду наличия в «Поучении» следующего контекста, прямо ассоциирующего «безлепицу» с дорогой: *Аще и на кони ѿздаче, не будет ни с кыи шрудѣта, аще инѣх мѣтѣ не оумѣете молвити, а «Гѣи помилуи» зовѣте бес престани втаинѣ, та бо ѣсть мѣтва всѣх лѣвши, не жели мысли ти безлѣпицю ѿзда* [245: 16—20]. Как видно из этих слов, пребывание в пути в принципе рассматривается Мономахом как располагающее к праздным размышлениям; он опасается, что именно в этом, а не в старческом слабоумии, его могут упрекнуть дети. Конкретно-метафорическое прочтение выражения, таким образом, находит поддержку в тексте «Поучения». Напротив, истолкование его во втором контексте как метафоры приближения к смерти представляется совершенно невероятным: оно означало бы, что Мономах советует детям, если им придется не по душе его «грамотица», прямо посмеяться над находящимся у двери гроба отцом.

Малооправданным выглядит и первое возражение Д. С. Лихачева. «Пути» для Мономаха — едва ли не главный его жизненный труд, и акцентирование того, что свою «грамотицу» князь пишет, находясь в дороге, прекрасно согласуется с общим пафосом текста.

Сказанное не означает, что мы отказываем словам Мономаха в символическом прочтении. В их первом употреблении, по-видимому, заключено нечто большее, чем просто указание на обстоятельства зимнего пути. Коннотация близости к смерти, по-видимому, действительно присутствует в этом контексте и может быть связана как с общим замыслом «Поучения», так и с обстоятельствами создания текста. Использование Мономахом в качестве литературных образцов для своего труда текстов завещательного типа (таких как уже упоминавшееся «Завещание Иуды» или «Слово Ксенофонта к сыновьям» из «Изборника» 1076 г.), хотя и не дает оснований считать «Поучение» духовной грамотой в документальном смысле этого слова, сообщает ему определенные черты такого рода текстов, что заставляет воспринимать *сѣдѣ на санѣх* в ряду таких оборотов, как *отходя свѣта сего* или *отходя живота сего*, также, кстати, использующих метафору пути.

Заключать на этом основании, что «Поучение» писалось Мономахом в преклонном возрасте, как это нередко делается, не следует. «Ни молодой человек, ни человек среднего возраста, — пишет Д. С. Лихачев, — не могли бы обратиться с благодарностью к Богу, «допровадившему» их до их возраста» [ПВЛ 1996: 517]. Молодой человек, пожалуй, и не мог бы, но сорокашестилетний князь (таков был возраст Мономаха в 1100 г.), имевший за плечами более трех десятилетий «путей и ловов», в которых его жизнь не раз висела на волоске, имел для этого все основания. С другой стороны,

зимний санный путь представлял более чем подходящую обстановку для размышлений о смерти и мог легко быть осмыслен как прообраз того последнего пути, в который в свое время автору предстояло отправиться «на саях». Такое его осмысление было особенно уместно в ситуации нравственного кризиса, в который повергла Мономаха встреча с послами братьев.

Секрет Мономаховых «саней», делающий их ускользающими от однозначного толкования, состоит, возможно, именно в семантической двуплановости данного выражения. «Сани», о которых идет речь в «Поучении», — одновременно и реалья зимнего пути, отражающая обстоятельства создания текста, и образ пути в мир иной, соответствующий умонастроению и тематике рассуждений автора, в которых одно из ведущих мест принадлежит мысли о смерти. Эта амбивалентность придает данному выражению особую емкость, способность менять свое содержание в зависимости от контекста, что Мономах и использует с подлинным литературным мастерством. В первом случае позиция словосочетания в тексте актуализирует его символические коннотации, во втором — основное лексическое значение. Мономах как бы смиряется с тем, что дети могут воспринять написанное им «сидя на саях 2», т. е. в высоком символическом смысле этих слов, как «безлепицу», сочиненную «сидя на саях 1», т. е. просто зимней дорогой.

§ 4. Подводя итог разбору альтернатив, возникающих в связи с датировкой «Поучения», можно констатировать, что ни гипотеза Погодина (в редакции Соловьева), ни гипотеза Мусина-Пушкина (в редакции Ивакина) не объясняют непротиворечивым образом всей совокупности релевантных фактов. С одной стороны, вопреки Ивакину, настоящее время фразы *се нынѣ иду Ростову* однозначно показывает, что сложение «летописи путей» (а следовательно, и «Поучения» в целом, коль скоро автобиографическая часть входила в него с самого начала) прошло по крайней мере два этапа. С другой стороны, вопреки Погодину, данная фраза не может иметь в виду поездку, в ходе которой произошла встреча Мономаха с послами братьев. Вместе с тем описание этой сцены в «Поучении» не оставляет сомнений в том, что по крайней мере часть текста, а именно подборка выдержек из Псалтыри, была написана по горячим следам этой встречи.

Возможно ли примирить между собой эти положения? Рассуждая логически, следует признать, что такая возможность существует. Необходимо предположить, что этапов написания «Поучения» было не два, а три: один, заключительный — около 1117 г., до которого доведена «летопись путей», и два — на рубеже XI—XII вв. Один из этих ранних этапов, синхронный волжской встрече с послами, можно, следуя за С. М. Соловьевым (и с учетом наблюдения Ивакина относительно направления движения Мономаха и послов), датировать началом 1101 г., когда Мономах возвращался по Волге из Ростова в Переяславль.

Был ли этот этап первым или вторым? Что было раньше — встреча с послами или «путь» к Ростову, о котором Мономах говорит в настоящем

времени? Составила ли подборка псалтырных цитат основу, на которой происходило дальнейшее складывание текста, или сама она была вставлена в уже существующий текст? Оставаясь в кругу рассмотренных фактов, выбрать между этими вариантами оказывается невозможно. Да и само предположение о трех этапах создания «Поучения» не может пока не показаться чересчур умозрительным. Подтвердить или опровергнуть его способен лишь анализ текста с точки зрения возможного присутствия в нем разновременных пластов. Этим мы теперь и займемся.

§ 5. Для удобства анализа разделим текст на фрагменты, пронумеровав их и коротко охарактеризовав содержание и источники (там, где они цитируются дословно).

I. *Азь худыи... — ...безлѣпнцю си молвилъ* [240.24 — 241.15]. Представление автора, обращение к аудитории.

II. *Оусрѣтоша бо ма слы... — Аще вы послѣднѣи не любя, а переднѣи приимате* [241.16 — 241.26]. Встреча на Волге с послами братьев; гадание на Псалтыри.

III. *Вскую печална ѡси, дшѣ мота? — ...«воину хвала ѡго», и прочата* [241.26 — 242.36]. Выписки из Псалтыри, см. [Шляков 1900: 209—211]; [Müller 2000: 241—244].

IV. *Тѡко^ж бо Василии оучаше... — Слава тобѣ, Члѣколюбче!* [242.36 — 243.29]. Выписки из церковных книг:

IVa. *Тѡко^ж бо Василии оучаше... — ...и вѣчны^х блѣгъ насладитсѧ* [242.36 — 243.12]. Житие Василия Великого, [Keipert 1975; Müller 1979].

IVb. *Ѡ влѣще Бже, ѡми ѡубогаго срѣца моего гордость и буестъ, да не възношюсѧ суктою мира сего в пустошнѣмь семь жити* [243.13 — 243.15]. Источник не определен.

IVc. *Наоучисѧ, вѣрныи члѣче... — ...оумертви грѣхъ* [243.15 — 243.22]. Поучение Василия Великого, читаемое в Прологе, [Ивакин 1901: 95].

IVd. *Избавите ѡбидима, судите сиротѣ, ѡправдаите вдовицю. Придѣте да сожжемсѧ, глѣтъ Гѣ. Аще буду^м грѣси ваши тако ѡброцени, тако снѣгъ ѡблѣю ти, и прочее* [243.22 — 243.26]. Паремейное чтение Книги пророка Исаии (1:17—18).

IVe. *Восиаетъ весна постнѧи и цвѣтъ покатынѧ. Ѡчистимъ себе, братьѧ, ѡ всѧкоти крови плотскыи и дивныи. Свѣтодавцю вопьюще, рѣвмъ: слава тобѣ, Члѣколюбче!* [243.26 — 243.29]. Постная Триодь, песнопение вечерни среды Сырной недели, [Шляков 1900: 224].

V. *Поистинѣ, дѣти мота, разумѣите... — ...малы^и дѣломъ оулучити мѣтъ Бью* [243.29 — 244.9]. Рассуждение о пользе «трех добрых дел»: покаяния, слез и милостыни.

VI. *Что ѡсть члѣкѣ, тако помниши и? — ...да будетъ проклѣтъ* [244.9 — 245.2]. Похвала Творцу и творению, основанная на тексте 8-го псалма, «Шестодневе» Иоанна Экзарха и ряде литургических текстов, см. [Ивакин 1901: 101—103]; [Лихачев 1986].

VII. *Си словца прочитаюче... — ...аще не всего приїмете, то половину* [245.3 — 245.6]. Обращение к детям, открывающее собственное «наказание» Мономаха.

VIII. *Аще вы Бѣ оумажчить срѣце... — ...нежели мыслити безлѣпнцю вѣздѧ* [245.6 — 245.20]. Наставление о слезах и покаянной молитве; близкая параллель: «Слово, како встаяти в нощи молитися» Иоанна Златоуста, [Шляков 1900: 237].

IX. *Всего же паче оубогыѣ не забываете... — ...страхъ Бжїи имѣите выше всего* [245.20 — 246.28]. «Княжеское зеркало»: кодекс поведения добродетельного князя.

X. *Аще забываете сего, а часто прочитайте... — ...не можете сѧ лѣпити ни на что же доброѣ* [246.28 — 246.37]. Заключительные советы.

XI. *Первое к цркѣи... — ...и звѣрь, и птици, и человекѣи* [246.37 — 247.11]. Наставление об утренней и дневной молитве.

XII. *А се вы повѣдаю, дѣти мои, трудъ свои... — ...са^м есмь призираль* [247.12 — 251.33]. «Автобиография».

XIIa. *А се вы повѣдаю, дѣти мои, трудъ свои... — ...а прока не испомню меншиѣ* [247.12 — 250.29]. «Летопись путей».

XIIb. *И мировъ есмь створиль... — По череда^м избьено не съ .с̄. в то время лѣпшиѣ* [250.29 — 251.3]. Отношения с половцами.

XIIc. *А се тружахъ сѧ ловы дѣла... — ...ни щадѧ головы своети* [251.3 — 251.22]. Описание охот.

XIId. *Еже было творити штроку моему... — ...цркѣнаго нарѣда и службы са^м есмь призираль* [251.23 — 251.33]. Общее описание образа жизни автора.

XIII. *Да не зазрите ми дѣти мои... — Бжїе блюденъ лѣплѣвъ естъ члвчѣ каго* [251.33 — 252.13]. Заключительное обращение к детям.

XIV. *О многострѣтныи и печалны азъ!.. — На страшнѣи при бе-суперник ѡбличаюсѧ и прочее* [252.13 — 255.9]. Послание к Олегу Святославичу.

XV. *Прмдрѣти наставниче и смыслу давче... — Ѡцѣю и Снѣу и Стѣму Дхѣу всегда і нынѣ приѣ вѣкѣ* [255.10 — 256.23]. Молитвенный текст, состоящий из 14 фрагментов, в основном заимствованных из Постной Триоди, см. [Шляков 1900: 230—234]; [Матьесен 1971].

Следуя сложившейся традиции, мы называем текст отрезков I—XIII «Поучением», отрезок XIV — «Письмом», отрезок XV — «Молитвой». Еще раз подчеркнем, что эти обозначения используются нами как условные, поскольку, с нашей точки зрения, летописная подборка в целом, т. е. ПВМ-Лавр., вовсе не является механическим соединением трех самостоятельных сочинений, но имеет более сложную организацию. Текст, в котором все основные элементы ПВМ-Лавр. были впервые соединены вместе, будем называть «Избранным» Мономаха.

§ 6. Наличие в «Поучении» позднейших напластований, исказивших его первоначальную композицию, ярче всего демонстрируют следующие два

фрагмента, положение которых в ПВМ-Лавр. очевидным образом нарушает логику развертывания текста.

• [241.10] *Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, стра^х имѣите Бѣи в срѣци своѣмь и мл^тню творѣ нешкудну: то бо ѣсть начатокъ всакому добру.* В ПВМ-Лавр. фраза вклинена между двумя предложениями, в которых Мономах описывает возможную реакцию аудитории на его «грамотицу» (*но ѡму же любо дѣтии моихъ, а приметъ е в срѣце своѣ... Аще ли кому не люба грамотица си, а не похритаются...*). Разрывая связное рассуждение, она не находит в ближайшем контексте продолжения, которое содержательно предполагает.

• [245.3] *Си слова прочитаюче, дѣти мои, бж^етвната, похвалите Ба, давшиаго на^н мл^тть свою. И се ѿ худаго моего безумья наказание; послушайте мене, аще не всего приимете, то половину.* Как следует из текста, в этом месте должна проходить граница, отделяющая выдержки из Писания от собственного поучения Мономаха. Однако в Лаврентьевской летописи данной фразе предшествует авторское рассуждение, выражающее восхищение божественным мироустройством (отрезок VI). Навянный Шестодневом Иоанна Экзарха [Лихачев 1986], этот пассаж тем не менее никак не подходит под определение «божественные слова»⁸.

Оба эти противоречия были указаны И. М. Ивакиным, но в отличие от его конъектур к тексту памятника ничьего внимания не привлекли — видимо, из-за отпугивающей громоздкости предложенного объяснения. Принять это объяснение действительно невозможно, однако за ходом мысли исследователя интересно проследить.

«Думаю, — пишет Ивакин, — что словами *Первое, Ба дѣла etc.* начинается собственно уже Поучение, а слова *Аще ли кому не люба грамотица си* принадлежат ко вступлению, заканчивая его; т. е., думаю, что предложения эти (не без некоторого основания) переставлены» [Ивакин 1901: 77]. Вид текста до перестановки представляется Ивакину таким:

Да дѣти мои, или инъ кто, слышавъ сю грамотицю, не посмѣтисѣ, но ѡму же любо дѣтии моихъ, а приметъ е в срѣце своѣ, и не лѣнитисѣ начать, такоже и тружатисѣ. Аще ли кому не люба грамотица си, а не похритаются, но тако се рекуть: на далечи пути, да на санѣхъ сѣдѣ, безлѣтницю си молвить. Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, стра^х имѣите Бѣи в срѣци своѣмь и мл^тню тво-

⁸ Это относится как к прилагательному *божественный*, предполагающему сакральность называемого таким образом текста, так и к существительному *слова*, обозначающему только краткие изречения, афоризмы, но не пространные рассуждения, из которых складывается фрагмент VI. Ср. названия сборников таких изречений: *Слова избрана стго Исоухия; Слова прм^рти Соломона etc.* [Сперанский 1904: 418, 480, 501].

р.а нешкудну: то бо ѡсть начатокъ вс.акому добру. Оусрѣтоша бо м.а слы ѿ бра^{тн}и моети на Волзѣ...

Поскольку последняя фраза этого реконструируемого пассажа, начинающаяся с *бо*, «не вяжется с предыдущим», Ивакин допускает, что в списке «Поучения» в этом месте был утрачен лист или даже несколько листов. Переписчик решил как-то сгладить это противоречие и, заметив, что выше в тексте тоже говорится о дороге, поменял фразы местами, соединив *на далеци пути, да на сане^х сѣд.а, безлѣвнцю си молвить с Оусрѣтоша бо м.а слы*.

Важно напомнить, что, с точки зрения Ивакина, «путь», о котором здесь говорится, — это иносказание, образ пути в мир иной; приходится поэтому предполагать, что переписчик не понял этого выражения, соединив между собою контексты, никак друг с другом не связанные. Между тем, если исходить из конкретно-метафорического прочтения *на сане^х сѣд.а*, текст оказывается вполне связным: Мономах предвидит, что дети могут воспринять его слова как путевую «безлепицу», поскольку текст действительно создается в дороге, при излагаемых далее обстоятельствах. Предполагать здесь пропуск нет никаких оснований. Более того, последняя фраза фрагмента II (*Аще вы послѣдн.ага не люб.а, а передн.ага приимайте*) прямо отсылает к *Аще ли кому не люб.а грамотица си* в конце фрагмента I, что при допущении пропуска листа (листов) в протографе объяснить невозможно.

Таким образом, лакуну в протографе «Поучения» (допущение само по себе очень сильное!) Ивакин предполагает не там, где дошедший до нас текст содержит противоречие, а там, где это противоречие появляется, если принять гипотезу Ивакина о перестановке, к которой он прибегает для объяснения реального противоречия. Методологическая слабость этого построения, заключающего в себе классический *circulus vitiosus*, столь же очевидна, как и его искусственность: по Ивакину выходит, что переписчик, желая исправить композиционную несуразность своего антиграфа, породил вместо нее другую, еще более явную.

Продолжая комментировать текст, Ивакин, как еще одно свидетельство искажения первоначальной композиции, отмечает то, что цитата из псалма 41: *Вскую печална ѡси, дѣше моти? вскую смущаѡши м.а?* — повторяется дважды на протяжении короткого фрагмента: в эпизоде гадания на Псалтыри (II) и в подборке псалтырных цитат (III), которая также открывается этим стихом. На этом основании Ивакин заключает, что подборка в «грамотицу» Мономаха не входила и была вставлена позднейшими переписчиками. Согласиться с этим невозможно, так как указанные исследователем фрагменты на самом деле не дублируют друг друга, но выполняют каждый свою задачу: сначала Мономах описывает саму ситуацию гадания, «обозначив» первый выпавший ему стих, а затем предлагает читателю уже упорядоченные (в буквальном смысле: *и складохъ по р.аду*), то есть выстроенные в определенной смысловой последовательности выписки, начиная с того же стиха.

Задумываясь над тем, что следует понимать под «божественными словцами» в начале фрагмента VII, Ивакин замечает: «Выше он (Мономах. — А. Г.) назвал *словцами* (с прибавлением: *любая*) слова Псалтыри. Мне думается, что то место непосредственно связано с этим, так что за словами *И потомъ собра^х словца си любата, и складохъ по рѣду, и написа^х. Аще вы послѣднѣла не люба, а переднѣла приимайте* следовали слова: *Си словца прочитаюче*. Если так, то какие же *си*? Думаю — словца божественная, то есть книги св. Писания, читать которые автор — как я уже говорил — по всей вероятности внушал своим детям в ныне утраченном для нас месте (разрядка моя. — А. Г.) перед словами *Оусрѣтоша бо мѧ слы...*» [Ивакин 1901: 105]. Логика рассуждения здесь сходна с той, которую мы наблюдали выше: справедливо связав между собой «божественная словца» и «словца» Псалтыри, Ивакин понимает под первыми не реально присутствующие в «Поучении» выписки из Псалтыри (они уже объявлены поздней вставкой), а «книги св. Писания», о которых будто бы шла речь в утраченном, по предположению самого же Ивакина, пассаже. Не сковывая себя этим предположением, исследователь не мог бы не заметить, что идеальной кандидатурой на роль «божественных словец» являются те самые «словечки» — цитаты из Псалтыри, которые Мономах, упорядочив и записав, включил в свою «грамотицу».

Придя к выводу, что фрагмент VII следовал в «грамотице» Мономаха непосредственно за фрагментом II, Ивакин должен был объявить вставками не только псалтырную подборку III, но и отрезки IV—VI. С отрезками IV и VI он так и поступает, сочтя их позднейшими добавлениями. Однако фрагмент V сопротивляется такому обращению: в нем обнаруживаются те же авторские интонации, что и в других местах «грамотицы» (ср. обращения к детям: *Поистинѣ, дѣти мои, разумѣте... А Бѧ дѣла не лѣвите.с...*), между тем, по Ивакину, все, что является вставкой в текст «грамотицы», Мономаху не принадлежит, поскольку «Поучение» мыслится им как единовременно созданный после 1117 г. текст. Соответственно, отрезок V должен быть признан частью «грамотицы». Но где в таком случае ему место? Ивакин находит его перед фрагментом VIII, с которым этот отрезок действительно очень хорошо стыкуется: пассаж о слезах и покаянной молитве логически продолжает наставление о спасении «тремя добрыми делами»: покаянием, слезами и милостынею.

Но как же в таком случае фрагмент V оказался на его нынешнем месте? Ивакин вынужден признать, что не в состоянии объяснить этого. Было бы странно, если бы объяснение нашлось. Невозможность свести концы с концами — прямое следствие ложности части посылок, из которых исходит исследователь. Объясняя вместе с реальными композиционными противоречиями мнимые и сводя проблему стратификации к альтернативе «Мономах vs. позднейшие переписчики», Ивакин вынужден прибегать к искусственным решениям, но даже они не приводят к желаемому результату.

Неудачная попытка И. М. Ивакина восстановить первоначальную композицию «Поучения» не заслуживала бы столь подробного разбора, если бы сама постановка этой задачи не казалась нам глубоко оправданной характером материала, а отдельные шаги исследователя на пути к ее решению — верными и заслуживающими продолжения. Неудача Ивакина — не свидетельство бесперспективности стратификационного подхода к «Поучению», но следствие его подчинения априорному представлению об истории памятника, вообще говоря, не предполагающему наличия в нем разновременных слоев. По иронии судьбы, единственную пока попытку «расслоить» «Поучение», объяснив таким образом противоречия его композиции, принял самый убежденный сторонник гипотезы единовременного создания текста Мономахом, И. М. Ивакин. И наоборот, главным защитником композиционной цельности памятника стал Н. Шляков — приверженец идеи двукратного обращения Мономаха к своему тексту.

Между тем очевидно, что самые подходящие условия для стратификации текста создает как раз представление о поэтапном создании «Поучения» самим его автором. Оно, на наш взгляд, вполне позволяет решить эту задачу, не прибегая ни к предположениям о вставках позднейших переписчиков, ни к допущению утрат листов в протографе. Предлагаемая ниже реконструкция рассматривает «Поучение» как текст, в целом принадлежащий перу Мономаха и при этом дошедший до нас без механических утрат (если не считать нескольких не разобранных Лаврентием строк в начале текста).

§ 7. Отправным пунктом нашей реконструкции являются указанные в начале предыдущего раздела главные композиционные противоречия «Поучения».

Начнем со второго из них. Как уже было сказано, под «божественными словцами» во фрагменте VII естественно понимать текст, который как «словца» обозначает выше сам автор, — выписки из Псалтыри, сделанные Мономахом на Волге после отъезда послов: *И потомъ собра̄ словца си любага, и складохъ по рлду, и написа̄*. Это означает, что фрагменты IV—VI, полностью или отчасти основанные на литературных источниках, отсутствовали в первоначальном виде «Поучения», в котором «божественные словца» — подборку псалтырных стихов — непосредственно продолжало «наказание» детям самого Мономаха. Сразу заметим, что такая композиция кажется вполне естественной для текста, написанного в пути, в котором едва ли не единственной книгой — спутником Мономаха была Псалтырь.

Соглашаясь таким образом с Ивакиным в том, что указанные фрагменты являются редакторской вставкой, мы не видим оснований относить эту редактуру на счет позднейших переписчиков «Поучения». Напротив, привлечение выдержек из Жития и Поучения Василия Великого прямо свидетельствует, на наш взгляд, о том, что редактирование произошло самим Мономахом, святым патроном которого был, как известно, именно Василий Кесарийский.

Противоречивое положение в тексте фразы о страхе Божиим Ивакин объясняет попыткой переписчика залатать разрыв, вызванный утратой листов. Как уже было сказано, оснований предполагать такую утрату мы не видим. В то же время неуместность этой фразы в ее нынешнем контексте очевидна и может быть лишь следствием какой-то композиционной перестановки. Какой же именно?

Обратим внимание, что в тексте «Поучения» для данной фразы имеется зеркальное соответствие в виде концовки фрагмента IX, который мы условно обозначили как «княжеское зеркало». Ср.: *Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, страхъ имѣите Бѣи в срѣци своѣмь...* [241.10] и *Се же вы конецъ всему: страхъ Бѣжи имѣите выше всего* [246.27]. За симметрией этих фраз просматривается прозрачный композиционный замысел. Связанные между собой как «альфа» и «омега», они, очевидно, должны были составлять обрамление некоего дидактического текста.

Можно указать и источник такой кольцевой композиции. С очень большой вероятностью им можно считать компиляцию из «Стословца» патриарха Геннадия, входящую в «Изборник» 1076 г. и вообще весьма популярную в древнерусской письменности, см. [Сперанский 1904: 507—511; Veder 1983: 19, 25]. Основную часть этого текста, следующую за вводными религиозными советами общедогматического характера, составляют наставления, касающиеся различных аспектов поведения благочестивого мирянина. Свод этих наставлений открывается и заканчивается фразами, не только содержательно, но и текстуально близкими приведенным словам «Поучения»: *Страхъ Бѣжи имѣи въ срьдци въиноу* (л. 30); *Коньць же въсьмь прѣжсереченымь: възлюбииши Гѣ отъ въсета дѣла и страхъ ѿго да пребываетъ въ срѣци твоѣмь* (л. 60 об. — 61).

Обе параллели можно найти у Ивакина, который, однако, оставляет их без комментария. Между тем очевидно, что у Мономаха эти фразы образуют такую же пару, как и в «Стословце», то есть заимствуются не отдельные элементы, а сама композиционная схема. Но если в тексте-источнике симметричные фразы замыкают с двух сторон набор однотипных изречений-наставлений, то в «Поучении» аналогичное место занимает только вторая фраза, заключающая «зерцало»; первая же фраза о страхе Божиим, вместо того чтобы открывать «зерцало» (или «наказание» в целом), отделена от него большой порцией разнородного по характеру текста. Можно было бы подумать, что Мономах просто отступил от своего образца, не полностью соблюдая симметрию; но неуместность первой фразы в ее нынешнем контексте позволяет утверждать, что это не так и что в действительности налицо нарушение первоначальной композиции.

Подыскивая для перемещенной фразы более подходящее место, приходится выбирать между двумя возможностями:

1) в начале «наказания» Мономаха, после фрагмента VII. Здесь она действительно выглядит очень уместно: *И се ѿ худаго моего безумьта*

наказанье; послушайте мене, аще не всего приимете, то половину. Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, стра̄ имѣите Бӣи в ср̄ци своѣмь и мл̄тню твор̄а неωскудну...

2) в начале «княжеского зеркала», перед фрагментом IX. И в этом случае получаем весьма органично воспринимающийся текст: *Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, стра̄ имѣите Бӣи в ср̄ци своѣмь и мл̄тню твор̄а неωскудну: то бо ѣсть начатокъ всл̄кому добру. Всего же паче оубогь̄ не забываите...*

Возникает следующее противоречие. С одной стороны, фраза, начинающаяся с *первое*, должна была бы открывать «наказание»; между тем окончание ее, в котором звучит тема милостыни, содержательно стыкуется не с началом отрезка VIII, а с началом отрезка IX, где эта тема получает продолжение. Какой же из двух возможностей следует отдать предпочтение?

От затруднительного выбора избавляет уже приводившееся наблюдение И. М. Ивакина, заметившего, что фрагмент VIII, посвященный слезам и покаянной молитве, содержательно очень близок фрагменту V, где речь также идет о слезах и покаянии, и мог бы даже составить его прямое продолжение. Поскольку фрагмент V относится к блоку, который мы признали вставкой в первоначальный текст, то же мы можем предположить теперь и относительно фрагмента VIII.

К соотношению отрезков V и VIII мы еще вернемся; сейчас же для нас важно, что, трактуя фрагмент VIII как вставку, мы находим для фразы о страхе Божиим и милостыни контекст, в который она вписывается идеально с обеих сторон:

И се ѿ худаго можго безумьта наказанье; послушайте мене, аще не всего приимете, то половину. Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, стра̄ имѣите Бӣи в ср̄ци своѣмь и мл̄тню твор̄а неωскудну: то бо ѣсть начатокъ всл̄кому добру. Всего же паче оубогь̄ не забываите, но елико могуце по силѣ кормите, и придавайте сиротѣ, и вдовицю ωправдите сами, а не вдавайте силны̄м погубити члѣка...

Каким же образом первая фраза «зеркала» оказалась оторвана в ПВМ-Лавр. от его продолжения? Теоретически возможны два варианта ответа: или фраза была сознательно перенесена в начало «Поучения» из его середины, или же первоначально само «княжеское зеркало» читалось в начале текста, за вводным обращением к детям, но было отделено от него вставкой эпизода встречи с послами и подборкой выписок из Псалтыри. Из этих возможностей предпочтение, на наш взгляд, следует отдать второй.

По логике вещей, «правильным» местом для фразы о страхе Божиим, которой, как мы выяснили, первоначально открывалось «зеркало» и «наказание» Мономаха в целом, является позиция в абсолютном начале текста. В том же «Изборнике» 1076 г., где читается использованная Мономахом компиляция из «Стословца», таким образом начинается и «Наказание Исихия

Иерусалимского»: *Страхъ въиноу имѣи и Бжїю любовь и чисто къ всѣмъ срѣце. Самого надъ собою стогаиша Ба въроуи елькраты что твориши* (л. 62 об.)⁹. С наставлений о страхе Божиим начинается и книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, компиляция из которой также входит в состав Изборника 1076 г.

Следует думать, что и первоначальное «Поучение» Мономаха открывалось таким же образом. Это означает, что фраза о страхе Божиим в действительности никуда не перемещалась, а сохраняет свое исконное положение во введении; неуместность же ее между двумя обращениями к детям объясняется тем, что второе из этих обращений в исходном тексте отсутствовало и появилось вместе со вставным эпизодом встречи на Волге как переход к этому рассказу, который, в свою очередь, служит введением к блоку псалтырных цитат.

Вставку в уже готовое «Поучение» рассказа о пережитом автором нравственном испытании вместе с продолжающими его выписками из Псалтыри нельзя не признать глубоко осмысленной операцией; цель ее — увеличить силу воздействия текста на аудиторию, подкрепив собственные наставления авторитетом Писания. Результатом этой вставки и является композиция, в которой противопоставлены «божественные словца» Псалтыри и собственное «наказание» Мономаха.

Таким образом, заключив сначала, что основанные на литературных источниках фрагменты IV—VI, продолжающие подборку стихов Псалтыри, носят вставной характер и не принадлежат первоначальному тексту «Поучения», мы обнаруживаем теперь, что также вставкой, но уже другого порядка, является и сама эта подборка (III), вместе с вводящим ее эпизодом II, а также фрагментом VII, первоначально составлявшим переход от подборки к авторскому «наказанию». Схематически структуру этой двуступенчатой вставки можно представить так (в фигурные скобки заключены границы текста, вставленного на первом этапе редактуры, в угловые — на втором): {*Аще ли кому не люба грамотица си...* [241.13] — *также бо Василии оучаше...* [242.36] — *...да будетъ проклатъ* [245.2]} — *...аще не всего приимете, то половину* [245.6]}.

⁹ Заметим, что, как и в «Стословце», который, как считается, послужил источником данного текста, слова о страхе Божиим продолжены здесь наставлением полагать Бога постоянно находящимся рядом. То, каким образом эта мысль выражена в «Стословце», кажется имеющим прямое отношение к нашему тексту: *Страхъ Бжїи имѣи въ срѣбци въиноу и память акы тоу соушта Ба съ тобою на всѣакомъ мѣстѣ идеже идеши или сядеши* (л. 30). Наше внимание привлекает здесь упоминание места, «идеже сядеши». Не в этой ли параллели заключается разгадка пресловутого *сѣда на санѣ*? Даже в своем «грубо-буквальном» значении слова эти оказываются весьма уместны в начале текста. Размышления сидящего в санях Мономаха становятся образцом поведения христианина, постоянно, «на всяком месте», предающегося мыслям о Боге.

Осталось понять, почему при осуществлении первой редакции вставной текст разместился не перед «зерцалом» (что было бы естественно), но отсек от него начальную фразу о страхе Божиим. Можно было бы предположить, что Мономах, редактируя «Поучение», решил сохранить за этой фразой положение в начале текста как более соответствующее ее содержанию. Но мог ли автор, действуя сознательно, продолжить эту фразу вторым обращением к детям, никак с нею не связанным и при этом теснейшим образом примыкающим к первому? Это кажется крайне маловероятным.

Единственное правдоподобное объяснение этого очевиднейшего композиционного сбоя заключается, на наш взгляд, в том, что при осуществлении редакции была допущена ошибка, благодаря которой эту редактуру и удастся выявить. Чтобы такое предположение не показалось чересчур субъективным, придется несколько отклониться в сторону, обсудив чисто технический, но при этом представляющийся важным для истории текста аспект литературной работы Мономаха. Рассуждая о том, что в тексте «Поучения» принадлежит самому Мономаху, а что — позднейшим переписчикам и редакторам, исследователи упускают из виду еще одну фигуру, предполагать участие которой в литературном труде писателя такого социального ранга, как Мономах, есть все основания. Следует думать, что обладатель переяславского, а затем и киевского княжения, будучи в полном смысле слова автором своих произведений, писал свои тексты не собственноручно, но, согласно средневековой практике (см. [Clanchy 1979: 219—221]), диктовал их своему писцу¹⁰. Этот писец должен был участвовать и в редактировании текста. При таком подходе фигура редактора неизбежно разделяется на «автора» изменений и их «исполнителя». Приспособив для этой цели современную издательскую номенклатуру, можно говорить о «литературном редактировании» как функции автора текста и «техническом редактировании» как функции исполняющего его волю писца. Такой взгляд на вещи позволяет понять, каким образом результатом «авторской» редакции, производив-

¹⁰ Подчеркнем, что речь идет не о работе писцов в больших скрипториях, о чем для Древней Руси сведений практически нет, а об обеспечении письменных потребностей отдельных лиц, занимающих более или менее высокое положение в социальной иерархии. Чрезвычайно важными в этом отношении являются данные новгородских берестяных грамот, в особенности — недавно открытый на Троицком раскопе комплекс документов XII в., происходящих с усадьбы Е, где располагался в это время важный административный центр. Наличие среди найденных здесь грамот писем, явно исходящих от одного лица и при этом написанных разными почерками, показывает, что высокопоставленные авторы этих писем редко сами брались за перо, чаще используя для этого кого-то из подручных (см. [Янин, Зализняк 1999: 27]). Сопоставление «Поучения» с берестяными грамотами оправдывает не только то, что сам Мономах, как уже неоднократно говорилось, называет свое сочинение «грамотицей», но и тем, что в комплексе грамот усадьбы Е имеется текст (№ 893), представляющий собой фрагмент поучения об управлении домом, параллели к которому обнаруживаются в «Поучении» Мономаха [Там же: 24].

шейся самим Мономахом, мог оказаться текст, изобилующий разного рода фактическими и композиционными несообразностями: ответственность за них в большинстве случаев несет, очевидно, не «литературный», а «технический редактор», то есть писец Мономаха, а не он сам. С такого рода ошибками редактирования нам неоднократно предстоит встретиться при разборе автобиографической части «Поучения».

В рассматриваемом случае механизм осуществления редакции реконструируется следующим образом. Писец Мономаха располагал, с одной стороны, отдельно записанным (под диктовку автора) текстом вставки, а с другой — исходным текстом с отмеченным на поле местом вставки. Согласно указанию автора вставку надлежало внести перед фразой: *Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, страѣ имѣите Бѣи в срѣци своѣмь и млѣтню творѣ нешкудну: то бо ѣсть начатокъ всѣакому добру*. При этом второе обращение к детям, с которого начинался текст вставки, непосредственно примыкало бы к первому, а заключительный пассаж вставного текста составлял переход от «божественных словец» Псалтыри к начинавшемуся фразой о страхе Божиим «наказанию» детям самого Мономаха.

Ошибка, которую допустил Мономах писец, заключалась в том, что он сделал вставку не перед этой фразой, а после нее, вследствие чего фраза и повисла в воздухе между двумя обращениями к детям, оторванная от своего логического продолжения.

§ 8. Итак, в истории текста «Поучения» мы можем, пока предварительно, выделить три этапа. В исходном варианте «княжеское зеркало», обрамленное фразами о страхе Божиим, читалось непосредственно за вводным обращением к детям. На втором этапе в текст был вставлен эпизод встречи с послами и гадания на Псалтыри, а также продолжающая его подборка псалтырных цитат. На третьем этапе текст был значительно дополнен на основе других богослужебных и литературных источников (Жития и Поучения Василия Великого, Паремейника, Триоди, Шестоднева и др.). Соответственно, возможно говорить о трех редакциях текста — П1, П2 и П3, из которых третья дошла до нас в составе летописной подборки, а первые две гипотетически реконструируются путем внутренней критики текста памятника.

Уже сейчас можно заметить, что сделанный вывод находится в полном соответствии с тем, к которому мы пришли, рассматривая проблему датировки «Поучения». Тогда мы заключили, что формирование текста должно было пройти по меньшей мере три этапа. Теперь, на основе анализа композиции «Поучения», мы заключаем о наличии в нем трех одновременных пластов. К хронологии этих пластов мы обратимся позже. Пока же продолжим стратификацию текста и попробуем уточнить объем и характер литературной работы, произведенной Мономахом над текстом «Поучения» на этапе П3.

§ 9. Согласно сказанному выше, на данном этапе в текст были введены фрагменты IV—VI, а также фрагмент VIII. Последний, как мы помним, посвящен слезному покаянию и ночной (преимущественно) молитве, что содержательно сближает его с фрагментом V. К теме молитвы, на этот раз не покаянной, а прославляющей Бога, Мономах еще раз обращается ниже; ей посвящен фрагмент XI. Не является ли и этот фрагмент вставкой, сделанной на этапе ПЗ? Считать так, на наш взгляд, есть все основания.

Приведем полностью текст отрезков X и XI:

(X) *Аще забываєте сего, а часто прочитаите: и мнѣ будетъ бе-со-рома, и вамъ будетъ добро. Егоже оумѣючи, того не забываите добро-го, а ѹгоже не оумѣючи, а тому сѧ оучите, такоже бо ѡцѣ мои дома сѣдѧ изумѣташе .ѣ. тазыкъ, в томь бо чѣть есть ѡинѣхъ земля. Лѣность бо всему мѣти: еже оумѣеть, то забудеть, а ѹгоже не оумѣеть, а тому сѧ не оучить. Добрѣ же творѣще, не можете сѧ лѣнити ни на что же доброе.* (XI) *Первое к цркви, да не застанеть ва̄ снѣце на постели, тако бо ѡцѣ мои дѣташе̄ блжнии и вси добрии мужси свершении: заоутреннюю ѡдавше Бѣи хвалу, и потомъ снѣцу въсходѣщую, и оузрѣвши снѣце, и прославити Ба̄ с радостью, и ре̄: «Просвѣти вчи мо[и], Х̄е Бѣ, и[же] даль ми ѹси свѣтъ твои краснии». И еще: «Г̄и, приложи ми лѣто къ лѣту, да прокъ грѣховъ своӣ покативъсѧ, ѡправдивъ животъ, тако похвалю Ба̄». И сѣдше думати с дружиною, или люди ѡправливати, или на ловъ вхати, или поѣздити или лечи спати: спанье есть ѡ Ба̄ присужено полудне, ѡ тѣ чина бо почиваетъ и звѣрь, и птици, и челоѡци.*

Принадлежность исходному тексту «Поучения» отрезка X не может быть поставлена под сомнение. Советы не забывать отеческих наставлений, не лениться и постоянно совершенствоваться в добродетели, составляют естественное продолжение «зеркала», заключение к нему. Композиция «наказания», закольцованная второй фразой о страхе Божиим (*Се же вы конец всему...*), кажется этим исчерпанной. Но тут автор неожиданно берет новый старт: *Первое к цркви, да не застанеть ва̄ снѣце на постели...* Эта вторая серия наставлений, впрочем, быстро заканчивается, столь же неожиданно, как и началась: словами об установленном Богом сне в полдень. В качестве концовки дидактической части «Поучения» этот пассаж выглядит очень странно, и переход к автобиографической части кажется лишенным всякой логики.

Соединение частей текста оказывается, напротив, риторически безупречным, если признать отрезок XI вставкой. Заметим, что границу между этим отрезком и предыдущим мы проводим там, где все издатели «Поучения» ставят запятую, разделяющую части будто бы единой фразы: *Добрѣ же творѣще, не можете сѧ лѣнити ни на что же доброе, (XI) первое к цркви, да не застанеть ва̄ снѣце на постели.* В переводах эта фраза содержит малообъяснимую тавтологию, ср.: ‘Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к цркви: ...’ [ПВЛ 1996: 240]; ‘Gut handelnd seid

nicht träge zu jeglichem Guten' [Müller 2000: 350]. Между тем тавтологии здесь нет. Ключ к пониманию этого места дает наблюдение А. А. Зализняка [1995: 331], согласно которому слова *добрѣ же творѣще* представляют собой не дееспричастный оборот, а множественное число вежливой формулы *добрѣ (с)творѣ*, хорошо известной по берестяным грамотам. Понятая таким образом, просьба к детям: *Добрѣ же творѣще, не мозите сѧ лѣннити ни на что же доброе* ('Пожалуйста, не ленитесь ни на что хорошее!') звучит финальным аккордом «наказания» Мономаха, составляющим естественный переход к описанию его собственных трудов: *А се вы повѣдаю, дѣти мои, трудъ свои, ѡже сѧ ѣсмь тружаль...* Косвенным подтверждением правильности такой реконструкции служит тот факт, что предполагаемое ею контекстное сближение фрагментов *не мозите сѧ лѣннити* и *ѡже сѧ ѣсмь тружаль*, оказывается прямым отголоском сформулированной во введении цели всего сочинения: *...и не лѣнитисѧ начать, такоже и тружати сѧ*.

§ 10. Итак, вставками, сделанными на этапе ПЗ, мы считаем отрезки IV, V, VI, VIII, XI. По характеру текста от остальных четырех отрезков отличается фрагмент IV, образованный выписками из церковной литературы. Литературные источники прослеживаются и в остальных фрагментах, но характер их использования здесь иной. Дословные цитаты (из Псалтыри и литургических текстов) представлены в них лишь как вкрапления в авторские рассуждения, которые, имея массу литературных параллелей, переключаясь со своими источниками идейно и текстуально, тем не менее никогда не воспроизводят их дословно большими фрагментами¹¹.

Особенно важными для уяснения природы текста этих четырех фрагментов «Поучения» представляются их содержательные и композиционные связи друг с другом. Выше мы уже ссылались на наблюдение И. М. Ивакина, согласно которому текст отрезка VIII о покаянии и ночной молитве не просто переключается с наставлением о пользе «трех добрых дел» — пока-

¹¹ Наиболее близок к источнику пассаж о ночной молитве во фрагменте VIII, но и здесь Слово Иоанна Златоуста «Какое вставати в нощи молитися» не переписывается, а пересказывается автором. Ср.:

Слово... (Измарад)

А егда ложися спати, то не погрѣши, не погрѣши ни единою нощи не кланяеся. но елико мога по силе, тѣмъ поклонениемъ побѣждаетъ челоуѣкъ діавола и тѣмъ избываетъ грѣховъ, иже согрѣшилъ кто в томъ дни (цит. по: [Шляков 1900: 237]).

ПВМ

И в цркви то дѣите и ложасѧ. Не грѣшите ни ѡдну же ночь, аще можете, поклонитисѧ до земли, а ли вы сѧ начать не мочи, а трижѣбы. А того не забываете, не лѣнитесѧ: тѣмъ бо ночью^и поклоно^и и пѣнье^и члѣкъ побѣждаетъ дѣявола, и что въ днь согрѣшитъ, а тѣмъ члѣкъ избываетъ.

яния, слез и милостыни, содержащимся во фрагменте V, но может составлять прямое продолжение этого последнего.

Развивая это наблюдение, можно заметить, что отрезок X, в свою очередь, тематически сближается с отрезком VIII, и при соединении этих фрагментов тема покаянной (преимущественно ночной) молитвы плавно переходит в тему утреннего прославления Бога.

Круг замыкается, когда мы обнаруживаем, что окончание фрагмента XI содержательно стыкуется с началом фрагмента VI. Картина погруженной в полуденный сон твари — *зверей, птиц и человека*, которой столь необъяснимо завершается дидактическая часть ПВМ-Лавр., составляет при такой перекомпоновке фрагментов эффектный переход от перечисления совершаемых с благодарственной молитвой дневных княжеских дел к открываемой цитатой из Псалтыри (8: 5) (*Что есть члвкъ, тако помниши и?*) похвале Творцу, в которой *звери и птицы*, созданные для человека, как венца творения, являются одной из главных тем. Не станем останавливаться подробно на этом пассаже, приковывающем к себе внимание любого читателя «Поучения»; заметим только, что в самом конце его автор выражает восхищение способностью Бога заставить птиц, созданных веселить душу человека, в надлежащее время *замолчать*, и таким образом вновь возвращается к картине молчащей (~ погруженной в сон) твари, с которой, если верны проводимые нами композиционные связи, начинается этот натурфилософский экскурс.

Таким образом, фрагменты V и VIII связывает между собой тема слез и покаяния, фрагменты VIII и XI — темы покаяния и молитвы, фрагменты XI и VI — тема похвалы Создателю. Расположенные в последовательности V, VIII, XI, VI, эти фрагменты составляют связный текст с почти законченной композицией.

Для придания этой композиции полной завершенности остается только прибавить в начале фрагмент IVe, представляющий собой цитату из Постной триоды [Шляков 1900: 224]: *Воспаеть весна постнати и цвѣтъ покатаньти. Ѡчистимъ собе, братья, ѿвсакога крови плотьскыта и дѣвныта. Свѣтодавцю вопьюще, рѣѣмъ: слава тобѣ, Члвколюбче!*

В изданиях «Поучения» эта цитата объединяется с предыдущими выписками (что мы и отразили, отнеся ее к отрезку IV), между тем содержательно она связана с фрагментом V и реконструируемым нами текстом в целом, заключая в себе основные идеи этого текста. Мысль автора получает исходный импульс в заключительном слове триодного песнопения (...*слава тобѣ, Члвколюбче! Поистинѣ, дѣти мои, разумѣите, како ти есть члвколюбецъ Бѣ, милостивъ и премѣтвъ!*) и затем обращается к его началу, поясняя, что человеколюбие Бога выражается в даровании им человеческому роду возможности очищения от грехов покаянием (главная тема фрагментов V и VIII). В полном соответствии с триодным «ключом», от покаяния автор переходит во фрагменте XI к прославлению Бога как «светодавца» (*и оузрѣвшие слнце, и прославити Ба с радостью, и ре^а: «Просвѣти*

очи мои, *Х̄е Б̄е*, и даль ми *ѳси свѣтъ твои красныи*»), чтобы затем воспеть человеколюбие Божие, проявляемое уже в устройстве мироздания (содержание фрагмента VI). Топика триодной цитаты обнаруживает и другие пересечения с тематикой нашего текста. Слова о «крови плотской и душевной»¹² находят соответствие во фразе *ѡже ны зло створить, то хоцемъ и пожрети и кровь ѳго прольгати вскорбѣ*, а тема весны (*Восиаетъ весна постната...*) получает развитие во фразе о летящих весной из «ирья» птицах.

Функция «тематического ключа» (термин Р. Пиккио), которую цитата из Постной Триоди выполняет по отношению к реконструируемому тексту, дает известное основание видеть в этом тексте великопостную «беседу» Мономаха, обращенную, как и «Поучение», к собственным детям, но имеющую в виду и более широкую аудиторию. Необычная для светского лица роль проповедника, которую, если верна наша реконструкция, принимает на себя Мономах в этом сочинении, не должна смущать: она вполне согласуется с тем, что автор пишет в «Поучении» о своей вовлеченности в церковные дела: *и црквиного нарѣда и службы са^м есмь призираль* [251.32—33].

§ 11. Изложенные наблюдения позволяют считать, что редактирование «Поучения» на этапе ПЗ заключалось в распространении его готовым литературным материалом, а не новыми, специально для этого написанными авторскими рассуждениями. Фрагменты, введенные в «Поучение» на третьем этапе, делятся на две группы. Первую образуют выдержки из двух поучений Василия Великого (IVa, IVc), разделенные обращением к Богородице неустановленного происхождения (IVb), а также примыкающая к ним цитата из паремейного чтения Книги пророка Исаии (1: 17—18, IVd). Характерно, что этот блок, как и подборка псалтырных цитат (III), заканчивается словами «и прочее».

Остальные фрагменты (IVe, V, VI, VIII, XI) образуют содержательное единство; расположенные в иной последовательности (IVe, V, VIII, XI, VI), они складываются в самостоятельный и внутренне законченный текст — великопостную «беседу», отправляющуюся от цитаты из Постной Триоди и развивающую темы покаяния и молитвы вкупе с прославлением человеколюбия и премудрости Создателя.

Принадлежность этого текста перу Мономаха не вызывает сомнений. Перед нами, безусловно, оригинальное, хотя и основанное на ряде литературных источников сочинение, тематикой и общей тональностью отличающееся от «основного» поучения Мономаха и составляющее своеобразное дополнение к нему. Композиционная непоследовательность ПВМ-Лавр. во многом объясняется именно тем, что в нем оказались искусственно соединены (на этапе ПЗ) два разных текста одного автора. Замысел этого соеди-

¹² Неслучайность этого соответствия оттеняется тем, что в тексте Триоди читается не *крови*, а *скверны*; таким образом, чтение *крови* принадлежит Мономаху, цитирующему текст по памяти и соответствующим образом комментирующему его.

нения принадлежал, скорее всего, самому Мономаху, и надо сказать, что произведено оно относительно удачно: швы, разделяющие фрагменты текста, восходящие к двум источникам, не бросаются в глаза и обнаруживаются лишь при углубленном анализе. Вместе с тем эти швы, на наш взгляд, выявляются достаточно надежно, позволяя считать, что мы действительно имеем дело с результатом перекomпоновки материала, первоначально принадлежавшего двум разным сочинениям.

§ 12. Рассмотрим еще одно место, в котором, на наш взгляд, есть основания видеть результат редактуры, также произведенной на этапе ПЗ. Это следующий пассаж «княжеского зеркала»: *Паче всего гордостѣ не имѣйте в срѣци и въ оумѣ, но рѣчьмь: «смѣртни ѹсмы, днѣ живи, а заутра в гробѣ; се все, что ны¹³ ѹси вдаль, не наше, но твое, поручил ны ѹси на мало дѣшии»; и в земли не хороните, то ны ѹсть великъ грѣхъ* [245.36—246.1]. По ряду признаков этот пассаж выделяется на окружающем фоне. Экзистенциальная проблематика отличает его от остальных пунктов «зеркала», описывающих социальное поведение добродетельного князя. Положение данного пункта между наставлениями об отношении к представителям церкви, с одной стороны, и к «старым и молодым», с другой, вряд ли можно назвать органичным. Аномальна в контексте «зеркала» и текстовая структура фрагмента, включающая довольно пространное обращение к Богу, вводимое формой *рѣчьмь* (ср. между тем неоднократное использование этого приема в реконструируемой нами великопостной «беседе» Мономаха). Мысль о смертности человека еще раз выражена в «зеркале» ниже, в наставлении посещать отпевания умерших (*надѣ мертвецѣл идѣте, тако вси мертвени ѹсмы*) и по отношению к этому фрагменту выглядит повтором. Композиционно неуместно и введение данного пункта словами *паче всего*, уже употребленными в начале «зеркала» (*«Всего же паче оубогѣ̄ не забываете»*).

На этом фоне кажется глубоко не случайным, что рассматриваемый пассаж идейно и текстуально перекликается с другим сочинением Мономаха, входящим в летописную подборку, — письмом к Олегу Святославичу, где читаем: *а мы что есмы, человекѣи грѣшни и лиси, днѣсь живи, а утро мѣртви, днѣсь в славь и въ чти, а заутра в гробѣ и бес памѣти, уни собранье наше раздѣлать* [253.12—14]. Это совпадение уже отмечалось в литературе в связи с возможностью редактирования «Письма» при составлении «собрания сочинений» Мономаха (см. [Конявская 2000: 66]). Органичность контекста в «Письме» и неорганичность его в «Поучении» свидетельствует, на наш взгляд, об обратном влиянии, позволяя рассматривать данный фрагмент как вставку в «Поучении», сделанную на основании «Письма».

Естественно полагать, что эта вставка была сделана при составлении «Избранного», работа над которым включала и литературную доработку

¹³ Исправление Миклошича; в Лавр. ч̄тны.

объединяемых текстов¹⁴. По-видимому, в ходе этой редакции и возник текст, определяемый нами как ПЗ. Иначе говоря, мы полагаем, что третий вариант «Поучения» (в узком смысле), в котором текст П2 был интерполирован фрагментами «Беседы» и дополнен выписками из церковных книг, никогда не существовал как отдельное произведение, но создавался уже как часть «Избранного»¹⁵.

Этот вывод может показаться несколько неожиданным, и он действительно идет вразрез с традицией, считающий именно ПЗ (то есть ПВМ-Лавр. без «Письма» и «Молитвы») основным сочинением Мономаха. Отказавшись от такого представления и рассматривая ПЗ лишь в составе «Избранного», можно лучше объяснить компилятивный характер этой части памятника, «сшитой» из разнородных по происхождению фрагментов (П2, «Беседы» и выписок из церковных книг) подобно тому, как из таких же фрагментов (включая «Письмо» и «Молитву») «сшито» и само «Избранное». Введение фрагментов «Беседы» внутрь «Поучения» предстает в таком случае лишь как одна из форм комбинирования Мономахом своих текстов для «Избранного». Составляя «Избранное», Мономах не просто не заботился о сохранении в нем литературной автономности отдельных своих произведений — напротив, он намеренно уничтожал ее следы, ступшевая границы между текстами и не вводя внутренней рубрикации. Как справедливо замечает Е. Л. Конявская [2000: 61], Мономах, по-видимому, «хотел видеть свои сочинения как единый текст». Очень показательны в этом отношении споры о том, где начинается и заканчивается «Письмо к Олегу», вызванные именно тем, что «Письмо» как таковое, с обязательными для этого жанра начальной и заключительной формулами, в ПВМ-Лавр. отсутствует — ис-

¹⁴ Заметим, что следы такой доработки вполне могут находиться и во фрагментах текста, возводимых нами к «Беседе». Такое подозрение падает в первую очередь на уже приведенное выше место, в котором Мономах рекомендует детям постоянно повторять Иисусову молитву находясь в пути, чтобы не «мыслить безлепицу ездя» [245. 16 — 20]. Этот фрагмент несколько нарушает логику перехода от ночных молитвословий к утренним и при этом, как уже говорилось, перекликается с упоминанием «безлепицы» в начале «Поучения». Вставкой, сделанной при соединении текстов «Поучения» и «Беседы» в составе «Избранного», могут быть и слова *тако бо ѡць мои дѣлаше блжнии и вси добрии мужи свершени* во фрагменте XI [246. 39 — 247.1], разрывающие связный текст и при этом соотносящиеся с упоминанием об отце во фрагменте X, принадлежащем, как мы считаем, исходному тексту «Поучения». Разумеется, квалификация этих фрагментов как вставок является весьма гипотетической.

¹⁵ Теоретически, конечно, нельзя исключить, что дополнительному редактированию при создании «Сборника» подверглось уже ПЗ, а не П2 — это означало бы, что в истории текста ПВМ-Лавр. было на один этап больше. Однако, выбирая из двух вариантов объяснения, предпочтение следует отдать первому как более экономному.

пользован лишь литературный материал эпистолярного происхождения, но не сама эпистола. Сходным образом можно сказать, что и «Поучения» в собственном смысле из ПВМ-Лавр. путем простой сегментации текста выделить невозможно — с той разницей, что его композиция (т. е. композиция П2) оказалась деформирована не «снаружи», путем усечения элементов формуляра, а «изнутри». В отличие от «Письма», которое, в силу своей жанровой специфики и исторической конкретности содержания, не могло быть полностью слито с «Поучением», но только присоединено к нему, «Поучение» и «Беседа», как тексты дидактического жанра, допускали более тесное объединение, что и было осуществлено Мономахом, расположившим их фрагменты чересполосно.

Пресловутая жанровая «неопределенность» и композиционная «нечеткость» оказываются при таком взгляде на вещи свойствами «Избранного» как своего рода «гипертекста», «Поучения» в широком смысле слова, а не отдельных вошедших в него сочинений; сами же эти сочинения, к числу которых, помимо «Поучения» в узком смысле (в редакции П2), «Письма» и «Молитвы», мы можем теперь отнести великопостную «Беседу», приобретают в рамках нашей гипотезы значительно более определенные литературные очертания.

§ 13. Подведем итоги нашей попытки стратификации «Поучения». В истории памятника мы выделяем три этапа — П1, П2 и П3. В своем исходном виде «Поучение» обладало следующей композицией. За представлением автора и вводным обращением к детям шел текст «княжеского зеркала», обрамленный симметричными фразами о страхе Божиим как начале и конце добродетели. Завершало «зерцало» наставление не забывать прочитанного и не лениться совершать добрые дела. За этим следовал рассказ Мономаха о собственной жизни и заключительное обращение к читателям.

Первая, дидактическая часть П1 включала следующие фрагменты ПВМ-Лавр.: 1) *Азь худыи... — ...то бо ѡсть начатокъ всьакому добру* [240.24 — 241.10]; 2) *Всего же паче оубогъѣ не забывайте... — ...не мозите сѧ лѣннити ни на что же доброе* [245.20 — 246.37] (за исключением фрагмента: *Паче всего гордости не имѣйте... — ...то ны ѡсть великъ грѣхъ*) [245.36 — 246.1]. Выяснению того, что представляла собой вторая, автобиографическая часть этого текста, будет посвящена следующая статья. Пока же заметим лишь, что начиная с описания «ловов» Мономаха весь текст до конца «Поучения» в узком смысле (т. е. до слов *Бж҃ие блюденьє лѣплѣѣ єсть члвч҃каго*) ничто не мешает считать восходящим к П1.

Реконструируемый таким образом текст представлял собой небольшое по объему сочинение с хорошо сбалансированной композицией, складывавшейся, помимо вводного и заключительного пассажей, из двух уравновешивающих друг друга частей: «княжеского зеркала», излагающего кодекс поведения добродетельного князя, и рассказа автора о своей жизни как примере соблюдения этого кодекса.

При написании «Поучения» Мономах опирался на ряд литературных образцов. Для кольцевой композиции «зеркала» таковым послужила компиляция из «Столповца» патриарха Геннадия, входящая в состав «Изборника» 1076 г. Поскольку близкие параллели отдельным наставлениям «Поучения» встречаются и в других текстах «Изборника» («Наказание Исихия Иерусалимского», «Слово Ксенофонта к детям», «Слово Феодоры»), следует полагать, что источником, использованным Мономахом, был сборник аналогичного состава. Общий принцип сочетания дидактического и автобиографического начал был заимствован, вероятно, из апокрифического «Завещания Иуды», соответствующая часть которого послужила также образцом для описания охот Мономаха.

На втором этапе сложения текста (П2) в него был вставлен эпизод гадания на Псалтыри после встречи с послами братьев на Волге и продолжающая его подборка псалтырных цитат. Таким образом в пределах дидактической части «Поучения» оказались противопоставлены «божественные словца» Псалтыри и собственное «наказание» Мономаха. При редактировании текста была допущена ошибка: вместо того чтобы сделать вставку перед первой фразой «княжеского зеркала» (*Первое, Бѣ дѣла и дѣла своѣта...*), выполнявший указания автора писец сделал ее после этой фразы, в результате чего данная фраза оказалась оторвана от остального текста «зеркала».

При правильно произведенной редактуре дидактическая часть ПВМ2 должна была бы складываться из следующих фрагментов: 1) *Азь худыи... — ... воину хвала ѿго, и прочати* (за исключением фразы *Первое, Бѣ дѣла...* — *... начатокъ всѧкому добру*); 2) *Си словца прочитаюче, дѣти мои, бжѣтвнати, похвалите Бѣ, давшиаго на^и милѣть свою. И се ѿ худаго моѿго безумѣа наказанье; послушайте мене, аще не всего приѣмете, то половину;* 3) *Первое, Бѣ дѣла и дѣла своѣта, стра^х имѣйте Бѣи в срѣци своѣмъ и млѣтню творѧ не ѿскудну: то бо ѿсть начатокъ всѧкому добру;* 6) *Всего же паче оубогѣхъ не забывайте... — не можете сѧ лѣннити ни на что же доброѿ* (за исключением фрагмента: *Паче всего гордости не имѣйте... — то ны ѿсть великъ грѣхъ*).

Третий этап, в результате которого «Поучение» приобрело вид, известный нам по ПВМ-Лавр., был связан уже с составлением «Избранного» как сводного текста, в который Мономахом были объединены несколько его сочинений. Помимо «Поучения» (в редакции П2), «Письма к Олегу» и «Молитвы», традиционно вычленяемых в летописной подборке, «Избранное» имело своим источником великопостную «Беседу» Мономаха. Последняя, однако, в отличие от «Письма» и «Молитвы», была не просто присоединена к «Поучению», а введена внутрь него, разбитая на фрагменты, вместе с выписками из церковных книг.

Взаимное приспособление текстов «Избранного» проявилось и во включении в «княжеское зеркало» пункта, предписывающего отказ от гордости и стяжания земных ценностей. Источником этого дополнения явилось, по-

видимому, «Письмо к Олегу», в котором данная мысль является одной из центральных.

§ 14. После всего сказанного мы можем вернуться к проблеме датировки «Поучения». Как уже говорилось, стратификация текста, к которой привел нас анализ его композиции, полностью согласуется с выводом о трех этапах создания «Поучения», к которому мы ранее пришли, пытаясь согласовать имеющиеся в тексте датирующие указания. Согласно этому выводу, первые два этапа имели место на рубеже XI—XII вв., а третий, заключительный, около 1117 г. Связав один из двух ранних этапов со встречей Мономаха с послами братьев, происшедшей, скорее всего, в начале 1101 г., мы затруднились сказать, был ли этот этап первым или вторым, то есть послужила ли встреча с послами начальным импульсом к написанию Мономахом «Поучения» или стимулом к его доработке. Теперь мы можем ответить на этот вопрос.

Согласно предложенной стратификации памятника, лежащий в его основе текст П1 не включал «волжского» эпизода и подборки псалтырных цитат, но обладал более простой композицией. Именно этот исходный вариант «Поучения» и был, по-видимому, написан Мономахом «сидя на санях», во время зимнего пути в Ростов. Как мы увидим, анализируя «летопись путей», наиболее ранней возможной датой этой поездки является зима 1099/1100 г.

Второе обращение Мономаха к тексту «Поучения» произошло после драматической встречи с послами братьев. Исторически, как уже говорилось, наиболее вероятно, что посольство было связано с предполагавшимся выступлением княжеской коалиции против Ростиславичей в связи с невыполнением теми требований Витичевского съезда, собиравшегося в августе 1100 г. Поскольку послы встретили Мономаха на Волге, следует полагать, что он возвращался из Ростова, а поскольку в свои северные владения Мономах ходил зимой, датировать эту встречу, а следовательно, и создание П2, можно концом зимы — весной 1101 г. Таким образом, временной интервал, в пределах которого могли появиться первая и вторая редакции «Поучения», оказывается немногим более года. Скорее всего — хотя с уверенностью это утверждать невозможно — второй этап явился прямым продолжением первого, то есть текст, написанный по пути в Ростов был дополнен Мономахом на обратном пути из Ростова под впечатлением встречи с послами братьев. Думать так заставляет простое соображение: Мономах вряд ли постоянно возил с собой свой «литературный архив».

С большой осторожностью можно предположить, что той же весной 1101 г., когда было создано П2, Мономахом была написана и «Беседа». Надежных оснований для датировки этого текста нет, ясно лишь, что создавался он в начале Великого поста. Но слабый намек на возможные обстоятельства создания «Беседы» можно извлечь из того места в начале текста, где говорится: *Мы члѣци, грѣшнии суще и смѣртни, то ѡже ны зло створить, то хоцемъ и пожрети и кровь ѡго прольяти вскорѣ*. Не имеется ли здесь в виду все тот же поход на Ростиславичей, участвовать в котором Мономаху

предложили братья? Предполагавшееся выступление против князей-изгоев должно было рассматриваться его инициаторами как месть за совершенное ими «зло»: Ростиславичи отказались подчиниться воле Витичевского съезда и выдать пленных холопов и смердов, см. [ПВЛ 1996: 117]. Но это, конечно, не более чем догадка.

Третий этап, на котором отдельные тексты Мономаха были отредактированы и объединены в «Избранное» (т. е. «Поучение» в широком смысле), есть все основания датировать 1117 г.

§ 15. Нельзя не коснуться также еще одного вопроса, неизбежно возникающего в связи с предложенной стратификацией «Поучения» и датировкой трех этапов его создания. Согласно гипотезе Погодина—Соловьева, толчком к написанию Мономахом «Поучения» послужила встреча с послами. Этот взгляд, как мы помним, критиковал Ивакин, справедливо замечая, что в самом тексте в связи с этим эпизодом находится лишь гадание на Псалтыри. Препятствия для нашей гипотезы это соображение не составляет, так как в ее рамках волжская встреча оказывается событием, давшим импульс не к написанию «Поучения», но лишь к его доработке. Но что же в таком случае могло заставить Мономаха взяться за перо по пути в Ростов? Вопрос этот, вообще говоря, вполне можно было бы оставить и без ответа, однако некоторые соображения на этот счет высказать возможно.

«Поучение» Мономаха в его первоначальном виде не было, на наш взгляд, ни «завещанием», ни «автобиографией», ни «текстом вне жанра», а было тем, чем оно и представлено в Лаврентьевской летописи — поучением. Хотя в потенциальную аудиторию своей «грамотицы» Мономах включает всякого, кто ее прочтет, очевидно, что обращается он в первую очередь к собственным детям. Вопрос об адресатах следует поставить и более конкретно: кто из детей Мономаха был главным адресатом «Поучения»? Чаще всего в этой связи упоминается Мстислав: именно он является основным действующим лицом в «Письме к Олегу», и он же в 1117 г., до которого доведена «летопись путей», переводится Мономахом из Новгорода в Белгород. Между тем ни в 1100/1101, ни тем более в 1117 г. Мстислав, которому в первом случае было 24, а во втором 41 год, уже не нуждался в отеческих наставлениях, особенно в их практической части — как вести себя на войне, управляться в дому и т. д. Намного более перспективным кажется предположение Шлякова [1900: 124—125], связавшего доработку Мономахом «Поучения» в 1117 г. с направлением им на первое самостоятельное княжение во Владимир шестнадцатилетнего Андрея (чему предшествовал поход на Ярославца Святополчича — последний, указанный в «летописи путей!»). Допустимо предположить, что и в 1100/1101 г. поводом для написания «Поучения» послужило если не аналогичное событие, то, во всяком случае, вступление во взрослую жизнь кого-то из сыновей Мономаха. И такая кандидатура действительно имеется — это Ярополк Владимирович. Получивший имя погибшего в 1086 г. Ярополка Изяславича [Литвина, Успенский 2002: 44] и, следова-

тельно, родившийся после этой даты, он в 1103 г. уже упоминается (последним!) среди князей, участвующих в походе на половцев. Это означает, что в 1100/1101 г. Ярополку было 13—14 лет. Таким образом, Мономаху не нужно было никаких экстренных обстоятельств, чтобы взяться за перо по пути в Ростов зимой 1100/1101 г.: поводом для написания «Поучения» послужило, скорее всего, достижение одним из его сыновей того возраста, в котором сам Владимир Всеволодович в свое время начал княжескую карьеру — «пути дѣя и ловы 13 лѣт», как он специально подчеркнул в автобиографической части своего сочинения.

Выяснению того, в каком объеме входила в первоначальное «Поучение» эта автобиографическая часть, и того, какие изменения она претерпела на дальнейших этапах сложения текста, будет посвящена следующая часть нашей работы.

Приложения

I. Реконструкция текста дидактической части «Поучения» (до начала автобиографического рассказа) в редакциях П1 и П2. Крупным шрифтом набран текст П1, мелким — добавления в П2. В фигурные скобки заключена фраза, которая не должна была читаться на этом месте в П2, если бы редактура была произведена без ошибок. Отточия в угловых скобках указывают места вставок в П3.

Азь худыи, дѣдомъ своимъ Ярославомъ, бл҃г҃в҃лнѣимъ, славнымъ, *нарѣныи*¹⁶ въ кр҃щнїи Василии, русьскимъ именемъ Володимирь, ѿцмъ възлюбленымъ и мѣрю своею Мьномахы[нею]¹⁷ и х҃҃яныѣ людїи дѣла, колико бо сблюдь по мл҃сти своеи и по ѿтнї мѣтвѣ ѿ всѣхъ бѣдъ. Сѣда на санеѣ, помыслиѣ в дѣши своеи и похвалиѣ Ба, иже м.а. сихъ днѣвь

¹⁶ Исправление Миклошича, в Лавр. *нарѣнѣмь*.

¹⁷ Последовательность *мьномахы*, которой текст обрывается перед лакуной в чetyре с половиной строки, всеми издателями «Поучения» трактуется как *слово*, что неверно. Теоретически это могла бы быть словоформа тв. мн. 'Мономахами', относящаяся к обоим родителям Владимира. Однако абсурдность такой трактовки очевидна: к роду Мономахов принадлежала только жена Всеволода Ярославича, но никак не он сам. Нет необходимости и предполагать ошибку в записи вин. ед. *Мономахъ*, считая, что речь идет о родовом прозвище, данном Владимиру. Скорее всего, Лаврентий в данном месте не разобрал окончания словоформы *Мономахы(нею)* — тв. ед. от *Мономахыни* 'женщина из рода Мономахов'. Ср. в переводе Д. С. Лихачева: 'матерью своею из рода Мономахов' [ПВЛ 1996: 236]. В словообразовательном отношении *Мономахыни* составляет такую же пару к *Мономахъ*, как *рабыни* — к *рабъ*, *поганыни* — к *поганъ* и т. д., свидетельствуя о регулярности этой модели в древнерусском.

К проблеме заполнения данной лакуны в целом мы еще вернемся в продолжении настоящей работы. Сейчас заметим только, что для ее окончания наиболее вероятной представляется конъектура (*Ба дѣла*) и *х҃҃яныѣ людїи дѣла*.

грѣшнаго допровода. Да дѣти мои, или инь кто, слышавъ сѹ грамотицю, не посмѣтесѹ, но ѿмѹ же любо дѣтти моихъ, а приметь е в срѣце своеѹ, и не лѣнитесѹ начнетъ, такоже и тружатесѹ.

{Первое, Бѹ дѣла и дѣша своеѹ, страѣ имѣте Бѣи в срѣци своеѹмъ и млѣтнѹ творѹ неѿскуднѹ: то бо естѹ начатокъ всѹкому добру}. Аще ли кому не любѹ грамотица си, а не поѿхритаютесѹ, но тако се рекутъ: на далечи пути, да на санѣ сѣдѹ, безлѣпицю си молвилъ. Оусрѣтоша бо мѹ слы ѿ браѣна моеѹ на Волзѣ, рѣша: Потѣснисѹ к намъ, да выженемъ Ростиславича и волость ихъ ѿнимемъ; иже ли не поидеши с нами, то мы собѣ будеѹ, а ты собѣ. И рѣхъ: Аще вы сѹ и гнѣваете, не могу вы на ити, ни крѣта переступити. И ѿрѹдивъ ѹ, возьмъ Псалтырю, в печали разгнухъ ѹ, и то ми сѹ вынѹ: «Вскую печалуеши, дѣше, вскую смущаеши мѹ?» и прочаѹ. И потомъ собраѣ словца си любѹна, и складохъ по рѹду, и написаѣ. Аще вы послѣднѹна не любѹ, а переднѹна приимайте.

«Вскую печална еси, дѣше моѹ? вскую смущаеши мѹ? Оупова на Бѹ, ѹако исповѣсѹ теѹ». «Не ревнѹи лукавнующимъ, ни завидѹи творѹщимъ безаконье, зане лукавнующии потребѹтсѹ, терпѹщи же Гѣа, ти ѿбладають землею». «И еще мало, и не будетъ грѣшника; взищеть мѣста своеѹ, и не ѿбращеть; кротции же наслѣдѹть землю, насладѹтсѹ на множествѣ мира. Назираеть грѣшныи праведнаго и поскрегеть на нь зубы своими; Гѣ же посмѣтсѹ ему и прозритъ, ѹако придетъ днѣ него. Оружѹа извѣскоша грѣшници, напрѹже лукъ свои истрѣлати нища и оубога, заклати правѹна срѣцѹмъ. Оружье ихъ видеть въ срѣца ихъ, и луци ихъ скрушатсѹ. Луче еѣ праведнику малое, паче батства грѣшныѣ многа. ѹако мышца грѣшныѣ скрушитсѹ, оутвержаеть же праведныѹ Гѣ». «ѹако се грѣшници погыбнутъ; праведныѹ же милѹна и даеть. ѹако блѣгословѹщии него наслѣдѹтъ землю, кленущи же него потребѹтсѹ. ѿ Гѣа стопы члѣвкѹ исправѹтсѹ: игда сѹ падеть, и не разбѣтъѣ, ѹако Гѣ подъемлетъ руку него. Оунъ бѣхъ, и сстарѣхсѹ, и не видѣхъ праведника ѿставлена, ни сѣмени него просѹща хлѣба. Весь днѣ милуетъ и в заимъ даеть праведныи, и племѹ него блѣгвѹно будетъ. Оуклонисѹ ѿ зла, створи добро, взиши мира и пожени, и живи в вѣкы вѣка». «Внегда стати члѣкмъ, оубо живы пожерли ны быша; внегда прогнѣватисѹ ѹарости него на ны, оубо вода бы ны потопила». «Помилѹи мѹ, Бѣ, ѹако попра мѹ члѣкѹ, весь днѣ борѹсѹ, стужи ми. Попраша мѹ врази мои, ѹако мнози бурючисѹ со мною свѹше». «Возвеселитсѹ праведникъ, и егда видеть мечь; руцѣ свои оумыеть в крови грѣшника. И реѣ оубо члѣкѹ: Аще есть плодъ праведника, и есть зѣво Бѣ судѹи земли». «Измѣи мѹ ѿ врагъ моихъ, Бѣ, и ѿ встающѣхъ на мѹ ѿими мѹ; избави мѹ ѿ творѹщиѣхъ безаконье, и ѿ мужа крови сѣс мѹ; ѹако се оуловиша дѣшю мою». «И ѹако гнѣвъ въ ѹарости него, и животь в воли него; вечеръ водворитсѹ плачь а заѣтра радѣ». «ѹако лучыши млѣть твоѹ паче живота моего, и оустнѣ мои похвалита тѹ, ѹако блѣгвѹно тѹ в животѣ моемъ, и ѿ имени твоѹмъ въздѣю руцѣ мои». «Покры мѹ ѿ сонѹма лукаваго и ѿ множества дѣлающѣхъ неправдѹ». «Възвеселитесѹ вси праведнии срѣцѹмъ блѣгвѹно Гѣа на всѹако времѹ, воину хвала него», и прочаѹ. {...}

Си словца прочитаюче, дѣти моѹ, бжѣтвнаѹ, похвалите Бѹ, давшаго намъ милѣть свою. И се ѿ худаго моего безумѹна наказанье; послушайте мене, аще не всего приимете, то половиноу.

Первое, Бѣ дѣла и дѣша своенѣ, страхѣ имѣите Бѣи в срѣци своенѣм и млѣтню творѣ неоскудну: то бо естъ начатокъ всѣакому добру. <...> Всего же паче оубогыѣ не забывайте, но елико могуще по силѣ кормите, и придавайте сиротѣ, и вдовицу оправдите сами, а не вдавайте силыѣм погубити члѣвѣка. Ни права, ни крива не оубивайте, ни повелѣвайте оубити него: аще будетъ повинень смѣрти, а дѣша не погубляете никакоже хѣяны. Рѣчь молвѣче и лихо и добро, не кленитесѣ Бѣмъ, ни хрѣтитесѣ, нѣту бо ти нужда никоенѣже. Аще ли вы будѣтѣ крѣтѣ цѣловати к братѣи или г кому, а ли оуправивѣше срѣце свое на неже можете оустонати, тоже цѣлуите, и цѣловавше блюдѣте, да не приступни погубите дѣшѣ своенѣ. Епѣпы, и попы, и игумены, с любовью взимайте ѿ ниѣ блѣвльнѣ, и не оустранитесѣ ѿ ниѣ, и по силѣ любите и набдите, да примете ѿ ниѣ млѣтву ѿ Бѣа. <...> Старыѣа чти нако ѿца, а молодѣна нако братѣю. В дому своенѣ не лѣнитесѣ, но все видите. Не зрите на тивуна, ни на ѿтрока, да не посмѣютсѣа приходѣщии к ваѣм и дому вашему, ни ѿбѣду вашему. На воину вышедѣ не лѣнитесѣ, не зрите на воеводы; ни питью, ни ѣденью не лагодите, ни спанью; и сторожѣ сами нараживайте, и ночь, ѿвсюду нарадивше ѿколо вои, тоже лазите, а рано встанѣте. А ѿружѣна не снимайте с себе вборзѣ, не розгладавше лѣнощами: внезапно бо члѣвѣкъ погыбаеть. Лжѣ блюдисѣ, и пѣанѣства, и блуда: в томѣ бо дѣша погыбаеть и тѣло. Куда же ходѣще путемъ по своимѣ землѣмъ, не даите пакости дѣяти ѿтрокомѣ, ни своимѣ, ни чужимѣ, ни в селѣхѣ, ни в житѣхѣ, да не клѣти ваѣ начнутъ. Куда же поидете, идеже станете, напоите накормите оуне ина¹⁸, и боле же чтите гостѣ, ѿкуду же к ваѣм придетъ, или простѣ, или добрѣ, или соль, аще не можете даромѣ, брашноѣм и питьемъ: ти бо мимоходѣчи прославѣть челѣвѣка по всѣмъ землѣмъ любо добрымъ, любо злымъ. Болнаго присѣтите, надѣ мертвецѣа идѣте, нако вси мертвени несмы. И члѣвѣка не минѣте, не привѣчавше, добро слово ему дадите. Жену свою любите, но не дайте имѣ надѣ собою власти. Се же вы конецъ всему: страхѣ Бѣгии имѣите выше всего.

Аще забываете *сего*¹⁹, а часто прочитайте: и мнѣ будетъ бе-соромѣ, и вамѣ будетъ добро. Егоже оумѣючи, того не забывайте доброго, а негоже не оумѣючи, а тому сѣа оучите, накоже бо ѿцѣ мой дома сѣдѣа изумѣнаше .ѣ. назыкъ, в томѣ бо чѣсть естъ ѿ инѣхъ землѣ. Лѣность бо всему мѣти: еже оумѣеть, то забудеть, а негоже не оумѣеть, а тому сѣа не оучить. Добрѣ же творѣще, не мозите сѣа лѣнити ни на что же доброе. <...>

А се вы повѣдаю, дѣти моѣа, трудъ свои, ѿже сѣа несмѣ тружалѣ, пути дѣна и ловы .гѣ. лѣтѣ...

¹⁸ Сохраняя словоделение, принятое в ПСРЛ, заметим, что это место, по-разному толкуемое в литературе [см. Орлов 1946: 182—183; Мещерский 1977], остается темным.

¹⁹ Исправление Миклошича, в Лавр. *всего*.

II. Великопостная «беседа» Мономаха. Мелким шрифтом даны фрагменты, которые могут представлять собой вставки, сделанные при составлении «Избранного», см. выше примеч. 13.

«Восинает весна постнаа и цвѣтъ покаянья. Очистимъ себе, братья, ѿ всакоа крови плотскыа и дшвныа. Свѣтодавцо вопыюще, рцѣмъ: слава тобѣ, Члѣволюбче!»

Поистинѣ, дѣти моа, разумѣите, како ти естъ члѣволюбецъ Бѣ, милостивъ и премлѣтвъ. Мы члѣвци, грѣшни суще и смртни, то оже ны зло створить, то хоцемъ и пожрети и кровь него пролыати вскорѣ; а Гѣ нашъ, владѣли животомъ и смртью, согрѣшенъа наша выше главы нашеа терпить, и паки и до живота нашего. Иако оцъ чадо свое любл, быа и паки привлчѣтъ е к собѣ, такоже и Гѣ нашъ показал ны естъ на *врага*²⁰ побѣду. Гѣ ми дѣлы добрыми избыти него и побѣдити него: покаяньемъ, слезами и млтнею. Да то вы, дѣти мои, не тажька заповѣдъ Бѣа, оже тѣми дѣлы Гѣ ми избыти грѣховъ своихъ и црѣтвиа не лишитисл. А Ба дѣла не лѣнитесл, молю вы сл, не забываете Гѣ хъ дѣлъ тѣхъ: не бо суть тажька; ни одиначество ни чернечество ни голодь, иако инии добрии терпять, но малымъ дѣломъ оулучити млтѣ Бѣю. //

Аще вы Бѣ оумлжчить срѣце, и слезы своа испустите ѿ грѣсѣхъ своихъ, рекуще: иако^ж блудницу и разбоиника и мытарл помиловаль яеси, тако и на^с грѣшны^х помилуй. И в цркви то дѣите и ложасл. Не грѣшите ни ѿдну же ночь, аще можете, *поклонитесл*²¹ до земли, а ли вы сл начнет не мочи, а трижды. А того не забываете, не лѣнитесл: тѣмъ бо ночнымъ поклономъ и пѣньемъ члѣвкъ побѣжае^т дьявола, и что въ днь согрѣшитъ, а тѣмъ члѣвкъ избываетъ. Аще и на кони ѣздаче, не будетъ ни с кымъ орудыа, аще инѣхъ млтвъ не оумѣете молвити, а «Гѣи помилуй» зовѣте бес престани втаинѣ, та бо естъ млтва всѣхъ лѣпши, нежели мыслити безлѣпицю ѣзда. //

⟨И⟩ да не застанеть ва^с слнце на постели, тако бо оцъ мои дѣнаше^т блжнии и вси добрии мужи свершении: заоутренюю ѿдавше Бѣи хвалу, и потомъ слнце вьсходлщю, и оузрѣвшю слнце, и прославити Ба с радостью, и ре^т: «Просвѣти ѿчи мо[и], х^се бѣ, и[же] даль ми яеси свѣтъ твои красныи». И еще: «Гѣи, приложи ми лѣто къ лѣту, да прокъ грѣховъ своихъ поканавсл, ѿправдивъ животъ, тако похвалю Ба». И сѣдше думати с дружиною, или люди ѿправливати, или на ловъ ѣхати, или поѣздити или лечи спати: спанье естъ ѿ Ба присужено полудне, ѿ ть чина бо почиваетъ и звѣрь, и птици, и члѣвци. //

«Что естъ члѣвкъ, иако помниши и?» «Велии яеси, Гѣи, и чюдна дѣла твоа; никакже разумъ члѣвчскъ не можетъ исповѣдати чюдес твоихъ». И паки ре^чмъ: «велии яеси Гѣи, и чюдна дѣла твоа, и блг^свно и хвално имл твое в вѣкы по всеи земли». Иже кто не похвалить, ни прославляетъ силы твоаа и твоихъ

²⁰ Исправлено на основании [Müller 2000: 346], в Лавр. *врагы*. Как видно из продолжения (*избыти него и побѣдити его*), речь здесь идет не о врагах вообще, а о враге рода человеческого.

²¹ Исправлено, в Лавр. *поклонитисл*.

великы̄ чюдѣ̄ и добротъ, оустроены̄ на семь свѣтъ: како нѣо оустроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звѣзды, и тма, и свѣтъ, и землѧ, на вода̄ положена, Гѣи, твоимъ промысло̄м! Звѣрье розноличнии, и птица, и рыбы оукрашено твоимъ промысло̄м, Гѣи! И сему чюду дивуемъсѧ, како ѿ персти создавъ члѣвка, како образи розноличнии въ члѣвцскихъ лицѣ̄, аще и весь миръ совокупить, не вси въ одинъ обра̄, но кыже своимъ лицъ образо̄м, по Бии мдрѣти. И сему сѧ *подивуемы*²², како птица нѣнына изъ ирына идӯт, и первѣе [въ] наши руцѣ, и не ставлѣсѧ на одиной земли, но и силныа и худына идӯт по всѣмъ землѧмъ, Бжиимъ повелѣньемъ, да наполнѧтсѧ лѣси и полѧ. Все же то даль Бъ на оугоды члѣвомъ, на снѣдъ, на веселье. Велика, Гѣи, млѣть твоѧ на на̄, иже та оугодыа створилъ геси члѣвка дѣлѧ грѣшна. И ты же птицѣ нѣнына оумудрены тобою, Гѣи, егда повелиши, то вспоють, и члѣкы веселѧтъ тебе; и егда же не повелиши имъ, казыкъ же имѣюще, онемѣють. А блѣнь геси, Гѣи, и хвалень зѣло! всѧка чю̄са и ты доброты створивъ и здѣлавъ, да иже не хвалить тебе, Гѣи, и не вѣруеть всѣмъ срѣцмъ и всюю дѣшею во ӣмѧ Оца и Сна и Стго Дха, да будетъ проклатъ.

Литература

- Алексеев 1935 — М. П. Алексеев. Англо-саксонская параллель к Поучению Владимира Мономаха // ТОДРЛ. 1935. Т. 2. С. 39—80.
- БЛДР 1997 — Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. XI—XII века. М., 1997.
- Воронин 1962 — Н. Н. Воронин. О времени и месте включения в летопись сочинений Владимира Мономаха // Историко-археологический сб.: А. В. Арциховскому к 60-летию со дня рождения и 35-летию научной, педагогической и общественной деятельности. М., 1962. С. 265—271.
- Воскресенский 1893 — В. А. Воскресенский. Поучение детям Владимира Мономаха. СПб., 1893.
- Гиппиус 2003 — А. А. Гиппиус. К атрибуции молитвенного текста в «Поучении» Владимира Мономаха // Древняя Русь. Вопросы лингвистики. 2003. № 4 (14). С. 13—14.
- Грушевский 1905 — М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Т. 2. Львів, 1905.
- Данилевский 1999 — И. Н. Данилевский. Круг чтения составителей Повести временных лет // Древнерусская культура в мировом контексте. М., 1999. С. 117—119.
- Данилов 1947 — В. В. Данилов. «Октавий» Минуция Феликса и «Поучение» Владимира Мономаха // ТОДРЛ. 1947. Т. 5. С. 97—107.
- Духовная 1793 — Духовная Великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, называемая в Летописи Суздальской «Поучение». СПб., 1793.
- Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Ивакин 1901 — И. М. Ивакин. Князь Владимир Мономах и его Поучение. Ч. 1: Поучение детям; письмо к Олегу и отрывки. М., 1901.

²² Исправлено, в Лавр. *повидуемы*.

Истрин 1922 — В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода. Пг., 1922.

Карамзин 1991 — Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. 2—3. М., 1991.

Конявская 2000 — Е. Л. Конявская. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI — середина XV в.). М., 2000.

Копреева 1972 — Т. Н. Копреева. К вопросу о жанровой природе Поучения Владимира Мономаха // ТОДРЛ. 1972. Т. 27. С. 94—108.

Кусков 1982 — В. В. Кусков. История древнерусской литературы. М., 1984. 4-е изд. М., 1984.

Лавровский 1864 — Н. А. Лавровский. Обзор ветхозаветных апокрифов // Духовный вестник. 1864. Ноябрь. С. 344.

Литвина, Успенский 2002 — А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Пути усвоения христианских имен в русских княжеских семьях XI — начала XIII в. // Религии мира: История и современность. 2002. М., 2002. С. 36—109.

Лихачев 1979 — Д. С. Лихачев. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. 2-е изд. М., 1979.

Лихачев 1986 — Д. С. Лихачев. «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского и «Поучение» Владимира Мономаха // Д. С. Лихачев. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 137—139.

Лихачев 1987 — Д. С. Лихачев. Владимир Всеволодович Мономах // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: XI — первая половина XIV в. М., 1987. С. 98—102.

Матьесен 1971 — Р. Матьесен. Текстологические замечания о произведениях Владимира Мономаха // ТОДРЛ. 1971. Т. 26. С. 192—201.

Мещерский 1977 — Н. А. Мещерский. К толкованию лексики одного из «темных мест» в «Поучении» Владимира Мономаха // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. С. 39—42.

Мещерский 1980 — Н. А. Мещерский. «Поучение» Владимира Мономаха и «Изборник» 1076 г. // Вестник ЛГУ. № 20. История, язык, литература. Вып. 4. 1980. С. 104—106.

Обнорский 1946 — С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М., 1946.

Оболенский 1998 — Д. Оболенский. Византийское содружество наций: Шесть византийских портретов. М., 1998.

Орлов 1946 — А. С. Орлов. Владимир Мономах. М.; Л., 1946.

ПВЛ 1996 — Повесть временных лет. Т. 1—2. 2-е изд., испр. и доп. / Подгот. М. Б. Свердлов. СПб., 1996. (1-е изд. / Подгот. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачева; Под. ред. В. А. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950.)

ПЛДР 1978 — Памятники литературы Древней Руси XI—XII века. М., 1978.

Погодин 1861—1863 — М. П. Погодин. О поучении Мономаховом // ИОРЯС АН. Т. 10. 1861—1863. С. 235.

Подскальски 1996 — Г. Подскальски. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237 гг.). СПб., 1996.

Поньрко 1992 — Н. В. Поньрко. Эпистолярное наследие Древней Руси XI—XIII вв. СПб., 1992.

Протопопов 1874 — С. Протопопов. Поучение Владимира Мономаха как памятник религиозно-нравственных воззрений и жизни Руси в дотатарскую эпоху // ЖМНП. 1874. Февраль. Ч. 171. С. 231—292.

ПСРЛ 1962 — Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М., 1962.

Робинсон 1984 — А. Н. Робинсон. Литература Древней Руси // История всемирной литературы. Т. 2. М., 1984.

Рыбаков 1963 — Б. А. Рыбаков. Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963.

Соловьев — С. М. Соловьев. Сочинения: В 18 кн. Кн. 1, 2. М., 1988.

Сперанский 1904 — М. Н. Сперанский. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. М., 1904.

Тихонравов 1863 — Н. С. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1—2. М., 1863.

Толочко 2003 — П. П. Толочко. Русские летописи и летописцы X—XIII вв. СПб., 2003.

Хрусталева 2002 — Д. Г. Хрусталева. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб., 2002.

Шахматов 1916 — А. А. Шахматов. Повесть временных лет. Т. 1. Пг., 1916.

Шляков 1900 — Н. В. Шляков. О Поучении Владимира Мономаха // ЖМНП. 1900. Май. Ч. 329. С. 96—138; июнь. Ч. 329. С. 209—258; июль. Ч. 330. С. 1—21.

Янин, Зализняк 1999 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты из раскопок 1998 г. // ВЯ 1999. № 4. С. 3—27.

Clanchy 1979 — M. Clanchy. From memory to written word. England 1066—1307. London, 1979.

Cyževska 1952 — T. Cyževska. Zu Vladimir Monomach und Kekaumenos // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1952. Bd 2. S. 157—160.

Ghini 1993 — G. Ghini. Un testo «sapienziale» nella Rus' Kieviana. Il Poučenie di Vladimir Monomach. Bologna, 1990.

Hunger 1978 — H. Hunger. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd.1. München, 1978.

Keipert 1975 — H. Keipert. Ein Vitenzitat bei Vladimir Monomach // Orientalia christiana periodica. T. 41. 1975. S. 232—236.

Miklosich 1860 — Chronica Nestoris. Textum russico-slovenicum, versionem latinam, glossarium edidit Fr. Miklosich. Volumen primum, textum continens. Vindibona, 1860.

Müller 1979 — L. Müller. Noch einmal zu Vladimir Monomachs Zitat aus einer asketischen Rede Basilius des Großen // Russia mediaevalis. 4. 1979. S. 16—24.

Müller 2000 — Die Nestorchronik: die altrussische Chronik, zugeschrieben dem Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in der Redaktion des Abtes Sil'vestr aus dem Jahre 1116, rekonstruiert nach den Handschriften Lavrent'evskaja, Radzivilovskaja, Akademičeskaja, Troickaja, Ipat'evskaja und Chlebnikovskaja, ins Deutsche übersetzt von Ludolf Müller (= Forum Slavicum, Bd. 56). München: Fink, 2001.

Veder 1983 — W. R. Veder. The «Izbornik of John the Sinner»: a Compilation from Compilations // **Полата књигописнага**. Т. 8. 1983. Р. 15—37.

Исследование выполнено по программе ОИФН РАН («История, языки и лит-ра славянских народов в мировом социо-культурном контексте»).

ОБ ИНФИНИТИВНОМ ПИСЬМЕ ШЕРШЕНЕВИЧА

Э-э-то — кита-а-ай-ское-е...

Д. А. Пригов

1

Под инфинитивным письмом (ИП) ¹ я понимаю тексты, содержащие достаточно автономные инфинитивы, то есть:

1) абсолютные инфинитивные конструкции — самостоятельные предложения (типа *Грешишь бесстыдно, непробудно*) ², не подчиненные никаким управляющим словам (в отличие от *Печальная доля — так сложно, / Так трудно и празднично жить*), не привязанные к конкретным лицам и модальностям (в отличие от *Быть в аду нам...*; *Эх, поговорить бы иначе...*; *Не поправить дня...*), единичные или серийные, иногда покрывающие целые стихотворения (*Жить на вершине голой, / Писать простые сонеты / И брать от людей из дола / Хлеб, вино и котлеты*);

2) зависимые серии однородно соподчиненных или подчиненных друг другу инфинитивов, квазиавтономные благодаря своей протяженности (*Какое низкое коварство / Полуживого забавлять, / Ему подушки поправлять, / Больному подносить лекарство...*; *Хотел он, превращаясь в волны, / Сиреною блестеть, / На берег пенистый взбегая, / Разбиться и лететь, / Чтобы опять приподнимаясь, / С другой волной соединяться, / Перегонять и петь, / В высокий сад глядеть*).

Русское ИП возникает в силлабический период и сразу обнаруживает ориентацию на иностранные — французские и античные — источники, в частности у Кантемира. В XVIII—XIX вв. ИП тоже опирается, иногда открыто, на иностранные образцы и отчасти на фольклорную традицию. Новый подъем ИП, особенно абсолютного, начинается с конца XIX в. и продолжается до сих пор.

ИП обладает устойчивым семантическим ореолом, вытекающим из типовых грамматических и смысловых свойств инфинитива, откристаллизо-

¹ Об ИП см. [Ковтунова 1986: 159—160; Панченко 1993; Золотова 1998: 440—469; Жолковский 2000; 2002; в печати-а].

² Выделение инфинитивов полужирным шрифтом здесь и далее мое. — А. Ж.

ванных поэтическим узусом, — оно трактует о некой виртуальной реальности, о мыслимом инобытии субъекта, колеблющегося между лирическим «я» и «Другим» — то возвышенно-идеальным, то сатирически или иронически сниженным, а то и вообще неодоушевленным. Мерцающее стирание граней между реальным и виртуальным, (перво)личным и неопределенно-личным, субъектом и окружением, глагольностью и безглагольностью — конструктивный принцип ИП, его основной тропологический ход, его поэтический *raison d'être*.

Стихи Шершеневича занимают особое место в общей перспективе модернистской экспансии ИП, один из пиков которой приходится на начало 10-х гг. — время его литературного дебюта (1911 г.). У него есть три десятка стихотворений с ИП, при всем их стилистическом — футуро-имажинистском — напоре, грамматически правильных. Но минимум в семи из них встречаются действительно новаторские аграмматичные инфинитивы³. Обратимся к примерам.

I. *Я зову тебя. Не надо мне вовсе / Того, что привык ты всем **прошептать!***
(«Вечный жид. Трагедия великолепного отчаяния»; 1915—1916).

Это самый ранний у Шершеневича случай деграмматизации инфинитива, еще довольно осторожный — неправильное смысловое сопряжение инфинитива (*прошептать*) с управляющим словом (*привык*), связь же инфинитива с актантами (*ты, всем*) корректна и однозначна.

II. *О, что наши строчки, когда нынче люди / В серых строках, как буквы, вперед, сквозь овраг?! <...> Не могу я; нельзя. Кто в клетку сонета / **Замкнуть** героический военный топ? / Ведь нельзя же огнистый хвост кометы / **Поймать** в маленький телескоп?* («Священный сор войны. 8. Сергею Третьякову»; 1915—1916).

Актанты инфинитива (*замкнуть*) опять-таки налицо (*кто, топ*), неграмматичность же состоит в эллипсисе модального глагола (*сумеет?.. посмеет?..*), сосредоточивающем весь заряд модальности в самом инфинитиве. Правда, в следующем предложении модальность эксплицируется (*нельзя же*).

III. *Лечь — улицы. Сесть — палисадник. / **Вскочить** — небоскребы до звезд <...> Отдираю леса и доски / С памятника завтрашних **жить**: <...> Эти нежные весны на крыльях вампира <...> Пролетают **глядеть** в никуда* («Принцип поэтической грамматики»; 1918).

Три начальные конструкции — самые радикальные, оправдывающие метаграмматическое заглавие. Перед нами первый четкий, причем серийный, образец излюбленного Шершеневичем (и отчасти наметившегося во II примере) аграмматичного употребления инфинитивов в качестве сказуемых к

³ Нильссон, рассматривающий некоторые из них, ошибается, утверждая, будто «подобные конструкции не исключены в русском синтаксисе» [Nilsson 1970: 80].

соседним подлежащим. Глаголы в инфинитиве непереходные, так что отношение действий к деятелям почти однозначно (хотя теоретически возможно альтернативное залоговое прочтение: «субъект [я] виртуально ложится на улицах, садится в палисаднике, вскакивает при виде небоскребов») ⁴.

Грамматически недопустимое соположение подлежащего (в им. пад.) со сказуемым-инфинитивом отличается от случаев обычного ИП, где именно отсутствие или контекстная удаленность — и потому размытость/неоднозначность — субъекта работает на виртуальность. Создается ли виртуальность в данном случае, неясно: после читательского усилия, преодолевающего рассогласованность, устанавливается связность и как бы изъясительность.

Четвертый инфинитив (*жить*) неграмматичен по-иному — чрезмерной субстантивизацией в результате постановки в генитивную позицию. Пятый правилен грамматически (ср. *ходят смотреть*), но остраничен лексически.

IV. Кромсать и рвать намоклие подушки, / Как летаргический проснувшийся в гробу. / Сквозь темь кричат, бездельничая, кошки, / Хвостом мусоля кукиши труб. / **Согреть** измерзшие ладошки / Сухих поленьях чьих-то губ. (...) Барьер морщин. По ребрам прыг коня. / **Тащить** занозы воспоминаний / Из очумевшего меня («Аграмматическая статика»; 1919) ⁵.

⁴ С некоторой натяжкой эти инфинитивы можно было бы осмыслить и как повелительные или оптативные. Еще интереснее другое альтернативное прочтение трех первых конструкций — как метафорического приравнивания инфинитивных предикатов трем вертикально соотнесенным объектам (*улица, палисадник, небоскреб*); см. [Жолковский, в печати-б].

⁵ Программное заглавие стихотворения оправдывается тем, что в первых 18 строках личные сказуемые вообще отсутствуют. В том же 1919 г., в стихах, посвященных Шершеневичу, Мариенгоф имитирует его инфинитивную стилистику: *Знаете на солнце хорошо кляксу бы / Туч осени сентября октября / И ветер — зори плясать красными ляжками / Подолы задрав...* (Мариенгоф. «Магдалина». Поэма посьв. Вадиму Шершеневичу. Книга II. «Дни горбы», фрагмент 6).

Позднее аграмматические инфинитивы, в частности пары «подлежащее — инфинитив» шершеневического типа, встречаются у Хармса: *Вот и дом полетел...* / *Вот и камень полететь.* / *Вот и пень полететь.* / *Вот и миг полететь.* / *Вот и круг полететь.* (...) *Часы летать.* / *Рука летать.* / *Орлы летать.* / *Копьё летать.* / *И конь летать.* / *И дом летать.* / *И точка летать.* (...) **Что лететь, но не звонить?** / *Звон летает и звинеть.* / *ТАМ летает и звонит.* / *Эй монахи! мы летать!* / *Эй монахи! мы летать!* / *Мы летать и ТАМ летать.* / *Эй монахи! мы звонить!* / *Мы звонить и там звинеть* («Звонитьлететь [третья цисфинитная логика]»; 1930; ср. [Успенский, Бабаева 1992: 131—133]); *Вот час всегда только был.* / *Вот час всегда теперь быть* («Третья цисфинитная логика бесконечного небытия»; 1930); *тесно жить.* *покинем клеть.* / *будем в небо улететь* («Лапа»; 1930). *Соседка помоги мне познакомиться с тобой.* / *Будь первая в этом деле.* / *Я не могу понять / Совсем запутался / Что хочешь ты? / Со мной соседка познакомиться / иль просто в улицу смотреть* («Соседка помоги мне познакомиться с тобой...»; 1931).

Связь первых трех инфинитивов с субъектом (местоимением *мне* — за пределами фрагмента) однозначна. Глаголы переходные, но в третьем случае управление неграмматично из-за отсутствия предлога (*в*). Характерная инновация Шершеневича — перебивка инфинитивной серии (здесь после второго члена) неинфинитивным куском с личным сказуемым (*кричат*), работающая на эффект свободной фрагментарности и ассоциативности. Абсолютность последнего инфинитива ослаблена участием перволичного актанта (*меня*), субъект же остается неоднозначным (*тащит кто?*).

V. «Слезы кулак **зажать**» (1919)

Оригинально уже то, что перед нами заглавие, причем в самом тексте стихотворения аграмматичных инфинитивов нет, хотя ИП в нем представлено ⁶.

Другое интересное свойство V примера — трехместность инфинитивного предиката, повышающая потенциальную неоднозначность конструкции. Первым напрашивается прочтение в духе обычного ИП: «субъект [я] виртуально зажимает слезы в кулак». Но в принципе возможны и кулак, сам зажимающий слезы, и слезы, констатируемые отдельно (назывным предложением) и, подразумевается, вызывающие то ли зажимание их в кулак, то ли (лексико-грамматически неправильное) непереходное зажимание-сжимание кулака самого по себе.

Третья особенность — эллипсис предлога (*в*), программный пункт футуристических манифестов. Помимо телеграфной спрямленности речи, этим достигается деграмматизация управления (словом *кулак*), то есть связь сказуемого не с подлежащим (типа *Лечь — улицы*), а с дополнением (типа *Созреть... ладошки... поленьях*).

VI. *Мир беременен твоей красотой, / В ельнике ресниц зрачок — чиж./ На губах помада **краснет** зарею, / Китай волос твоих рыж. <...> Полночь **стирать** полумрака резинкой / На страницах бульваров прохожих. <...> Ты **умыть** зрачки мои кровью <...> Твои губы зарею **выгореть** / И радугой укуса в мое плечо <...> Ты **дремать** в фонарном адажио. / Ты в каждой **заснуть** трубе <...> Весна сугробы ртом солнца **лопать**, / Чтоб каждый ручей в Дамаск <...> Эй, московские женщины! Кто он, / Мой любовник, теперь вам **знать**! / Без него я, как в обруче клоун, / До утра **извертеться** в кровать. / Каменное влагалище улиц утром **сочиться** <...> В животе мозгов 1/4 века с пеленок / Я **вынашивать** этот бред. / И у потомства в барабанной перепонке / **Выжечь** слишком воскресный след («Песня-песней»; 1920).*

Одноместное *краснет* однозначно относится к *помаде*; однозначно прочитываются и управляющие двумя и более зависимыми *ты умыть*, *ты дремать*, *ты заснуть*, *весна лопать*, *я извертеться*, *влагалище сочиться*, *я*

⁶ Инфинитивные заглавия в ИП встречаются, но тогда текст обычно содержит аналогичные фрагменты.

вынашивать... и выжечь; словосочетание *вам знать* почти грамматично (благодаря опоре на идиому). Несколько двусмысленно *Твои губы зарею выгореть*, где *зарею* может пониматься (а) как сравнение (ср. далее: *и радугой*), а также выше: *помада краснеть зарею*); (б) как обстоятельство времени; или (в) как инструмент (если неграмматически интерпретировать инфинитив *выгореть* в смысле *выжечь* — такая форма появляется далее в тексте). Потенциально двусмысленно и *утром сочиться* — *сочиться чем* или *когда?*

Еще больше потенциал синтаксической неоднозначности у строчек *Полночь стирать полумрака резинкой / На страницах бульваров прохожих*. По-видимому, «нормальным» будет прочтение: «субъект [я] виртуально стирает полночь со страниц-бульваров при помощи ластика-полумрака» (ср. выше в тексте *Губами твоими, как гребенкой, / Мне расчесать мою грусть*). Но возможны и другие, например: «полночь виртуально стирает... прохожих с бульваров» (ср. подобное употребление *полночи* в VII).

Наконец, *извертеться в кровать* неграмматично и неоднозначно, означая либо «извертеться в кровати» (с неправильным управлением), либо «звертеться в кровать» (с неправильной приставкой).

VII. *Лежать* сугроб. *Сидеть* заборы. / *Вскочить* в огне твое окно (...). *Полночь молчать. Хрипеть* минуты. / *Вдрызг* пьяная тоска *визжать*. / *Ты будь мой* только подвиг *сотый*, / *Который мне до звезд* **воспеть («Московская Верона»; 1922).**

Первые шесть инфинитивов — самая длинная у Шершеневича подобная серия. Инфинитивы непереходные, не согласованные с подлежащими. К тому же это — проясняющий парафраз II примера.

Последний инфинитив (*воспеть*) был бы грамматичен (он управляется субъектом в дат. пад. *мне*), если бы не анаколупф: абсолютный инфинитив невозможен внутри придаточного предложения (*который...*).

Итак, инфинитивные аграмматизмы — если угодно, неграмматизмы — Шершеневича немногочисленны. Основной тип: «инфинитивное сказуемое плюс несогласованное подлежащее», но есть и неправильные управления; иногда налицо потенциальная синтаксическая двусмысленность. Два случая относятся к 1915—1916 гг., пять — к 1918—1922 гг.

2

Установка на ломку синтаксиса⁷ восходит у Шершеневича к Маринетти, стихи, прозу и манифесты которого он обильно переводил. У Маринетти соответствующие идеи и стихи появляются в 1912 г., включая его «Технический манифест» [Marinetti 1968: 46—54] с программой разрушения син-

⁷ Приверженность принципу «ломки» была продемонстрирована Шершеневичем еще в стихотворении 1913 г. «Сломанные рифмы».

таксиса, а их первые русские переводы — в 1913-м (Осоргина) и 1914-м, начавшемся визитом Маринетти в Россию (переводы Тастевна, Энгельгарта, Шершеневича). Аналогичную собственную программу Шершеневич формулирует в « $2 \times 2 = 5$. Листы имажиниста» [Шершеневич 1920]. Инфинитивный аспект его теории и практики — целый особый сюжет.

В свое изложение манифестов Маринетти в книге «Футуризм без маски» [Шершеневич 1913: 46—47] он произвольно вставляет пункт об отказе от инфинитивов, отсутствующий в оригинале и противоречащий идеям Маринетти, который как раз предпочитает инфинитив личным формам глагола. Согласно Лотон [Lawton 1981: 49—51], Шершеневич, видимо, был вначале знаком с манифестами только по переводам Осоргина. Свою ошибку он исправил в 1914 г. — в собственном переводе «Манифестов итальянского футуризма» [Шершеневич 1914] и тогда же сам начал экспериментировать с аграмматичными инфинитивами.

В « $2 \times 2 = 5$ » Шершеневич посвящает грамматическим инновациям целый раздел под броским инфинитивным названием «Ломать грамматику» [Шершеневич 1920: 36—48] — тогда как соответствующий лозунг Маринетти номинативен (*distruzione di sintassi*, «разрушение синтаксиса»). Но и в этом разделе, прокламирующем, à la Маринетти, отказ от личных глаголов (и предлогов, а по возможности и прилагательных) в пользу существительных, как раз инфинитивам, в отличие от Маринетти, места не находится. Так Шершеневич вторично отклоняется от итальянского мэтра в теоретическом подходе к инфинитиву.

Недовольство обоих глаголом связано с его организующей ролью в структуре предложения. «Глагол есть главный дирижер грамматического оркестра... сказуемое — [дирижерская] палочка синтаксиса» ([Шершеневич 1920: 39]; ср. также программные заголовки стихов: «Принцип поэтической грамматики», «Принцип архитектурного соподчинения», «Небоскреб образов минус спряженье», «Аграмматическая статика»). Объявленная задача обоих поэтов — эмансипация слов от власти грамматики: выпущенные на волю, они (*parole in libertà*, «слова на свободе») получают возможность вступить вместо грамматических в новые, ассоциативные, связи. Однако рассмотрение аграмматичных текстов Шершеневича показывает, что, во-первых, отказ от глаголов и предлогов практикуется далеко не последовательно, а главное, что нарушения грамматической связности не наступает. Поражает, наоборот, следование многообразным правилам русской грамматики с ее согласованиями, управлениями и примыканиями. К тому же условием эпатирующей ломки синтаксиса à la Шершеневич является присутствие в тексте тех актантов, связь с которыми подлежит деграмматизации (в отличие от традиционного ИП, разрабатывающего эллипсис субъектов к инфинитивам). Вследствие рассогласованности связь инфинитивов с соседними кандидатами в подлежащие и дополнения не столько ослабляется, сколько освежается и укрепляется — в духе острабяющего затруднения формалистов.

Антисинтаксическая практика Маринетти, в частности его обращение с инфинитивами, была гораздо радикальнее. В свои «Ответы на возражения» от 11 августа 1912 г. (по поводу «Технического манифеста» 11 мая; [Marinetti 1968: 55—62]) он включил в качестве образцового примера собственный футуристический фрагмент [Marinetti 1968: 59—62], по ходу сочинения которого им и был сформулирован «Технический манифест». Приведу (в оригинале и собственном подстрочном переводе) несколько кусков, наиболее релевантных для инфинитивной проблематики.

*Mezzogiorno ¾ flauti gemiti solleone tumbtumb allarme Gargaresch schiantrasi crepitazione marcia Tintinnio zaini fucili zoccoli chiodi cannoni... carogne flic-flac ammassarsi cammelli asini tumbtuum cloaca <...> cane-bagniato gelsomino gaggia sandalo garofani **maturare** intensi à ribollimenti **fermentare** tuberosa **Imputridire** **sparpagliarsi** furia **morire disgregarsi** pessi briciole polvere eroismo <...> sterchi rose sabbie barbagliodi-specchi tutto **camminare** aritmetica tracce **obbedire** ironia entusiasmo ronzo **cucire** dune guanciali zigzags **rammendare** piedi mole <...> *Avanguardie: 3 metri miscuglio andirivieni **incollarsi scollarsi** lacerazione fuoco **sradicare** cantieri frana cave incendio panico accieciamento **schacciare entrare uscire correre** zacchere *Vite-razzi cuori-ghiottonerie baionette-forchette **mordere trinciare pizzare ballare saltare** rabbia cani-esplosione... («Battaglia (Peso + Odore)»)***

Полдень ¾ флейты стоны жара тумбтумб сирены Гаргареш **рваться** треск гной [*или* марш] Позвякивание ранцы ружья башмаки гвозди пушки... падаль флик-флак **сучиваться** верблюды ослы тумбтуум клоака <...> мокрая-собака жасмин мимоза сандал гвоздики **расцветать [созревать]** интенсивность бурление **бродить [ферментировать]** туберозы **Протухать разбрасываться** ярость **умирать разбегаться** куски крошки пыль героизм <...> навоз розы пески туалетные-зеркальца всё **идти** арифметика следы **подчиняться** ирония энтузиазм жужжание **шить** дны подушки зигзаги **штопать** ноги жернова <...> Авангард: 3 метры [метра] смесь приходы-уходы **напяливать скидывать** ранение огонь **выдергивать** верфи оползень пещеры пожар паника ослепление **расплющивать** **входить выходить бежать** брызги Жизни-ракеты [спицы] сердца-деликатесы штыки-вилки **кусать нарезать вонять плясать прыгать** бешенство курики-взрывы... («Битва (Вес + Запах)»)

Отличия от грамматических стихов Шершеневича очевидны. Полностью отсутствуют личные глаголы, предлоги, прилагательные и наречия; употребляются только существительные, инфинитивы и числительные. Синтаксис сведен к бессоюзным перечислениям, двоеточиям и дефисам — в метафорических сцеплениях. Отсутствие в итальянском языке падежей делает такое телеграфное построение еще более фрагментарным, чем в русском, где в телеграммах падежи возможны и способствуют поддержанию связности. Важна и содержательная мотивировка бессвязности — «хаосом битвы», в отличие от преимущественно любовной, то есть «тяготеющей к близости, связям», тематики у Шершеневича. Кстати, в своем переводе «Манифестов» Маринетти Шершеневич эту иллюстрацию опустил, сославшись на обилие звукоподражаний и отсутствие знаков препинания, склонен-

ний и спряжений, что делает даже приблизительный перевод отрывка невозможным [Шершеневич 1914: 46].

Следует сказать, что установка на умеренность в осуществлении «ломки» и соответствие между идейным и формальным новаторством прямо заявлена в «Футуризме без маски». Шершеневич с сочувствием цитирует соображения одного из итальянских оппонентов Маринетти о том, что полное нарушение законов эстетики чревато безвкусицей, добавляя к этому собственные упреки в «преобладании [проповеднического] содержания над формой» — не «новой», а «скучн[ой] ввиду безвкусицы и подражательности» [Шершеневич 1913: 48—49; Lawton 1981: 52]. Конструктивный принцип поэзии Шершеневича можно сформулировать как турдефорс балансирования между освобождающей фрагментацией-дестабилизацией структуры и дисциплинирующим поддержанием ее целостности.

В традиции ИП как такового действуют две противоположные синтаксические установки — на простоту инфинитивных серий и на сложность, распространяющую их разнообразными зависимыми. На эти общие свойства ИП и накладывается конструктивный принцип Шершеневича «свобода, но дисциплина». Среди параметров, в терминах которых он реализуется, — такие как длина текста, число актантов, наличие/отсутствие сравнительных, причастных и деепричастных оборотов и придаточных предложений, порядок слов, композиционный рисунок структуры и, уже за пределами синтаксиса, стиховая, сюжетная и смысловая организация. Параметры эти в значительной мере взаимно независимы: текст может быть длинным, содержать много подчинений и инверсий, но уравнивать такую дестабилизацию четким параллелизмом конструкций, воспринимаясь в результате как стройный, прозрачный. И наоборот, простая конструкция может дестабилизироваться разностопностью строк, неконвенциональной рифмовкой, эллипсисом и т. п.

Рассмотренные выше аграмматизмы Шершеневича — это как раз случаи дестабилизации простейших структур: *Слезы кулак зажать* — куда, казалось бы, проще, но налицо и освобождающая грамматическая неправильность. В остальной части инфинитивного корпуса Шершеневича дестабилизация достигается без выхода за пределы грамматической правильности. Поэт демонстрирует владение всей клавиатурой ИП и разнообразными способами реализации своего основного конструктивного принципа, не брезгуя, впрочем, и вполне беспроблемными инфинитивными пассажами. Рассмотрим несколько фрагментов в порядке возрастания «управляемого хаоса», начав с самых прозрачных структур.

Страсти все меньше, все тоньше... / Плакать. Молчать. / Пусть потомки работу окончат: / На сургуч поставят печать («Нам аккомпанировали наши грусти...»; 1913—14?).

Снова сердцу у разбитого корытца / Презрительно тосковать. / И в пепельнице памяти рыться / И оттуда окурки таскать! («Усеченная ритмика»; 1918).

Осталось придумать небывалые созвучья, / Малярною кистью вычерчивать профиль тонкий / лица, / и душу, хотящую крика, измучить / невозможностью крикнуть о любви до конца! («Принцип звука минус образ»; 1918).

От примера к примеру число инфинитивов здесь постепенно увеличивается, правильность их расположения уменьшается, в последнем примере появляется синтаксическая неоднородность (*измучить / невозможностью крикнуть*).

В следующей группе растёт длина инфинитивных серий, возникают распространяющие обороты и придаточные предложения, падает симметричность расположения инфинитивов и синтаксических конструкций в целом.

Среди исканий без покоя / Любить поэту не дано. / Искать губами пепел черный / Ресниц, упавших в заводь щек, — / И думать тяжело, упорно / Об этажах подвластных строк. / Рукою жадной гладить груди / И чувствовать уж близкий крик, — / И думать трудно, как о чуде, / О новой рифме в этот миг («Принцип романтизма»; 1917).

О, если б жить, как все, как те, / В венце паскудных скудных будней, / И в жизненном меню найти / Себе девчонку поприглядней. / Быть в 30 лет отцом детей / И славным полководцем сплетен / И долгом, словно запятой, / Тех отделить, кто неприятен. / А в 40 лет друзьям болтать / О высшей пользе воздержанья / И мир спокойно возлюбить, / Как по таблице умноженья! / И встретить смерть под 50, / Когда вся жизнь, как хата с краю («Расход тоски»; 1922).

Пойду перелистывать и раздевать улицу-бездельницу / И переклички перекрестков с хохотом целовать, / Мучить увядшую тучу, упавшую в лужу, / Снимать железные панамы с истеричных домов, / Готовить из плакатов вермишель на ужин / Для моих проголодавшихся и оборванных зрачков, / Составлять каталоги секунд, голов и столетий, / А напишишь трезвым, перебрасывать день через ночь («После незабудочных разговоров...»; 1913).

И от этого зноя с головой / Погрузиться / В слишком теплое озеро голубеющих глаз, / И безвольно запутаться, как в осоке, в рясницах, / Прошумящих о нежности в вечерюющий час. / И, совсем обессилив от летнего чуда, / Где нет линий, углов, нет конца и нет грез, / В этих волнах купаться и вылезть оттуда, / Завернуться в мохнатые простыни ваших волос («Имажинистический календарь»; 1917).

Ещё причудливее случаи перебивки инфинитивной серии другими, в том числе личными глагольными конструкциями; в результате возрастает фрагментарность, почти подрывается грамматическая связность.

Бесцельно целый день жевать / Ногами плитку тротуара, / Блоху улыбки уловить / Во встречном взгляде кавалера. / Следить мне, как ноябрь-паук / В ветвях плетет тенета снега, / И знать, что полночью в кабак / Дневная тыкнется дорога. / Под крышным черепом, — ой, ой! — / Тоска бредет во всех квартирах, / И знать, что у виска скорей / Чем через год запахнет порох («Итак итог»; 1922).

Долго плюс дольше. Фокстерьеру сердца / Кружиться, юлиться, вертеться. / Волгою мокрый платок / В чайнике сердца кипятков. / Доменной печью улыбки

140 по Цельсию / **Обжигать** кирпичи моих щек («Небоскреб образов минус спряженье»; 1919).

За бесстыдные строки твоих губ, как в обитель / **нести**, / И в какую **распутиться** трещину душой, / Чтоб в стакан кипяченой действительности / Валерьянкой **закапать** покой?! / И плетется судьба измочаленной сивкой / В гололедницу **тащить** несуразный воз. / И, каким надо **быть**, чтобы по этим глаз обрывкам / **Не суметь перечесть** / Эту страсть / Перегрезивших поз?! («Принцип кубизма»; 1918).

— Где любовник — **Считать** до 1000000 ресницы, / Губы **поднимать**, как над толпами флаг. / Глаза твои — **первопрестольники**, / Клещами рук **охватить** шейный гвоздь. / Руки **раскинуть**, как протек Сокольников, / Как через реку мост («Песня-Песней»; 1920).

Последним приведу фрагменты из стихотворной драмы «Вечный жид» (1915—1916), где длинная инфинитивная серия протягивается через многочисленные перебивки и диалогические смены говорящих.

ПОЭТ: **Ах, упасть** на кровать, как кидаются в омут, / И телами, / Как птица крылами, / Как в битве знамя, / **Затрясти и захлопать**. / А губы вскипят сургучом и застонут. / И всюду эту черную копоть / Любви до бессилья **раскутать**. / **Пропотеть** любовью, / Как земля утренней росой, ни разу **не спутать**, / **Не позабыть**, где изголовье! <...> ЖЕНЩИНА: Тогда нежно **ласкать** моего хорошего, / **Втиснуть**, как руку в перчатку, в ухо слова... / ПОЭТ: Ну, а после едкого, острого крошева, / Когда вальсом пойдет голова? / ЖЕНЩИНА: Сжимаю руки слегка сильнее, / **Мечтать** о том, / Что **быть бы** могло! <...> ПОЭТ: Тихое «нет» **перемножить** на «да» — / И вместе **рухнуть** поющей оравой... / ЖЕНЩИНА: **Никогда!** / ПОЭТ: Неужели в этот миг — «нет»? / Когда тело от ласки пеною взбродится <...> ЖЕНЩИНА: Тогда тихо **взглянуть**, как глядела Богородица / На еще не распятого Христа! / И в ресницах **припрятать** эту страсть, как на память платок... / ПОЭТ: А тело несытное, как черствый кусок, / Опять накатится на окраины / **Подпевать** весне, щекочущей бульвары, / Опять **ходить** чайнно / Без пары!

3

Вернемся к вопросу об общем характере и возможных теоретических источниках обширной инфинитивной практики Шершеневича. Хотя в его манифесте « $2 \times 2 = 5$ » об использовании аграмматичных или иных инфинитивов речь не заходит и программных примеров с ними не приводится, инфинитивы появляются там в одном неожиданном месте:

«Как теперь далее **брать** отец мать больной **любить** ты группа относительно сердце внутренности **сказать** один **сказать**», — это не бред Крученых; это дословный перевод китайского “жукин тсие на фуму тунгнгай нимен ти синтшанг све и све”, что значит: “теперь далее, переходя к горячо любящему сердцу родительскому, скажем о нем пару слов”.... Из анархической вольницы возника-

ет организованное войско путем взаимовлияний образов одних слов на соседние» [Шершеневич 1920: 38]

Упоминание о Крученых здесь, возможно, не отсылка к какому-то его инфинитивному тексту, а эпатажная гипербола бредовой зауми ⁸. Китайского языка Шершеневич не знал, но знал несколько европейских, был образованным филологом и, видимо, почерпнул сведения о его лишенном морфологии строе из лингвистических источников ⁹.

⁸ Соображение подсказано А. А. Кобринским, которому я признателен и за другие консультации по Шершеневичу. Впрочем, следует отметить как более ранние, чем у Шершеневича, так и достаточно аграмматичные инфинитивы Крученых:

меня все считают северо-западным когда я молчу и / не хочу называть почему созданы мужчины и / женщины когда могли быть созданы одни мужчины (...) Я вытерся ватой / люблю лю-блю вдруг заговорила она как будто с / собою и вы ниночка не верьте что я вам там наврала / **убивать** детей каждый день знал где гулял никаких он / платков не уносил и не передавал мне все это (...) не убежишь / нечего **запираться** ящики у меня есть ключи («опять влюблен нечаянно некстати произнес он...», сб. «Возропщем»; 1913);

*зерзал ноу / по ажурному телу / не знает — как лучше **начать!** / Раз! / кануло из подели... / трапеция... триг!.. / канаты / визжат... зизэн / **Сгореть** / рюч зор!* (полное стихотворение «Цирк», сб. «Фонетика театра»; 1923).

Аграмматичные инфинитивы встречались и у других футуристов:

*Играют в старой башне дети. / Там был когда-то арсенал, / И груди хлама часто **встретить** / Шеломы, панцири, кинжал* (Д. Бурлюк. «Играют в старой башне дети...»).

*И Вам, о единственная, мои стихи приготовлены — / Метрдотель, улыбающий равнодушную люстру, / Разве может заранее ужин условленный / **Сымпировизировать** в улыбаться искусство* (Большаков, «Посвящение», 1913).

⁹ По вопросам китайского языка и поэзии я с благодарностью пользовался советами С. А. Старостина и особенно И. С. Смирнова. Согласно последнему, китайский текст дан у Шершеневича в странной транскрипции, возможно, скопированной с какой-то иноязычной. Исправленный русский вариант выглядел бы примерно так: *жу цзинь це на фу му* (эквивалент слова «большой») у Шершеневича отсутствует) *тун ай ни-мэнь дэ синь чжун* («сказать» тоже отсутствует) *се и се*.

Кстати, Китай появляется у Шершеневича и в «Песне-Песней», написанной в том же 1920-м г.: *Китай волос твоих рыж*.

Среди китайских стимулов Шершеневича могла быть книга выдающегося китаиста В. М. Алексеева, содержавшая комментированный подстрочный, смысловой и парафрастический перевод стихов поэта IX в. Сыкун Ту ([Алексеев 1916]; переработанный вариант см. [Алексеев 1978: 171—186]) и воспринятая русскими футуристами как «своя» ([Гаспаров 2000: 392]; см. также стихотворный перевод [Бобров 1969]).

Несколько раньше Шершеневича китайским языком и его поэтическими возможностями заинтересовался, под влиянием ориенталиста Эрнеста Феноллозы (1853—1908), Эзра Паунд (1885—1972), опубликовавший в 1915 г. поэму «Cathay» [Кагай], основанную на подстрочных переводах из китайской поэзии Феноллозы, предо-

Примечательна идея «организованного войска» — в отличие от принципиально анархичного Маринетти. Китайский синтаксис привлекается Шершеневичем в качестве альтернативного способа дирижирования словесным оркестром, в частности инфинитивами. И действительно, инфинитивные аграмматизмы Шершеневича и наиболее фрагментированные образцы его грамматичного ИП ближе к этому китайскому примеру, чем к *parole in libertà* Маринетти. Организующая роль инфинитивного сказуемого совмещается с высвобождением слов из пут грамматики ради ассоциативной образности. Синтаксис не столько разрушается, сколько перестраивается — на «китайский» лад.

Независимо от намерений Шершеневича и его синологических источников китайская параллель представляется продуктивной. В своей недавней книге Михаил Ямпольский трактует (с опорой на работу французского китаиста Ф. Чена) структуру классического китайского стихотворения следующим образом. Использование синтаксических неоднозначностей, возникающих благодаря отсутствию грамматического согласования и опусканию личных местоимений, а также игра на визуальных сходствах иероглифов приводят к парадоксальному смещению зависящих от глагола подлежащих, дополнений и обстоятельств. В результате лирическое «я» как бы сливается с окружающим миром, чему в европейской традиции мешает логико-грамматическое противопоставление субъекта, объекта и предиката.

Ван Вэй располагает в ряд пять иероглифов: «ветка», «конец», «роза» (два иероглифа) и «цветы». Строка читается: «На конце ветки цветы розы»... «[П]оэт стремится вызвать ощущение того, что по мере созерцания дерева он в конце концов сам соединяется с ним и видит изнутри дерева опыт цветения» [Cheng 1975: 45]. Это вхождение внутрь дерева... противоположно классической европейской эстетике созерцания и любования, в том числе и поэтическим языком как неким внешним объектом...

Идея проникновения наблюдателя в дерево... передается через включение некоторых элементов внутрь используемых... пиктограмм. Так, пиктограмма «человек» оказывается включенной... в третью пиктограмму строки [«розу»], четвертая пиктограмма содержит элемент «лицо»... — «бутон разрывается, как лицо» [Cheng 1975: 46], внутрь которого включен элемент «рот», или «говорит». Пятая пиктограмма содержит элемент... «**участвовать** во всеобщем изменении»... Таким образом, автор как бы включен внутрь собственного письма и «смотрит» на мир из него, письмо же уподобляется распускающейся розе на конце ветки. Между наблюдателем, письмом и розой в принципе нет никакого расстояния.

ставленных в его распоряжение вдовой ученого (см. [Nilsson 1970: 55—56; Fenollosa 1936: 22, 25; Kennedy 1964: 443 f.; Малявин 1982; Ming Xie 1998]). Паунд стал известен русским авангардистам по интервью с ним Зинаиды Венгеровой в «Стрельце» (1915). О связях, сходствах и различиях между русским имажинизмом и англоязычным имажизмом см. [Markov 1980: 1—3, 51; Nilsson 1970: 6—9, 13—19, 35—42, 55—57, 76—77; Ponomareff 1968: 1 f.]

Этот поиск близкого... наиболее полно выражается в отказе от местоименных слов. Одно из стихотворений Ван Вэя дословно звучит так: *Пустая гора не видеть никого / В одиночестве слышат голоса людей звучать / Заходящее солнце проникать глубокий лес / Долго задерживаться на зеленом мхе* [Cheng 1975: 49]. Первая строка читается как «На пустой горе я никого не встречаю», но... «благодаря отказу от личного местоимения поэт полностью идентифицируется с *пустой горой*, перестающей быть обстоятельством места» [Cheng 1975: 50]; [Ямпольский 2001: 12—13].

При всей соблазнительности этого анализа, Чен и вслед за ним Ямпольский преувеличивают выделяемые ими черты китайской поэзии, и *пустая гора* из последнего примера не может претендовать, в духе Шершеневича, на роль подлежащего к *не видеть* и *слышать*¹⁰. С другой стороны, установка на сближение (сюжетное, образное и структурное) лирического субъекта с окружающим миром характерна и для европейской поэзии, в частности русской, в частности для ИП, особенно последних ста лет, как видно из приводимых ниже в хронологическом порядке фрагментов. В принципе возможна трансформационная типология таких структур: от полной раздельности составляющих («субъект» — «модальное устремление» — «объект» — «его предикат»), как, скажем, в «Желании» Хомякова, ко все большему их сращению — благодаря отсутствию субъекта в абсолютной конструкции и разнообразной, в частности метонимической, метафорической и паронимической, технике (являющей аналог визуального сближения иероглифов).

Хотел бы я разлиться в мире, / Хотел бы с солнцем в небе течь, / Звездой в сумрачном эфире / Ночной светильник свой зажечь. / Хотел бы зыбью стеклянной / Играть в бездонной глубине / Или лучом зари румяной / Скользить по плещущей волне. / Хотел бы с тучами скитаться, / Туманом виться вокруг холмов (Хомяков. «Желание»; 1827).

Думу думает тяжелую сосна. / Грустно, тяжело ей, раскидистой, расти (...) *Хочет в землю глубоко она уйти (...)* *В небо взвихриться метелью из ветвей (...)* *Тяжело сосной печальной расти, / Не меняться никогда и не цвести, / Равнодушным быть и к счастью и к беде, / Но судьбою быть прикованным к земле, / Быть бессильным превратиться в бранный прах / Или вихрем разыгаться в небесах!* (Мей. «Сосна»; 1845).

Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь, / Ослепить в пламени сверкающего ока / И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко / В живую плоть, ведет священный путь. / Под серым бременем небесного покрова / Пить всеми ранами потоки темных вод. / Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот / В меня сойдет, во мне распнется Слово (Волошин. «Быть черною землей...»; 1906).

¹⁰ Вот литературный перевод этого стихотворения («Оленья засека»): *Горы пустынные / Не видно души ни одной. / Лишь вдалеке / Голоса людские слышны. / Вечерний луч / Протянулся в сумрак лесной, / Зеленые мхи / Озарил, сверкнув с вышины* (пер. Штейнберга; [Ван Вэй 1979: 44]).

Нам в руки козыри сданы / Ночами, вихрями, закатами? / И мы обречены играть, / Тасуя жизнь без берегов, / А им заимствовать пора / От наших песен и шагов — / Еще играть, еще южнее / Сияньем шеи, губ, как пеной / Волн, бесхитростных на дне / И на верху таких надменных (Тихонов. «Переход через ночь»; 1923).

У природы, заступницы всех, / Камни есть и есть облака. (...) Заморозить ей осенний поток, / Как лицом уткнувшись в стенку, лежать. / Посадить ей мотылька на цветок — / Что рукой махнуть, плечами пожать (Кушнер. «У природы, заступницы всех...»; 1966).

Задача перемешивания лирического субъекта с окружением вообще была одной из центральных в модернистской повестке дня. Одним из ее решений — вне инфинитивной сферы — было, например, отмеченное Лотманом [Лотман 1969: 224—225] в связи с черновым отрывком Пастернака:

Как читать мне? Оплыла свеча / Ах, откуда откуда сквозжу я / В плошках строк разбираю едва / Гонит мною страницу чужую. (1911—1913).

Стоящая за этим текстом серия семантических выкладок, свободно переставляющих местами субъекты, объекты и обстоятельства, примерно такова: «Я читаю книгу вечером при свете оплывающей свечи = Я читаю оплывающую книгу = Я оплываю за чтением книги = Вечер оплывает за книгой = ... ». Пастернак разработал целую систему подобных «переносных залогов», поэтически пересматривающих один из разделов языковой грамматики [Жолковский 1985; 1992]. Вот красноречивый пример из известного стихотворения:

Там, озаренный, как покойник, / С окна блуждаьем ночника, / Сиренью моет подоконник / Продрогший абрис ледника (...) И будто вороша каштаны, / Совком к жаровням в кучу сгреб / Мужчин — арак, а горожанок — / Иллюминированный сироп («Из поэмы»; 1916).

Что касается уместности китайских параллелей к русскому ИП, даже если «ультраинфинитивные» прочтения Ямпольского-Чена не вполне корректны, то, с другой стороны, не исключен и определенный «антиинфинитивный» перекоп в традиционной трактовке оригиналов. Китайский глагол лишен личных форм. Как стоящий в определенном времени, лице и числе он осмысливается и переводится по контексту — грамматическому, содержательному, жанровому. Естественно предположить, что многовековая китайская традиция комментирования классической поэзии в биографическом ключе и сложившиеся под ее влиянием условности перевода в канонизированные поэтические формы европейских языков склонны выпячивать личные, субъектные стороны текста, — так сказать, либо не догадываясь о возможности его более абстрактной, инфинитивной репрезентации, либо не решаясь на нее. Ограничусь одним примером ¹¹.

¹¹ Пример выявлен в ходе обсуждения с И. С. Смирновым, который в недавнем предисловии к переводам Алексеева из танской поэзии принимает идею инфини-

*Вечно зелен, растет / кипарис не вершине горы. / Недвижимы, лежат / камни в горном ущелье в реке. / А живет человек / между небом и этой землей / Так непрочно, как будто / он странник и в дальнем пути. / Только доу вина — / и веселье и радость у нас: / Важно вкус **восхвалить**, / малой мерою **не пренебречь**. / Я повозку погнал, — / свою клячу кнутом подстегнул / И поехал гулять / там, где Вань, на просторах, где Ло. / Стольный город Лоян, — / до чего он роскошен и горд. / «Шапки и пояса» / в нем не смешиваются с толпой. / И сквозь улицы в нем / переулки с обеих сторон, / Там у ванов и хоу / пожалованные дома. / Два огромных дворца / издалёка друг в друга глядят / Парой башен, взнесенных / на сто или более чи. / И повсюду пиры, / и в веселых утехах сердца! / А печаль, а печаль / как же так подступает сюда? («Третье стихотворение» из «Девятнадцати древних стихотворений»; ок. I в. н. э.; антология «Вэньсюань», VI в.; пер. Л. Эйшлина; [Китайская поэзия 1984: 15—16]).*

В I строфе субъекты неодушевленны («кипарис», «камни»); во II это обобщенные «человек» и «странник»; в III — несколько неопределенное, но зато перволичное «у нас», сопровождающееся парой безличных инфинитивов; в IV появляется полноценное лирическое «я»; затем «я» опять исчезает, уступая место описанию (как бы его глазами) столичной жизни, причем 1-е лицо отсутствует даже в остро личном финальном переживании *печали*, — дейксис сводится к двусмысленному *сюда*, указывающему то ли на сердце героя, то ли на сердца горожан.

Однако так дело обстоит только в переводе. В оригинале перволичный элемент отсутствует как в III строфе — словами *у нас* передано безличное обозначение «совместности», так и в IV, где никакого «я», оказывается, тоже нет, — оно внесено освященным традицией произволом переводчика. Более чуткое следование языковой и поэтической структуре оригинала, возможно, позволило бы развить зачаточную инфинитивную серию III строфы, продолжив ее и в IV, по схеме:

Только доу вина — / и **веселиться и радоваться сообща: / Вкус вина **восхвалить**, / малой мерою **не пренебречь**. / Повозку **погнать**, — / свою клячу кнутом **подстегнуть** / И **поехать гулять** / туда, где Вань, на просторах, где Ло.*

тивной передачи некоторых мест оригинала. Дав подстрочный перевод знаменитого стихотворения Ли Бо (701—762) «Тоска на яшмовых ступенях» (*Яшмовое крыльцо рождает белую росу... / Ночь длится... Полонен шелковый чулок... / Вернуться, опустить водно-хрустальный занавес — / Звеняще-прозрачный... созерцать осеннюю луну*) и сопоставив с ним неинфинитивные переводы В. М. Алексеева и Ю. К. Шущого (таков же, добавлю, и перевод Э. Паунда), Смирнов заключает:

[К]ак и многие китайские стихотворения, это лишено каких-либо грамматических или лексических примет лирического субъекта — на то, что это женщина, указывают только косвенные свидетельства вроде тончайшего шелкового чулка да тематический контекст, в который стихотворение помещено благодаря заглавию. Строго говоря, с точки зрения грамматики, две последние строки вообще следовало бы переводить инфинитивными конструкциями: уйти, опустить, смотреть [Смирнов 2003: 14—15].

«Третье стихотворение» вообще напоминает некоторые ходы русского ИП: содержа неинфинитивные картины, а инфинитивной серии отводя роль внезапного моторного и эмоционального подъема, оно развивает характерный для ИП мотив «путешествия в иное, в частности с помощью транспортного средства». Ср.:

*Как тускло пурпурное пламя, / Как мертвы желтые утра! / Как сеть ветвей в оконной раме / Всё та же сегодня, что вчера... / Одна утеха, что местами / Налет белил и серебра / Мягчит пушистыми чертами / Работу тонкую пера... / В тумане солнце, как в неволе... / Скорей бы сани, сумрак, поле, / **Следить** круженье облаков,— / Да, упиваясь медным свистом, / В безбрежной зыбкости снегов / **Скользить** по линиям волнистым... (Анненский. «Ноябрь. Сонет»; 1904).*

*О эти тихие прогулки! / Вдали еще гудит трамвай, / но затихают переулки / и потухает неба край. / **Бродить**, читая безучастно / ночные цифры фонарей, / на миг бесцельно и напрасно / **помедлить** у чужих дверей; / и, тишину поняв ночную, / смирившись, с нею **потужить**, / и из одной руки в другую / лениво трость **переложить**. / Один, один, никто не ранит, / никто не рвет за нитью нить. / Один... Но сердце не устанет / и не любимое **любить**. / И тихий голос отпевает / всё, что навек похоронил / Один... но сердце упоает / на верность тихую могил (Эллис. «Одиночество»; 1905—1913).*

*Февраль. **Достать** чернил и **плакать!** / **Писать** о феврале навзрыд, / Пока грохочущая слякоть / Весною черною горит. / **Достать** пролетку. За шесть гривен, / Чрез благовест, чрез клик колес, / **Перенести** туда, где ливень / Еще шумней чернил и слез. / Где, как обугленные груши, / С деревьев тысячи грачей / Сорвутся в лужи и обрушат / Сухую грусть на дно очей. / Под ней проталины чернеют, / И ветер криками изрыт, / И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд (Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!...»; 1912).*

*Этот вечер свободный / Можно так **провести**: / За туманный Обводный / Невзначай **забрести** / **Иль взойти** беззаботней, / Чем гуляка ночной, / По податливым сходим / На кораблик речной. / В этот вечер свободный / Можно **съежиться**, чтоб / Холодок мимолетный / По спине озноб, / **Ощутить** это чудо, / Как вино винодел, / За того, кто отсюда / Раньше нас отлетел. / Наконец, этот вечер / Можно так **провести**: / За бутылкой, беспечно, / Одному, взаперти. / В благородной манере, / Как велел Корнуол, / **Пить** за здоровье Мери, / Ставя кубок на стол (Кушнер. «Этот вечер свободный»; 1969).*

У Эллиса перемещение совершается без экипажа, который как бы заменяет данная крупным планом трость, зато Кушнер венчает пешую прогулку посадкой на корабль, а главное, совмещает это с мотивом вина (важным для «Третьего стихотворения», но отсутствующим в других русских примерах); у Анненского и Пастернака перемещение происходит не в город, а за город, но у того же Пастернака встречается и обратная траектория:

*Задворки с выломанным лазом, / Хибарки с наклей по бортам. / Два клена в ряд, за третьим, разом — / Соседней Рейтарской квартал. <...> Итак, опять изпод акаций / Под экипажи парижан? / Опять **бежать и спотыкаться**, / Как*

жизни тряский дилижанс? / Опять трубить, и знать, и звякать, / И, мякоть в кровь поря,—опять / Рождают рыданье, но не плакать, / Не умирать, не умирать? («Опять Шопен не ищет выгод...»; 1931).

В свете многообразных сходств этих примеров с «Третьим стихотворением» представляется, что аналогия между инфинитивным письмом и классической китайской поэзией заслуживает серьезного исследования, находящегося, к сожалению, далеко за пределами моей компетенции.

Л и т е р а т у р а

Алексеев 1916 — В. М. Алексеев. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837—908): Перевод и исследование; с прилож. китайских текстов. Пг., 1916.

Алексеев 1978 — В. М. Алексеев. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978.

Бобров 1969 — С. П. Бобров. Поэма о поэте Сыкун Ту в поэтическом переложении // Народы Азии и Африки. 1969. № 1. С. 161—175.

Ван Вэй 1979 — Ван Вэй. Стихотворения. Стихотворные переложения Аркадия Штейнберга. М., 1979.

Гаспаров 2000 — М. Л. Гаспаров. Воспоминания о Сергее Боброве // М. Л. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000. С. 385—394.

Жолковский 1985 — А. К. Жолковский. Iz Zapisok po Poezii Grammatiki: On Pasternak's Figurative Voices // Russian Linguistics. 1985. Vol. 9. С. 375—386.

Жолковский 1992 — А. К. Жолковский. О трех грамматических мотивах Пастернака // Быть знаменитым некрасиво...: Пастернаковские чтения. I / Ред. И. Ю. Подгаецкая и др. М., 1992. С. 55—66.

Жолковский 2000 — А. К. Жолковский. Бродский и инфинитивное письмо. Материалы к теме // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 187—198.

Жолковский 2002 — А. К. Жолковский. К проблеме инфинитивной поэзии (Об интертекстуальном фоне «Устроиться на автобазу...» С. Гандлевского) // ИЮЛЯ. 2002. Т. 61. Вып. 1. С. 34—42.

Жолковский, в печати-а — А. К. Жолковский. Инфинитивное письмо: тропы и сюжеты // Эткиндовские чтения / Ред. Г. А. Левинтон и др. СПб., 2003. (В печати).

Жолковский, в печати-б — А. К. Жолковский. Об одном казусе инфинитивного письма (Шершеневич—Пастернак—Кушнер) // Philologica. 2003. (В печати).

Золотова 1998 — Г. А. Золотова. О композиции текста // Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. С. 440—469.

Китайская поэзия 1984 — Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина. М., 1984.

Ковтунова 1986 — И. И. Ковтунова. Поэтический синтаксис. М., 1986.

Лотман 1969 — Ю. М. Лотман. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста // Тр. по знаковым системам. 1969. IV. С. 206—238.

Малявин 1982 — В. В. Малявин. Китайские импровизации Паунда // Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1982. С. 246—277.

Панченко 1993 — О. Н. Панченко. Номинативные и инфинитивные ряды в строе стихотворения // Очерки истории русской поэзии XX века: Грамматические категории. Синтаксис текста / Ред. Е. В. Красильникова. М., 1993. С. 81—100.

Смирнов 2003 — И. С. Смирнов. В. М. Алексеев — переводчик китайской поэзии // Постоянство пути: Избранные танские стихотворения. В переводах В. М. Алексеева: (Драгоценные строфы китайской поэзии, VIII). СПб., 2003. С. 5—23.

Успенский, Бабаева 1992 — Ф. Успенский, Е. Бабаева. Грамматика «абсурда» и «абсурд» грамматики // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Bd 29. С. 125—158.

Шершеневич 1913 — В. Г. Шершеневич. Футуризм без маски. М., 1913.

Шершеневич 1914 — В. Г. Шершеневич. Манифесты итальянского футуризма. М., 1914.

Шершеневич 1920 — В. Г. Шершеневич. $2 \times 2 = 5$. Листы имажиниста. М., 1920.

Ямпольский 2001 — М. Ямпольский. О близком: Очерки немиметического зрения. М., 2001.

Cheng 1975 — F. Cheng. Le «*language poétique*» chinois // Julia Kristeva et al. *La Traversée de signes*. Paris, 1975. P. 41—75.

Fenollosa 1936 — E. Fenollosa. *The Chinese Written Character as a Medium for Poetry*. London, 1936.

Kennedy 1964 — G. A. Kennedy. *Selected Writings*. New Haven, 1964.

Lawton 1981 — A. Lawton. *Vadim Shershenevich: From Futurism to Imaginism*. Ann Arbor, 1981.

Marinetti 1968 — F. T. Marinetti. *Teoria e invenzione futurista* / A cura di Luciano De Maria. Milano, 1968.

Markov 1980 — V. Markov. *Russian Imagism 1919—1924*. Giessen, 1980.

Ming Xie 1998 — Ming Xie. *Ezra Pound and the Appropriation of Chinese Poetry: Cathay, Translation, and Imagism*. New York, 1998.

Nilsson 1970 — N. A. Nilsson. *The Russian Imaginists*. Stockholm, 1970.

Ponomareff 1968 — C. V. Ponomareff. *The Image Seekers: An Analysis of Imaginist Poetic Theory. 1919—1924* // *Slavic and East European Journal*. 1968. Vol. 12. № 3. P. 275—296.

В. Ф. ЗАНГЛИГЕР (София)

ВЛАДИМИР ДАЛЬ У ИСТОКОВ РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ

Когда говорят о заслугах В. И. Даля перед русским языком, то указывают прежде всего, если не исключительно, на его «Словарь живого великорусского языка». В то же время составленный Далем сборник «Пословицы русского народа» остается как бы в тени его знаменитого словаря. Известно, что и сам Даль считал составление словаря «работой более важной» [Даль 1984: 20], на которой он сосредоточил все свои усилия. Словарь был основным трудом всей его жизни, его *Lebenswerk*. Собранный пословичный материал Даль считал всего лишь «запасами для русского словаря» и первоначально не намеревался издавать его отдельным сборником. Даль-лексикограф видел в пословицах прежде всего образцы живой русской речи, народный способ выражения в отличие от «безличной и бесцветной» речи образованных людей. Даля тревожило то, что с распространением просвещения «избегалась и прямая русская речь и все, что к ней относится» [Даль 1984: 7]. Отсюда такое внимание к народной речи и такое обилие пословичного материала в словаре, где каждое слово иллюстрируется не одной-двумя пословицами, а всем богатейшим фольклорным материалом, который составителю удалось «добыть и собрать».

Однако тот факт, что пословицы собирались Далем прежде всего как материал для словаря, ни в коей мере не умаляет заслуг Даля-паремиолога. Время показало, что вклад Даля в изучение русского пословичного богатства оказался решающим и определяющим.

В. И. Даля нельзя назвать родоначальником русской паремиологии, у него были великие предшественники. Русские пословицы собирались и описывались задолго до Даля. Известны пословичные списки, относящиеся еще к XVII веку. Русскими пословицами интересовалась Екатерина II, по повелению которой в 1782 г. был издан один из первых печатных сборников под названием «Выборные российские пословицы». Еще ранее (в 1770 г.) при Московском университете было отпечатано «Собрание 4291 древних российских пословиц», которое распространялось в многочисленных рукописных копиях. Во времена Даля широко известными были пословичные сборники Княжевича (1822 г.) и Снегирева (1848 г.). В 1854 г. вышел сборник Ф. И. Буслаева, включавший пословицы и поговорки, извлеченные составителем из книг и рукописей.

Среди многочисленных рукописных и печатных пословичных сборников, появившихся до середины XIX в., сборник, составленный И. М. Снегиревым, стоял особо. Сборник отличался не только своим объемом (около 10 тысяч единиц), но и тем, что он был составлен виднейшим фольклористом своего времени, автором известной книги «Русские в своих пословицах», вышедшей в 1831 г. В то время когда Даль работал над составлением своего сборника пословиц, проф. Снегирев считался крупнейшим и авторитетнейшим знатоком русского пословичного богатства. В знак признания заслуг Снегирева в этой области сам император Николай Павлович пожаловал ученого бриллиантовым перстнем. Даль высоко ценил работы Снегирева. Говоря об источниках для своего сборника пословиц, Даль упоминает в качестве таковых только собрания Княжевича и Снегирева, которые наряду с собранием Буслаева были в ту пору наиболее авторитетными и полными сводами русских пословиц и поговорок.

В описании русских пословиц Даль пошел гораздо дальше своих предшественников. Прежде всего следует отметить, что сборник Даля до сих пор остается непревзойденным в отношении объема и состава пословичного материала. Даль включил в свой сборник более 30 тысяч пословиц. Для сравнения укажем, что сборник Княжевича содержит 5300 пословиц, а сборник Снегирева — около 10 тысяч. С выходом в свет сборника Даля русское пословичное богатство, собранное воедино, впервые было представлено в столь полном объеме. Обширность и разнообразие собранного Далем пословичного материала поражали. Характерно, что в шесть раз меньший по объему сборник Княжевича вышел под названием «Полное собрание русских пословиц и поговорок». Даль же и сборник в 30 тысяч единиц не считал полным. Он рассчитывал на то, что издание сборника вызовет живой интерес у «любителей языка нашего и народности» и что они станут присылать ему свои замечания и дополнения. И благодаря совместным усилиям, как предполагал Даль, «следующее издание, если бы оно понадобилось, могло бы оставить далеко за собою первое» [Даль 1984: 21].

Понимание природы пословиц и подходы к их изучению во многом определяются толкованием их генезиса. Во времена Даля считалось, что пословицы возникают из авторских афоризмов, получивших всеобщее одобрение и широкое распространение. И. М. Снегирев прямо указывал, что пословицы суть выражающие общее мнение «изречения людей, среди народа превосходных умом и долговременною опытностью» [Снегирев 1831: 3]. Поэтому составители пословичных сборников и списков в ту пору нередко сами придумывали новые пословицы или исправляли старые, которые считали недостаточно мудрыми или красивыми. Известно, что даже Екатерина II пыталась сочинять для своего народа пословицы типа *Где любовь неличемерная, тут надежда верная*.

Даль резко осуждал «составителей, которые умничали», хотя и не отрицал, что авторские афоризмы могут стать пословицами. По мнению Даля, «многие изречения писателей наших, по краткости и меткости своей, стоят

пословицы, и здесь нельзя не вспомнить Крылова и Грибоедова» [Даль 1984: 10]. Однако переход афоризмов в пословицы, как считал Даль, — явление довольно редкое. Основная масса пословиц создается самим народом, всем миром, «это сочинение и достояние общее» [Там же: 13]. Пословицы не только бытуют в народе, но и возникают в народной среде. Трудно объяснить, как мудрая мысль рождается и формулируется не одним человеком, а всеобщими усилиями. Поэтому и теперь некоторые исследователи пишут: «Пословица, конечно, имела своего автора; наивно представлять, что пословицы создаются коллективом» [Федоренко, Сокольская 1990: 33]. Тем не менее «наивное представление» о зарождении пословиц в народной среде получает все более широкое распространение. Некоторые фольклористы даже полагают, что такой генезис имеют не только пословицы, но и любые фольклорные тексты. В. Я. Пропп в связи с этим указывает: «Генетически фольклор должен быть сближаем не с литературой, а с языком, который также никем не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов. Он возникает и изменяется совершенно закономерно и независимо от воли людей, везде там, где для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия» [Пропп 1946: 142].

В соответствии со своим пониманием генезиса пословиц при работе над сборником Даль использовал необычный для своего времени способ собирания пословичного материала. Предшественники Даля обычно переписывали известные им сборники пословиц, внося в них те или иные изменения и добавляя лишь незначительное количество новых пословичных выражений. Даль же поставил перед собой задачу описать богатство живого языка, «собрать в возможной полноте все то, что есть и каково оно есть». Поэтому основным, главнейшим источником своего сборника Даль считал «речь народа, живой русский язык». О собирании пословиц для сборника Даль пишет в Напутном слове: «Вообще из книг или печати взяты мною едва ли более 6 тысяч. Остальные собраны по наслуху, в устной беседе» [Даль 1984: 6]. Желая отразить живую, а не книжную русскую речь, Даль, по его словам, «даже не справлялся со сборником Буслаева», хотя считал этот сборник «весьма добросовестно обработанным» [Там же: 10]. Основная часть материалов для сборника была собрана самим Далем, и лишь сравнительно небольшая часть попала к нему через «доброхотных дателей, помощников и пособников» [Там же: 6]. О том, как в течение десятков лет Даль «добывал и собирал» материал для словаря и сборника, подробно пишет в своей книге о Дале В. Порудоминский [Порудоминский 1971: 292 и др.].

Обращение к живой народной речи позволило Далю собрать материал исключительной ценности. По сборнику Даля можно судить о том, какие пословицы использовались в живой русской речи в середине XIX в. Даль впервые отразил устную традицию, включив в свой сборник прежде всего и главным образом то, что он сам слышал в живой речи, что ему «удавалось перехватить на лету в устной беседе» [Даль 1984: 6]. После Даля на устную

речь стали ориентироваться и другие собиратели пословиц (Н. А. Иваницкий, М. А. Дикарев и др.).

Сборник Даля уникален не только по своему объему, но и по составу включенного в него материала. Русский пословичный фонд представлен в сборнике во всем его богатстве и разнообразии.

Хотя Даль собирал прежде всего то, что он слышал в живой народной речи и, по его собственному утверждению, «маловато рылся в книгах» [Даль 1984: 10], он не ограничивал состав пословиц лишь народными по происхождению выражениями. Даль считал, что некоторые авторские афоризмы могут превращаться в пословицы. Вопрос о разграничении пословиц и афоризмов во времена Даля не стоял, но и в ту пору Даль не считал возможным смешивать столь разные единицы. Даль подчеркивал, что «сочиненная мудрость тогда только становится пословицею, когда пошла в ход, принята и усвоена всеми» [Даль 1984: 14]. Поэтому книжные афоризмы Даль включал в свой сборник лишь в том случае, если они получали устноречевое бытование, «когда они, принятые в устную речь, пошли ходить отдельно». И теперь афористоведы считают, что забывание автора и отдельное хождение афоризма является верным признаком его превращения в пословицу.

Аналогичным образом поступал Даль и с библейскими изречениями, которых в сборнике очень много. Он включал их в состав пословиц, только если сам слышал их употребленными в устных беседах, причем именно в той форме, в какой эти изречения получили хождение в устной речи. Включение в пословичный сборник изречений из Святого Писания вызывало у критиков и рецензентов сборника особо острые возражения, поскольку они усмотрели в этом оскорбление религиозного и нравственного чувства. Протоиерей И. С. Кочетов, который был и членом Российской академии наук, в своем отзыве о сборнике резко выступил против «смешения глаголов премудрости Божией с изречениями мудрости человеческой» (Цит по: [Порудоминский 1971: 301]). Кроме того, Даля укоряли за то, что большинство библейских изречений в его сборнике «переиначены». Как пишет И. С. Кочетов, «священные тексты им искалечены, или неверно истолкованы, или кощуннически соединены с пустословием народным» [Там же: 301]. Даль отвечал, что изречения взяты не из Библии и переделаны не им, «а так они говорятся», так используются в живой народной речи. Однако критиков это не убеждало. «Нет сомнения, — писал в своем отзыве И. С. Кочетов, — что все эти выражения употреблялись в народе, но народ глуп и болтает всякий вздор» [Там же]. Даль не стал отказываться от своего принципа «собрать в возможной полноте все то, что есть и какво оно есть» [Даль 1984: 10]. Этот принцип он распространил и на библеизмы. В результате такого подхода в сборнике представлено богатейшее собрание русских пословиц библейского происхождения.

Пословицы как фольклорные образования, возникающие в гуще народа, имеют свою специфику. У любого народа есть немало пословиц либо грубых по форме, либо не очень добропорядочных по содержанию. Это не толь-

ко пословицы с грубой метафорикой, но и выражения народной мудрости, не соответствующие официальной морали. Например: *Пей да людей бей, чтоб знали, чей ты сын. // Горько вино, да не лишиться его. // Чарку пить — здорову быть. // Хоть сам наг пойду, а тебя как бубна пушу. // Что мне соха — была б балалайка. // Монастырь доуку любит* (т. е. просьбы и приношения). Такие пословицы хотя и бытуют в разговорной речи, в издаваемые сборники обычно не включались. Поэтому можно сказать, что до Даля пословицы не собирались, а отбирались. К сожалению, подобная практика составления пословичных сборников не изжита до сих пор.

Кроме того, с течением времени некоторые пословицы устаревают. Жизнь не стоит на месте, а с изменением жизненных условий изменяется и народная мораль. В результате этих изменений смысл некоторых старых пословиц может не соответствовать новым этическим нормам. В своем кратком предисловии к сборнику Даля, выражая восхищение пословичным богатством русского народа, М. Шолохов вместе с тем говорит о «ложной мудрости» некоторых пословиц, о наличии в них того, что «способно оскорбить здоровое чувство» [Шолохов 1984: 4].

Включение в сборники таких пословиц, которые «способны оскорбить здоровое чувство», всегда вызывало множество возражений со стороны филологов и критиков. Недаром уже подготовленный далевский сборник пролежал неопубликованным целых восемь лет. В одной из рецензий было даже сказано, что «сборник этот небезопасен, посягая на развращение нравов» (цит. по: [Порудоминский 1971: 301]). При обсуждении рукописи критики требовали ее сокращения более чем на четверть. Критические замечания по поводу состава пословиц Даль принимал сдержанно. Относительно грубых пословиц Даль следовал правилу: «все, что можно читать вслух в обществе, не извращенном чопорностью и излишней догадливостью, — все это принимать в свой сборник. Чистому все чисто» [Даль 1984: 6]. В вопросе об этической «правильности» пословиц он придерживался принципа — *пословица несудима*. Это народное изречение, вынесенное на титульный лист сборника, служило ответом критикам.

Даль признавал, что среди собранных им пословиц «есть пошлые, суеверные, кощунные, лжемудрые, изуверные, вздорные, но я их не сочинял». Эти пословицы могут кому-то не нравиться, «но я их принял, потому что они говорятся». Даль не считал себя вправе поучать народ, бракуя его пословицы; ведь никто не знает, «где мерило на эту браковку и как поручиться, что не выкинешь того, что могло бы остаться». Пословицы разнообразны, как разнообразна сама жизнь, поэтому «не прячь, не скрывай ни добра, ни худа, а покажи, что есть» [Даль 1984: 13].

Такое бережное отношение к народному пословичному богатству позволило Далю выполнить задачу, которую он поставил перед собой, — «собрать в возможной полноте все то, что есть и каково оно есть, как запас, для дальнейшей разработки и для каких кому угодно выводов и заключений» [Даль 1984: 10]. Далевский сборник до сих пор остается непревзойденным

по полноте представленного в нем пословичного материала, это незаменимый источник паремиологических сведений для любого исследователя.

Сотворенное Далем вызывает восхищение и удивление еще и потому, что он составлял свой сборник пословиц и поговорок, когда еще не было никакой фразеологической и тем более паремиологической теории. Более того, по университетскому образованию Даль был не филологом, а врачом. Но отсутствие разработанной теории было тем злом, которое в данном случае обернулось добром. В строгие научные догмы и схемы Даль не смог бы втиснуть собранный им столь разнообразный материал, и пословичный сборник просто не появился бы. При работе над толковым словарем и сборником пословиц Даль опирался не столько на теорию, сколько на свое удивительное чувство языка и гениальную интуицию. Филолог-самоучка, как его высокомерно называли некоторые академические ученые, высказал множество идей, на которые опирается и современная паремиология, потому что эти идеи не устарели и по прошествии 150 лет.

Сборник Даля содержит не только пословицы, но и другой фольклорный материал, в том числе поговорки, скороговорки, прибаутки, загадки, поверья, приметы и др. Объединение столь разнообразного материала в одном сборнике под общим названием «Пословицы русского народа», по мнению некоторых исследователей, «говорит о расширительном понимании Далем жанра пословиц» [Чичеров 1957: XI]. Этот упрек вряд ли справедлив. Собирая и сводя в один сборник этот разнообразный материал, Даль в Напутном слове довольно подробно характеризует каждую из кратких фольклорных форм, уделяя особое внимание именно пословицам. Неоценим вклад Даля в понимание природы пословицы, в выделение ее основных признаков, позволяющих отграничить пословицы от непословиц.

Предшественники и современники Даля, изучавшие пословицы, рассматривали их прежде всего как этнокультурологическое явление. Ф. Буслаев видел в них «художественные произведения родного слова, выражающие быт народа, его здравый смысл и нравственные интересы» [Буслаев 1861: 80]. Для И. Снегирева пословицы — это «житейская мудрость в фигурном облачении». Он подчеркивал, что пословицы «составляют мирской приговор, общее мнение, одно из тайных, но сильных, искони сродных человечеству средств к образованию и соединению умов и сердец» [Снегирев 1831: 3].

Для Даля культурологический аспект пословиц тоже, конечно, исключительно важен. Он написал в Напутном слове: «Сборник пословиц — свод народной опытной премудрости и суемудрия; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый» [Даль 1984: 13]. Однако, характеризуя пословицу, Даль рассматривает ее и с лингвистической точки зрения, указывая прежде всего на ее структурные и смысловые особенности. Даль предпочитает выражаться художественно, избегая строгих лингвистических терминов, но суть от этого не меняется. Пословицы, по Далю, — «это целые изречения, сбитые в

один ком, в одно междометье» [Там же: 13]. Это значит, что пословицы, как теперь принято говорить, имеют структуру предложения и обладают структурно-смысловой цельностью и устойчивостью.

В другом месте Напутного слова Даль характеризует пословицу и более пространно: «Пословица — это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности. Пословица — обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый всеми» [Там же: 13]. Здесь на первый план выступает «обиняк», т. е. переосмысление, наличие у пословицы переносного смысла. Пословичное выражение не теряет прямого смысла, но приобретаемый ею второй план содержания для функционирования пословицы важнее, потому что именно в переосмыслении кроется обширность пословичного смысла и возможность приложения пословицы к самым разным, казалось бы, ситуациям. Когда, например, говорят: *Цыплят по осени считают*, то имеют в виду вовсе не осенний подсчет цыплят, а разумность подведения итогов лишь по завершении дела, причем итоги и дела могут быть самыми разнообразными.

Наличие переносного смысла Даль считал важнейшим признаком пословицы. Если выражение, как пишет Даль, «не заключает в себе никакой притчи, иносказания, обиняка» [Даль 1984: 14], то оно не может считаться собственно пословицей. Такие выражения Даль относил к пословичным изречениям.

Одним из сложнейших вопросов паремиологии всегда был вопрос о разграничении пословиц и поговорок. Даль проводил это разграничение, как теперь принято говорить, на основе структурно-семантических и функциональных особенностей этих единиц. «Поговорка, — пишет Даль, — окольное выражение, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, применения» [Там же]. Поговорка не содержит суждения, поэтому она, как правило, имеет структуру словосочетания, а не предложения. Называя поговорку простым иносказанием и окольным выражением, Даль указывает на основную функцию поговорки служить украшением речи. В отличие от пословицы поговорка не судит и не заключает, она вставляется в речь прежде всего ради красного словца.

Украшают речь и пословицы, поскольку, как отмечает Даль, «в пословицах наших можно найти образцы всех прикрас риторики» [Там же: 18]. Однако для пословиц, в отличие от поговорок, эстетическая функция не является доминирующей. Большинство пословиц имеют своеобразное рифмо-ритмическое построение, благодаря которому они легко выделяются в речевом потоке своей звучностью, особым «складом и ладом». «Складному виду» русских пословиц, их «внешней одежде» Даль уделял много внимания. В литературной стихотворной речи господствует силлабо-тоническая система стихосложения с равномерным чередованием ударных и неударных слогов. Для русской фольклорной речи «чистые ямбы и хорей» чужды; для нее характерна тоническая система, в которой ударные и неударные слоги чередуются весьма своеобразно, создавая особый ритм, всякий раз различ-

ный. Даль отмечал, что русские пословицы строятся «весьма часто в русском размере, в тоническом, как песенном, с известным числом протяжных ударений в стихе, так и сказочном, с рифмой или красным складом» [Даль 1984: 16].

Даль указывал на особенности пословичной рифмы, а также на игру слов, которая «не совсем в нашем вкусе, но местами попадает: *Для почину выиторь по чину. // Спать долго — жить с долгом*». Даль считал своеобразную «внешнюю одежду пословиц» чрезвычайно важной пословичной характеристикой и высказывал надежду, что когда-нибудь об этом напишут «претолстую и преползную книгу» [Там же: 17].

Современное понимание пословицы и поговорки по сути своей мало чем отличается от далевского. Это подчеркивает В. П. Аникин в своем послесловии к сборнику Даля: «Среди писавших о пословицах Даль своим объяснением точнее других определил наиболее важное свойство собственно пословиц и тем самым отделил их от других сходных видов афоризмов. Определение Даля теперь принято во многих академических и учебных трудах» [Аникин 1984: 393].

Строго говоря, у Даля мы находим не определение пословицы, а странное ее описание с указанием важнейших пословичных характеристик. Это, на наш взгляд, нельзя объяснить лишь предпочтением Даля выражаться художественно. Глубоко понимая природу пословиц, он видел в них образования чрезвычайно сложные по форме, по смыслу, по функционированию, по их месту в народной культуре. Такой взгляд полностью отвечает современным представлениям о пословице. После бесчисленных попыток дать приемлемое определение этой комплексной единицы паремиологии в наше время все больше склоняются к мысли о том, что «любое, даже самое тщательное определение пословицы всегда будет неполным» [Mieder 1991: 154]. Поэтому пословицы следует выделять не через дефиницию, а через описание с указанием важнейших структурно-смысловых и функциональных характеристик, называемых провербиальными маркерами. Но какие бы новые термины ни использовались в описании пословиц, в понимании сути пословиц со времен Даля появилось не так уж много принципиально нового.

Сборник Даля представил русское пословичное богатство в небывалой полноте. Сборник определил основной корпус русских пословиц, без чего невозможно их серьезное изучение. В немалой степени именно благодаря сборнику Даля пословицы попадают в круг интересов не только фольклористов и этнографов, но и лингвистов, в том числе таких крупных, как А. А. Потебня, А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртене и др. Русская паремиология могла сформироваться и выделиться в самостоятельный раздел лингвистики лишь после того, как был определен ее объект (пословичный корпус) и основные понятия. И заслуга в этом Даля бесспорна. Перефразируя известный афоризм о «Шинели» Гоголя, из которой вышла русская классическая литература, можно без особого преувеличения сказать, что русская паремиология вышла из пословичного сборника Даля.

Литература

Аникин 1984 — В. П. Аникин. Владимир Иванович Даль и его сборник пословиц. Послесловие к кн.: В. И. Даль. Пословицы русского народа: Сб.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 386—395.

Буслаев 1861 — Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 1. СПб., 1861.

Даль 1984 — В. И. Даль. Напутное слово // В. И. Даль. Пословицы русского народа: Сб.: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 5—21.

Порудоминский 1971 — В. И. Порудоминский. Даль. М., 1971.

Пропп 1946 — В. Я. Пропп. Специфика фольклора // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Сер. филол. наук. Л., 1946. С. 130—145.

Снегирев 1831 — И. М. Снегирев. Русские в своих пословицах. Ч. I. М., 1831.

Федоренко, Сокольская 1990 — Н. Т. Федоренко, Л. И. Сокольская. Афористика. М., 1990.

Чичеров 1957 — В. И. Чичеров. Сборник Владимира Даля «Пословицы русского народа» // В. И. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957. С. V—XXVIII.

Шолохов 1984 — М. А. Шолохов. Сокровищница народной мудрости. // В. И. Даль. Пословицы русского народа: Сб.: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 3—4.

Mieder 1991 — W. Mieder. General thoughts on the nature of the proverb // Revista de Etnografie și folclor. 1991. Vol. 36. № 3/4. P. 151—164.

О. ЙОКОЯМА (Лос-Анджелес)

ИНТОНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНИКАТИВНОГО МОДУСА ПОВЕСТВОВАНИЯ В ЗОЩЕНКОВСКОМ ТЕКСТЕ*

0. Введение

В статье рассматривается один компонент интонации зощенковского текста, а именно главное ударение высказывания (ГУВ)¹. Подчеркнем, что ГУВ — это лишь один, притом весьма ограниченный компонент интонационных средств русского языка. В круг интонационных явлений входит еще то, что попросту называют «выражением», «выразительностью». Если речь идет о чтении литературного текста, выражение зависит от того, как читающий представляет себе характер и психологию рассказчика и действующих лиц и как он понимает вкладываемый ими в слова смысл, а также от психологии, драматического таланта и вкуса читающего. Нередко при помощи выражения — интонации в этом более широком смысле — можно изменить смысл высказывания вплоть до противоположного (например, говоря «Умен!», одной только интонацией можно выразить и восхищение, и сарказм). Об интонационных различиях такого рода говорить на основании письменного текста невозможно, так как в этом отношении любой письменный текст допускает множество разночтений². Именно поэтому нас в

* В данной статье используются результаты акустического анализа русской интонации, выполненного автором при помощи ЭВМ на средства, предоставленные грантами NSF BNS № 8206064, DAAD-ACLS German-American Commission on Cooperative Research № 1995-97 и UCLA COR № 4-564047-199914-07, а также лингвистического анализа, осуществленного при поддержке грантов NEN FA № 2193982 и NEN FA № 3044291.

¹ Термин «главное ударение высказывания» (ГУВ), употребляемый в этой статье, равнозначен термину «сентенциальное ударение» в работах [Йокояма 2003а] и [Йокояма 2003б], а также термину «sentential stress» в работах [Yokooyama 1995; 2001]. Определяется он чисто фонологически; краткое определение ГУВ см. в следующем разделе перед примером (1).

² Интонация последнего рода иногда приблизительно задается знаками препинания или лексическими средствами, например «!», «...», *умоляла, рывкнул, свысока, неуверенно* и т. п.

данной работе будет интересовать лишь та небольшая, но легко восстанавливаемая из письма часть интонационных ресурсов русского языка, которая связывается с наличием или отсутствием ГУВ³.

Интонация, как мы утверждаем в ряде работ, дает исследователю литературного текста ключ к определению дистанции, устанавливаемой адресантом (повествователем или действующим лицом) между собой и адресатом (читателем или другим действующим лицом). Среди различных языковых показателей этой дистанции интонация отличается тем, что она относительно плохо поддается интроспекции исследователя и представляется трудноуловимой и труднодоказуемой. Нашей целью является показать, что на самом деле это не так: ГУВ, в частности, не только вычитывается достаточно однозначно из письменного текста. Но оно также функционирует в качестве самостоятельного параметра дистанции, вносящего сложные оттенки в «тон» адресанта. Иногда дополняя, а иногда идя вразрез с морфологическими, лексическими и другими показателями дистанции, ГУВ служит сильным и лингвистически структурированным средством художественного оформления отношений между повествователем и читателем.

1. ГУВ как показатель «своего» коммуникативного модуса

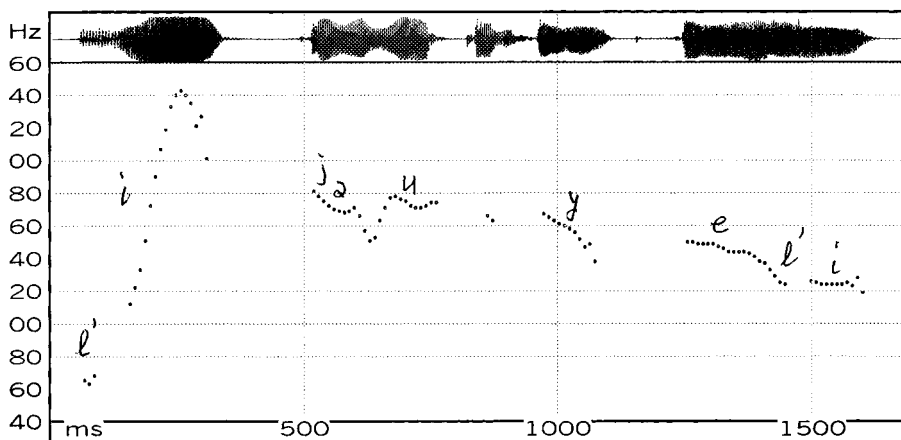
ГУВ обязательно присутствует в интонации «своего» модуса, т. е. коммуникативной установки адресанта на близкого, «своего» адресата. Оно может реализоваться на нисходящей, восходящей или восходяще-нисходящей тоне, за которой, когда есть соответствующий сегментный материал, следует интонационно нерасчлененный контур, порождаемый низким или высоким фразовым акцентом и заканчивающийся также низким или высоким пограничным тоном⁴. Эта характеристика высказываний с ГУВ прослеживается в графиках (1) и (2), представляющих два варианта ГУВ, первый с восходящим, а второй с нисходящим контуром ударного слога в слове *листья*⁵:

³ Нашим обращением к анализу интонации Зошенко мы становимся на точку зрения, противоположную высказанной в работе [Titunik 1971], где утверждается принципиальная невозможность озвучивания зошенковских текстов.

⁴ Ударной тоне может предшествовать одна восходящая тона, т. н. «начинательная мелодема» [Черемисина 1976], реализуемая на тематическом или контрастном элементе высказывания, хотя ее может и не быть. Во всяком случае, характерные признаки «чужого» модуса, описанные ниже, в «своем» модусе отсутствуют.

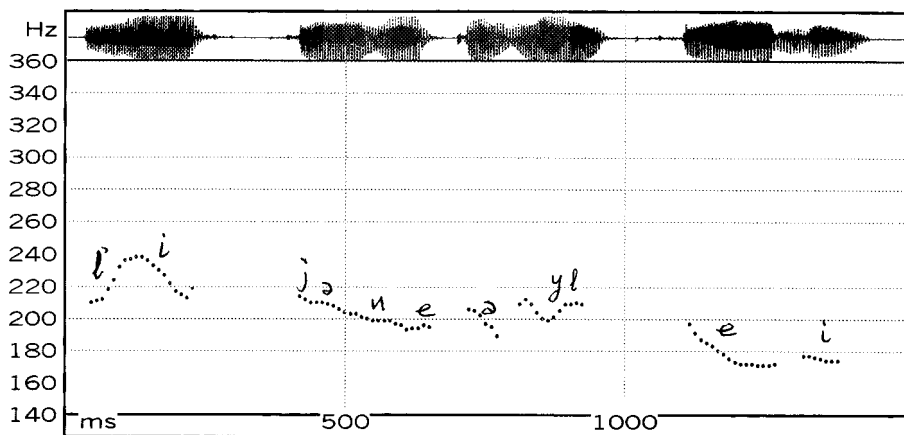
⁵ Подробное описание интонации с ГУВ см. в работе [Йокояма 2003а: § 2.4].

(1) Листья уже пожелтели...



[Брызгунова 1984, кассета, иллюстрация № 2]

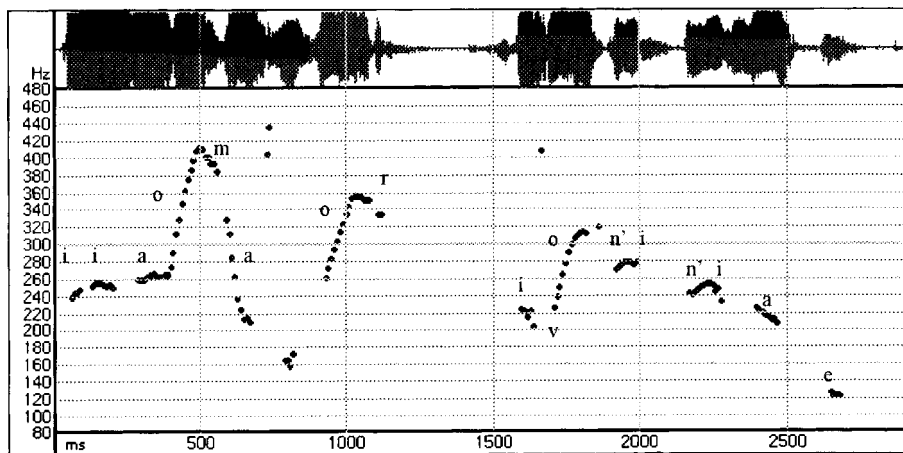
(2) Листья уже пожелтели...



[Брызгунова 1984, кассета, иллюстрация № 2]

В «чужом» модусе, где адресант настроен на психологически или социально далекого адресата, как предлагается в [Йокояма 2003а: § 2.2 и § 2.5], ГУВ отсутствует. Вместо него используется интонация повествовательного типа, с ее мерными восходящими тонемами, в однофразовых высказываниях заключающимися последовательностью «нисходящая тонема → фразовый акцент → пограничный тон». Эталоном интонации «чужого» модуса является дикторская интонация, представленная примером (3):

(3) Передаем обзор сегодняшних газет



[Брызгунова 1984, кассета, иллюстрация № 4]

Интонация «чужого» модуса, часто называемая «нейтральной», как мы утверждаем в работе [Йокояма 2003а: § 2.5], является интонационной формулой, употребляемой «даже в резко отличающихся по своей коммуникативной функции высказываниях, пренебрегая различиями между утверждениями и вопросами, пропозиционными и непропозиционными высказываниями». Дети начинают осваивать эту формулу в два с половиной года, причем функционально она сначала используется ими лишь как повествовательная и только к пяти годам переосмысливается как интонация «чужого» модуса, реализуемая в общении с чужими взрослыми⁶. Весьма возможно, что в русских диалектах эта интонационная формула используется только в функции повествования, а «чужого» модуса в диалектах или вообще не встречается, или же он кодируется иными супraseгментными средствами⁷.

В отличие от интонации, связанной с «выражением», наличие или отсутствие ГУВ почти однозначно вычитывается из письменного текста, сопрягаясь в нем со словопорядком. В предложениях «чужого» модуса, где ГУВ отсутствует, порядок слов определяется актуальным членением⁸: последняя

⁶ Более подробно о становлении литературной интонации у детей см. [Йокояма 2002].

⁷ Такое предположение представляется оправданным с социологической точки зрения: если учесть, что в деревне, где обычное общение бывает только со «своими», оснований для возникновения «чужого» языкового кода нет. Предположение это пока подтверждается одним лишь исследованием интонации севернорусского нарратива, в котором формулы «чужого» модуса мы не обнаружили; см. [Krause et al. 2003, in press].

⁸ В работе [Йокояма 2003б] мы предлагаем альтернативный подход к порядку слов, основанный на когнитивных признаках разных видов знаний и с учетом субъек-

скользящая нисходящая тонаема налагается на последнее фонологическое слово, являющееся ремой или последним словом рематичного словосочетания. В предложениях «своего» модуса картина другая: ГУВ, характеризующее этот модус, реализуется на реме, которая обычно выносится к началу предложения. В когерентном тексте, каковым обычно является литературный текст, читатель почти однозначно определяет рему «на глаз». Ему не составляет особого труда в соответствии с местонахождением ремы сделать выбор между «нейтральной» интонацией, не сопровождаемой ГУВ, или ненейтральной интонацией, им отмеченной. Таким образом по словопорядку письменного предложения читатель угадывает, притом почти всегда однозначно, предполагаемую автором интонацию, посредством которой в каждом предложении кодируется коммуникативный модус того повествователя или действующего лица, чьему голосу данное предложение приписывается автором.

Таковы наши постулаты. Теперь обращаемся к текстам Зоценко трех следующих друг за другом десятилетий: к «Рассказам г-на Синебрюхова» (1921) и повестям «Возвращенная молодость» (1933) и «Перед восходом солнца» (1943) [Зоценко 1973; 1986]⁹.

2. Интонация г-на Синебрюхова

Интонация Назара Ильича с первых же строк отличается наличием ГУВ:

(4) Я такой человек, что **все** могу... Хочешь — могу **землишку** обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть **рукотеслом** займусь — **все** у меня в руках кипит и вертится.

Жирным шрифтом обозначены слова, на которые падает ГУВ. Если бы Назар Ильич интонировал эти предложения без ГУВ, то порядок слов был бы другой:

тивности говорящего. Здесь, однако, мы используем более привычное для читателя понятие актуального членения, отметив все же, что оно не представляется нам теоретически оптимальным или психологически обоснованным.

⁹ В работе [Yokoуama 1995] был предложен нарратологический анализ повествователя первых двух произведений на основании различия между двумя типами интонации, которые были названы типом I и типом II. Вопрос маркированности этих двух интонационных типов был нами пересмотрен в работе [Yokoуama 2001] в пользу немаркированности типа, называемого здесь нейтральным (т. е. отмеченного наличием ГУВ). Последнее положение было подтверждено исследованием детской интонации [Йокояма 2002]. В данной статье мы основываемся на более разработанном, как нам кажется, понимании русской интонационной системы, описанном в [Йокояма 2003а], и включаем в наш материал третье произведение Зоценко. Добавление этого позднейшего произведения дает нам возможность проверить функцию ГУВ в перспективе эволюции этого сложного писателя.

(5) Я такой человек, что могу все... Хочешь — могу обработать по слову последней техники землишку, хочешь — займусь каким ни на есть рукоеслом, — кипит и вертится у меня в руках все.

В искусственно созданном нами примере (5) сразу чувствуется несоответствие сдержанной нейтральной интонации «чужого» модуса с адресатом. Холодок «безударной» интонационной формулы явно идет вразрез и с такими лексическими и фразеологическими показателями фамильярности, как «землишка» и «кипит и вертится», и с фамильярно-хвастливым содержанием всего высказывания (5)¹⁰. Этого несоответствия не наблюдается в подлинном зощенковском тексте (4), где, напротив — полная гармония между интонационным типом и всеми другими языковыми показателями: тут все «хором» говорит об отсутствии дистанции, об установке говорящего на слушателя из «своих».

Нейтральной интонацией «своего» модуса, являющейся для него, по-видимому, немаркированной, Назар Ильич пользуется, однако, не всегда. У него встречаются и не сопровождаемые ГУВ, маркированные для него высказывания. Нетрудно убедиться, что все они тем не менее художественно оправданны, представляя собой яркое доказательство того, что интонационные различия, о которых идет речь, несут функциональную прагматическую нагрузку. Рассмотрим пример (6):

(6) **Мельник** такой жил-был. **Болезнь** у него, можете себе представить, — **жаба** болезнь. Мельника этого я лечил. А **как** лечил? Я, может быть, на него только и **глянул**¹¹. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся — болезнь эта неопасная, и даже **прямо** тебе скажу — **детская** болезнь.

В шестом предложении этого отрывка, в котором рассказчик приводит цитату собственной речи, адресованной к больному мельнику, наблюдается переход с ненейтральной интонации на нейтральную. Воспроизводя далее в этом предложении интонацию своей прямой речи, Назар Ильич озвучивает свою цитату важно, солидно, как и следует опытному врачу, обращавшемуся к невеже-пациенту. «Чужой» модус, по-видимому, оправдывается в данном контексте интонационным реализмом воспроизводимой автоцитаты, интонация которой определяется расстоянием, полагаемым «врачом»

¹⁰ Об особенностях языка Зошенко см. [Ščeglov 1981], а также статьи в сборнике [Томашевский 1994].

¹¹ ГУВ в этом предложении падает на последнее слово-рему. Такая конфигурация не является типичной для интонации «своего» модуса, в которой рема обычно выносится вперед. Рематичность последнего слова в таких высказываниях может привести к заключению, что тут мы имеем дело с интонацией «чужого» модуса. Такое заключение, однако, было бы неверным, т. к. мерно восходящие тоны, характерные для формулы «чужого» модуса, в высказываниях «своего» модуса с ГУВ на конце отсутствуют; см. также примеч. 4.

рассказчиком между собой и собеседником, большим мельником. Показательно, что Назар Ильич не выдерживает солидного, дистантного тона до конца цитаты, вводя уже в конце длинного сложносочиненного шестого предложения ГУВ (на «прямо» и на «детская»).

В отрывке (7) переход на безударную нейтральную интонацию реализуется в начале второго абзаца, в котором рассказчик отрывается от событий, описанных в предыдущей сцене:

(7) **Заскрипел** я зубами, **оглянулся** на четыре угла — вижу, все мое **любезное** висит, **поклонился** я в другой раз и **вышел** тихохонько.

Вышел я за деревню. Лес. Присел на пенек. Горюю. Только слышу: кой-то **трется** у ноги.

Второй абзац («Вышел я...») начинается описанием лирической сцены, весьма маркированным в синтаксическом отношении: бросаются в глаза лаконичность фразы, номинативное предложение («Лес»), настоящее время («Лес», «Горюю», «слышу»), перемежающееся с результативными глаголами совершенного вида («вышел», «присел»). Оказавшийся один в лесу герой-рассказчик отдается переживанию внезапного крушения надежд, осмысляет неожиданно открывшуюся перед ним перспективу бездомности и бессемейности. В данном случае дистанция, закодированная в нейтральной интонации, это — дистанция созерцания, переселения «я» в мир, отличающийся от мира первого «я»; лаконичность фраз указывает на замедленный, вдумчивый тон повествования. В мир действительности рассказчика возвращает тактильное ощущение чьего-то прикосновения, и тут дистанция сразу же нарушается: рассказчик переключается на «свой» интонационный модус. Кратковременная смена на маркированный для Синебрюхова безударный тип, следовательно, обусловлена в примере (7) лирично созерцательным настроением рассказчика.

Интонация дистанции может продержаться у Назара Ильича и дольше, как в примере (8):

(8) И через это, начиная с германской кампании, многие ходят по русской земле, не понимая, что к чему.

И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек — мне лучший друг и дорогой мой приятель. Поскольку такой человек ищет свое определение.

В этом отрывке Назар Ильич выступает доморощенным историком-философом. Пафос и уважение к себе кодируются тут не только «чужим» интонационным модусом, они создаются также и «учеными» словами («германская кампания», «презирать»), фразеологией («ходить по русской земле», «искать свое определение»), деепричастными оборотами и однородными членами предложения. Как видно из примера (9), интонация «своего» модуса тут не только разрушила бы пафос пассажа, но и создала бы полное несоответствие его тона с лексикой и синтаксисом:

(9) И через то с **кампании** германской начиная, **ходят** многие по русской земле, к **чему** что не понимая. И **немало** я таких людей видел и не **согласен** их презирать. **Лучший** мне друг и **приятель** мой дорогой такой человек. Поскольку **определение** свое ищет такой человек.

В рассмотренных выше отрывках (6)—(8) мы ознакомились с представительными в повествовании г-на Синебрюхова примерами маркированной интонации «чужого» модуса. Эти художественно оправданные куски текста, предполагающие интонацию безударного типа, т. е. интонацию «чужого» модуса, встречаются на фоне немаркированной для Назара Ильича интонации. За исключением подобного рода цитат, лирических и исторических описаний и философствований, типичная интонация этого повествователя — это интонация «своего» модуса, сопровождаемая ГУВ.

3. Интонация повествователя «Возвращенной молодости»

По мере того как ранние «смешные» рассказы Зоценко стали уступать место более длинным и сложным произведениям, росло замешательство читателя по поводу голоса повествователя. Повесть «Возвращенная молодость», весьма сложная по своей структуре, вызвала самые противоположные интерпретации у читателей и критиков по обе стороны бывшего «железного занавеса»¹². Посмотрим же, что может дать исследователю анализ ГУВ в этом произведении.

Исследователями неоднократно указывалось на сложную, необычную композицию «Возвращенной молодости». Приведем ее для удобства в виде схемы (10), выделив в ней условно четыре раздела от А до D¹³:

(10)	текст		комментарии	
	главы 1—35		I—XVIII	
	А	В	С	Д
	рассуждения	фабула	I—XI	XII—XVIII
	(гл. 1—22)	(гл. 23—35)		

Рассмотрим теперь интонацию отрывков «Возвращенной молодости», взятых из каждого из названных разделов А—D.

¹² Подробное освещение проблемы интерпретации Зоценко см. в [Scatton 1993].

¹³ Разделение на А—D несколько условно. В главе 17 повествователь говорит, что «научные объяснения» кончаются и что он приступает к повести о человеке, вернувшем себе свою молодость. На протяжении следующих пяти глав (18—22) повествователь знакомит читателя с семьей героя. В главе 23 вводятся соседи и прекращается употребление авторского «мы»/«автор». Далее повествование ведется от лица всеведущего повествователя. Мы проводим границу между разделами А и В после главы 22, основываясь на исчезновении авторского «мы». Разделы С и D состоят из комментариев к разделам А и В.

(11) У них пропадает вкус ко многим хорошим вещам. Морда у них тускнеет. Ихние глаза с грустью взирают на многие приличные и недавно любимые вещи. Их захватывают разные удивительные и даже непонятные болезни, от которых врачи впадают в мудрое созерцательное состояние и приходят в беспокойство за беспомощность своей профессии (А, гл. 5).

В этом отрывке из раздела А в глаза бросаются стилистические несурзности, лексическо-семантическое несоответствие и типичный для зоценковского сказового повествователя синтаксис, указывающие на явную неосвоенность им норм литературного языка. Это все — хорошо знакомые читателю черты зоценковского сказа. Тем более значителен тот мало заметный факт, что интонация этого текста — безударная, показывающая, что приличествующую традиционному автору дистанцию не вполне литературный повествователь раздела «Возвращенной молодости» все же соблюдает.

То же можно сказать об интонации других разделов повести. Как видно из следующих примеров:

(12а) Напуганный таким состоянием, он хотел поехать к знаменитому невропатологу. В один из крайне упадочных дней, когда он едва встал с постели, он, принуждая себя, стал собираться (В, гл. 26).

(12б) Обычно говорят: он покончил с собой, потому что у него было такое душевное состояние. Это верно. Но тут пропускается одно звено. Такое звено пропускают, когда, скажем, говорят: у пьяницы дрожали руки (С, II).

(12в) Самая ближайшая к Солнцу планета Меркурий весьма нарушает единый принцип движения планет. Меркурий вращается вокруг своей оси иначе, чем Земля, иначе, чем все планеты (D, XIII).

В отличие от примера (11) нарушений литературной языковой нормы в примерах, приведенных под номером (12), не наблюдается. Повествователь раздела А, следовательно, отличается от повествователя остальных разделов повести низкой степенью освоения лексико-синтаксической литературной нормы, позволяя нам говорить уже о двух повествователях в границах одной этой повести. Что же касается интонационной характеристики этого произведения, то во всех четырех его разделах интонационный модус один — дистантный. Расстояние между автором и читателем — традиционными собеседниками «чужого» модуса — соблюдают оба повествователя, и менее грамотный повествователь раздела А, и более грамотный повествователь разделов В—D. Безударную интонацию можно, таким образом, считать немаркированной у обоих повествователей «Возвращенной молодости».

Как у г-на Синебрюхова встречаются художественно оправданные переключения на маркированный для него интонационный модус, так они встречаются и у повествователей «Возвращенной молодости». У последних маркированным типом, соответственно, является интонация «своего» модуса. Рассмотрим пример (13), где интонационная дистанция нарушается повествователем раздела А:

(13) Конечно, умы нетерпеливые, не привыкшие идти на поводу, а также умы, ну, скажем, негибкие, грубоватые или, что ли, низменные, не имеющие особого интереса к различным явлениям природы, кроме выдачи продуктов питания, — эти умы могут, конечно, **отбросить** начало и комментарии, с тем чтобы **сразу** приступить к инцидентам и происшествиям и **сразу**, так сказать, получить порцию занимательного чтения (А, гл. 3).

Кратковременное переключение на «свой» модус общения в этом отрывке мотивируется попыткой активного вовлечения собеседника в коммуникацию, желанием заставить его понять, что речь идет, возможно, как раз о его собственном «негибком» или «грубоватом» уме, попыткой возбудить в нем желание отказаться от навверняка возникшей уже у него мысли «отбросить начало и комментарии». Внезапное появление ГУВ выдает скрытую полемичность, диалогичную направленность на потенциальное возражение читателя.

Еще более четко полемичность чувствуется в следующих двух отрывках:

(14) Тот же Сенека пишет в своих письмах о том, как он зашел однажды в римский цирк посмотреть на бой гладиаторов.

Да, правда, Сенека **возмущается** жестокостью этого побоища. Но он пишет об этом все же со спокойствием и с той нервной твердостью, которая **незнакома** нам (С, VII).

(15) Ее надо искусственно кормить, иначе она умрет через несколько дней. И полет бабочки лишен всякого смысла — она делает это механически.

Я не **переоцениваю** мозг. Хозяйство может продолжать работу без **участия** мозга. Но как **идет**¹⁴ эта работа? (D, XII).

В обоих этих примерах интонации «своего» модуса предшествует абзац, выдержанный в «чужом» модусе: установка на сообщение, по-видимому, способствует увеличению дистанции. Далее, однако, повествователь — на этот раз вполне грамотный повествователь разделов С и D — нарушает эту дистанцию, приближая к себе читателя, предвосхищая его несогласие и возражая ему в мысленном диалоге. Кроме интонационного модуса диалогичность тут выражается еще и построением фразы («Да, правда» в примере (14) и вопрос в примере (15), пресуппозициями (отрицание в примере (15) и противительный союз в обоих примерах) и дискурсивными частицами («да», «все же»). Повествователь переходит с установки на сообщение на установку на участников коммуникации, его цель — успешное взаимодействие его мыслей с мыслями читателя, «заражение» собеседника своими идеями¹⁵.

¹⁴ В этом предложении возможно ГУВ и на вопросительном наречии *как*; в любом случае интонационный тип высказывания остается нейтральным.

¹⁵ О возможных видах установки высказывания см. [Jakobson 1960/1981].

Итак, оба повествователя — и более, и менее грамотный — используют интонационный «срыв» для нарушения дистанции ради установки на слушателя, на контакт с ним. Кроме полемики, контакт у обоих повествователей углубляется также и тогда, когда они раскрываются, чтобы поделиться с читателем своими личными переживаниями. В этих случаях тоже наблюдается переключение на «свой» интонационный модуль:

(16) Это есть повесть о том, как один советский человек, обремененный годами, болезнями и меланхолией, захотел вернуть свою утраченную молодость.

И что же? Он вернул ее простым, но все же убедительным способом.

Человек вернул свою потерянную молодость! Факт, достойный оглашения в печати. Тем не менее **не без робости** автор приступает к этому сочинению. **Обиды** и **огорчения** принесет, вероятно, нам эта книга (А, гл. 1).

Повествователь начинает повесть так, как того требует канон: интонационная дистанция между ним и читателем соблюдена. Далее происходит «срыв». Он происходит тогда, когда повествователь касается близкого ему лично предмета, своих чувств — робости, опасения обид и огорчений. На тему такого рода он, по-видимому, говорить важным, солидным тоном не может.

Установка на самого говорящего, на его внутренний мир и личные переживания видна и в примере (17):

(17) Итак, книга окончена.

Последние страницы я дописываю в Сестрорецке 9 августа 1933 года.

Я сижу на кровати у окна. **Солнце** светит в мое окно. Темные **облака** плывут. **Собака** лает. Детский **крик** раздается. Футбольный **мяч** взлетает в воздух. **Красавица** в пестром халате, играя глазами, идет купаться (D, XVIII).

Отрывок (17) находится в конце повести. В отличие от предыдущего примера, где интонационный «срыв» был сделан менее грамотным сказовым повествователем, в этом последнем комментарии повествователь говорит литературным языком. Тут бросается в глаза исключительно частое для повести употребление местоимения «я», причем от первого лица даются биографические сведения о самом Зощенко. Знаменательно то, что интонация в этой главе выдерживается почти исключительно в дистантном «чужом» модуле. Лишь к самому концу этой биографической главы интонационный ключ вдруг меняется на «свой». Функция ГУВ в этих последних предложениях повести становится ясна, если попытаться изменить интонацию на безударный «чужой» тип: «В мое окно светит солнце. Плывут темные облака. Лает собака...» При такой перестановке сразу меняется тон повествования, снимаются открытость и незащищенность говорящего, появляется сдержанность, дистанция. Значит, именно благодаря этому «своему» интонационному модулю в отрывке (17) читатель делается невольным свидетелем сокровенных лирических переживаний рассказчика в этот август

товский день¹⁶. Напомним, что у Назара Ильича интонационный рисунок выглядел совсем иначе: биографические сведения о своей персоне он давал читателю в «своем» модусе (примеры (4) и (6)), лиричную же созерцательность выражал интонацией дистанции (пример (7)).

Итак, в рассмотренных выше двух произведениях вырисовываются три рассказчика, различающиеся по лексико-синтаксическим и по интонационным признакам. Г-н Синебрюхов интонирует, как правило, ГУВ; лексико-синтаксические нормы им не освоены. Повествователь раздела А «Возвращенной молодости» говорит преимущественно в «чужом» модусе, хотя лексико-синтаксические нормы им тоже не освоены. И наконец, повествователь разделов В—D интонирует преимущественно без ГУВ, одновременно соблюдая и лексико-синтаксические нормы литературного языка. Сдвиги в языке зощенковских повествователей совершаются, следовательно, по разным линиям разным темпом. Первым сдвигом является сдвиг по линии интонации, намного менее заметной для невооруженного глаза, чем лексика или фразеология: и г-н Синебрюхов, и повествователь раздела А «Возвращенной молодости», оба не владеющие лексико-синтаксическими нормами, различаются интонационно. Затем в рамках одного произведения «Возвращенная молодость» происходит уже дифференциация повествователей по линии лексико-синтаксической, более доступной простому глазу. В интонационном же соотношении вся повесть предполагает более дистантные межперсональные отношения, чем в «Рассказах г-на Синебрюхова». Чтобы проследить дальнейший путь второго повествователя «Возвращенной молодости», рассмотрим теперь интонационную характеристику повести «Перед восходом солнца».

¹⁶ Кроме приведенной в примерах (13)—(17) мотивировки переключения на маркированный ударный тип интонации, повествователь разделов В—D «Возвращенной молодости» часто использует этот тип еще для одной цели. А именно для кодирования смены точки зрения путем как бы воспроизведения интонации говорящего (персонажа) в несобственно-прямой речи:

«Они молча поцеловались, и Василек, опустившись вдруг на колени, сказал, что он виноват и просит прощения.

Мадам заплакала, обнаружив тем самым подведенные ресницы и свою неопытность в косметических делах.

Все кончено. Она не сердится на него, напротив, она считает себя виноватой во многом» (В, гл. 34).

ГУВ в двух последних предложениях этого примера безошибочно указывает на принадлежность этих фраз жене Василька, в чьих устах интонация близости является вполне оправданной. Она была бы неуместна в устах повествователя, выступающего в роли безучастного свидетеля. В примерах подобного рода следует считать функцию интонации ударного «своего» модуса обусловленной не установкой повествователя на участников речевого акта, а двойственным характером сообщения, совмещающего в себе другое сообщение, в данном случае — речевой акт, участниками которого являются Василек и его жена; см. [Jakobson 1957/1971].

4. Интонация повествователя повести «Перед восходом солнца»

Композиция этой книги столь же необычна, сколь и композиция «Возвращенной молодости». Отметим здесь лишь макроскопическое различие между коротенькими новеллами, составляющими первую часть книги, и более длинными рассуждениями на тему психологии и психоанализа, составляющими большую часть второй. Новеллы — сценки из жизни повествователя от двух до тридцати лет — отличаются краткостью предложений и множеством других ярких особенностей в области грамматики дискурса, которым следует посвятить отдельное изучение. Сказовых лексико-синтаксических отклонений от литературной нормы в книге «Перед восходом солнца» не наблюдается. В области интонации почти без исключения преобладает интонация дистанции. Рассмотрим пример (18):

(18) Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы. Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке. И будет петь, плясать и рассказывать нам сказки.

Наоборот. Приехал строгий, высокий человек, не очень старый, не очень седой. Поразительно красивый. Бритый. В черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки («Закрытое сердце»).

В приведенном отрывке хорошо выявляется интересующая нас интонационная доминанта первой части. Несмотря на краткость фраз, простоту синтаксиса, на явно, казалось бы, детскую ориентацию содержания, интонация отрывка остается «безударной» даже там, где на первый взгляд может показаться, что можно было бы, не нарушая стиля, использовать ударный «свой» модус. Так, например, «ударные» варианты «Дедушка приехал», «Он из Полтавы приехал», «И будет петь, плясать и сказки нам рассказывать», «... молитвенник маленький бархатный и четки красные костяные» представляются оправданными. Повествователь все же избрал здесь дистанцию. Этот выбор можно оценить, только попытавшись искусственно изменить интонационную картину текста первой половины введением ГУВ. Оказывается, что если бы в этом тексте преобладала интонация «своего» модуса («Он из Полтавы приехал» и т. д.), нам послышался бы в нем голос ребенка, действующего лица тех событий, о которых говорится в тексте. Повествователем оказался бы мальчик, а не тот сорокавосемилетний человек, который предпринимает психоанализ этого мальчика. Если бы интонационная дистанция не была тут соблюдена, тон воспоминания оказался бы разрушен, впечатление взгляда, устремленного в далекое прошлое, постепенно, парцеллированно, проступающее из туманной дали, оказалось бы уничтожено. Описывать давно случившиеся происшествия, которые повествователь намерен использовать как материал для психоанализа, нужно объективно, отмежевываясь от того «я», которое выступает действующим лицом во воспоминаемых событиях. Именно поэтому повествователь пер-

вой части чаще говорит не детским или юношеским голосом, а сдержанной, объективно отчужденной интонацией безударного типа.

Все же в первой части также встречаются и функционально оправданные переходы на «свой» модус, как, например, в абзаце, следующем сразу после примера (18):

(19) И я **удивился**, что у нас такой дедушка. И захотел с ним о чем-нибудь **поговорить**. Но с нами, с детьми, он **не стал** разговаривать. Он только немного поговорил с папой («Закрытое сердце»).

Вслед за восстановлением как бы объективного образа деда в отрывке (18) повествователь переходит к своей собственной реакции на деда в строках (19). Непосредственность его детского восприятия выливается в ГУВ на словах «удивился», «поговорить», «не стал». Тут нарративная перспектива двойится и нам слышится уже голос мальчика, а не взрослого¹⁷. В последнем предложении примера (19) повествователь возвращается к «чужому» модусу.

Значительность преимущественно дистантной интонации новелл первой половины повести «Перед восходом солнца» подтверждается сравнением со второй половиной. Тут, где одно предложение нередко занимает целый абзац, где фразы пестрят научной терминологией, где, казалось бы, интонация должна быть сухой и сдержанной, тут как раз наблюдается обратное явление. Нейтральная интонация встречается здесь гораздо чаще, чем в первой половине, и функционально в таких же местах, в каких она встречалась в комментариях в «Возвращенной молодости»: там, где говорящий переключается с установки на содержание на установку на участников речевого акта. Рассмотрим пример (20):

(20) И вот почему могло показаться, что искусство есть достояние нездоровых людей.

Вовсе **нет!** Но именно **эти** люди заподозрили, что разум несет беду. Именно **они** объявили: «Горе уму».

Они, может быть, не **ошиблись** в отношении себя. Но они — единицы. Они не **должны** были бы свои невзгоды приписывать всем людям, которые **далеки** от подобных бедствий («Горе уму», 7).

Подобное чередование интонационных модусов встречается на каждой странице, иногда по несколько раз. Как и в примерах (13)—(15), интонация чаще всего в этих «срывах» несет коннотацию полемики. «Срывы» обычно сопровождаются и другими указателями на усиленную диалогичность: так, в примере (20) имеется восклицательное предложение, выражающее несогласие, противительные союзы «но», отрицание, модально-дискурсивные элементы «может быть», «должны были бы» и усилительная частица «имен-

¹⁷ Ср. такое же употребление ГУВ в повести «Возвращенная молодость», примеч. 16.

но». Получается, что рассказчик не рассказывает, а доказывает. Он убеждает читателя, пытается привлечь его на свою сторону, сократив мысленное расстояние между собою и им. ГУВ, следовательно, здесь отнюдь не неоправданно. Повествователь второй половины повести «Перед восходом солнца», как правило, интонирующий «чужим» модусом, но местами нарушающий интонационную дистанцию, оказывается, таким образом, схожим с повествователем второй половины «Возвращенной молодости», интеллигентным рассказчиком, соблюдающим подобающую дистанцию между собой и читателем, но временами увлекающимся и переступающим разделяющую их черту.

Подчеркнутая интонационная сдержанность, преобладающая в первой половине книги и нарушаемая в первую очередь ради введения точки зрения детского или юношеского «я», свидетельствует не только об интонационной дистанции, принятой в традиционных условиях литературного повествования, но также и о намеренном отдалении описываемых событий от рассказчика. То мастерство, с которым повествователь первой части использует интонацию и порядок слов для создания особого, объективного жанра реминисценций с редкими «прорывами» в переживания юношеского, отошедшего в прошлое «я», изобличает не просто интеллигентного рассказчика, владеющего литературным языком, а писателя, владеющего литературными приемами. Если во второй половине книги нам слышится голос просто культурного, начитанного и умного собеседника, то в первой — это уже голос большого художника. По-видимому, тут перед нами еще один зощенковский повествователь ¹⁸.

5. Заключение

При интонационном анализе произведений Зошенко, относящихся к трем десятилетиям его творчества, выявляется эволюция повествователя. Повествователь 20-х гг. безграмотный г-н Синябрюхов выдает интонацией «своего» модуса свое запанибратское отношение к читателю. Он выходит из этого модуса, когда того требует контекст, что свидетельствует о его владении «чужим» модусом, который тем не менее остается для него маркированным. Оба повествователя «Возвращенной молодости», повести 30-х гг., уже усвоили интонационные средства выражения канонической межперсональной дистанции. Они нарушают ее при переключении ориентации с содержания на участников коммуникативного акта, при том что первого из пове-

¹⁸ Если двух повествователей повести «Перед восходом солнца» объединить в одного, речь пойдет уже не о повествователях, а скорее об авторе, сознательно меняющем интонационную дистанцию в соответствии с жанровыми требованиями этого сложного произведения. Исповедальный характер книги говорит в пользу такого решения, но окончательное разрешение проблемы повествования в книге «Перед восходом солнца» — это уже тема для отдельного исследования.

ствователей роднит с Синебрюховым относительная безграмотность. Другой повествователь повести «Возвращенная молодость» мало чем отличается от повествователя второй, «научной» части книги «Перед восходом солнца»¹⁹. Возможно, что отдельно следует выделить наиболее «художественного» из рассмотренных здесь зощенковских повествователей, использующего дистантный интонационный модус повествователя первой части «Перед восходом солнца». Выход на «свой» модус у этого рассказчика функционирует почти исключительно как средство выражения нарративной перспективы, присущей юношеским ипостасям рассказчика.

Подобным же образом можно было бы произвести интонационный анализ и других произведений Зощенко. В задачи предлагаемой работы, однако, не входит полная интонационная характеристика творчества Зощенко. Не входит в нее и обсуждение литературоведческих вопросов о границе между лицом и маской Зощенко. Наша более скромная задача заключалась в том, чтобы показать ценность для литературного анализа интонационных данных о ГУВ, закодированных в русском словорасположении. Систематически различая два описанных выше интонационных типа, нейтральный и ненейтральный, исследователь получает возможность конкретно охарактеризовать расстояние, устанавливаемое повествователем между собой и читателем, определить тон повествования, обычно ускользающий от литературоведческого анализа, несмотря на решающее впечатление, оказываемое им на подсознательное восприятие текста. Наш анализ, как думается, доказывает, что интонацию даже такого сложного текста, как зощенковский, можно охарактеризовать конкретно и последовательно и что выявленные таким образом интонационные различия способствуют раскрытию некоторых доселе не подмеченных особенностей текста, ведущему, в свою очередь, к новому пониманию творчества этого трудно поддающегося анализу автора.

Л и т е р а т у р а

Брызгунова 1984 — Е. А. Брызгунова. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М., 1984.

Йокояма 2002 — О. Йокояма. Маркированность так называемой нейтральной интонации: по данным детской речи // Проблемы фонетики. IV. М., 2002. С. 148—157.

Йокояма 2003а — О. Йокояма. Нейтральная и ненейтральная интонация в русском языке: автосегментная интерпретация системы ИК // ВЯ. 2003. № 5. С. 99—122.

¹⁹ Традиционная интонация «чужого» модуса и соблюдение лексико-грамматической литературной нормы сами по себе, конечно, еще не приводят к традиционной сухой манере авторитетного повествования, отсутствие которой является одной из особенностей даже «научных» произведений Зощенко. В анализе языковых приемов, создающих неавторитетность манеры, особенно плодотворным будет подход со стороны грамматики дискурса и прагматики.

Йокояма 2003б — О. Йокояма. Дискурс и порядок слов. М., 2003.

Томашевский 1994 — Ю. В. Томашевский. Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994.

Черемисина 1976 — Н. В. Черемисина. Мелодика и синтаксис русской синтагмы // Синтаксис и стилистика / Ред. Г. А. Золотова. М., 1976. С. 65—85.

Jakobson 1957/1971 — R. Jakobson. Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb // Selected Writings. Vol. II: Word and Language. Hague; Paris: Mouton, 1971. P. 130—147.

Jakobson 1960/1981 — R. Jakobson. Linguistics and Poetics // Selected Writings. Vol. III: Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. Hague; Paris; N. Y.: Mouton, 1981. P. 18—51.

Krause et al. 2003 (in press) — M. Krause, Ch. Sappok, O. Yokoyama. Accentual prominence in a Russian dialect text: an experimental study // Russian Linguistics. 2003 (in press).

Scatton 1993 — Linda H. Scatton. Mikhail Zoshchenko: Evolution of a Writer. Cambridge UP: Cambridge; N. Y., 1993.

Ščeglov 1981 — Ju. K. Ščeglov. Mir Mixaila Zoščenko // Wiener Slawistischer Almanach. Bd 7. 1981. P. 109—154.

Titunik 1971 — Irwin R. Titunik. Mixail Zoščenko and the problem of skaz // California Slavic Studies. Vol. VI / Ed. by Robert P. Hughes, Simon Karlinsky, Vladimir Markov. Berkeley; Los-Angeles; London: UC Press, 1971. P. 83—96.

Yokoyama 1995 — O. Yokoyama. Narrative intonation in Zoščenko // Studies in Poetics / Ed. by Elena Semeka-Pankratov. Slavica Publishers: Columbus, OH., 1995. P. 559—588.

Yokoyama 2001 — O. Yokoyama. Neutral and non-neutral intonation in Russian: A reinterpretation of the IK system // Die Welt der Slaven. Bd XLVI. 2001. № 1. P. 1—24.

Источники

Зощенко 1973 — Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. Нью-Йорк, 1973.

Зощенко 1986 — Мих. Зощенко. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1986.

Л. Л. КАСАТКИН

**ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕЧЕНИЕ
ФОНЕТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА —
ИЗМЕНЕНИЯ С'С' > СС'
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ***

Фонетические процессы в языке протекают достаточно долго и действуют до тех пор, пока, во-первых, существует причина, вызвавшая языковое изменение, во-вторых, пока замена одного звука другим не охватит все слова, где для такого изменения есть условия: звук в этих словах находится в той позиции, в которой происходит его изменение, и, в-третьих, пока это изменение не произойдет у всех носителей данного языка или диалекта. Большинство фонетических процессов известно нам по памятникам письменности. Факторы, действовавшие во время этих процессов и обуславливавшие их течение, могут быть восстановлены лишь частично. Наиболее полную картину дают фонетические процессы современности. Одним из таких процессов является утрата мягкости согласным перед мягким согласным в современном русском языке.

В древнерусском языке во многих сочетаниях согласных прошел процесс регрессивной ассимиляции по мягкости: СС' > С'С'. В результате большинства согласных стало подчиняться закономерности: перед мягким согласным согласный должен быть тоже мягким. Так, губные и, по-видимому, заднеязычные смягчились перед всеми мягкими согласными; твердые переднеязычные, кроме [л], смягчились перед всеми мягкими согласными, кроме мягких заднеязычных; [л] смягчился перед [л'], [j] и [ц']; см., например, [Грот 1899: 236—248; Шахматов 1915: 180—181; Кошутин 1919: 153—160; Матвеева 1928: 9—17; Калнынь 1956: 192—196, 202—212; Князевская 1957: 172—173; Колесов 1980: 144—147; Галинская 2002: 132, 165]. В результате позиция перед мягким согласным стала сигнификативно слабой для большинства парных по твердости/мягкости согласных.

Лишь переднеязычные различались по твердости/мягкости перед мягкими заднеязычными, и /л/ — /л'/ различались перед всеми мягкими согласными, кроме [л'] и [j]; ср. у[ск']ие — нау[с'к']ивать, ре[тк']ие — ре-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 01-06-80234.

[т'к']и, бá[нк']и — бá[н'к']и, зó[рк']и — зó[р'к']ие, флá[нг']и — дé[н'г']и; до[лб']ить — стрé[л'б']ище, то[лп']é — скá[л'п']ель, мó[лв']ить — [л'в']иный, шá[лф']éй — со[л'ф']éджио, о напá[лм']е — нá[л'м']е, по[лз']и — ско[л'з']и, боя[лс']я — в вá[л'с']е, гá[лд']éть — сé[л'д']и, же[лт']éть — ме[л'т']ешить, по[лн']éй — во[л'н']éй, мо[лч']и — мá[л'ч']ик, то[лш']и-нá — по[л'ш']ён, Вó[лг']и — О[л'г']и, пó[лк']и — пó[л'к']и, а[лх']и́мик — о[л'х']и́.

Отсутствие смягчения переднеязычных перед мягкими заднеязычными, казалось бы, может объясняться поздним смягчением самих заднеязычных: в большинстве случаев они выступают перед [и], а сочетания [к'и], [г'и], [х'и] возникли достаточно поздно из сочетаний [кы], [гы], [хы] (во многих современных говорах до сих пор встречаются [кы], [гы], [хы]; см. [Касаткин 1999: 196; ДАРЯ 1989, карта 52]). Однако в других случаях мягкие заднеязычные выступают перед /е/ из /ь/, а в этой позиции мягкость всех согласных возникла раньше, чем перед другими гласными переднего ряда; см. [Касаткин 1999: 161, 166].

Отсутствие смягчения переднеязычных согласных перед мягкими заднеязычными объясняется не фонетическим характером твердости/мягкости этих согласных, а фонологическим статусом этого признака. Противопоставление по твердости/мягкости заднеязычных согласных фонем установилось в русском литературном языке, как и в большинстве говоров русского языка, позднее, чем противопоставление по этому признаку переднеязычных фонем. В период действия процесса смягчения согласных перед мягкими согласными мягкость заднеязычных звуков была несамостоятельна, позиционно обусловлена следующим гласным переднего ряда, тогда как твердость предшествующих переднеязычных была уже фонологически существенна. Между тем фонологическая существенность признака ассимилирующего звука — необходимое условие всякой ассимиляции, осуществляющейся по признакам, релевантным для фонологической системы языка см. [Мартине 1960: 245—246; Стеблин-Каменский 1966: 111; Касаткин 1999: 69—78].

Впрочем в современных русских говорах, как и в литературном языке, заднеязычные согласные уже противопоставлены по твердости/мягкости, эта корреляция подчинила себе и заднеязычные; см. [Касаткин 1989: 57, 58; 2003: 142—144]. С этим, по-видимому, связаны случаи произношения мягких переднеязычных на месте исконных твердых перед мягкими заднеязычными в некоторых русских говорах: на стé[н'к']е, сметá[н'к']и, ви[с'к']и́, глá[с'к']и и т. п. и встречающееся устарелое произношение в литературном языке в таких случаях, как ки[р'г']и́з, Геó[р'г']ий, а[р'х']и́в и др. В литературном языке допустимо старшее произношение в словах церковнославянского происхождения á[н'г']ел, Евá[н'г']елие и производных от них.

Нейтрализация /л/ — /л'/ в звуке [л'] перед /j/ (точнее, перед звуками, выступающими на месте /j/) и [л'], свойственная древнерусскому языку (бé-[л]ый — бе[л'jó], ко[л] — ко[л'и]а) и [л']ить — [л'ju]; му[лл]á — му[л'л']é,

зу[л']*ятъ* — зу[л'л']*йвыи* и т. п.), в современном русском литературном языке уже не характеризует подсистему согласных фонем. Давление системы — различения /л/ — /л'/ перед всеми другими согласными, где оно лексически представлено, привело к отмиранию прежней закономерности и возникновению новой — возможности противопоставления /л/ — /л'/ перед всеми согласными, в том числе и перед /л'/ и /j/. Об этом свидетельствует появление новых слов с сочетанием [лл']: *поллитровый*, *поллитровка* и существительного *поллитра*, изменяющегося по падежам, а также не представляющих для русских трудности произношения [лј] в таких иноязычных собственных именах, как *Кизильюрт* (город в Дагестане).

В древнерусском языке ранее отсутствовало противопоставление /л/ — /л'/ и перед мягким [ц'], где происходила нейтрализация /л/ — /л'/ в звуке [л']. Позднее [ц'] отвердел. Сохранение при этом мягкого [л'] перед твердым [ц] — свидетельство того, что мягкость [л'] перестала связываться с данной позицией, стала самостоятельной, и еще перед [ц'] звук [л'] стал представителем мягкой фонемы /л'/ (ср. [Касаткин 1999: 86—100]). После отвердения [ц'] возможны были только слова с сочетанием [л'ц] (*кольцо*, *крыльцо*, *зеркальце*, *рыльце*, *пальцы*, *щупальцы* и др.) и отсутствовали слова с [лц]. Следовательно, для /л/ — /л'/ позиция перед [ц] по-прежнему оставалась сигнификативно слабой, так как здесь не наблюдалось противопоставление /л/ — /л'/ . Однако в этой позиции уже не было нейтрализации этих фонем, а встречалась только /л'/; /л/ же не была запрещена системой, но в реальных примерах отсутствовала (ср. [Аванесов 1956: 175]). О противопоставлении /л/ — /л'/ в современном русском языке и в этой позиции свидетельствует пока едва ли не единственный пример заимствованного и редкого слова *халцедон*.

На возможность противопоставления /л/ — /л'/ перед [р], [р'] (ранее такие примеры были лексически не представлены) может указывать аббревиатура 1920-х годов *Гоэлро*, сложносокращенное слово *Дальрыба*, заимствованные слова *кольра́би*, *та́лреп*, где сочетания [л'р], [лр'] выступают внутри корня, а также употребление таких иноязычных собственных имен, как *Мальро*, *Амальрик*, *Ульрих* и др.

Отсутствие смягчения [л] перед мягкими губными и переднеязычными (кроме [л']) связано с тем, что противопоставление /л/ — /л'/ возникло раньше, чем противопоставление по твердости/мягкости других согласных. В эпоху, когда мягкость губных и переднеязычных только еще становилась фонологически существенной, твердость [л] уже была фонологически существенной. Поэтому [л] и не подвергался ассимиляции по мягкости перед этими согласными; см. [Касаткин 1999: 188—189, 462—463].

На смену процессу ассимиляции твердых согласных следующим мягким — СС' > С'С' пришел новый процесс — отвердения первого согласного в этом сочетании: С'С' > СС'. Внешне этот процесс выглядит как дисси-

мильция согласных по твердости/мягкости. Однако причина этого процесса была в другом. Высказывались разные предположения.

М. В. Панов считал, что процесс изменения С'С' > СС' «начался под влиянием внутренних тенденций, именно: Бодуэнова закона; других причин не найти» [Панов 1968: 72]. «Законом Бодуэна де Куртенэ» М. В. Панов называет тенденцию развития русского языка, проявляющуюся в упрощении системы гласных и усложнении системы согласных. Это усложнение системы связано с увеличением различительной способности согласных, уменьшением их позиционной зависимости [Там же: 10—11, 21 и др.]. Однако и сформулирована и подтверждена многочисленными фактами истории русского языка эта тенденция была самим М. В. Пановым (см. также [Панов 1990]), поэтому гораздо больше оснований называть ее «законом М. В. Панова».

Другое предположение было высказано М. Я. Гловинской, Н. Е. Ильиной, С. М. Кузьминой и М. В. Пановым: «процесс утраты позиционной мягкости» был вызван «самой системой языка: агглютинативными тенденциями в грамматике», а именно: установлением «единообразного вида морфемы», что достигается «на фонетическом уровне (...) ослаблением позиционной зависимости звуков в потоке речи» [Гловинская и др. 1971: 22—23].

М. В. Панов в книге, законченной в 1970 г., но опубликованной лишь через 20 лет, пишет: «Может быть, справедливым будет такое предположение. В русском языке заметно движение от эквиолентных противопоставлений к привативным». «Пока в одних позициях, где нейтрализуется твердость — мягкость, выступали мягкие согласные, а в других позициях нейтрализации — твердые согласные, ни те, ни другие не могли считаться немаркированными». Это противопоставления эквиолентные. Затем «формируется состояние, при котором в позиции нейтрализации выступают губные только твердые (...). Твердый губной формируется как немаркированный член противопоставления», что характерно для привативных противопоставлений. «Сам процесс, возможно, шел так. Среди сочетаний губного с заднеязычным особенно часто встречается [ф'к'] (*на Покровке, плутовки, у остановки, без подготовки, маленькие подковки...*). Но это же сочетание обычно для стыка “предлог + полнозначное слово”: *в кителе, в Китае, в кислых щах, в Керчи, в керосине, в келье...* Пока “ассимилятивная” мягкость была сильнее, она подчиняла себе и эти сочетания. Но предлог бунтовал: он хотел везде быть равен себе, т. е. везде реализоваться звуком [в]. Сочетания *в Костроме, в костюме, в комнате* влияли на сочетания *в Керчи, в кителе, в келье*. Возникло стыковое сочетание [фк'] с твердым первым согласным. Пользуясь тягой языка к немаркированности единиц, к привативным противопоставлениям, это сочетание проникло и в середину слова. Так *на Покро[ф'к']е* стало *на Покро[фк']е*. (...) Позиция, спровоцированная предлогом, обобщается и для других случаев» [Панов 1990: 123—125].

Л. А. Вербицкая считает, что «главным системным фактором, определяющим произнесение твердого согласного перед мягким и распространение

такого произношения, является немаркированность твердого, а маркированность мягкого согласного в фонологической системе русского языка» [Вербицкая 1976: 67].

Еще одно предположение: процесс $C'C' > CC'$ был вызван «по-видимому, тенденцией русского языка к ослаблению напряженности артикуляционной базы, так как он приводил к замене мягкого согласного менее напряженным твердым» [Касаткин 1999: 212].

Однако все эти обстоятельства можно рассматривать лишь как условия, благоприятствовавшие началу и протеканию данного процесса, но не как саму его причину. Ею, по-видимому, можно считать внутреннюю перестройку фонологической системы — изменение в языковом сознании говорящих, когда первый мягкий согласный подобных сочетаний, ранее представлявший твердую/мягкую архифонему, был переинтерпретирован как вариант твердой фонемы. В результате и возникло стремление заменить его доминантой этой твердой фонемы — основным ее представителем. Это изменение было не «спровоцировано предлогом», как писал М. В. Панов, а лишь раньше проявилось в подобных случаях; см. [Касаткин 1999: 86—100].

Вопрос о причинах фонологических изменений в языке — один из самых трудных в исторической фонологии. У части известных нам перестроек фонологических систем причины понятны. Одно из наиболее широко распространенных объяснений — «давление системы». Эта причина лежит, в частности, в возникновении противопоставления /л/ — /л'/ в позициях, где ранее эти фонемы нейтрализовались, в возникновении противопоставления по твердости/мягкости заднеязычных фонем. Но причины многих фонологических перестроек языковых систем пока неясны. Мы можем в подобных случаях лишь констатировать результаты такой перестройки¹. Конечно, должна была быть какая-то конкретная причина и у переинтерпретации первого мягкого согласного сочетания $C'C'$, ранее представлявшего твердую/мягкую архифонему в позиции нейтрализации, а затем став-

¹ Так, например, мы констатируем на основании особенностей современного произношения, что в некоторых словах фонема /о/ была переинтерпретирована в /wo/, изменившееся затем в /во/: /кoн'/ [кyон'] > /kwон'/ [кwon'] > /квон', /oxoтa/ [oxyотa] > /охwотa/ [охwóта] > [охфóта] > [охфóта] и др. Мы можем установить и условия этого изменения, см. [Касаткин 1999: 93—95]. В памятниках XVII в. встречается написание слова *кrowля* как *кpoля*, см. [Галинская 2002: 65]. В этом случае, по-видимому, произошла переинтерпретация сочетания фонем /ow/ в фонеме /о/, которые могли произноситься одинаково: /ow/ как [oŭ], /о/ как [oу] или [oʏ]. Таким образом, [oŭ] в [крoу́л'а], вначале представлявшее сочетание фонем /ow/, стало восприниматься как [oʏ], то есть как реализация фонемы /о/. Прежний фонемный состав слова /кrowл'а/ заменился на /кpoл'а/, что и отразилось в написании слова. Но почему произошли такие перестройки фонемного состава некоторых слов при отсутствии подобных перестроек у других слов — загадки, которые требуется решать по отношению к каждому конкретному случаю.

шего вариантом твердой фонемы. Выявить ее — следующая необходимая задача.

М. В. Панов считал, что замена мягкого согласного твердым в позиции перед мягким согласным приводит к тому, что «нейтрализация мягких и твердых согласных фонем будет осуществляться не в мягких, а в твердых согласных звуках» [Панов 1967: 325—327], то есть произойдет лишь смена реализации одной и той же фонологической единицы (Р. И. Аванесов назвал ее слабой фонемой, по другой терминологии это архифонема; см. [Аванесов 1956: 28—31; Касаткин 2003: 105—111]).

Действительно, внешние отношения между твердыми и мягкими согласными фонемами выглядят так, как определяют их М. В. Панов. Однако если высказанное выше предположение о внутренней перестройке языковой системы верно, то из этого следует, что отвердение первого согласного сочетаний С'С' связано с отходом от нейтрализации твердых и мягких согласных фонем в позиции перед мягкими согласными. При закономерности С'С' в первом мягком согласном нейтрализуются твердые и мягкие согласные фонемы; при наступившей новой закономерности СС' первый твердый согласный этого сочетания является представителем твердой фонемы, а мягкая фонема в этой позиции не употребляется. При этом позиция перед мягким согласным по-прежнему остается сигнификативно слабой. Если в первом случае реализация согласной фонемы в мягком варианте перед мягким согласным предопределена самой фонологической системой, то во втором случае произношение твердого согласного перед мягким уже не связано с требованием системы, а определяется лишь существующей нормой.

Процесс С'С' > СС' активно идет в современном русском языке, постепенно охватывая согласные всё в новых и новых позициях, в новых и новых условиях. Течение этого процесса можно представить как ряд последовательных этапов перехода от мягкости согласного к его твердости. Эти этапы характеризуются частотностью примеров произношения мягкого или твердого согласного в одних и тех же позициях и других условиях. В соответствии с орфоэпическими оценками могут быть выделены следующие шесть таких этапов:

1	2	3	4	5	6
С'С'	С'С'	СС'	С'С' СС'	С'С' СС'	С'С' СС'

1. Только С'С'.
2. С'С' и допустимо младшее СС'.
3. С'С' и СС'.
4. СС' и допустимо старшее С'С'.
5. СС' и устарелое С'С'.
6. Только СС'.

Говоря о мягкости и твердости согласных перед мягкими согласными, необходимо иметь в виду следующее. Мягкие и твердые согласные не перед мягкими согласными отличаются друг от друга, в частности, тем, что мягкие согласные — палатализованные ([j] — палатальный) и невелиаризованные, а твердые — непалатализованные и велиаризованные (заднеязычные — веларные). В позиции же перед мягкими согласными мягкие и твердые согласные отличаются лишь одним из этих признаков: мягкие палатализованы, твердые не палатализованы. Велиаризация же отсутствует в этой позиции как у мягких, так и у твердых согласных.

Основные факторы, влияющие на степень продвинутости процесса отвердения мягких согласных перед мягкими, были определены, главным образом, в работах Р. И. Аванесова [Аванесов 1984: 145—168] и М. В. Панова [Панов 1967: 324—327; 1968: 58—78], а также М. Я. Гловинской и С. М. Кузьминой [РЯДМО 1974: 41—83]. Дальнейшие исследования позволили обнаружить и некоторые другие факторы, уточнить действие уже выявленных факторов.

1. Характер первого согласного сочетания С'С' — место и способ образования, сонорность/шумность

Ни один из согласных, парных по твердости/мягкости, кроме [л] — [л'], не находится при всех условиях на первом или последнем этапе изменения С'С' > СС'. У всех этих согласных в зависимости от позиции и других условий наблюдается произношение мягкого или твердого варианта. Однако степень продвинутости в этом процессе у разных согласных различна.

Отвлекаясь от разных условий и имея в виду только те позиции, где ранее происходило смягчение согласных, можно сказать, что с точки зрения м е с т а о б р а з о в а н и я чаще других согласных мягкими бывают зубные, твердыми — заднеязычные. Иначе говоря, наименее продвинуты в процессе отвердения мягких согласных перед мягкими зубные, наиболее продвинуты — заднеязычные². При этом распределение твердости/мягкости согласных в разных позициях может быть различным. Например:

Перед губными:

губные: лю[б]вѣи и лю[б']вѣи (3)³;

зубные: я[з]вѣитъ и допустимо старшее я[з']вѣитъ (4);

передненѣбные: че[р]вѣивѣи и допустимо старшее че[р']вѣивѣи (4);

заднеязычные: се[к]вѣстр и устарелое се[к']вѣстр (5).

² Эта особенность согласных, разных по месту образования, напоминает, но в обратном порядке процесс возникновения противопоставления согласных по твердости/мягкости: вначале это противопоставление возникло у переднеязычных согласных, затем у губных и в последнюю очередь у заднеязычных.

³ Цифры в скобках обозначают номер этапа в процессе С'С' > СС'.

Перед зубными:

губные: *те[м]ни́ца* и *те[м']ни́ца* (3);

зубные: *ре[с']ни́ца* — только [с'] (1);

передненёбные: *те[р]ни́стый* и допустимо старшее *те[р']ни́стый* (4);

заднеязычные: *пи[к]ни́к* и устарелое *пи[к']ни́к* (5).

Перед заднеязычными:

губные: *гри[п]ки́* и *гри[п']ки́* (3);

зубные: *не[с]ки́* — только [с] (в этой позиции не смягчался);

передненёбный: *номе[р]ки́* — только [р] (в этой позиции не смягчался) ⁴;

заднеязычные: *нале[х']ке́* — только [х'] (1).

На твердость/мягкость первого согласного влияет и его способ образования. Так, щелевые могут отставать от смычных в процессе утраты мягкости. Например, равноправны твердый и мягкий варианты губных щелевых в словах: *лоб[ф]кий* и *лоб[ф']кий*, *спра́[ф]ки* и *спра́[ф']ки* (3), а губные смычные в этой позиции обычно твердые: *ро́[п]кий*, *ла́[п]ки*, *гро́[м]кий*, хотя и встречается устарелое произношение мягких: *ро́[п']кий*, *ла́[п']ки*, *гро́[м']кий* (5).

В конце исконно русской приставки и предлога перед [j] зубные щелевые произносятся твердо и мягко с равной распространенностью обоих вариантов: [сj] *эхать* и [с'j] *эхать*, [с-j] *ёлкой* и [с'-j] *ёлкой*, и[zj] *ёденный* и и[z'j] *ёденный*, бе[z-j] *ягод* и бе[z'-j] *ягод* (3). Зубные взрывные в этой позиции, как правило, твердые: о[tj] *эзд*, о[t-j] *яблока*, по[dj] *ём*, на[d-j] *ямой*; изредка встречается также устарелое произношение мягкого согласного: о[t'j] *эзд*, о[t'-j] *яблока*, по[d'j] *ём*, на[d'-j] *ямой* (5).

На твердость/мягкость первого согласного может влиять его сонорность / шумность. Так, шумные зубные после гласных перед мягкими зубными внутри корня или на стыке корня и суффикса всегда мягкие: *ра[с']ти́*, *боро[з']де́*, *ле[с']ни́к*, *во[з']ни́ца*, *по[т']ни́ца*, *о[д']ни́* (1). В этой позиции в соответствии с сонорным мягким [н'] может произноситься и [н] твердый: *во[н]зи́ть* и допустимо старшее *во[н']зи́ть* (4), *ко[н]се́рвы* и *ко[н']се́рвы*, *бе[н]зи́н* и *бе[н']зи́н* (3), *ко[н']тинент*, *ко[н']диционер* и допустимо младшее *ко[н]тинент*, *ко[н]диционер* (2).

2. Характер второго согласного — место и способ образования, сонорность/шумность

На твердость/мягкость первого согласного оказывает влияние место образования второго согласного. При этом перед согласными того же

⁴ Не смягчался [р] перед [к'], перед другими же мягкими заднеязычными встречается устарелое произношение [р'] в некоторых словах: *Се[р']ге́й* (сохранившийся в этом слове результат прежней аккомодации [р] предшествующему [е], происшедшей в древнерусском языке и известной в позиции перед губными и заднеязычными), *Геб[р']ейи́*, *а[р']хи́в* и др.

места образования мягкость согласного держится более устойчиво, чем перед согласным иного места образования. При некоторых условиях зубные перед мягкими зубными и заднеязычные перед мягкими заднеязычными могут быть только мягкими. Дольше держится мягкость согласных и перед /j/. Например:

губные: о[б]меня́ть и о[бʹ]меня́ть (3), о[п]тесáть (6), о[б]реза́ть (6), о[бʹ]явѝть и о[бʹ]явѝть (3), о[п]хитрѝть и устарелое о[пʹ]хитрѝть (5);

зубные: о[т]мени́ть и допустимо старшее о[тʹ]мени́ть (4), о[тʹ]тяну́ть и допустимо младшее о[т]тяну́ть (2), о[т]реза́ть (6), о[тʹ]юлю́ть и устарелое о[тʹ]юлю́ть (5), о[т]химѝчить (в этой позиции [т] не смягчался);

передненёбные: а[р]мия (6), на[р]тия (6), ста́[р]ческий и устарелое ста́[рʹ]ческий (5), ка[рʹ]ѝра (1), жа́[р]кий ([р] перед [кʹ] не смягчался);

заднеязычные: клю́[к]венный и допустимо старшее клю́[кʹ]венный (4), ва́[х]тенный (6), чу́[к]ча (6), мя́[хʹ]кий (1).

На твердость/мягкость первого согласного может влиять и с п о с о б о б р а з о в а н и я следующего согласного. Так, перед щелевыми согласными многие согласные дольше сохраняют мягкость, чем перед смычными. Например, губные согласные могут быть мягкими и твердыми перед зубными щелевыми срединными: во́[ф]се и во́[фʹ]се, ну́[п]сик и ну́[пʹ]сик, ло́[б]зик и ло́[бʹ]зик (3). Но перед зубными смычными и перед щелевым боковым [лʹ] в такой же позиции губные только твердые: ко́[ф]те, о́[п]тика, о́[б]нял, по́[м]нить, ка́[п]ля, гра́[б]ли, Га́[м]лет (6).

Губные согласные перед передненёбными: перед щелевым [шʹ] — о́[п]-иций, гардеро́[п]щик, за́[п]ра[ф]щик, зимо́[ф]щик, по́[р]о[б]щик, за́[ж]и[м]щик и допустимо старшее о́[пʹ]иций, гардеро́[пʹ]щик, за́[п]ра[фʹ]щик, зимо́[фʹ]щик, по́[р]о[бʹ]щик, за́[ж]и[мʹ]щик (4); перед смычным [чʹ] — ко́[п]чик, гардеро́[п]чик, бура́[ф]чик, жи́[ф]чик, грó[м]че, су́[м]чатые и устарелое ко́[пʹ]чик, гардеро́[пʹ]чик, бура́[фʹ]чик, жи́[фʹ]чик, грó[мʹ]че, су́[мʹ]чатые (5).

Зубные согласные сохраняют мягкость перед губным щелевым [вʹ] дольше, чем перед взрывными [пʹ], [бʹ]: и́[з]вѝстия и и́[зʹ]вѝстия, ме́[д]вѝдь и ме́[дʹ]вѝдь, че́[т]вѝртый и че́[тʹ]вѝртый (3), но бе́[с]пѝчность, не́[с]пѝчно, и́[з]бѝнка и допустимо старшее бе́[сʹ]пѝчность, не́[сʹ]пѝчно, и́[зʹ]бѝнка (4).

Иногда даже небольшие различия в месте и способе образования соседних согласных влияют на скорость отвердения первого из них. Так, о́[б]меня́ть и о[бʹ]меня́ть, о́[б]местѝ и о[бʹ]местѝ (3), но о́[б]виня́ть и допустимо старшее о[бʹ]виня́ть, о́[б]вестѝ и допустимо старшее о[бʹ]вестѝ (4); [бʹ] и [мʹ] губно-губные смычные, причем смычка губ между ними не прерывается (как и между [б] и [мʹ]), а [вʹ] губно-зубной щелевой, перед ним [бʹ] (как и [б]) взрывной. «Процесс изживания позиционной мягкости в сочетании “мягкий согласный + мягкий согласный” коснулся в первую очередь сочетаний, где оба согласных контрастны по месту артикуляции» [Панов 1968: 78]. «Позиционная мягкость возникает там, где оба согласных сегмента объединены либо признаком “низкий”, либо признаком “высокий”,

либо признаком “компактный”, либо признаком “диффузный”» [Панов 1990: 119].

Зависимость мягкости/твёрдости первого зубного согласного от степени его артикуляционной близости со вторым мягким зубным согласным подробно проанализирована М. Я. Гловинской, которая пришла к выводу: «чем больше артикуляционная близость согласных в сочетании, тем выше средняя частота мягкого варианта» [РЯДМО 1974: 43—46].

На твёрдость/мягкость первого согласного может влиять и *сонорность / шумность* следующего согласного.

Р. И. Аванесов указывал, что «перед [н'] и [л'] отсутствие смягчения наблюдается чаще, чем перед [т'] и [д']» [Аванесов 1984: 152]. Например: в некоторых позициях передненёбный дрожащий по-разному ведёт себя перед [т'], [д'] и перед [н'], [л']: *конвѣ[р]тик, чѣ[р]тик, сѣ[р]дится* и устарелое *конвѣ[р']тик, чѣ[р']тик, сѣ[р']дится* (5), но только *вечѣ[р]ник, напѣ[р]-ник, сонѣ[р]ник, стѣ[р]лядь* (6).

Но во влиянии на предшествующий согласный [н'] и [л'] могут быть различия. Так, сочетания зубных согласных с [л'] ведут себя иначе, чем сочетания зубных с другими мягкими зубными, включая и [н']. Внутри и в конце корня зубные перед мягкими зубными только мягкие: *сна[с']ти, гб[с']ти, крѣ[с']тик, гво[з']ди, ѣ[з']дить, ле[с']ник, ку[з']нѣц, голо[д']нѣе* (1). Перед [л'] равноправны и твёрдые и мягкие зубные: *б[с]лик и б[с']лик, я[с]ли и я[с']ли, ко[з]лик и ко[з']лик, ко[т]лѣта и ко[т']лѣта, по[д]лѣц и по[д']лѣц* (3).

3. Позиция после гласного переднего/непереднего ряда

После гласных непереднего ряда процесс изменения С'С' > СС' ускоряется по сравнению с позицией после гласных переднего ряда, где этот процесс несколько задерживается.

Губные согласные перед смычными зубными и [л'] могут быть мягкими, только если предшествующие ударные гласные — переднего ряда: *тѣ[ф]тели, протѣ[в]ник, зи[м]ний, тѣ[п]литься, погѣ[б]ли* и допустимо старшее *тѣ[ф']тели, протѣ[в']ник, зи[м']ний, тѣ[п']литься, погѣ[б']ли* (4). После ударных гласных непереднего ряда губные согласные в этой позиции только твёрдые: *ко[ф]те, полко[в]ник, у[м]ница, ка[п]ля, ду[б]ли* (6).

Губные перед [р'] могут быть мягкими, но чаще твёрдыми после гласных переднего ряда: *ки[п]рѣй, ги[б]рид, ли[б]рѣтто, и[в]рит* и устарелое *ки[п']рѣй, ги[б']рид, ли[б']рѣтто, и[в']рит* (5). После гласных непереднего ряда губные в этой позиции только твёрдые: *по[б]рѣть, о[б]рѣд, за[п]рѣт, ка[п]риз, ко[в]рига, зло[в]рѣдный, за[м]ри* (6).

Губные перед [ч'] после ударных гласных переднего ряда (включая и передне-средний) обычно твёрдые: *ти[п]чик, ря[п]чик, счастлѣ[ф]чик, ли[ф]чик, любѣ[м]чик, костѣ[м]чик*, но допустимо старшее произношение мягких: *ти[п']чик, ря[п']чик, счастлѣ[ф']чик, ли[ф']чик, любѣ[м']чик, костѣ[м']чик* (4). После ударных гласных непереднего ряда произношение

мягких губных встречается реже и должно квалифицироваться как устарелое: *голу́[п]чик, ко́[п]чик, краса́[ф]чик, шка́[ф]чик, гроб[м]че, ды́[м]чатый* и устарелое *голу́[п']чик, ко́[п']чик, краса́[ф']чик, шка́[ф']чик, гроб[м']че, ды́[м']чатый* (5).

Губные смычные перед заднеязычными согласными после ударных гласных переднего ряда (включая и передне-средний) обычно твердые: *ли́[п]-кий, ю́[п]ки, не́[м]ки, се́[м]ге*, но допустимо старшее произношение мягких: *ли́[п']кий, ю́[п']ки, не́[м']ки, се́[м']ге* (4). После ударных гласных непереднего ряда произношение мягких губных встречается реже и должно квалифицироваться как устарелое: *ро́[п]кий, ла́[п]ки, су́[м]ки, гроб[м]кий* и устарелое *ро́[п']кий, ла́[п']ки, су́[м']ки, гроб[м']кий* (5).

Заднеязычные согласные перед мягкими губными после ударных гласных непереднего ряда только твердые: *бу́[к]ве, дб[г]ме, ма́[г]ме, синта́[г]-ме, хо́[х]ме* (6). После гласных переднего ряда в этой позиции встречается устарелое произношение мягких заднеязычных: *анти́[к]ве, си́[г]ме, паради́[г]ме* и устарелое *анти́[к']ве, си́[г']ме, паради́[г']ме* (5).

4. Позиция по отношению к ударному гласному

В позициях после ударного гласного и перед ним рассматриваемая закономерность проявляется по-разному. Так, [р] перед мягкими зубными всегда твердый после ударных гласных непереднего ряда: *па́[р]тия, по́[р]тить, па́[р]ни, напа́[р]ник, накома́[р]ник, ко́[р]ни, ду́[р]ни, го́[р]лица, ка́[р]лик, ши́[р]ли-мы́[р]ли* (6). После гласных непереднего ряда первого предударного слога изредка встречается и произношение [р'], которое следует квалифицировать как устарелое: *па[р]тийный, ка[р]ти́на, же[р]ди́нка, па[р]не́й, па[р]ни́шка, о[р]ли́ца, о[р]ле́нок, ко[р]не́й* и устарелое *па[р']тийный, ка[р']ти́на, же[р']ди́нка, па[р']не́й, па[р']ни́шка, о[р']ли́ца, о[р']ле́нок, ко[р']не́й* (5).

Таким образом, в позиции непосредственно после ударного гласного процесс $C'S' > CC'$ ускоряется. Это влияние ударного гласного можно объяснить его качеством: передний гласный вызывает аккомодацию соседнего мягкого согласного и «подталкивает» его в процессе отвердения, причем ударный гласный, как более сильный, более интенсивный, чем безударный, делает это с большей силой.

На первый взгляд это объяснение согласуется с тем, что после гласных переднего ряда процесс отвердения первого согласного в сочетании $C'S'$ несколько отстает от изменения этого согласного после гласных непереднего ряда. Однако такое объяснение противоречит следующему обстоятельству.

После гласных переднего ряда, ударных и предударных, наряду с обычным произношением [р] твердого перед мягкими зубными, встречается и произношение мягкого [р']. Однако после предударных гласных оно встре-

чается чаще, чем после ударных. Такое распределение может быть обозначено как устарелое после ударных гласных (5 этап) и как допустимо старшее после предударных (4 этап): *вѣ[р]тит, сѣ[р]дится, свѣ[р]зится, чѣ[р]-ни* и устарелое *вѣ[р']тит, сѣ[р']дится, свѣ[р']зиться, чѣ[р']ни* (5), но *вѣ[р]-тѣть, сѣ[р]дѣть, вѣ[р]зѣла, чѣ[р]нѣть* и допустимо старшее *вѣ[р']тѣть, сѣ[р']дѣться, вѣ[р']зѣла, чѣ[р']нѣть* (4).

Таким образом, после гласных переднего ряда отверждение следующего [р'] подчиняется той же закономерности, что и после гласных непереднего ряда: после гласных ударных оно осуществляется более последовательно, чем после гласных предударных. При этом «расстояние» в этом процессе тоже в один «шаг»: после гласных не переднего ряда ударных только [р] твердый (6), но после предударных гласных [р] и устарелое [р'] (5); после гласных переднего ряда ударных [р] и устарелое [р'] (5), но после предударных гласных [р] и допустимо старшее [р'] (4).

Такая же закономерность наблюдается и у других согласных. Губные согласные перед мягкими смычными зубными ведут себя следующим образом.

После ударных гласных не переднего ряда губные в этой позиции твердые: *ла[п]ти, синоб[п]тик, ба[б]ник, о[б]нял, пра[в]динский, Кла[в]дия, да[в]ний, крыжоб[в]ник, ро[в]ня, космона[ф]тика, да[ф]ния, по[м]нить, у[м]ница* (6). После предударных гласных непереднего ряда губные в этой позиции обычно тоже твердые: *ла[п]тѣй, ко[п]тѣть, сна[б]-дѣть, о[б]нѣть, пра[в]дѣвый, А[в]дѣй, ро[в]нѣть, да[в]нѣнько, ко[ф]тѣнка, по[м]нѣй, у[м]нѣть*, но встречается и устарелое произношение мягких губных: *ла[п']тѣй, ко[п']тѣть, сна[б']дѣть, о[б']нѣть, пра[в']дѣвый, А[в']дѣй, ро[в']нѣть, да[в']нѣнько, ко[ф']тѣнка, по[м']нѣй, у[м']нѣть* (5).

После ударных гласных переднего ряда губные в этой позиции чаще твердые, но допустимо и старшее произношение мягких: *ли[п]ник, уче[б]ник, гре[б]ни, ли[в]ни, ежедне[в]ник, тѣ[ф]тели, ити[ф]тик, зи[м]-ний* и допустимо старшее *ли[п']ник, уче[б']ник, гре[б']ни, ли[в']ни, ежедне[в']ник, тѣ[ф']тели, ити[ф']тик, зи[м']ний* (4). После предударных гласных переднего ряда произношение твердых и мягких губных в этой позиции равноправно: *хре[п]тина и хре[п']тина, еги[п]тянин и еги[п']тянин, гри[б]ница и гри[б']ница, дне[в]ник и дне[в']ник, и[в]няк и и[в']няк, те[ф]тели и те[ф']тели, ли[ф]тѣр и ли[ф']тѣр, те[м]нѣть и те[м']нѣть, ре[м]нѣй и ре[м']нѣй* (3).

Заднеязычные согласные перед мягкими зубными твердые почти во всех позициях. После ударных и предударных гласных не переднего ряда: *ло[к]ти, но[к]ти, та[к]тика, пра[к]тика, ма[к]симум, фу[к]сия, мо[к]нет, а[г]нец, а[х]нет; ло[к]тѣй, но[к]тѣй, а[к]тивный, пра[к]тический, о[к]тябрь, Ма[к]сим, та[к]си, бо[к]ситы, ма[к]нѣй, о[г]нѣй, ру[г]ня, ва[х]тѣр, пы[х]тѣть* (6). После ударных гласных переднего ряда: *вѣ[к]сель, ми[к]сер, лѣ[к]-сика, флѣ[к]сия, Мѣ[к]сика, нѣ[г]де* (6). И только после предударных гласных переднего ряда встречается устарелое произношение мягких заднеязычных перед мягкими зубными согласными: *фи[к]тивный, эффе[к]тив-*

ный, *Але[к]сэй, ле[к]сический, ни[к]ник, ни[г]дэ* и устарелое *фи[к']тивный, эффе[к']тивный, Але[к']сэй, ле[к']сический, ни[к']ник, ни[г']дэ* (5).

Если бы более сильное воздействие ударного гласного на следующий согласный по сравнению с предударным определялось качеством гласного — переднего или непереднего ряда, то после ударных гласных переднего ряда процесс отвердения следующего согласного должен был бы тормозиться сильнее, чем после предударных. На самом же деле происходит наоборот: ударный гласный переднего ряда (как и непереднего) ускоряет процесс изменения в следующей за ним группе согласных $C'S' > SS'$ по сравнению с влиянием на этот процесс предшествующего предударного гласного.

Позиция после ударного гласного — наиболее благоприятная для проявления качества согласной фонемы сравнительно с положением после других безударных гласных. Об этом свидетельствует и другая закономерность русской фонетики: позиция после ударного гласного — наиболее сильная и для реализации сочетания двух одинаковых согласных фонем; долгий (двойной) согласный произносится, как правило, именно в этой позиции, тогда как после безударных гласных обычен краткий согласный; см. [Обзор 1965: 167, 172—185; Гловинская 1964: 104—105; 1971: 72; Чой 1998: 402—404; Касаткин, Чой 1999а: 96—102; 1999б]. Поскольку процесс $C'S' > SS'$ вызван, как указывалось выше, изменением фонологического статуса первого согласного этого сочетания, а именно превращения его в вариант твердой фонемы, то и доминанта (основной представитель) такой фонемы — твердый согласный звук проникает в позицию после ударного гласного раньше, чем в позиции после безударных гласных.

В известной формуле А. А. Потемни сила ударного и безударных слогов в слове оценена как 1—2—3—1, где сила ударного гласного условно соответствует 3 единицам, гласного первого предударного слога — 2, других безударных слогов — 1. И в прямом соответствии с этой формулой наблюдается скорость протекания процесса $C'S' > SS'$: после ударного гласного обнаруживаются наиболее продвинутые этапы этого процесса, после гласного первого предударного слога — предыдущие этапы, между безударными гласными — еще более ранние. Например:

о[п]тика — только [п] (6 этап), *а[п]тека* и устарелое *а[п']тека* (5), *о[п]тимист* и допустимо старшее *о[п']тимист* (4);

о[б]нял — только [б] (6), *о[б]нять* и устарелое *о[б']нять* (5), *о[б]нимать* и допустимо старшее *о[б']нимать* (4);

ка[м]ни — только [м] (6), *ка[м]ней* и устарелое *ка[м']ней* (5), *ка[м]непад* и допустимо старшее *ка[м']непад* (4);

ржа[ф]чина и устарелое *ржа[ф']чина* (5), *о[ф]чина* и допустимо старшее *о[ф']чина* (4), *поза[ф]черá* и *поза[ф']черá* (3);

ро[с]пись — только [с] (6), *ра[с]писки* и устарелое *ра[с']писки* (5), *ра[с]-писать* и допустимо старшее *ра[с']писать* (4);

ла[т]вия — только [т] (6); *ла[т]вийский, о[т]вет* и устарелое *ла[т']вийский, о[т']вет* (5), *о[т]вечать* и допустимо старшее *о[т']вечать* (4);

ни́[з]менность и устарелое *ни́[з']менность* (5), *и[з]ме́на* и допустимо старшее *и[з']ме́на* (4), *и[з]мени́ть* и *и[з']мени́ть* (3);

пе́[р]сик и устарелое *пе́[р']сик* (5), *пе[р]си́дский* и допустимо старшее *пе[р']си́дский* (4), *пе[р]сия́нка* и *пе[р']сия́нка* (3);

че́[р]ти и устарелое *че́[р']ти* (5), *че[р]те́й* и допустимо старшее *че[р']те́й* (4), *че[р]теня́та* и *че[р']теня́та* (3);

фу[к]сия, *та[к]си́* — только [к] (6), *ма[к]сима́льно*, *ма[к]сима́лист* и устарелое *ма[к']сима́льно*, *ма[к']сима́лист* (5);

вы[к]рик, *вы[к]ри́кивать* — только [к] (6), *за[к]рича́ть* и устарелое *за[к']рича́ть* (5);

не́[х]ристь — только [х] (6), *пере[к]ре́сток* и устарелое *пере[к']ре́сток* (5), *пере[к]рести́ть* и допустимо старшее *пере[к']рести́ть* (4)⁵.

5. Позиция начала слова

Начало слова — позиция, в которой изменение С'С' > СС' может продвигаться дальше, чем в середине слова; см. [Аванесов 1984: 145; Панов 1990: 122]. Так, зубные согласные перед мягкими зубными в середине корня и на стыке корня и суффикса всегда мягкие (1 этап) (примеры см. выше). Но в начале слова в соответствии с младшей нормой допустима твердость первого согласного: [с']*те́на*, [с']*нег*, [с']*ни́мок*, [з']*де́сь*, [д']*ни* и допустимо младшее [с]*те́на*, [с]*нег*, [с]*ни́мок*, [з]*де́сь*, [д]*ни* (2).

У некоторых сочетаний согласных позиция начала слова равносильна позиции после гласного непереднего ряда и противопоставлена позиции после гласного переднего ряда. Так, зубные перед мягкими губными могут произноситься мягко по старшей норме и твердо по младшей. После предударных гласных переднего ряда мягкий и твердый зубной равноправны, а в начале слова, как и после гласного непереднего ряда, произношение мягкого зубного встречается реже, чем твердого, и должно квалифицироваться как допустимо старшее: *и[з]ме́на* и *и[з']ме́на*, *че[т]ве́ртый* и *че[т']ве́ртый*, *ме[д]ве́дь* и *ме[д']ве́дь* (3), но [з]*ве́рь*, [т]*ве́рдый*, [д]*ве́рь* и допустимо старшее [з']*ве́рь*, [т']*ве́рдый*, [д']*ве́рь* (4) и так же: *у[с]ле́х*, *ра[з]ве́рнут*, *по[т]ве́рже* и допустимо старшее *у[с']ле́х*, *ра[з']ве́рнут*, *по[т']ве́рже* (4).

Губные согласные перед [л'] и [р'] могут быть мягкими только после гласных переднего ряда. В начале слова, как и после гласных непереднего ряда, губные перед [л'] и [р'] только твердые: *те[п]ли́ца*, *гре[б]ли́*, *стре[м]ле́ние* и допустимо старшее *те[п']ли́ца*, *гре[б']ли́*, *стре[м']ле́ние* (4), но только [б]*лин*, [п]*ли́ты*, [м]*ле́ть*; *цы[п]ле́нок*, *та[б]ли́ца*, *то[м]ле́ние* (6); *ки[п]-ре́й*, *ли[б]ре́тто*, *и[в]ри́т* и устарелое *ки[п']ре́й*, *ли[б']ре́тто*, *и[в']ри́т* (5), но только [п]*ре́лый*, [б]*ри́тва*, [в]*ре́мя*; *а[п]ре́ль*, *о[б]ря́д*, *ко[в]ри́га* (6).

⁵ Иначе оценивал подобные примеры Р. И. Аванесов [Аванесов 1984: 148, 152].

Начало слова — наиболее информативная его часть, на ней сконцентрировано наибольшее внимание говорящего и слушающего ⁶. Поэтому в начале слова раньше, чем в некоторых других позициях, реализуется представление о первой согласной фонеме сочетания С'С' как твердой, в результате чего мягкий звук, воплощающий эту фонему, заменяется твердым звуком — доминантой твердой фонемы: С'С' > СС'.

6. Позиция конца слова

В позиции конца слова процесс С'С' > СС' ускоряется. Например: в словах *не[ф]ть*, *фини[ф]ть*, *ве[п]рь*, *сме[р]ть*, *че[р]нь* произносится только твердый [ф], [п], [р] (6), но в этих же словах не на конце слова возможно устарелое произношение мягких согласных *не[ф']ти*, *фини[ф']ти*, *ве[п']ри*, *сме[р']ти*, *че[р']ни* (5). В словах *че[р]вь*, *чётве[р]ть*, *ска́те[р]ть* обычно произносится твердый [р], а также встречается устарелое произношение мягкого [р']: *че[р']вь*, *чётве[р']ть*, *ска́те[р']ть* (5), но не на конце слова наряду с произношением *че[р]ви* 'червяки', *чётве[р]ти*, *ска́те[р]ти* допустимо старшее произношение *че[р']ви*, *чётве[р']ти*, *ска́те[р']ти* (4). В словах *во́доро[с]ль*, *за́ро[с]ль*, *мы[с]ль* допустимо старшее произношение *во́доро[с']ль*, *за́ро[с']ль*, *мы[с']ль* (4), но не на конце слова равно допустимы *во́доро[с]ли*, *за́ро[с]ли*, *мы[с]ли* и *во́доро[с']ли*, *за́ро[с']ли*, *мы[с']ли* (3).

В конце слова звуки произносятся более длительно, чем в середине слова; см. [Николаева 2000: 49—55; Комарова 2002]. При более длительном произнесении ослабляется воздействие соседних звуков друг на друга и у первого звука рассматриваемых сочетаний больше возможностей выступать в качестве доминанты твердой фонемы.

7. Длина слова

В длинных словах процесс С'С' > СС' может замедляться, в коротких словах ускоряться. Так, произносится *не[ф]ти*, *зе[м]ли* и устарелое *не[ф']ти*, *зе[м']ли* (5), но *те[ф]тели*, *ри[м]ляне* и допустимо старшее *те[ф']тели*, *ри[м']ляне* (4); *ли[в]ни* и допустимо старшее *ли[в']ни* (4), но *ли[в]невый* и *ли[в']невый* (3).

⁶ Характерно, в частности, что при графических сокращениях может элиминироваться любая часть слова кроме первой буквы. В. З. Санников установил принципы русских графических сокращений и первым из них он называет следующий: «не может быть опущена начальная часть словоформы. Словоформа “фабрика” не может быть сокращена вследствие этого как “брика”, “рика”». Этот принцип «выдерживается и в других языках. Он, очевидно, связан с тем, что в письменной речи наибольшую информационную нагрузку несут первые буквы слова» [Санников 1964: 70—71].

Объяснение этого явления может заключаться в следующем. По некоторым наблюдениям, говорящие стремятся сблизить время произнесения различных по длине слов, выступающих в одних и тех же фразовых позициях. Поэтому одни и те же звуки в коротких словах произносятся длительнее, чем в длинных. Например, в одном из серии проведенных экспериментов, давших сходные результаты, звуки корня имели следующую длительность во фразах:

Кошка поймала мышь: [м] — 147 мс, [ы] — 148 мс, [ш] — 155 мс, всего 450 мс;

Кошка поймала мышку: [м] — 145 мс, [ы] — 131 мс, [ш] — 116 мс, всего 392 мс;

Кошка поймала мышечку: [м] — 126 мс, [ы] — 102 мс, [ш] — 121 мс, всего 349 мс;

Нож забыли: [н] — 85 мс, [о] — 130 мс, [ж] — 96 мс, всего 311;

Ножик забыли: [н] — 81 мс, [о] — 129 мс, [ж] — 74 мс, всего 274 мс;

Ножичек забыли: [н] — 76 мс, [о] — 125 мс, [ж] — 55 мс, всего 256 мс.

Более долгие звуки вместе с тем и более интенсивные, более четкие, они способствуют лучшей реализации языковой тенденции, тогда как краткие звуки сдерживают ее проявление.

8. Степень прозрачности связи первого звука сочетания с твердой фонемой

Мягкость первого согласного сочетания С'С' может быть не поддержана или поддержана другими формами того же слова; см. [Аванесов 1984: 146; Панов 1967: 324]. Иными словами, мягкий согласный перед мягким может быть представителем твердой фонемы, в этом случае он может раньше отвердевать, чем представитель мягкой фонемы или гиперфонемы.

Во всех формах слова *конвэрт* произносится мягкий [в'], перед ним возможно устарелое произношение [н'] — представителя гиперфонемы /н | н'/: *ко[н'в']эрт* при обычном *ко[нв']эрт* (5). Иная закономерность в словоформе *канвэ*. В большей части форм слова *канва* [в] твердый: *кан[в']а́, кан[в']ы́, кан[в']у́, кан[в']о́й* и т. д. Позиция перед твердыми губными — сильная для твердых и мягких зубных согласных фонем, в этой позиции они различаются. Перед твердым [в] произносится твердый [н] — представитель фонемы /н/. В словоформе *канвэ* перед [в'] в предшествующую эпоху обязательным было произношение мягкого [н']: в этой позиции происходила нейтрализация /н/ и /н'/, позиция была сигнификативно слабой. Однако в этом корне звук [н'] перед [в'] в словоформе *канвэ* был представителем твердой фонемы /н/, выступавшей в сигнификативно сильной позиции перед [в] в других формах этого слова. Поэтому процесс изменения [н'] в [н] начался в словоформе *канвэ* раньше, чем в слове *конвэрт*. Имело значение и то, что форм слова *канва* с твердым [в] значительно больше и они чаще встречаются в

потоке речи, чем формы с [в']. Поэтому в современном языке произносится только *ка[н]вэ* (6).

Подобными условиями объясняется произношение *ло[б]зик* и *ло[б']зик* (3), но только *ко[б]зе* (6); *не[т']лэ* и допустимо младшее *не[т]лэ* (2), но *ме[т']лэ* и *ме[т]лэ* (3); *ма[н]си* и *ма[н']си* (3), но в *рома[н]се*, на *сеа[н]се*, в *бр[о]нзе* и устарелое в *рома[н']се*, на *сеа[н']се*, в *бр[о]н'зе* (5); *де[б]ри*, *ве[т]ви*, *не[р]-сик*, *сп[и]р'тик*, *зе[р]нистый* и устарелое *де[б']ри*, *ве[т']ви*, *не[р']сик*, *сп[и]р'-тик*, *зе[р']нистый* (5), но только *зе[б]ре*, *би[т]ве*, *о не[р]се*, в *сп[и]рте*, в *зе[р]не* (6).

В первом заударном слоге после ударного гласного перед [и] — представителем /j/ губные обычно мягки: *ко[п'и]я*, *дро[б'и]ю*, *здор[о]в'и]я*, *Ага[ф'и]я*, *се[м'и]и*, хотя возникло допустимое в младшей норме произношение твердых губных в этой позиции: *ко[п'и]я*, *дро[б'и]ю*, *здор[о]в'и]я*, *Ага[ф'и]я*, *се[м'и]и* (2). Однако в глагольных формах твердые и мягкие губные равно допустимы в этой позиции (3): *вы[п'и]ю*, *зы[б'и]ю* и допустимо младшее *вы[п'и]ю*, *зы[б'и]ю* (2) — существительные, но *вы[п'и]у*, *вы[б'и]у* и *вы[п'и]у*, *вы[б'и]у* (3) — глаголы; ср. [Каленчук, Касаткина 1997: 110—111, 172]. Объясняется это различие тем, что во всех остальных формах существительных губной согласный мягкий — на конце слова и перед гласным: *вы[п']и*, *вы[п']иу*; *зы[п']и*, *зы[б']и* и др. У глаголов же во всех ближайших формах настоящего/будущего времени губной согласный выступает в одной и той же позиции — перед [и]: *выпью*, *выпьешь*, *выпьем*, *выпьете*, *выпьют*; *выбью*, *выбьешь* и т. д. Таким образом, у существительных губной согласный перед [и] — представитель мягкой фонемы, которая выступает в сигнификативно сильной позиции в большинстве форм. У глаголов же губной согласный в формах настоящего/будущего времени всегда выступает в сигнификативно слабой по твердости/мягкости позиции — перед /j/, где мягкий губной является представителем твердой/мягкой архифонемы. В эту позицию раньше проникает твердый губной согласный.

9. Плотное и неплотное присоединение морфем

Разное поведение согласных и гласных на стыке разных морфем и внутри разных морфем давно привлекает внимание лингвистов. А. А. Зализняк выделяет плотное и неплотное присоединение морфем на основании акцентологических особенностей производных слов: «Важнейшее акцентологическое свойство неплотно присоединенной морфемы (или основы в составе сложного слова) состоит в том, что она никак не меняет акцентуации основной части словоформы», тогда как при плотном присоединении морфемы ударение перемещается. К числу неплотно присоединенных морфем относятся главным образом некоторые приставки, а также постфиксы *-ся* (*-сь*), *-те* и некоторые другие [Зализняк 1985: 11—12].

Можно выделить плотное и неплотное присоединение морфем и на основаниях фонетических: при плотном присоединении морфем фонемы внутри

этих морфем и на стыке с соседней морфемой реализуются теми же звуками, что и внутри корня; при неплотном присоединении наблюдаются особенности в реализации фонем: безударные гласные не подчиняются обычной схеме редукции и законам аккомодации, согласные в меньшей степени испытывают влияние соседних согласных ⁷.

Неплотное присоединение характеризует (как и в случаях, выделенных А. А. Зализняком) главным образом начальные морфемы слова — некоторые приставки, основы сложных слов, а также постфиксы. Соединение же корня и суффикса и двух суффиксов обычно плотное. Особым образом ведут себя некоторые окончания; см., например: [Панов 1957; Барينو́ва 1966; Борунова 1966; Кузьмина 1966; Каленчук 1986; Каленчук, Касаткина 1999].

Внутри корня и на стыке корня и суффикса сочетания согласных в соответствии с прежним сочетанием С'С' обычно реализуются одинаково. На стыке же приставки или предлога и корня обычно наблюдаются более поздние этапы процесса отвердения первого согласного сочетания С'С': «Смягчение более полно проводится внутри корня или на стыке корня и суффикса, менее полно на стыке приставки и корня, еще менее развито оно, а во многих случаях отсутствует на стыке предлога и следующего слова» [Аванесов 1984: 145]; см. также [Панов 1967: 324; 1968: 67—68; 1990: 113—118; Гловинская, Кузьмина 1974: 46—47; Каленчук, Касаткина 1997: 15—18].

Например: г у б н ы е с о г л а с н ы е п е р е д м я г к и м и з у б н ы м и и [ч']: *осо[б]ня́к, бу[б]ни́ть, ко[п]чѐный, пла[в]ни́к, ко[в]чѐг* и устарелое *осо[б']ня́к, бу[б']ни́ть, ко[п']чѐный, пла[в']ни́к, ко[ф']чѐг* (5), но только *о[б]-нѐс, о[б]ни́тку, о[п]чѐсанный, [в]ни́з, [ф]чѐтверо* (6); п е р е д [ш']: *о[п]щи́на, годо[ф]щи́на* и допустимо старшее *о[п']щи́на, годо[ф']щи́на* (4), но *о[п]счѐт, [ф]щѐль* и устарелое *о[п']счѐт, [ф']щѐль* (5); п е р е д /j/: *[в]ью́га, за[в]ьѐт-ся, оли[в]ьѐ, по[б]ьѐт, воро[б]ья́* и *[в']ью́га, за[в']ьѐт-ся, оли[в']ьѐ, по[б']ьѐт, воро[б']ья́* (3), но *[в] ю́жный, [в] ѐлку, [в]ьѐхатъ, о[б]ьѐрзатъ, о[б]я́корь* и допустимо старшее *[в'] ю́жный, [в'] ѐлку, [в']ьѐхатъ, о[б']ьѐрзатъ, о[б']я́корь* (4);

з у б н ы е с о г л а с н ы е п е р е д [г'], [д']: *по[с']тиратъ, по[с']тели́ть, за́ви[с']ть, диагно́[с']тика, не[с']ти́* — только [с'] (1), но *ра[с']тира́ть, ра[с']тели́ться, бе[с'] тебѧ́* и допустимо младшее *ра[с]тира́ть, ра[с]тели́ться, бе[с] тебѧ́* (2); *ве[з']дѐ, зво́[з']ди* (1), но *бе[з']дѐтный, ра[з']дира́ть, и[з'] де́вятого* и допустимо младшее *бе[з]дѐтный, ра[з]дира́ть, и[з] де́вятого* (2); п е р е д [н']: *о[д']ни́, прово́[д]ни́к, бе[д']ня́к* (1), но *по[д]не́сти, на[д]ни́м* и *по[д']не́сти, на[д']ни́м* (3), *по[д]не́бом, на[д]ни́ткой* и допустимо старшее *по[д']не́бом, на[д']ни́ткой* (4); п е р е д [л']: *ко[т]ле́та, о[т]-ли́чник, пы́[т]ли́вый, сты́[д]ли́вый, по[д]ле́ц* и *ко[т']ле́та, о[т']ли́чник, пы́[т']ли́вый, сты́[д']ли́вый, по[д']ле́ц* (3), но *о[т]ли́пнуть, по[д]ле́дный* и допусти-

⁷ Подобное поведение клитик позволяет разграничивать абсолютные и относительные клитики; см. [Касаткин 2003: 74—75].

мо старше $o[t^{\prime}l\acute{i}pn\acute{u}t\check{s}y]$, $no[d^{\prime}l\acute{e}dny\acute{i}]$ (4), $o[t^{\prime}l\acute{e}ta]$, $no[d^{\prime}l\acute{i}pnoy]$, $na[d^{\prime}l\acute{e}tnym]$ и устарелое $o[t^{\prime}l\acute{e}ta]$, $no[d^{\prime}l\acute{i}pnoy]$, $na[d^{\prime}l\acute{e}tnym]$ (5).

В сложных словах на стыке основ зубные перед мягкими зубными обычно твердые: $zo[s^{\prime}sekret\acute{a}r\check{s}y]$, $Go[s^{\prime}tel\acute{e}r\acute{a}d\acute{i}o]$, $die[t^{\prime}sestr\acute{a}]$ (точнее, $die[t\check{s}^{\prime}sestr\acute{a}]$), $ku\check{l}y[t^{\prime}s\acute{e}kt\acute{o}r]$ (точнее, $ku\check{l}y[t\check{s}^{\prime}s\acute{e}kt\acute{o}r]$), $ne[t^{\prime}t\acute{e}xnik\acute{u}m]$, $tru[d^{\prime}d\acute{i}sc\acute{i}pl\acute{i}na]$ ⁸.

Конец полнозначного слова — сигнификативно сильная позиция по твердости/мягкости для парных губных и переднеязычных согласных. Здесь в современном русском литературном языке твердый согласный перед мягким согласным следующего слова не заменяется мягким, а мягкий перед твердым сохраняет мягкость: $su[p^{\prime}p\acute{e}res\acute{o}len]$, $sno[p^{\prime}t^{\prime}j\acute{a}z\acute{s}l\acute{y}y]$, $no[s^{\prime}s^{\prime}i\acute{n}ny\acute{i}]$, $ne[t^{\prime}t^{\prime}el\acute{e}gi]$, $na[s^{\prime}n^{\prime}b\acute{y}lo]$; $\check{c}e[p^{\prime}p\acute{o}v\acute{i}sla]$, $sy[p^{\prime}t^{\prime}ab\acute{a}k]$, $avo[s^{\prime}s\acute{o}j\acute{d}\acute{e}t]$, $ny[t^{\prime}t^{\prime}b\acute{o}nn]$, $ve[s^{\prime}p\acute{r}om\acute{o}k]$.

Конец слова — сигнификативно слабая позиция для заднеязычных согласных: здесь при отсутствии их нейтрализации по твердости/мягкости обычно произносятся твердые согласные. Но перед мягкими заднеязычными следующего слова встречается в качестве устарелого варианта и произношение мягких заднеязычных: $urob[k^{\prime}x^{\prime}i\acute{m}ni]$, $\acute{e}ti[x^{\prime}k^{\prime}it\acute{o}v]$, $z\acute{a}na[\check{y}g^{\prime}e\acute{r}\acute{a}ni]$.

То, что неплотное присоединение морфем характеризует главным образом начальные морфемы слова, объясняется важностью для восприятия слова именно его начала. Фонемный состав начала слова лучше, чем в его середине, осознается говорящими, которые стремятся реализовать эти фонемы их доминантами. Твердость конечной согласной фонемы приставок также обычно хорошо осознается говорящими в силу того, что в приставках эта согласная в разных словах нередко бывает в сильной по твердости/мягкости позиции, и благодаря высокой частотности этих морфем в языке. В большинстве случаев у приставок есть и созвучные с ними предлоги с конечными твердыми согласными фонемами. Фонемный состав таких предлогов также достаточно прозрачен. Этим и объясняется то, что отверждение конечного согласного приставок и предлогов перед мягким согласным, начинающим корень, возникает раньше, чем внутри корня и на стыке корня и суффикса.

10. Употребительность и стилистическая окраска слова

«Чем частотнее в среднем слова с данным сочетанием, тем устойчивее данное сочетание» [Панов 1968: 61]. Слова частотные дольше сохраняют мягкость согласного перед мягким, в словах редких раньше наступает замена мягкого согласного твердым. Так, «у наших современников встречаются (в преобладающем количестве случаев) *разве* с мягким [з'], но *развит* — с

⁸ Было высказано также мнение, что это не слова, а словосочетания с первым аналитическим прилагательным; см. [Панов 1971].

твердым [з], *две* — с мягким [дʹ], но *подвиг* — с твердым [д]» [Там же: 73]. С точки зрения выделенных этапов эти примеры можно оценить следующим образом: *ра[зʹ]ве* и допустимо младшее *ра[з]ве* (2), *ра[з]вит* и устарелое *ра[зʹ]вит* (5); [д]ве и допустимо старшее [дʹ]ве (4), но только *по[д]виг* (6).

Смягчение согласного перед мягким согласным также «зависит от того, к какому стилю речи относится то или другое слово: в словах обиходно-бытового характера смягчение проводится полнее, чем в словах книжного, в особенности иноязычного происхождения, где оно может отсутствовать» [Аванесов 1984: 145]. Часто книжные слова одновременно и реже встречаются в потоке речи. Например:

г у б н ы е: *ва[м]нёр, хре[п]ти́на* и *ва[мʹ]нёр, хре[пʹ]ти́на* (3), но менее частотные *га[м]бёт, а[м]бёция, ре[п]ти́лия* и допустимо старшее *га[мʹ]бёт, а[мʹ]бёция, ре[пʹ]ти́лия* (4);

з у б н ы е: [с]вет, [с]вёжйй, [с]вёкла, [с]вист и допустимо старшее [сʹ]вет, [сʹ]вёжйй, [сʹ]вёкла, [сʹ]вист (4), но только [с] в заимствованных [с]фёра, [с]фен, [с]винг, [с]финкс, [с]фйнктер (6); так же [с]пит и допустимо старшее [сʹ]пит, но в новой аббревиатуре только [с]ПИД; *ра[з]вяза́ть* и допустимо старшее *ра[зʹ]вяза́ть* (4), *и[з]вини́ться* и *и[зʹ]вини́ться* (3), но книжные *во[з]вели́чить, ни[з]верга́ть* и устарелое *во[зʹ]вели́чить, ни[зʹ]верга́ть* (5); *и[з]ме́рить, и[с]пёчь, по[с]пеши́ть* и устарелое *и[зʹ]ме́рить, и[сʹ]пёчь, по[сʹ]пеши́ть* (5), но только твердые согласные в книжных словах *чре[з]-ме́рно, и[с]пята́нный, а[с]пёрми́я* (6); *ко[нʹ]чи́на, сара[нʹ]ча́* — только [нʹ] (1), но *а[нʹ]чо́усы, ви[нʹ]че́стер* и допустимо младшее *а[н]чо́усы, ви[н]че́стер* (2);

п е р е д н е н ё б н ы е: *го[р]би́нка, пе́[р]сик* и устарелое *го[рʹ]би́нка, пе́[рʹ]сик* (5), но только *а[р]би́тр, со[р]би́т, пе́[р]си* (6);

з а д н е я з ы ч н ы е: *ме[к]сика́нец* и допустимо старшее *ме[кʹ]сика́нец* (4), но только *пле[к]сигла́с* (6); *и[к]ри́нка* и устарелое *и[кʹ]ри́нка* (5), но только *мили[к]ри́я* (6).

В именах собственных мягкость согласного задерживается дольше. М. В. Панов приводит мнение артистки Н. С. Порудоминской: «если говорят *нет света*, то [с] произносится скорее твердо; если же произносят имя *Света*, то [сʹ] или [с], мягкий или полумягкий звук» [Панов 1990: 40]. И так же: *о[т]вёт, ко[р]сёт, ко[р]не́й* и устарелое *о[тʹ]вёт, ко[рʹ]сёт, ко[рʹ]не́й* (5), но *Ма[т]вёй, А[р]сёний, Ко[р]не́й* и допустимо старшее *Ма[тʹ]вёй, А[рʹ]сёний, Ко[рʹ]не́й* (4); *ко[в]ри́га* — только [в] (6) но *Ла[в]ре́нтий* и устарелое *Ла-[вʹ]ре́нтий* (5); *о́[р]гия* — только [р] (6), но *Гео́[р]гий* и допустимо старшее *Гео́[рʹ]гий* (4); *ки[р]гиз* и устарелое *ки[рʹ]гиз* (5), но *Се[р]ге́й* и *Се[рʹ]ге́й* (3).

11. Устойчивые грамматические конструкции и фразеологизмы

М. В. Панов обратил внимание на то, что в отглагольных наречиях с суффиксом *-мя* мягкость предшествующего суффиксу губного и зубного соглас-

ного «оказалась грамматикализованной и потому предельно устойчивой»: *ре[в']мя ревет, ки[п']мя кипит, тру[б']мя трубит, си[д']мя сидит, ча[д']мя чадит, ле[т']мя летит, ле[з']мя лезет, ви[с']мя висит, коле[с']мя колесит* и проч. [Панов 1968: 75].

Мягкость губного и зубного согласного перед мягким губным в этой грамматической конструкции опирается и на мягкость соответствующей фонемы, выступающей в сильной позиции в следующем слове. Это также способствует сохранению мягкости согласного, которую в этой конструкции можно оценить с точки зрения этапов изменения $C'C' > CC'$ как этап 2 у губных и этап 1 у зубных.

Дольше сохраняется мягкость согласных и в устойчивых лексических сочетаниях — фразеологизмах, пословицах и поговорках:

а[п]тёка и устарелое *а[п']тёка* (5), но как в *а[п]тёке* и допустимо старшее как в *а[п']тёке* (4); *ко[п]тить* и устарелое *ко[п']тить* (5), но *небо ко[п]тить* и допустимо старшее *небо ко[п']тить* (4); [ф] *тётеньку* только [ф] (6), но *тютелька* [ф] *тютельку* и допустимо старшее *тютелька* [ф'] *тютельку* (4); *крё[п]кий* и допустимо старшее *крё[п']кий* (4), но *крё[п]кий орешек* и *крё[п']кий орешек* (3);

на[с]мерть — только с [с] (6), но *не на жизнь, а на [с]мерть* и допустимо старшее *не на жизнь, а на [с']мерть* (4); *курам на [с]мех* и допустимо старшее *курам на [с']мех* (4); [с] *вёчка* и допустимо старшее [с'] *вёчка* (4), но *ни богу [с]вёчка, ни чёрту кочерга* и *ни богу [с']вёчка, ни чёрту кочерга* (3); *враг [с]вистнет* и устарелое *враг [с']вистнет* (5), но *когда рак [с]вистнет* и допустимо старшее *когда рак [с']вистнет* (4); *перед [с]ви́ньями* и устарелое *перед [с']ви́ньями* (5), но *метать бисер перед [с]ви́ньями* и допустимо старшее *метать бисер перед [с']ви́ньями* (4); [с] *пит* и допустимо старшее [с'] *пит*, но [с] *пит* и *видит* и [с'] *пит* и *видит* (3); [с] *пятого этажа* и устарелое [с'] *пятого этажа* (5), но [с] *пятого на десятое* и допустимо старшее [с'] *пятого на десятое* (4); *ра[з]бери́* и допустимо старшее *ра[з']бери́* (4), но *не ра[з]бери́-поймёшь* и *не ра[з']бери́-поймёшь* (3); *и[з]би́ение* и допустимо старшее *и[з']би́ение* (4), но *и[з]би́ение младенцев* и *и[з']би́ение младенцев* (3);

вь[р]ви — только с [р] (6), но *вь[р]ви глаз* и *вь[р']ви глаз* (3); *со[р]ви́* и устарелое *со[р']ви́* (5), но *со[р]ви́-голова́* и *со[р']ви́-голова́* (3); *те[р]ни́* и допустимо старшее *те[р']ни́* (4), но *те[р]ни́, казак, атаманом будешь* и *те[р']ни́, казак, атаманом будешь* (3); *че[р]вячка́* и *че[р']вячка́* (3), но *заморить че[р]вячка́* и допустимо младшее *заморить че[р']вячка́* (2); *че́[р]ти* и устарелое *че́[р']ти* (5), но *где его че́[р]ти носят* и допустимо старшее *где его че́[р']ти носят* (4); *оче[р]тя́ круг* и допустимо старшее *оче[р']тя́ круг* (4), но *оче[р]тя́ голову* и *оче[р']тя́ голову* (3);

с о[г]нём только [г], но *искать днём с о[г]нём* и устарелое *днём с о[г']нём* (5).

12. Сочетания трех и более согласных с последним мягким

Поведение групп нескольких согласных с последним мягким позволяет установить две основные закономерности: 1) позиция после твердого согласного способствует отвердению следующего за ним мягкого согласного, 2) воздействие последнего мягкого согласного на предыдущие ослабляется с увеличением расстояния до него.

Внутри и в конце корня зубные согласные после гласных корня всегда мягки перед следующими мягкими зубными (примеры см. выше). Но после твердого согласного чаще произносится твердый зубной: *то[лст']як, по[лст']й (ползти), хо[лст']йна, обо[лзн']и, поб[лдн']ик, по[лдн']евный; н[рст']ень, отв[рст']ие, ве[рст']е, ше[рст'], го[рст'], соку[рсн']ик, нан[рсн']ик, м[рзн']ет, разв[рзн']ется, курб[ртн']ик, бессм[ртн']ик, на[ртн']ёр, по[ртн']иха, намб[рдн']ик, ус[рдн']ее, абсу[рдн']ее* и допустимо старшее *то[лс'т']як, по[лс'т']й, хо[лс'т']йна, обо[лзн'']и, поб[лд'н']ик, по[лд'н']евный; н[рс'т']ень, отв[рс'т']ие, ве[рс'т']е, ше[рс'т'], го[рс'т'], соку[рс'н']ик, нан[рс'н']ик, м[рз'н']ет, разв[рз'н']ется, курб[рт'н']ик, бессм[рт'н']ик, на[рт'н']ёр, по[рт'н']иха, намб[рд'н']ик, ус[рд'н']ее, абсу[рд'н']ее* (4); см. [Аванесов 1989: 653—654].

В этих сочетаниях согласных [л] исконно был твердым и не смягчался перед следующими согласными. Звук [р] раньше мог быть мягким, произношение [р'] перед любым одним мягким зубным в ряде позиций и сейчас возможно. Но в сочетаниях с двумя зубными [р] только твердый перед взрывными согласными и встречается устарелое произношение [р'] перед щелевыми после гласных переднего ряда: *н[р'с'т']ень, отв[р'с'т']ие, ве[р'с'т']е, разв[р'з'н']ется* (5).

Возможны и сочетания других согласных с последующими двумя зубными, из которых последний мягкий, а первый может быть мягким и твердым.

Первым согласным сочетания может быть [н] и [н']: *и[нст']инкт, и[нст']итут, ко[нст']итущия* и *и[нс'т']инкт, и[нс'т']итут, ко[нс'т']итущия* (3 этап у [с] — [с']) и *и[н'с'т']инкт, и[н'с'т']итут, ко[н'с'т']итущия* (3 этап у [н] — [н']); *деса[нт'н']ик* и допустимо младшее *деса[нт'н']ик* и *деса[нтн']ик* (2 этап у [н] — [н'] и [т] — [т']); *интелиг[нтн']ее, темпер[аме[нтн']ее* и *интелиг[нт'н']ее, темпер[аме[нт'н']ее* и *интелиг[нт'н']ее* (3 этап у [т] — [т'] и [н] — [н']); *импоз[антн']ее* и *импоз[ант'н']ее* (3 этап у [т] — [т']) и допустимо старшее *импоз[ан'т'н']ее* (4 этап у [н] — [н']).

Губные и заднеязычные в такой позиции только твердые: *[мст']ить, ото[мст']ить, [мзд']е, те[кст']иль, в те[кст']е* и *[мс'т']ить, ото[мс'т']ить, [мз'д']е, те[кс'т']иль, в те[кс'т']е*, а также *г[анкст']ер* и *г[анкс'т']ер* (3 этап у первого зубного).

Сочетание зубных *ст* перед мягким [в'] ведет себя в разных позициях следующим образом.

После ударного гласного непереднего ряда это сочетание может быть в словах *искусственный* (и производных от него), где на месте *сс* произносится один согласный, и *чувственный* (и производных от этого корня), где *в* перед *ст* не произносится, а [в'] выступает во всех словоформах: *иску́[ств']енный, сочú[ств']ие, бесчú[ств']енный, чú[ств']енный и иску́[с'т'в']енный, сочú[с'т'в']ие, бесчú[с'т'в']енный* (3), устарелое *чú[с'т'в']енный* (5). Лишь в форме одного или двух падежей произносится [в'] у слов *искусство, чувство, паства*: *иску́[ств']е, чú[ств']е, па́[ств']е* и допустимо старшее *иску́[с'т'в']е, чú[с'т'в']е, устарелое па́[с'т'в']е* (4).

В словах, где [в'] выступает во всех словоформах, после отодвинутого в передне-средний ряд ударного [е] и заударного гласного верхне-среднего подъема [ы], стоящих после твердых согласных, произносится: *наше́[ств']ие, путешё[ств']ие, божё[ств']енный, торжё[ств']енный, друже́[ств']енный, му́же[ств']енный и наше́[с'т'в']ие, путешё́[с'т'в']ие, божё́[с'т'в']енный, торжё́[с'т'в']енный, друже́[с'т'в']енный, му́же[с'т'в']енный* (3); в редком слове *пи́рше[ств']енный* и устарелое *пи́рше[с'т'в']енный* (5). В словах, где [в'] выступает лишь в одной словоформе, в этих позициях произносится: *боже́[ств']е, торже́[ств']е, кня́же[ств']е, мно́же[ств']е, неве́же[ств']е, убóже[ств']е, пи́рше[ств']е, но́вше[ств']е, ю́ноше[ств']е* и устарелое *бо́же[с'т'в']е, торже́[с'т'в']е* (5), допустимо старшее *кня́же[с'т'в']е, мно́же[с'т'в']е, неве́же[с'т'в']е, убóже[с'т'в']е, пи́рше[с'т'в']е, но́вше[с'т'в']е, ю́ноше[с'т'в']е* (4).

В словах, где [в'] выступает во всех словоформах, после ударного [е] и заударного [и], стоящих после мягких согласных, а также после [и] и [л'] обычно [ст] и [с'т'] равноправны: *естё́[ств']енный, обще́[ств']енный, суще́[ств']енный; ка́че[ств']енный, могу́ще[ств']енный; де́й[ств']ие, споко́й[ств']ие, семе́й[ств']енный, убий́[ств']енный, дво́й[ств']енный; удово́ль[ств']ие, нача́ль[ств']енный, насиль́[ств']енный, правите́ль[ств']енный и естё́[с'т'в']енный, обще́[с'т'в']енный, суще́[с'т'в']енный; ка́че[с'т'в']енный, могу́ще[с'т'в']енный; де́й[с'т'в']ие, споко́й[с'т'в']ие, семе́й[с'т'в']енный, убий́[с'т'в']енный, дво́й[с'т'в']енный; удово́ль[с'т'в']ие, нача́ль[с'т'в']енный, насиль́[с'т'в']енный, правите́ль[с'т'в']енный* (3). В словах *действительно* и *естественно*, когда они выступают в значении наречий, такая же закономерность: *дей[ств']ительно, естё́[ств']енно* и *дей[с'т'в']ительно, естё́[с'т'в']енно* (3), но когда они выступают как вводные слова или частицы, иная закономерность: *дей[с'т'в']ительно, естё́[с'т'в']енно* и допустимо младшее *дей[ств']ительно, естё́[ств']енно* (2).

В словах, где [в'] выступает лишь в части словоформ, в этих позициях произносится: *веще́[ств']е, суще́[ств']е, обще́[ств']е, коли́че[ств']е; семе́й[ств']е, устро́й[ств']е, хозя́й[ств']е; посо́ль[ств']е, правите́ль[ств']е, удалё́[ств']е* и допустимо старшее *веще́[с'т'в']е, суще́[с'т'в']е, обще́[с'т'в']е, коли́че[с'т'в']е; семе́й[с'т'в']е, устро́й[с'т'в']е, хозя́й[с'т'в']е; посо́ль[с'т'в']е, правите́ль[с'т'в']е, удалё́[с'т'в']е* (4).

Перед сочетанием *ств'* могут быть разные согласные, которые по-разному воздействуют на произношение зубных в этом сочетании.

Согласный [р] только твердый (6). Перед [в'] в словах, где он выступает во всех словоформах, обычно произносится [т] и допустимо старшее [т'] (4), перед которым обычно произносится [с] и устарелое [с'] (5); таким образом, возможны три варианта произношения этого сочетания: *ба[рств']енный, госуда[рств']енный, да[рств']енный, лека[рств']енный, недуг[рств']енный* и допустимо старшее *ба[рст'в']енный, госуда[рст'в']енный, да[рст'в']енный, лека[рст'в']енный, недуг[рст'в']енный* и устарелое *ба[рс'т'в']енный, госуда[рс'т'в']енный, да[рс'т'в']енный, лека[рс'т'в']енный, недуг[рс'т'в']енный*. В словах, где [в'] выступает лишь в части словоформ, произносятся [р] и [с] твердые (6), [т] и устарелое [т'] (5): *ба[рств']е, госуда[рств']е, уб[рств']е, дежу[рств']е, зев[рств']е, варва[рств']е* и устарелое *ба[рст'в']е, госуда[рст'в']е, уб[рст'в']е, дежу[рст'в']е, зев[рст'в']е, варва[рст'в']е*.

Согласные [м], [ф], [п], [н] только твердые после гласных непосредственного ряда (6). Перед [в'] в словах, где он выступает во всех словоформах, обычно произносится [т] и допустимо старшее [т'] (4), перед которым обычно произносится [с] и устарелое [с'] (5). Таким образом, как и при твердом [р], возможны три варианта произношения этих сочетаний: *пото[мств']енный, ведо[мств']енный, пра[фств']енный, со[пств']енный, стра[нств']ие, гражд[нств']енный, простра[нств']енный, кощу[нств']енный* и допустимо старшее *пото[мст'в']енный, ведо[мст'в']енный, пра[фст'в']енный, со[пст'в']енный, стра[нст'в']ие, гражд[нст'в']енный, простра[нст'в']енный, кощу[нст'в']енный* и устарелое *пото[мс'т'в']енный, ведо[мс'т'в']енный, пра[фс'т'в']енный, со[пс'т'в']енный, стра[нс'т'в']ие, гражд[нс'т'в']енный, простра[нс'т'в']енный, кощу[нс'т'в']енный*.

В словах, где [в'] выступает лишь в одной словоформе, после этих твердых согласных [м], [ф], [п], [н] (6) произносятся перед [в'] — [т] и устарелое [т'] (5), перед которым [с] (6): *знако[мств']е, ведо[мств']е; гра[фств']е, лука[фств']е, колдо[фств']е; ра[пств']е, холо[пств']е, воше[пств']е; простра[нств']е, подда[нств']е, опеку[нств']е* и устарелое *знако[мст'в']е, ведо[мст'в']е; гра[фст'в']е, лука[фст'в']е, колдо[фст'в']е; ра[пст'в']е, холо[пст'в']е, воше[пст'в']е; простра[нст'в']е, подда[нст'в']е, опеку[нст'в']е*. И так же: *бе[кств']е, герцо[кств']е* и устарелое *бе[кст'в']е, герцо[кст'в']е*.

После гласных переднего ряда наряду с твердыми [м], [ф], [п], [н] в словах, где [в'] выступает во всех словоформах, в этих сочетаниях встречается устарелое произношение мягких [м'], [ф'], [п'], [н']. Перед [в'] обычно произносится [т] и допустимо старшее [т'] (4), перед которым обычно произносится [с] и устарелое [с'] (5), перед которым обычно произносятся [м], [ф], [п], [н] и возможно устарелое произношение [м'], [ф'], [п'], [н'] (5); таким образом, возможны четыре варианта произношения этих сочетаний: *прее[мств']енный, де[фств']енный, моле[пств']ие, еди[нств']енный, вой[нств']енный, тай[нств']енный* и так же *же[нств']енный* и допустимо старшее *прее[мст'в']енный, де[фст'в']енный, моле[пст'в']ие, еди[нст'в']енный, во-*

и́[нст'в']енный, таи́[нст'в']енный, же[нст'в']енный и устарелое *пре́[мс'т'в']енный, де́[фс'т'в']енный, моле́[пс'т'в']е, еди́[нс'т'в']енный, вои́[нс'т'в']енный, таи́[нс'т'в']енный, же[нс'т'в']енный и преё́[мс'т'в']енный, де́[ф'с'т'в']енный, моле́[п'с'т'в']е, еди́[н'с'т'в']енный, вои́[н'с'т'в']енный, таи́[н'с'т'в']енный, же[н'с'т'в']енный*. При этом мягкость [н'] встречается чаще, чем мягкость губных в этой позиции.

В словах, где [в'] выступает лишь в части словоформ, после этих согласных, которые могут быть только твердыми (6), произносятся только [с] (6) и [т] и устарелое [т'] (5): *зе́[мств']е, подхали́[мств']е; короле́[фств']е; непотре́[пств']е; духове́[нств']е, перве́[нств']е, еди́[нств']е, вои́[нств']е* и устарелое *зе́[мс'т'в']е, подхали́[мс'т'в']е; короле́[фс'т'в']е; непотре́[пс'т'в']е; духове́[нст'в']е, перве́[нст'в']е, еди́[нст'в']е, вои́[нст'в']е*.

На месте согласных [т] и [д] и следующего [с] или [с'] произносится аффриката [ц] или [ц']. После гласных переднего ряда в словах, где [в'] выступает во всех словоформах, перед ним может произноситься [т] и допустимо старшее [т'] (4), перед которым [ц] и устарелое [ц'] (5): *бра́[цтв']енный, произво́[цтв']енный, ро́[цтв']енный, ро́[цтв']енник, прису́[цтв']енный, отсу́[цтв']е, напу́[цтв']е* и допустимо старшее *бра́[цт'в']енный, произво́[цт'в']енный, ро́[цт'в']енный, ро́[цт'в']енник, прису́[цт'в']енный, отсу́[цт'в']е, напу́[цт'в']е* и устарелое *бра́[ц'т'в']енный, произво́[ц'т'в']енный, ро́[ц'т'в']енный, ро́[ц'т'в']енник, прису́[ц'т'в']енный, отсу́[ц'т'в']е, напу́[ц'т'в']е*.

В словах, где [в'] выступает лишь в части словоформ, в этой позиции только [ц] (6), после которого произносится [т] и устарелое [т'] (5): *бога́[цтв']е, произво́[цтв']е, любопы́[цтв']е, ро́[цтв']е́* и устарелое *бога́[цт'в']е, произво́[цт'в']е, любопы́[цт'в']е, ро́[цт'в']е́*.

После гласных переднего (и передне-среднего) ряда иное соотношение этих вариантов. В словах, где [в'] выступает во всех словоформах, перед ним произносится [т] и [т'] (3), перед которым [ц] и допустимо старшее [ц'] (4): *бе́[цтв']е, бе́[цтв']енный, насле́[цтв']енность, отве́[цтв']енность, посре́[цтв']енный, приве́[цтв']е, сле́[цтв']е, сле́[цтв']енный, беспрепя́[цтв']енный и бе́[цт'в']е, бе́[цт'в']енный, насле́[цт'в']енность, отве́[цт'в']енность, посре́[цт'в']енный, приве́[цт'в']е, сле́[цт'в']е, сле́[цт'в']енный, беспрепя́[цт'в']енный* и допустимо старшее *бе́[ц'т'в']е, бе́[ц'т'в']енный, насле́[ц'т'в']енность, отве́[ц'т'в']енность, посре́[ц'т'в']енный, приве́[ц'т'в']е, сле́[ц'т'в']е, сле́[ц'т'в']енный, беспрепя́[ц'т'в']енный*.

В словах, где [в'] выступает лишь в части словоформ, в этой позиции только [ц] (6), после которого произносится [т] и устарелое [т'] (5): *насле́[цтв']е, сре́[цтв']е, де́[цтв']е, ехи́[цтв']е, сибари́[цтв']е* и устарелое *насле́[цт'в']е, сре́[цт'в']е, де́[цт'в']е, ехи́[цт'в']е, сибари́[цт'в']е*.

Сопоставление вышеописанных норм произношения мягкого или твердого согласного перед мягким в современном русском литературном языке с тем произношением, которое было признано известными лингвистами,

тонкими знаками литературного произношения нормативным на предшествующих этапах, позволяет сделать следующие выводы.

Во многих случаях произошло изменение норм в сторону развития процесса $C'С' > CC'$. Вместе с тем обнаруживается действие многих факторов (в том числе и фонетических позиций), сдерживающих или ускоряющих этот процесс. Некоторые из этих факторов указаны в данной работе впервые, действие других факторов оказалось возможным увидеть на более широком круге согласных, уточнены формулировки некоторых закономерностей.

Есть также среди вышеописанных закономерностей и такое произношение мягких согласных перед мягкими, которое ранее было признано лингвистами уже не свойственным литературному языку, но которое, однако, еще сохраняется в некоторых позициях как равноправная норма с произношением твердых согласных либо как допустимо старшая или устаревшая норма, функционирующие в пределах современного литературного языка.

Так, например, Р. И. Аванесов писал: «Губные перед мягкими задненёбными (обычно перед [к]) в современном русском литературном произношении не смягчаются» [Аванесов 1984: 166]. С. М. Кузьмина, проанализировав произношение слова *лапки* по данным фонетического вопросника, указывала: «Вопросник подтвердил наблюдения фонетистов о преобладании твердых губных над мягкими в позиции перед мягким задненёбным, засвидетельствовав значительную вытесненность старого варианта. <...> Твердый вариант не только широко распространен, но и охватил все возрастные и социально-профессиональные слои носителей литературного языка» [РЯДМО 1974: 79—80]. М. В. Панов считал, что губные и заднеязычные согласные «не бывают мягкими в сочетании со следующим согласным (если он не мягкий того же класса, что и предыдущий, или /j/)», что перед [р'] не могут быть мягкие парные согласные, а [р'] невозможен перед [ч'], [ш']: «Произношение [фанáр'ш'ик], [в'э́р'ч'иныи] принадлежит прошлому» [Панов 1967: 93, 95, 325, 326; 1990: 34]. Аналогичные оценки отражены и в Орфоэпическом словаре под ред Р. И. Аванесова [ОС] и в некоторых других словарях.

В отличие от этого М. Л. Каленчук и Р. Ф. Касаткина считают, что губные согласные перед мягкими заднеязычными и заднеязычные перед мягкими губными «могут произноситься и мягко, и твёрдо» [Каленчук, Касаткина 1997: 16, 18].

Дальнейшие наблюдения позволили подтвердить и уточнить эти правила, выявить и другие случаи произношения мягких согласных в разных позициях; **губные перед зубными:** *ре[в']ни́вый*, *Е[ф']се́й* (3), *[п']си́на*, *поги[б']ли*, *зе[м']ляно́й* (4); **перед передненёбными:** *ки[п']ре́й*, *ги[б']риди́зация* (5), *де[ф']чэ́нка*, *годо[ф']щи́на* (4); **перед заднеязычными:** *пле[ф']ки́*, *Е[в']ге́ний* (3), *ги[п']ки́й*, *сни́[м']ки* (4), *ро[п']ки́й*, *коло[п']ки́*, *ко[м']ки́* (5); **[р'] перед [ч'], [ш']:** *го[р']чи́ца*, *све[р']чо́к* (5); *пра́но[р']щик*, *безала́бе[р']щина* (3), *ба́[р']щина*, *мо[р']щи́ны* (4); **перед заднеязычными:** *Гео́[р']гий* (4), *ки[р']ги́з*;

заднеязычные перед губными: *клю́[кʲ]венный, се[кʲ]вёстр, ни[гʲ]мэнт* (5); **перед передненёбными:** *не[гʲ]ритёнок* (4), *и[кʲ]ринка, ти[гʲ]рёнок, ни [кʲ]чёму́, ле[хʲ]чайший, [кʲ]щекé* (5) и др. При этом нет оснований считать, что такое произношение возникло в литературном языке лишь в последнее время. Подобные примеры отражают последовательные этапы процесса $C'C' > CC'$ в русском языке.

Л и т е р а т у р а

Аванесов 1956 — Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.

Аванесов 1984 — Р. И. Аванесов. Русское литературное произношение. 6-е изд. М., 1984.

Аванесов 1989 — Р. И. Аванесов. Сведения о произношении и ударении // Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С. М. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова; Под ред. Р. И. Аванесова. 5-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 642—666.

Баринова 1966 — Г. А. Баринова. О произношении [жʲ], [шʲ] // Развитие фонетики современного русского языка / Под ред. С. С. Высотского, М. В. Панова, В. Н. Сидорова. М., 1966. С. 25—54.

Борунова 1966 — С. Н. Борунова. Сочетания [шʲчʲ] и [шʲ] на границах морфем // Развитие фонетики современного русского языка / Под ред. С. С. Высотского, М. В. Панова, В. Н. Сидорова. М., 1966. С. 55—71.

Вербицкая 1976 — Л. А. Вербицкая. Русская орфоэпия: (К проблеме экспериментально-фонетического исследования особенностей современной произносительной нормы). Л., 1976.

Галинская 2002 — Е. А. Галинская. Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте. М., 2002.

Гловинская 1964 — М. Я. Гловинская. Написание двойных согласных в заимствованных словах // Проблемы современного русского правописания. М., 1964. С. 101—115.

Гловинская 1971 — М. Я. Гловинская. Об одной фонологической подсистеме в современном русском литературном языке // Развитие фонетики современного русского языка: фонологические подсистемы. М., 1971. С. 54—96.

Гловинская и др. 1971 — М. Я. Гловинская, Н. Е. Ильина, С. М. Кузьмина, М. В. Панов. О грамматических факторах развития фонетической системы современного русского языка // Развитие фонетики современного русского языка: фонологические подсистемы. М., 1971. С. 20—32.

Гловинская, Кузьмина 1974 — М. Я. Гловинская, С. М. Кузьмина. Ассимилятивное смягчение согласных // Русский язык по данным массового обследования: Опыт социально-лингвистического изучения / Под ред. Л. П. Крысина. М., 1974. С. 41—83.

Грот 1899 — Труды Я. К. Грота. II. Филологические разыскания. СПб., 1899.

ДАРЯ — Дialeктологический атлас русского языка: Центр Европейской части СССР / Под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. Вып. II: Морфология. М., 1989.

Зализняк 1985 — А. А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Каленчук 1986 — М. Л. Каленчук. Особенности реализации согласных фонем на стыке морфем в современном русском литературном языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1986.

Каленчук 1995 — М. Л. Каленчук. Фонетика и грамматика: звуковые приметы русских аналитических прилагательных // Проблемы фонетики. II / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 1995. С. 180—188.

Каленчук 2001 — М. Л. Каленчук. Об устойчивости орфоэпического навыка // Жизнь языка: Сб. статей к 80-летию М. В. Панова / Сост. Л. А. Капанадзе / Отв. ред. С. М. Кузьмина. М., 2001. С. 165—171.

Каленчук, Касаткина 1997 — М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

Каленчук, Касаткина 1999 — М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина. Особенности звукового оформления русских приставок // Russian Linguistics. Vol. 23. 1999. P. 1—9.

Калнынь 1956 — Л. Э. Калнынь. Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке // Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. Т. XIII. М., 1956. С. 121—225

Касаткин 1989 — Л. Л. Касаткин. Фонетика // Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 1989. С. 32—79.

Касаткин 1999 — Л. Л. Касаткин. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Касаткин 2003 — Л. Л. Касаткин. Фонетика современного русского литературного языка. М., 2003.

Касаткин, Чой 1999а — Л. Л. Касаткин, М. Ч. Чой. Долгий или краткий согласный на месте орфографического *ни* в современном русском литературном языке // Проблемы фонетики. III / Отв. ред. Р. Ф. Касаткина. М., 1999. С. 96—120.

Касаткин, Чой 1999б — Л. Л. Касаткин, М. Ч. Чой. Долгота / краткость согласного на месте сочетаний двух согласных букв в современном русском литературном языке. М., 1999.

Князевская 1957 — О. А. Князевская. К истории русского языка в северо-восточной Руси в середине XIV в. // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. Т. VIII. М., 1957. С. 107—177.

Колесов 1980 — В. В. Колесов. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.

Комарова 2002 — И. А. Комарова. Конечное продление в различных жанрах речи и музыки // Проблемы фонетики. IV / Отв. ред. Р. Ф. Касаткина. М., 2002. С. 157—169.

Кошутий 1919 — Рад Кошутий. Грамматика руског језика. 1. Гласови. 2-о изд. Пг., 1919.

Кузьмина 1966 — С. М. Кузьмина. О фонетике заударных флексий // Развитие фонетики современного русского языка / Под ред. С. С. Высотского, М. В. Панова, В. Н. Сидорова. М., 1966. С. 5—24.

Мартине 1960 — А. Мартине. Принцип экономии в фонетических изменениях: (Проблемы диахронической фонологии): Пер. с фр. М., 1960.

Матвеева 1928 — Е. В. Матвеева. К вопросу о мягких согласных в вятских говорах XVIII века // Тр. Вятского пед. ин-та им. В. И. Ленина. Т. 3. Вып. 2. Вятка, 1928.

Николаева 2000 — Т. М. Николаева. От звука к тексту. М., 2000.

Обзор 1965 — Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.) / Отв. ред. В. В. Виноградов. М., 1965.

ОС — Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С. М. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова; Под ред. Р. И. Аванесова. 5-е изд., испр. и доп. М., 1989.

Панов 1957 — М. В. Панов. О влиянии грамматической аналогии на произносительные нормы в современном русском литературном языке // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Т. 42. Кафедра рус. яз. Вып. 4. М., 1957. С. 3—34.

Панов 1967 — М. В. Панов. Русская фонетика. М., 1967.

Панов 1968 — М. В. Панов. Глава пятая: Усложнение консонантной системы // Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры [Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М. В. Панова]. М., 1968. С. 57—80.

Панов 1971 — М. В. Панов. Об аналитических прилагательных // Фонетика. Фонология. Грамматика: к 70-летию А. А. Реформатского. М., 1971. С. 240—253.

Панов 1990 — М. В. Панов. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М., 1990.

РЯДМО 1974 — Русский язык по данным массового обследования: Опыт социально-лингвистического изучения / Под ред. Л. П. Крысина. М., 1974.

Санников 1964 — В. З. Санников. О русских графических сокращениях // О современной русской орфографии / Отв. ред. В. В. Виноградов. М., 1964. С. 58—87.

Стеблин-Каменский 1966 — М. И. Стеблин-Каменский. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966.

Чой 1998 — М. Ч. Чой. Долгие согласные в современном русском литературном языке (на материале сочетаний согласных букв в корне) // Язык: изменчивость и постоянство / Науч. ред. М. Л. Каленчук. М., 1998. С. 388—419.

Шахматов 1915 — А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11. 1).

С. М. КУЗЬМИНА

ИСТОРИЯ И УРОКИ КОДИФИКАЦИИ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ В XX ВЕКЕ

...обычно считается, что об орфографии может любой человек говорить любую дурь. Вот это ужасно. Потому что орфография — это есть вещь строгая, поддающаяся нормированию, поддающаяся точности. И тут нужна наука, наука и наука, прежде всего для того, чтобы практика получила хороший продукт...

А. А. Реформатский

Цель статьи — рассмотреть два взаимосвязанных вопроса: во-первых, подвести краткие, самые предварительные итоги нормализаторской деятельности в области орфографии в XX в. и, во-вторых, проследить развитие теории письма в XX в.

Теория письма тесно связана с общей теорией языка, основывается на ней. Но на протяжении всего пути становления орфографических норм в XX в. прослеживается и другая, пожалуй, даже еще более важная закономерность — теснейшая связь с практикой: теория письма развивается неравномерно, волнами: наиболее важные теоретические работы появляются именно тогда, когда с особой остротой встает вопрос о необходимости внесения изменений в правописание, упорядочения его.

В первой части статьи намечается канва «событий» в орфографической жизни общества, вторая часть посвящена сопутствующей этим событиям эволюции теории письма.

XX в. характеризовался пристальным вниманием к русскому письму и его усовершенствованию. Приняв от XIX в. демократическую эстафету — завет упростить орфографию и тем облегчить путь к ее усвоению, он начался с работы орфографической комиссии, созданной в 1904 г. при Российской Императорской Академии наук, и завершился работой комиссии 90-х гг. — при Отделении литературы и языка Российской академии наук.

I

1. Самым большим событием в истории русского письма XX в., несомненно, является реформа 1917—1918 г. Это была вторая за всю историю существования русской письменности реформа. Первая, не менее серьезная, была проведена в начале XVIII в. Петром I, который специальным указом отменил некоторые писавшиеся по традиции, но ненужные русскому письму буквы: юсы, Ѡ (омега), Ѩ (пси), Ѫ (кси), Ѯ (ижицу). Хотя сам Петр вскоре восстановил некоторые упраздненные им буквы, Академия наук после его смерти снова исключила из азбуки лишние буквы и узаконила новые, уже употреблявшиеся в текстах: э, ѣ [Истрин 1988]. Кроме того, было изменено начертание самих букв — они были приближены по своему виду к латинским. Так появились две азбуки-кириллицы: новая, ее назвали *гражданницей*, поскольку она предназначалась для светских текстов, и оставшаяся без изменения кириллица, обслуживавшая церковнославянские тексты.

Первым кодификатором русской орфографии был Я. К. Грот, составивший на основе своего капитального труда «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доньне» (1873) практическое руководство «Русское правописание» (1885), цель которого — «привести русское правописание к желательному единообразию» и при этом «держаться по возможности утвердившегося обычая». Правила Грота считались «академическими», поскольку были написаны по поручению Академии наук и не были обязательными для печати. К концу XIX — началу XX в. в русском письме накопилось много устаревшего, искусственного, не связанного с фактами языка. Главным недостатком орфографии признавались «лишние» буквы: для передачи некоторых фонем имелись буквы-дублиеты: *e* — *ѣ*; *ѣ* (ферт) — *ѣ* (фита); для передачи *и* использовались три буквы: *и* — *і* — *ѣ* (ижица). В самом языке (в его тогдашнем состоянии) оснований для разграничения букв-дублиетов не было, нужно было просто запомнить, зазубрить, где какую букву писать, и это, конечно, усложняло усвоение грамоты. Ср. пословицы, отражающие тяжелую участь школяров: «от фиты подвело животы»; «фита да ижица — к ленивому плеть ближится».

Созданию комиссии 1904 г. предшествовала масштабная деятельность педагогической общественности, требовавшей, во-первых, принять общеобязательные правила и, во-вторых, упростить письмо: педагогические совещания, съезды по вопросу об усовершенствовании русского правописания предлагали проекты его упрощения, и один из этих проектов — Московского педагогического общества, разработанный в 1900 г., лег в основу работы комиссии 1904 г. [Ушаков 1917].

Итак, в 1904 г. в Петербурге при Императорской Академии наук была создана Комиссия по вопросу о русском правописании под председательством Великого князя Константина Романова. Работой комиссии руководили крупнейшие ученые Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов. Комиссия на первом (и единственном) заседании 12 апреля 1904 г. высказалась за жела-

тельность упрощения правописания, в частности за исключение лишних букв, а для выработки конкретных предложений создала подкомиссию, приступившую к работе на следующий же день (в состав подкомиссии входили Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, Ф. Е. Корш, Р. Ф. Брандт, И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин).

Уже через месяц, в мае, было опубликовано «Предварительное сообщение» подкомиссии [Предварительное сообщение 1904], содержащее проект изменений. Помимо устранения «обветшавших» букв, предлагалось отказаться от написания твердого знака в конце слов, от различения на письме окончаний прилагательных во множ. числе им.-вин. пад., с одной стороны, мужского, а с другой, женского и среднего рода: *добрые мальчики*, но *добрыя девочки* и *добрыя дети* (А. А. Шахматов называл такое различие позднейшими мудрствованиями грамотеев), от написания в окончаниях прилагательных в род. пад. *-аго/-яго* (*добраго, третьяго*); писать только *они, одни, её*, но не *онѣ, однѣ, ея*. Предлагалось также после шипящих под ударением писать только *о*: *шолк, пошол*. Смысл этих и некоторых других изменений заключался в том, чтобы освободить русское правописание от условностей, не основанных на фактах живого языка.

Несмотря на такое благополучное начало, судьба реформы оказалась драматичной. Работа комиссии натолкнулась на сильнейшее сопротивление. Реформу поддержали преподаватели и демократически настроенная общественность, но общество в целом было настроено против нее. Разжигали страсти, как бы мы сказали сейчас, СМИ. При одном только известии о создании комиссии, по свидетельству «летописца» этих событий, одного из членов подкомиссии В. И. Чернышева [Чернышев 1970], стали распространяться слухи о том, что готовится покушение на основы русской культуры. Бодуэн де Куртенэ, член комиссии, так комментировал протесты против отмены твердого знака в конце слов: «Отсутствие буквы ъ в конце писанных русских слов, или т. н. “писание без еров” (“безъерье”) действует на своеобразных “патриотов” как красная тряпка на быка» [Бодуэн де Куртенэ 1912]. Но особенно ожесточенное сопротивление вызвало известие об «изгнании» буквы ъ. Эта буква стала настоящим знаменем борьбы — многие сводили реформу к вопросу, быть или не быть этой букве. Защитники видели в ней святыню языка, священную реликвию. Даже признавая, что эта буква — условность и бесполезное украшение, считали, что этот «орфографический орнамент есть венок на могилу наших предков». Автор одной газетной статьи заявлял: «Сам я не стану писать без ятей, хотя бы Академия наук исходатайствовала уголовное наказание за употребление этой бесценно дорогой для меня, потому что купленной немалыми страданиями, буквы».

Причины неприятия изменений в письме были разного характера: социальные, политические, психологические и в наименьшей степени — научные. «Орфографический раскол» был в какой-то мере отражением социального расслоения общества. Реформа носила демократический характер: в ней в первую очередь были заинтересованы широкие слои народа, приоб-

щавшиеся к грамоте. Именно эта демократическая направленность реформы и раздражала многих. Правописание — «привилегия образованного... перед чумазами», — писалось в одной газете того времени. Большую же часть противников реформы составляли те, кто просто не хотел ничего менять. Многие боялись внезапно оказаться неграмотными — «попасть из попов да в дьяконы». Легализацией безграмотности назвал реформу в одной из газетных публикаций известный географ-путешественник Семенов Тянь-Шанский.

Натиск противников реформы письма был так велик, что Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов, понимая, что после такой травли проект не будет утвержден и в то же время не желая осуществлять реформу в урезанном виде, решили отложить на время ее обсуждение. Это были годы, наполненные драматическими событиями в жизни России: война с Японией, революция 1905 г., холера, две революции 1917 г. Но ничто не могло лишить актуальности вопрос об упрощении орфографии. Сейчас кажется удивительным, с какой страстью обсуждались вопросы письма в тех же номерах газет, которые печатали телеграммы о потоплении русскими миноносцами японского военного транспорта, сообщали о взятии в плен японских офицеров, помещали большую, на треть газетного листа, карту Южного фронта и вести с разных фронтов во время Первой мировой войны, а также призы идти добровольно на фронт для защиты революции и Родины (в июне 1917 г.) и т. п.

Проследим основные этапы борьбы за реформу орфографии и борьбы с нею после опубликования в 1904 г. «Извлечений из протоколов заседания Комиссии 12 апреля» и «Предварительного сообщения орфографической подкомиссии».

Как уже говорилось, после острой полемики 1904 г. работа была отложена и до 1907 г. наступает некоторое затишье.

В 1907 г. Государственная дума (снова по инициативе учителей) обращается к Академии наук с просьбой заняться упрощением русского правописания.

1910 год. Академия наук принимает решение снова созвать комиссию (созданную в 1904 г.) на заключительное заседание. Однако дело опять затягивается.

В 1912 г. выходит окончательный проект под названием «Постановления орфографической подкомиссии». При этом все-таки пришлось отказаться от некоторых предложенных раньше изменений, которые показались слишком революционными. Например, не прошло предложение после *ж, ш, ч, ц* писать только *о* (*шол, жолудь, чорный*), а также предложение отказаться от мягкого знака там, где он не обозначает мягкости (*мыш, рож, стрич, идёш*). Но и в урезанном виде проект вызвал новый взрыв ожесточенной травли. И снова большая пауза.

10 февраля 1917 г. I Всероссийский съезд преподавателей русского языка средней школы единодушно принимает резолюцию: «Необходима ско-

рейшая реформа русского правописания» — и обращается с ходатайством в Академию наук.

Апрель 1917 года. Собирается на заседание образованная Академией наук так называемая Подготовительная комиссия, которая постановила снова созвать совещание по вопросу об упрощении русского правописания.

11 мая 1917 г. это совещание отклонило предложенный Подготовительной комиссией очень умеренный проект (в котором, в частности, предполагалось сохранить *ѣ* и *і*) и возвратилось к окончательному проекту подкомиссии 1904 г. (изданному только в 1912 г.). Однако Академия наук из осторожности откладывает утверждение проекта до осени.

17 мая 1917 года. Министерство народного образования Временного правительства, обновленное после Февральской революции, отказывается ждать утверждения и издает циркуляр о введении нового правописания безотлагательно, с начала нового учебного года. Именно это решение Временного правительства поставило точку в мучительной и трудной борьбе за реформу правописания.

23 декабря 1917 г. был принят декрет Народного комиссариата по просвещению РСФСР «О введении нового правописания», подписанный народным комиссаром по просвещению А. В. Луначарским. Однако, по свидетельству самого Луначарского, «на декрет, можно сказать, никто даже и ухом не повел, и даже наши собственные газеты издавались по старому алфавиту» (цит. по [Еськова 1966а: 92]). Потребовался еще один декрет.

10 октября 1918 г. принимается декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О введении новой орфографии».

Декретами советской власти был принят не проект 1904 г., разработанный с участием Ф. Ф. Фортунатова, а более осторожный, урезанный вариант, принятый в мае 17-го года Министерством просвещения Временного правительства. Именно за «умеренность» этого проекта Луначарский назвал его «февральским», намекая на результаты Февральской революции в сравнении с Октябрьской.

То, что реформу провело в жизнь правительство большевиков, породило миф о ее большевистском характере, хотя ее проект, как видим, был полностью разработан до Октябрьского переворота и уже был утвержден к исполнению специальным циркуляром Временного правительства. Более того, как показало исследование Т. М. Григорьевой, работавшей в архивах, постепенное осуществление реформы (введение нового правописания) началось еще до декретов советской власти [Григорьева 1996]. К сожалению, этот миф жив до сих пор. Сторонники возвращения к дореволюционной орфографии требуют контрреформы. «Общество возрождения духовных традиций Руси» в Санкт-Петербурге в целях «возрождения русского языка» разработало проект возвращения дореформенной орфографии. Раздаются новые демагогические призывы «возвратить народу все, чего его лишили большевики», в том числе «отобранной после революции» орфографии, восстановить «репрессированную» букву *ѣ*, которая якобы несет в себе православ-

ный крест, отказаться от написания в приставке *без/бес* буквы *с* во избежание рекламы беса и т. д.

2. Поскольку реформа начала века не осуществила многих назревших изменений, проблема дальнейшего упорядочения письма осталась. К ней неизбежно должны были вернуться. И действительно, прошло всего 10—12 лет, как вопрос об упорядочении орфографии встает вновь. В 30-е г. неотложной задачей становится разработка общеобязательного свода правил русского правописания, поскольку разницей в орфографии достиг катастрофических размеров. У каждого издательства были свои правила, и С. П. Обнорский не без сарказма писал, что если в одном доме помещается несколько издательств, то на каждом этаже действует своя орфография [Обнорский 1934]. Писали *идти* и *итти*, *мачеха* и *мачиха*, *жолтый* и *жёлтый*, *чопорный* и *чепорный*, *поножовщина* и *поножевщина*, *пенснэ* и *пенсне*; заимствованные слова писались то с одной согласной буквой, то с двумя: *аг(г)регат*, *артил(л)ерия*, *диф(ф)еренцировать*, *коэф(ф)ициент*, *парал(л)елограмм*; большой разброс был в передаче слитных-дефисных-раздельных написаний. Необходимость унификации орфографии была очевидна.

В 1930 г. был разработан «Проект Главнауки о новом правописании», который Б. В. Горнунг охарактеризовал как «скороспелое детище группы лингвистов и педагогов, стремившихся «углублять революцию» в русском письме». Это был эклектичный проект: наряду с предложениями по усовершенствованию орфографии (некоторые из них были взяты из проекта 1904 г., например, предложение писать после шипящих под ударением *о*, например, *жорнов* — *жернова*, *шолковый* — *шелка*, а также предложение писать *мыш*, *доч*, *стричься* без мягкого знака) в нем затрагивалась и грамматика, и фонетика. Предлагалось, например, писать (а значит, и произносить) не только *дынь*, *яблонь*, *кухонь*, но и *вишень*, *спалень*, *сотень*, *боень*, а «вместо суффикса *-ышк* писать *-ушк*: *пёрушко*, *солнушко*, *гнёздушко*). Предлагалось также личные окончания глаголов и суффиксы причастий не под ударением писать одинаково, в ед. числе глагольных окончаний — с буквой *и*: *делаишь*, *боришься*, *роишь*, во мн. числе — с *ю*: *делают*, *любят*, *возют*; в суффиксах причастий: *делаимый*, *строющийся*, то есть без ударения по сути отменялись типы спряжения глаголов. Тем самым предлагалась не только реформа письма, но и в какой-то степени реформа языка! Проект не был принят. В 30-е гг. работали еще две комиссии — одна в Москве при Наркомпросе РСФСР, другая в Ленинграде при Академии наук. Д. Н. Ушаков, руководивший московской комиссией, настаивал на том, что нужна не реформа, а упорядочение правописания, для чего необходим свод всех правил правописания [Ушаков 1993]. В 1939 г. была учреждена Комиссия по разработке единой орфографии и пунктуации русского языка. Ее работа была прервана войной.

Было подготовлено одиннадцать проектов свода орфографических правил, прежде чем в 1956 г. был принят наконец общеобязательный свод пра-

вил, действующих до сих пор [Правила 1956]. Это был первый законодательно закрепленный свод правил, в значительной мере ликвидировавший разноречивую в правописании. В этом его исключительно важное значение. Выход свода иногда необоснованно называют реформой письма. Это не была реформа, хотя составители свода, естественно, учли тенденции орфографической практики и уточнили написание многих слов, до этого существовавших в различных орфографических вариантах. Унификация коснулась и слитного-раздельного написания. К сожалению, при унификации не всегда выбирался лучший вариант, часто выбор основывался лишь на том, что данное написание уже зафиксировано в школьном учебнике [Крючков 1952].

3. Уже через шесть лет после выхода «Правил» постановлением Президиума Академии наук СССР от 24 мая 1963 г. организуется новая Комиссия по усовершенствованию русской орфографии, создание которой, как говорится в постановлении, вызвано настойчивым требованием советской общественности, работников школ, учебных заведений, печати... ввести усовершенствование и упрощение в систему правописания. Ставится задача подготовки нового свода правил. Дело в том, что в 1956 г. была проведена лишь частичная регламентация русского правописания, и в орфографии все еще оставалась масса исключений, труднообъяснимых и нелогичных правил.

В состав комиссии входили видные языковеды, такие как В. В. Виноградов (председатель), Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский, С. И. Ожегов, М. В. Панов, а также методисты, психологи, учителя школ, специалисты вузов, писатели. Результатом работы комиссии был проект «Предложений по усовершенствованию русской орфографии» [Предложения 1964]. Комиссия исходила из того, что русское письмо не нуждается в революционном преобразовании, надо лишь основательно очистить его «от всего противоречивого, двойственного, устарелого, единичного, без нужды загружающего и отягощающего память — в пользу закономерно обобщенного, целесообразно мотивированного» [Виноградов 1964: 16]. Как видим, снова, как и в начале века, и в 30-е гг., главная цель предложений — облегчить усвоение орфографии учащимися. Снова было предложено вместо неоправданно трудного правила написания *о/ё* после шипящих простое и ясное правило: после шипящих под ударением писать *о*, без ударения — *е*: *жолудь*, но *желудей*, *шолк*, но *шелковистый*. Именно такое правило действует сейчас относительно написания *о/е* после *ц*. Предлагалось также (как и в предыдущих проектах) отказаться от написания мягкого знака после *жс, ч, ш, щ* (писать *рожс, помниш, еште, печ, стричся, настеш*). Во всех этих случаях мягкий знак лишний — он не указывает на мягкость предшествующего согласного. Большим облегчением для пишущих было бы и предложенное комиссией последовательное написание после *ц* буквы *и*. Все эти изменения были направлены на устранение условных, традиционных написаний [Панов 1963: 83—86].

Общество в целом, подзадориваемое журналистами, не поддержало проект, и притом очень эмоционально выразило свой протест в письмах и статьях. Кто-то написал, что он отказывается есть *огурцы*, написанные через *и*, как в свое время — в начале XX в. не хотели есть *хлеб*, написанный не через *я*: он, мол, не такой душистый и вкусный. Одна из газет с негодованием писала: «Неужели мы будем теперь встречать наших космонавтов не мужественным приветствием *Молодцы!*, а визгливым *Молодци!*» Газеты и журналы пугали народ тем, что изменения в письме представляют прямую угрозу языку Пушкина, Лермонтова, Достоевского [Букчина и др. 1969]. То же отождествление письма и языка, та же демагогия, что в начале века, всякий раз использующая новую общественную ситуацию. И в 60-е гг. журналисты, всегда берущие на себя роль выразителей общественного мнения, потешались над предложениями, не вникая в них, а позднее, после отставки Н. С. Хрущева, даже увязывая проект усовершенствования орфографии с волюнтаризмом руководителя страны и сравнивая этот проект с идеей поворота рек.

Неудача в реализации проекта показала важность разработки продуманной стратегии и тактики действия. Были допущены тактические ошибки: видимо, не стоило публиковать проект в массовой печати.

4. Перед орфографической комиссией 1973—1975 гг. ставилась задача скромнее, чем перед предыдущей. Речь шла уже не о новом своде правил, а лишь о подготовке предложений по частичным изменениям в существующем своде: «изменения должны быть направлены на устранение ненужных исключений, упрощение усложненных правил и устранение имеющихся противоречий» (из объяснительной записки к подготовленному, но не изданному «Проекту изменений некоторых правил русской орфографии»). В проекте были использованы многие предложения комиссии 1964 г., например, убрать исключения из правила о написании после *ж, ш* буквы *у* (писать *жури, брошура, парашут*); снять также исключения из правила о написании в суффиксе *-ан* одного *н* (писать *деревянный, оловянный, стеклянный*). Другие предложения проекта 1964 г. были «смягчены» — использованы лишь частично, например, предложено после *ц* писать букву *и* во всех корнях (*циган, ципленок, на ципочки*), но оставить *ы* в окончаниях и суффиксах (*огурцы, лисицын*). Однако «учитывая опыт 1964 г., орфографическая комиссия не сочла возможным на данном этапе вводить такие изменения, которые <...> могут вызвать отрицательное отношение со стороны широких кругов грамотных людей из-за резкого разрыва с письменной традицией». В проект было включено предложение, разработанное Н. А. Еськовой еще во время работы комиссии 1963—1964 гг., но не вошедшее в проект 1964 г. и заключавшееся в том, чтобы при написании *нн/н* в полных причастиях-прилагательных опираться на вид глагола: писать одно *н* в формах, образованных от глаголов несовершенного вида (например, *кованный, писанный*) и два *н* в формах, образованных от глаголов совершенного вида (*раскованный, спи-*

санный). Принятие этого разумного предложения упростило бы одно из самых трудных правил действующей орфографии [Еськова 1966б].

Впрочем, проект, разработанный этой комиссией, также не был реализован. По непонятным причинам (скорее всего, чтобы не вызывать недовольство общества) деятельность этой комиссии замалчивалась, а поэтому и не вызвала общественного резонанса.

5. И наконец, последний в XX в., еще не завершённый акт драмы в истории кодификации орфографии. Драмы — потому что снова проделанная работа вряд ли принесет результат. На этот раз инициатива исходила «снизу»: в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН в начале 90-х гг. шла работа над проектом новой редакции свода правил русского правописания. Почти одновременно с началом работы вновь была собрана Орфографическая комиссия при Отделении литературы и языка РАН. Проект неоднократно обсуждался на заседаниях комиссии по мере подготовки разделов, а также и в окончательном виде.

Чем была вызвана необходимость в новой редакции свода? С момента выхода действующих «Правил русской орфографии и пунктуации» прошло более сорока пяти лет, а если учесть, что они разрабатывались еще в 30-е гг., то и того больше. За это время в правилах обнаружилось неточности и непоследовательности (о недостатках правил 1956 г., их неполноте см. [Букчина 1974]). За 45 лет в языке, естественно, произошли изменения, появилось много новых слов, написание которых не регламентировано и поэтому допускает колебания. Так, в последнее время активизировались препозитивные единицы, стоящие на грани между словом и частью слова, типа *мини, миди, макси, видео, аудио, медиа, ретро* и др. В правилах ничего не говорится о том, писать ли их со следующей частью слова слитно или через дефис: эти языковые элементы появились уже после выхода свода правил. Некоторые правила не соблюдаются даже грамотными людьми, например, правила слитного-дефисного написания сложных прилагательных: *сравнительно-исторический, условно-рефлекторный* пишутся через дефис, хотя действующие правила требуют слитного написания прилагательных с подчинительными отношениями компонентов. Неподчинение правилам в этой области достигло таких размеров, что уже невозможно считать эти и многие другие подобные написания ошибочными, тем более, что они уже закреплены всеми орфографическими словарями [Букчина, Калакуцкая 1974; Кузьмина 1998б]. Эти правила должны быть откорректированы в первую очередь. Существующие пособия и справочники по правописанию не могут заменить единого свода правил: они не имеют юридической силы и нередко расходятся в рекомендациях.

В задачи новой редакции правил входило «обновить» правила правописания, сделать их более полными, привести в соответствие с современным уровнем лингвистической науки и с современным состоянием русского языка и орфографической практики (подробнее о проекте новой редакции правил

см. [Кузьмина, Лопатин 1996; Кузьмина 1998а; 2002; Лопатин 2001; 2002]). Авторы проекта исходили из установки на стабильность орфографии, понимая, что устойчивость — главное достоинство письма. Задача усовершенствования орфографии на этот раз не ставилась. Поэтому речь идет не о новом своде, а о новой *редакции* свода правил. И все же была сделана попытка предложить некоторые незначительные изменения в правописании, не затрагивающие принципов русской орфографии. Они направлены в основном на исправление регулярно нарушаемых правил и снятие некоторых исключений.

В процессе работы над проектом у некоторых авторов, а во время обсуждения проекта и у некоторых членов орфографической комиссии появились сомнения в целесообразности столь «умеренного» подхода. Они призывали решительнее избавляться от традиционных написаний. В самом деле, поскольку орфография не может пересматриваться часто, не следует ли воспользоваться столь удачным моментом и решиться на более существенные изменения в духе проекта 1964 г.? Впрочем, большинство членов комиссии, как и авторы проекта, стояли за менее резкие изменения, считая, что девиз комиссии — разумный консерватизм — вполне оправдан на современном этапе.

Какие же изменения были предложены? Предполагалось, например, убрать исключения из правила слитного написания сложных существительных с соединительной гласной: единицы измерения и названия партий (*пассажирыкилометр, человекодень, анархосиндикализм, коммунофашизм*) писать слитно, как пишем *лесостепь, нефтедобыча*. Начальный элемент *пол-* предлагалось писать только через дефис: *пол-дыни, пол-арбуза, пол-яблока*. Предлагались также и некоторые другие изменения, касающиеся периферийных явлений языка. Приведены в соответствие с орфографической практикой некоторые разделы написания прописной буквы.

В 2000 г. проект новой редакции правил был опубликован небольшим тиражом [Свод 2000] и разослан в вузы, в организации системы народного образования, отдельным специалистам для получения письменных отзывов. Авторы и члены Орфографической комиссии выступали в различных аудиториях, в основном на кафедрах русского языка, на конференциях. Было получено много отзывов от специалистов — лингвистов, методистов, вузовских и школьных преподавателей. По-разному оценивая проект, они единодушны во мнении о его актуальности.

Проект получил отражение в кривом зеркале СМИ, которые под видом защиты общества от посягательства на язык и культуру, прибегая к демагогии и извращению фактов, не столько информировали, сколько дезинформировали общество, запугивая его «широкоохватной реформой», «перетряской всего русского правописания» и по обыкновению отождествляя письмо и язык.

Поскольку для большинства авторов разработанного проекта его актуальность, его «пафос» были не в усовершенствовании орфографии, а в «ре-

монте», в наведении порядка в орфографическом хозяйстве, было решено отказаться от всех (немногочисленных) предложений по изменению написаний и еще раз переработать проект с учетом поступивших критических замечаний (хотя среди критиков проекта были и такие, кто упрекал авторов именно в недостаточной решительности в устранении орфографических трудностей).

Тем самым вопрос об утверждении и принятии новой редакции «Правил русской орфографии и пунктуации» пока остается открытым.

II

Как же развивалась теория русской орфографии на фоне рассмотренных событий? Описание орфографии тесно связано с описанием фонетической системы языка и существенно зависит от того, на какую фонетическую теорию опирается исследователь, от его «лингвистического мировоззрения» (по выражению Р. И. Аванесова). В становлении теории русского письма XX в. можно выделить два этапа — дофонологический и фонологический [Кузьмина 1981].

Родоначальником фонологии, прародителем фонемы и фонологии, по выражению А. А. Реформатского, был И. А. Бодуэн де Куртенэ. Датой рождения фонологии М. В. Панов считает 1881 г., год появления статьи Бодуэна де Куртенэ «Некоторые отделы сравнительной грамматики славянских языков», заложившей основы функциональной фонетики — фонологии [Бодуэн де Куртенэ 1963]. Бодуэн первый стал изучать звуки «по отношению их к значению слова», по их роли «в механизме языка», то есть в системе языка. Он первый установил, что позиционно чередующиеся звуки (дивергенты, по его терминологии) не могут быть полноценными различителями смысла слов, и поэтому их «следует обобщать в фонемы». При этом одной фонеме могут соответствовать физически совершенно разные звуки.

Впоследствии Бодуэн отошел от того понимания фонемы, которое он развивал в статье 1881 г., по выражению М. В. Панова, «ставил (<...> теоретическую вершину», которой достиг в прежних работах [Панов 1979]. И развитие русской фонологии (и соответственно теории орфографии) пошло по двум руслуам. Из взглядов Бодуэна 1881 г., из понимания фонемы как ряда звуков, позиционно, вынужденно распределенных, взаимоисключенных в одной позиции, выросла Московская фонологическая школа (МФШ); из более поздних его взглядов, из понимания фонемы как «произносительно-слухового представления» — Ленинградская фонологическая школа (ЛФШ), обобщающая звуки в фонемы по принципу их акустико-артикуляторной близости. Соответственно, различное описание получает и орфография.

М. В. Панов писал: «Именно потребность в теории письма была важнейшим стимулом в создании фонологии. В рассуждениях о русском письме нередко букве давалось такое определение, которое скорее могло быть

отнесено к фонеме» [Панов 1965: 17]. Можно говорить и об обратном воздействии: в XX в. именно благодаря появлению фонологии происходит скачок в развитии теории письма.

1. В начале XX в. идет интенсивное теоретическое осмысление основ русского письма, обусловленное назревшей необходимостью его упрощения. На выступлениях в Орфографической комиссии и в научных работах обсуждались вопросы об основаниях действующей орфографии и о том, на каких принципах следует строить новую, реформированную орфографию. Таким образом, кодификаторская деятельность носила не только характер уточнения норм, но и их установления — речь еще могла идти о возможности изменения главного принципа орфографии. Были сторонники традиционной орфографии, отражающей историю языка (А. И. Томсон), фонетической (Р. Брандт) и сторонники морфологической орфографии (Д. Н. Ушаков). В описании орфографии в начале века еще господствует дофонологический подход, то есть фонетической единицей, подлежащей обозначению буквой, считается звук, точнее, звукотип.

Исследователи видели, что русское письмо не передает реально произносимых звуков, и, пытаясь осмыслить принцип этой «непередачи», прибегали к образным, описательным формулировкам. Например, подкомиссия 1904 г. «полагала необходимость строго придерживаться *господствующего* и в нынешнем правописании *этимологического начала*, в силу коего обозначение согласного звука <...> не отражает в письме тех изменений, которым этот звук подвергся в произношении» [Предварительное сообщение 1904]. Как видно из формулировки, под этимологией понимались не исторические, а синхронные, внутрисистемные отношения между звуками. Д. Н. Ушаков в своей книге «Русское правописание», первое издание которой вышло в 1911 г., рассматривает сравнительное достоинство различных принципов русского правописания: фонетического, традиционно-исторического и *этимологического*, который он называет «главным устоем», основой русского правописания. При этом он оговаривает, что имеет в виду «живую этимологию», разъясняя ее суть так: написания «поддерживаются произношением родственных слов» [Ушаков 1917: 74]. Он был убежден, что именно на основе этого принципа, который в начале века называли также морфологическим, должно достигаться единообразное правописание.

Бодуэн де Куртенэ формулирует основной принцип русской орфографии (называя его морфологическим), фактически опираясь на понятие сильной и слабой фонетической позиции: «в местах зависимого произношения применяются графемы, заимствованные от мест произношения независимого» [Бодуэн де Куртенэ 1912: 81]. Эта формулировка предвосхищает определение ведущего принципа русского письма как фонологического, или фонематического, Московской фонологической школой, сложившейся в 30-е гг.

Проект 1904 г. строился на четких теоретических основаниях. «Фортуналов следовал своему принципу: нельзя языку (в том числе письменному)

навязывать его прошлое: письмо должно отвечать своему синхронно данному статусу» [Панов 1995: 21]. Ф. Ф. Фортунатов и его единомышленники стремились сделать письмо более последовательным. Господствует мнение, что реформа начала века коснулась только алфавита: устранила лишние буквы. Однако графические изменения отразились на орфографии: резко уменьшилось число традиционных написаний, не основанных на живом языке (примеры см. в части I). К сожалению, проекту, разработанному в 1904 г. и отраженному в «Предварительном сообщении» подкомиссии, не суждено было, как мы видели, полностью реализоваться.

У истоков современной теории русского письма, как уже было сказано, стоит И. А. Бодуэн де Куртенэ. В своей книге «Об отношении русского письма к русскому языку» он первый выделил в учении о письме три раздела: алфавит, графику, орфографию, и это разделение прочно вошло в лингвистику, хотя до сих пор основания, положенные им в основу разграничения этих понятий, толкуют по-разному (подробнее о сдвиге в определении графики и орфографии и противоречиях, вытекающих из этого сдвига, см. [Кузьмина 2000]). Теория письма Бодуэна де Куртенэ служит научной базой для оценки действующих правил и дает ключ к усовершенствованию орфографии. Так, разрабатывая теорию алфавита, описывая отношения между графемами и фонемами, Бодуэн доказал, что к сочетаниям согласных *ц, ж, ш, ч, щ* с гласными «неприменим принцип русской графики, которому мы обязаны противопоставлением букв *у — ю, а — я, э — е, о — е (ё), ы — и...*» [Бодуэн де Куртенэ 1912:115]. Это значит, что при разработке предложений по усовершенствованию орфографии вполне закономерно можно ставить вопрос об отказе от написания буквы *ё* после непарных по твердости-мягкости согласных, буквы *ю* (в случае типа *парашиют, брошюра*), а также от написания после *ц* буквы *ы*.

2. В 30-е гг. складывается Московская фонологическая школа (МФШ). Ее создатели — Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский — сделали, по выражению М. В. Панова, сильную бодуэновскую прививку традиции московской (фортунатовской) лингвистической школы, внося в нее теорию фонем Бодуэна де Куртенэ. МФШ основывается на том, что разные по своей акустической и артикуляционной природе звуки могут составлять функциональное единство (фонему), если они взаимоисключены в одной фонетической позиции и тем самым не несут разной функциональной нагрузки. МФШ по-новому трактует вопросы письма, в том числе имеющие отношение к его кодификации: требования, предъявляемые к алфавиту, оценка слогового принципа русской графики, главный принцип буквенной передачи звукового состава слов.

Н. Ф. Яковлев, труды которого сыграли «большую роль в укреплении взглядов Московской фонологической школы» [Реформатский 1970: 16], создал теорию алфавита. Он преодолел эмпирический подход к решению вопроса о соотношении букв и звуков и дал точные критерии оценки алфа-

вита. При фонологическом подходе считалось, что число букв в алфавите должно соответствовать числу звуков, что каждая буква должна передавать лишь один, и при этом один и тот же звук. Н. Ф. Яковлев показал, что «в практическом письме необходимо и достаточно выражать с помощью особых букв или иным способом все существующие в данном языке фонемы». Н. Ф. Яковлев обосновал законность и преимущества слогового принципа русской графики и предложил положить его в основу рационального, наиболее экономного в отношении числа букв алфавита [Яковлев 1970].

Важным шагом в развитии теории русского письма на основе Московской фонологической школы была статья Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка» [Аванесов, Сидоров 1930]. Появление ее было откликом на «беспринципный и полипринципный», по словам А. А. Реформатского, проект реформы русской орфографии, вошедший в историю кодификации русского письма как проект Главнауки. Основной дефект этого проекта авторы статьи видят в «отсутствии принципиальной точки зрения на письменный язык и его соотношение с языком устным, в связи с чем должен быть разрешен вопрос о принципах рациональной орфографии» [Аванесов, Сидоров 1930: 149]. В статье они обосновывают фонологический принцип русской орфографии (впервые, как мы видели, его сформулировал Бодуэн де Куртенэ, не прибегая к терминам «фонемный», «фонологический» или «фонематический») и со всей определенностью говорят: «При фонологическом письме соответствие между буквой и звуком отсутствует» (поскольку на письме не передаются позиционные изменения звуков). «Передавая фонемы, а не звуки, фонологическое письмо осуществляет единство в написании морфемы» [Там же: 150, 152].

Эту же особенность русского письма — необозначение чередования звуков под влиянием позиции — другая отечественная школа — Ленинградская фонологическая школа (Л. В. Щерба, А. Н. Гвоздев, Л. Р. Зиндер, В. Ф. Иванова, Б. И. Осипов), обобщающая звуки в фонемы по принципу их акустико-физиологической близости, описывает в терминах морфологического принципа (поскольку русское письмо обеспечивает единообразную передачу морфем). Однако трактовка главного принципа как предписывающего единообразную передачу морфем не дает ответа на вопрос, как достигается это единообразие. Кроме того, при таком описании неизбежно указание на пределы действия морфологического принципа — на отступления от единообразной передачи морфем в случае морфонологических чередований, тогда как определение фонематического принципа как такого, при котором буквами передаются фонемы, самодостаточно и не требует никаких ограничений. «Именно фонологическая теория Московской школы дала возможность объяснить устройство современной русской орфографии более точно и компактно, чем это могли сделать ученые, вынужденные (до появления фонологии) оперировать только понятиями фонетического и морфологического принципов» [Булатова 1969: 65]. Фонематический принцип

дает прямой ответ на вопрос, который в теории письма является главным: каким незнаковым единицам русского языка соответствуют буквы. Эти единицы — фонемы.

Позднее было доказано, что фонографическое, или звукобуквенное, письмо, каким является русское, может быть построено только на одном из двух принципов: либо на фонематическом, либо на фонетическом. В статье И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова, написанной во время широкого обсуждения проектов свода правил русского правописания, было показано, что «письмо, строящееся на соотношении с современным ему устным языком, может соотноситься или с фонемами языка, или со звуками речи. Иного типа соотношений со звуковой системой практически быть не может. (...) Написания, оказавшиеся вне таких соотношений, образуют тот остаток, который как несоотнесенный с современной системой языка может получить только историческое истолкование» [Ильинская, Сидоров 1952: 12].

3. Сильным стимулом для теоретического осмысления русской орфографии послужила работа Орфографической комиссии 1963—1964 гг., под предложения которой была подведена основательная теоретическая и экспериментальная база. Было выпущено несколько сборников с научной разработкой трудных вопросов правописания [Вопросы 1964; Проблемы 1964; О современной русской орфографии 1964]. Особое значение имеет выход в свет уникальной книги «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.)», написанной под руководством и при участии М. В. Панова [Обзор 1965]. Книга представляет собой полный свод предложений по усовершенствованию русского письма, которые были высказаны за два с половиной века, она снабжена научно аргументированными доводами за и против каждого из высказанных предложений и большой библиографией. Эта книга служит фундаментом дальнейшей кодификаторской деятельности в области орфографии.

Для решения поставленной перед комиссией задачи усовершенствования русской орфографии важно было выявить случаи нарушения ее главного принципа и представить перечень орфограмм, написание которых может быть изменено в сторону более последовательного его проведения. С позиций МФШ М. В. Панов в статье 1963 г. рассмотрел все возможности усовершенствования русской орфографии на пути более последовательного проведения ее главного, фонематического, принципа. Однако это не значит, что он признает целесообразным всякое нефонематическое написание заменить фонематическим. Он выдвигает ряд критериев, которые следует учитывать при оценке предлагаемого орфографического новшества, и среди них называет усиление или ослабление различительной силы буквенного знака (и, соответственно, уменьшение или возрастание его энтропии). В статье дается примерный алгоритм, «показывающий порядок включения отдельных критериев, узаконивающих новшество» [Панов 1963: 86].

Важное значение имеет разработка М. В. Пановым культурно-исторического подхода к решению вопросов усовершенствования орфографии. Он обосновал, что такой подход означает не запрет на изменения, а необходимость оценки того, не навредит ли орфографическое новшество уже имеющимся старым текстам [Панов 1974]. «Введение нового правописания не должно омертвить огромные книжные богатства, накопленные за десятки лет» [Там же].

4. Что касается комиссии 1973—1975 гг., то она, как уже говорилось, опиралась на теоретические разработки комиссии 1963—1964 гг. В сборнике [Нерешенные вопросы 1974] получили отражение ставшие в 70-е гг. актуальными вопросы слитного-дефисного написания сложных слов, а также новых препозитивных элементов типа *мини*, *макси*, *миди* и другие вопросы русского правописания.

5. Предстоит тщательное изучение результатов работы последней Орфографической комиссии над проектом новой редакции свода правил русской орфографии и пунктуации. Осмысление опыта многолетней работы поможет избежать ошибок при последующих попытках коррекции действующих правил. Осталось много вопросов, требующих дальнейшей разработки теории эволюции письменной нормы.

Должны быть сформулированы важнейшие принципы кодификаторской деятельности. Приоритетным, самым сильным общим принципом, по всей видимости, следует признать парадоксальный на первый взгляд принцип *невнесения* изменений: менять написание следует в самом крайнем случае, лишь тогда, когда нельзя не менять. В иерархии критериев оценки конкурирующих вариантов этому критерию в силу приоритета устойчивости орфографии должен быть присвоен самый высокий индекс. Другой важный общий принцип, по нашему мнению, заключается в недостаточности рационалистического подхода: безукоризненность теоретического обоснования новшества в правописании абсолютно необходима, но недостаточна для внесения его в список предлагаемых изменений. Этот принцип, как и принцип *невнесения* изменений, определяется особым историко-культурным положением письма в обществе. Одним из надежных критериев неизбежности орфографических изменений является *бездействие правила*, регулярное *несоблюдение* его в практике письма и печати.

Наблюдения над кодификацией русской орфографии в XX в. позволяют извлечь некоторые предварительные уроки.

— Необходима разработка стратегии и тактики проведения орфографических изменений.

— В нормализаторской деятельности в области орфографии наряду с чисто языковыми факторами не меньшую роль, а может быть и большую,

играют факторы экстралингвистические: социальные, политические, культурные, психологические.

— Совпадение по времени реформ письма и значительных событий в жизни общества не случайно, переломный момент в жизни общества — фактор успешного осуществления преобразований в орфографии. Социальные потрясения, вызывая, с одной стороны, сопротивление по отношению к реформе письма, с другой стороны, способствуют ее осуществлению: общество как бы настраивается на кардинальное решение проблем — не только социальных и экономических, но и культурно-исторических.

— Период подготовки и теоретического осмысления орфографических изменений всегда длится очень долго. Даже когда в письме накопилось много искусственных, не соответствующих живому языку написаний и вопрос об орфографии становится большим, — даже тогда оперативное решение оттягивается и откладывается.

— Сторонниками и инициаторами усовершенствования орфографии всегда выступают преподаватели: простая в усвоении орфография нужна прежде всего обучающимся, а также защищающим их интересы учителям.

— Любая попытка внести изменения в орфографию встречает ожесточенное сопротивление общества, которое предпочитает пусть нелогичное, но привычное написание.

— Вместо «всенародного обсуждения» проектов упорядочения орфографии необходима работа по «просвещению» общества, по повышению его языковой и лингвистической культуры: неприятие даже малейших орфографических изменений в большой степени связано с непониманием взаимоотношений между языком и письмом, с неправомерным отождествлением этих понятий.

— Необходимо продолжать разработку теории эволюции орфографии.

Литература

Аванесов, Сидоров 1930 — Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров. Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка // РЯШ. 1930. № 4. С. 110—118.

Бодуэн де Куртенэ 1912 — И. А. Бодуэн де Куртенэ. Об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 1912.

Бодуэн де Куртенэ 1963 — И. А. Бодуэн де Куртенэ. Некоторые отделы сравнительной грамматики славянских языков // И. А. Бодуэн де Куртенэ. Избр. тр. по общему языкознанию. Т. II. М., 1963. С. 118 —126.

Букчина и др. 1969 — Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая, Л. К. Чельцова. Письма о русской орфографии. М., 1969.

Букчина 1974 — Б. З. Букчина. «Правила русской орфографии и пунктуации» (1956 г.) и орфографическая практика // ИАН СЛЯ. 1974. Т. 33. № 1. С. 44—52.

Букчина, Калакуцкая 1974 — Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. Сложные слова. М., 1974.

- Булатова 1968 — Л. Н. Булатова. Еще раз об основном принципе русской орфографии // ВЯ. 1969. № 6. С. 64—72.
- Виноградов 1964 — В. В. Виноградов. О необходимости усовершенствования нашего правописания // Вопросы русской орфографии. М., 1964. С. 5—22.
- Вопросы 1964 — Вопросы русской орфографии. М., 1964.
- Григорьева 1996 — Т. М. Григорьева. Русское письмо: от реформы графики к реформе орфографии. Красноярск, 1996.
- Еськова 1966а — Н. А. Еськова. Коснемся истории // Орфография и русский язык. М., 1966. С. 57—96.
- Еськова 1966б — Н. А. Еськова. О написании *нн-н* в полных формах страдательных причастий и соотносительных прилагательных // Вопросы культуры речи. 1966. № 7. С. 122—135.
- Ильинская, Сидоров 1952 — И. С. Ильинская, В. Н. Сидоров. Современное русское правописание // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Т. XX. Вып. 2. М., 1952. С. 3—40.
- Истрин 1988 — В. А. Истрин. 100 лет славянской азбуки. М., 1988.
- Крючков 1952 — С. Е. Крючков. О спорных вопросах современной русской орфографии. М., 1952.
- Кузьмина 1981 — С. М. Кузьмина. Теория русской орфографии: Орфография в ее отношении к фонетике и фонологии. М., 1981.
- Кузьмина 1998а — С. М. Кузьмина. Орфографическая комиссия 90-х годов и новая редакция свода правил русского правописания // Язык: изменчивость и постоянство: К 70-летию Л. Л. Касаткина. М., 1998. С. 185—192.
- Кузьмина 1998б — С. М. Кузьмина. К проблеме кодификации слитных-дефисных написаний сложных прилагательных // Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998. С. 202—211.
- Кузьмина 2000 — С. М. Кузьмина. Теория русского письма И. А. Бодуэна де Куртенэ в современной науке и в школе // Бодуэн де Куртенэ. Ученый. Учитель. Личность. Красноярск, 2000. С. 114—119.
- Кузьмина 2002 — С. М. Кузьмина. Реформа или новая редакция? (о новой редакции свода правил русской орфографии) // Отечественные записки. 2002. № 1. С. 171—176.
- Кузьмина, Лопатин 1996 — С. М. Кузьмина, В. В. Лопатин. Принципы и задачи «Свода правил русского правописания (новая редакция)» // Русистика сегодня. 1996. № 1. С. 88—102.
- Лопатин 2001 — В. В. Лопатин. Русская орфография: задачи корректировки // Новый мир. 2001. № 5. С. 136—146.
- Лопатин 2002 — В. В. Лопатин. Новая редакция правил русского правописания: реальности и мифология // Общественные науки и современность. 2002. № 3. С. 172—180.
- Нерешенные вопросы 1974 — Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974.
- Обзор 1965 — Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.). М., 1965.

Обнорский 1934 — С. П. Обнорский. Русское правописание и язык в практике издательств // ИАН СЛЯ. 1934. № 6.

О современной русской орфографии 1964 — О современной русской орфографии. М., 1964.

Панов 1963 — М. В. Панов. Об усовершенствовании русской орфографии // ВЯ. 1963. № 2. С. 81—93.

Панов 1965 — М. В. Панов. Принципы русской графики и орфографии: Историческая справка // Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.). М., 1965. С. 15—21.

Панов 1974 — М. В. Панов. О культурно-историческом подходе к орфографии // Исследование по славянской филологии. М., 1974. С. 247—255.

Панов 1979 — М. В. Панов. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

Панов 1995 — М. В. Панов. Московская лингвистическая школа. 100 лет // Русистика сегодня. 1995. № 3. С. 5—37.

Правила 1956 — Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956.

Предварительное сообщение 1904 — Предварительное сообщение орфографической подкомиссии. СПб., 1904.

Предложения 1964 — Предложения по усовершенствованию русской орфографии. М., 1964.

Проблемы 1964 — Проблемы современного русского правописания. М., 1964.

Реформатский 1970 — А. А. Реформатский. Зарождение Московской фонологической школы // А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970. С. 12—34.

Свод 2000 — Свод правил русского правописания. Орфография. Пунктуация. Проект. М., 2000.

Ушаков 1917 — Д. Н. Ушаков. Русское правописание: Очерк его происхождения, отношения его к языку и вопроса о его реформе. 2-е изд., доп. М., 1917.

Ушаков 1993 — Д. Н. Ушаков. О современном русском правописании // Русская речь. 1993. № 1. С. 73—76.

Чернышев 1970 — В. И. Чернышев, Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов — реформаторы русского правописания (по материалам архива Академии наук СССР и личным воспоминаниям) // В. И. Чернышев. Избр. тр.: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 557—652.

Яковлев 1970 — Н. Ф. Яковлев. Математическая формула построения алфавита (опыт практического приложения лингвистической теории) // А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970. С. 123—148.

Е. В. ПАДУЧЕВА

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КАК ПАРАМЕТР ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА*

Не сравнивай: живущий несравним...

О. Мандельштам

В данной работе мы развиваем такой подход к семантике лексики, когда в слове выявляются в первую очередь те аспекты значения, которые связывают его с другими. В рамках этого подхода удалось выявить целый ряд параметров лексического значения, т. е. признаков, по которым слова объединяются в большие классы — так, что слова одного и того же класса имеют нетривиальные сходства в языковом поведении. Для глагола такими параметрами являются: таксономическая категория; тематический класс, иначе — семантическое поле; актантная структура и диатеза; категориальная предпосылка, т. е. таксономический класс участника (участников), см. [Падучева 2000]. Данная работа посвящена таксономическим категориям глагола.

§ 1. От классов глаголов по Вендлеру к таксономическим категориям

До наступления эпохи толкований с ее ориентацией на семантическое разложение слова семантический анализ лексики в существенной степени опирался на классификации. Одна из наиболее влиятельных — классификация глаголов, предложенная З. Вендлером [Vendler 1967], которая стала таковой в особенности после того, как была осознана ее аспектуальная значимость (в работах [Miller 1970; Mehlig 1981; Булыгина 1982] и др.). В [Lakoff, Johnson 1980] вендлеровские классы были подняты до уровня онтологических категорий. Мы будем, для простоты, говорить о таксономических категориях.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 02-04-00294а) и РФФИ (грант № 01-06-80419).

Вендлер — видимо, следуя философской традиции, — интересовался только глаголами с субъектом-лицом. Поэтому из его поля зрения выпала агентивность (контролируемость): противопоставление действий «происшествиям» (этот удачный перевод для англ. *happening* из [Wierzbicka 1980: 177] предложен в [Булыгина 1982]) у него не выявлено; неконтролируемые процессы и переходы среди его примеров почти не фигурируют. Это упущение было восполнено в классификации, предложенной в [Dik 1978], где контроль составляет отдельный различительный признак.

Понятие контроля и различие контролируемой и неконтролируемой каузации сделало более выпуклой роль каузации в семантической структуре глагольной лексемы. После чего естественно было соединить аспектуальную классификацию по Вендлеру и классификацию, основанную на ролевых характеристиках глаголов, вытекающую из работ Филлмора о семантическом падеже: Филлмор противопоставил субъекта-Агенса, т. е. целеполагающего Каузатора, природным силам, инструментам и событиям. Возникла таксономия, в которой нашлось место для категории действие (отсутствующей у Вендлера): действия были противопоставлены происшествиям и процессам. Именно действие, будучи основной, прототипической категорией глагола, не позволяет рассматривать аспектуальные классы отдельно от классов агентивности.

Аспектология долгое время была главной областью применения глагольных категорий [Mehlig 1981; Булыгина 1982; Падучева 1996]. Новое применение нашли категории в связи с регулярной многозначностью [Апресян 1974]. Предлагаемое нами средство «борьбы» с регулярной многозначностью — параметризация значения и выявление параметров, которые легко меняют свое значение. К числу таких параметров, как выяснилось, принадлежит и таксономическая категория (Т-категория). Например, глагол *закрывать* (как и масса ему подобных) может обозначать действие (*закрывает кастрюлю крышкой*), процесс (*тучи постепенно закрывают небо*) и состояние (*эта шляпа закрывает мне экран*).

На определенном этапе развития семантики возник вопрос: какова роль семантических классификаций в эпоху «радикальной» семантики, нацеленной на семантическое разложение (декомпозицию) значения? Как известно, у Вендлера подход к таксономическим категориям глаголов чисто сочетаемостный: необходимость в различении состояний (states), деятельностей (activities), достижений и, шире, действий с акцентом на результате (achievements), а также предельных действий (accomplishments) он обосновывает тем, что глаголы этих классов по-разному сочетаются с обстоятельствами времени и с видом глагола.

В работах Анны Вежицкой таксономическая категория глагола впервые была поставлена в связь с его форматом толкования: было показано, что состояния, деятельности, действия с акцентом на результате и предельные действия имеют разную «формулу» толкования [Wierzbicka 1980: 181].

Тем самым категории получили собственно семантическое, а не только сочетаемостное обоснование.

В формальной семантике (т. е. семантике Монтэгю) связь между категорией и форматом толкования была намечена в [Dowty 1979: 124]. Легко усматриваются следующие терминологические соответствия (слева термины из [Dowty 1979], справа — из [Wierzbicka 1980; Булыгина 1982; Падучева 1996]):

- Non-agentive Accomplishments — происшествия (как *упасть*);
- Intentional Agentive Accomplishments — действия (как *убить*);
- Non-Intentional Agentive Accomplishments — происшествия с действующим субъектом (как *уронить*)¹;
- Stative Causatives — предрасположения (иначе — диспозиции), как в *Кофе возбуждает, Его чрезмерная активность меня настораживает*;
- Simple Achievements (как в *найти решение*) — достижения и действия с акцентом на результате.

В § 3 мы проследим более подробно связь вендлеровских и поствендлеровских категорий с форматированными толкованиями и покажем, какое место нашли себе таксономические категории в «радикальной» семантике.

§ 2. Таксономическая категория как параметр лексического значения

Итак, таксономическая категория глагола объединяет два противопоставления, связанные между собой, — аспектуальный класс по Вендлеру и агентивность (т. е. контролируемость, намеренность). Различаются, в частности, категории: действие (*вычислить, открыть*), деятельность (*гулять, прыгать*), процесс (*кипеть*), состояние (*голодать*), происшествие (*уронить, испугать*), тенденция (*задышаться; задыхаюсь* ≈ ‘если так пойдет, то задохнусь’), свойство (*хромать, расплываться*), соотношение (*совпадать, превосходить*), предстояние (как в *его назначают бригадиром*), предрасположение, иначе — диспозиция (*подавлять, настораживать, впечатлять*) и др., см. [Падучева 1996]. Действие и деятельность — агентивные категории; остальные категории неагентивные.

Категория может быть в разных употреблении глагола разной; например, *соединять* может быть действием (*Соедините концы веревки*) и свойством/соотношением (*Дорога соединяет Ферантово с Вологдой*); глагол *напомнить* (см. [Postal 1970] об англ. *remind* и [Туровский 1991] о *напомнить*) может обозначать действие и происшествие:

¹ Буквальный перевод дает словосочетание «ненамеренная агентивность», которое представляется внутренне противоречивым, поскольку намеренность — главный обязательный признак Агенса.

- (1) а. Она *напомнила* мне, что завтра выходной [действие];
 б. Бой часов *напомнил* мне, что пора уходить [происшествие].

Глагол *стучать* в контексте субъекта-лица обычно обозначает действие, направленное на достижение определенной цели, а если субъект — природная сила или событие, этот же глагол обозначает процесс, т. е. меняет категорию:

- (1') а. человек *стучит* в окно [действие]; б. дождь *стучит* в окно [процесс].

Впрочем, как показывают примеры (2а)—(2в), глагол с субъектом-лицом может обозначать не действие, а происшествие:

- (2) а. Я *порвал* пиджак, зацепившись за гвоздь [происшествие: каузативное; подлежащее обозначает субъекта ответственности];
 б. Во время строительных работ Иван *выкопал* снаряд [происшествие: каузативное; с действующим субъектом; результат не является достижением его заранее поставленной цели];
 в. Ребенок *упал* в канаву; Вера чудом *избежала* ареста [происшествие: не каузативное].

Два значения слова могут различаться только или почти только категорией:

- (3) а. Я *застал* его на даче [действие: ‘X прибыл в Место W с целью войти в контакт с Y-ом, когда Y еще был в W’];
 б. Война *застала* его в Ленинграде [происшествие: ‘произошло событие, касающееся Y-а, когда Y находился в Месте/состоянии W’].
 (4) а. Он *скрыл* свое настоящее имя [действие];
 б. Туман *скрыл* долину [происшествие].
 (5) а. Кони *звенят* уздечками [процесс];
 б. Эти бокалы приятно *звенят* [свойство].
 (6) а. Шина *спустила* [происшествие];
 б. Шина *спускает* [свойство].
 (7) а. Он мужественно *плыл* против течения [деятельность];
 б. По реке *плывет* бревно [процесс].

Во фразе *Собака кусается* глагол *кусаться* обычно трактуется как свойство. Однако в контексте *Ну что ты кусаешься!* тот же глагол обозначает деятельность.

Мена категории — это категориальный сдвиг. Категориальный сдвиг происходит, например, при деагентивации (см. [Падучева 2001]):

- (8) а. Машинист *увеличил* скорость [действие];
 б. Возникшее чувство вины *увеличило* ее страдания [происшествие].

Как и другие параметры лексического значения (тематический класс, диатеза и таксономический класс участника), категория различает, с одной стороны, разные значения одного слова, а с другой — разные слова. Примеры близких по смыслу слов, у которых значения различаются категорией:

есть [действие] — *питаться* [занятие], пример из [Булыгина 1982];
красть [действие] — *воровать* [занятие].

У глаголов *дотронуться* и *коснуться* парный НСВ имеет разные категории: *дотрагиваться* — действие, а *касаться* — состояние.

Из таксономической категории глагола вытекает масса полезных следствий в аспектуальном плане (см. [Падучева 1996: 103]). Так, категория предопределяет:

— наличие видового коррелята и его семантический тип:

- (9) а. *огласить* — *оглашать* [действие];
 б. *гласить* [соотношение; нет парного СВ];

— полноту/неполноту парадигмы видовых значений:

- (10) а. *выступил* — *выступает* ансамбль [действие, есть актуальное значение у НСВ];
 б. подбородок *выступает* [статив, нет актуального значения];

— способность мотивировать маркированные способы действия; глаголы, обозначающие деятельность, обычно имеют производный делимитатив и инхоатив, а для других категорий это не обязательно (например, для процессов) или невозможно, см. в [Апресян 1988] об отсутствии делимитативов и инхоативов у моментальных глаголов):

- (11) а. *глядеть* [деятельность] — *поглядеть* [в одном из значений — делимитатив];
 б. *видеть* [состояние; нет делимитатива].

Таксономическая категория скоррелирована с актантажной структурой; так, участник Агенс может быть только у глагола действия.

Агентивность отражается на многих аспектах языкового поведения глагола. Например, пассивная конструкция в русском языке гораздо более продуктивна для агентивных глаголов (ср. *обнаружил* и *был обнаружен*), чем для стативных (ср. *увидел* и **был увиден*) [Апресян 2002].

Отметим связь агентивности глагола с актантажной структурой отглагольного имени. Есть общее правило, состоящее в том, что при номинализации переходного глагола объекту соответствует генитив, а субъект может быть выражен творительным падежом (*разгром Новгорода Иваном Грозным*). Известные исключения, когда объекту не соответствует генитив, типа *любить брата* — *любовь к брату*, долгое время не вызывали желания дать им объяснение. Между тем сейчас очевидно, что конфигурация, включающая генитив и твор. падеж, свойственна только агентивным глаголам; для глаголов эмоции (типа *испугать*, *развлекать*), несмотря на переходность, такая диатеза невозможна (см. [Dowty 1991; Rozwadowska 1997]).

Изменение Т-категории может сопутствовать мене диатезы глагола (см. [Падучева 2002]). Отличив в одном из производных значений *резать* диатетический сдвиг от категориального, мы получаем два «чистых» соотноше-

ния. В примере (12) глаголы в (а) и (б) различаются диатезой: в (а) участник Инструмент имеет ранг Периферия, а в (б) он субъект; но также и категорией — в (а) глагол обозначает действие, а в (б) — свойство.

(12) а. повар *режет* мясо острым ножом; б. нож *режет* хорошо.

Аналогично:

(13) а. вода *течет* в лодку [процесс];
б. лодка *течет* [свойство].

(14) а. человек *смотрит* в окно [деятельность];
б. окна *смотрят* на юг [свойство/соотношение].

Объектом классификации у Вендлера были глаголы. Между тем принадлежность к классу зависит не только от семантики глагола, но и от статуса актантов (см. [Dowty 1991; Filip 1999]): *ловить бабочку* <эту> [действие] — *ловить бабочек* [деятельность]; *камни заваливают вход* [процесс] — *камень заваливает вход* [состояние] (см. [Падучева 1996: 98]).

Интересное явление можно продемонстрировать на примере глагола *оставить*. В отрывке *Однажды я попытался заглянуть в книгу, оставленную им на столе* неясно, сознательно или нечаянно была оставлена книга; продолжение — *он вырвал ее у меня из рук* (Короленко, цит. по МАС) — показывает, что нечаянно. Но семантика глагола *оставить* должна быть описана безотносительно к контролируемости. Неоднозначность здесь такого же типа, как у глагола *загнеть*, описанного в [Апресян 1974: 177]. Очевидно, для *оставить* требуется отдельная категория — каузация состояния (категория каузация процесса введена в [Падучева 1998] для категориальной идентификации глаголов звука).

Итак, таксономическая категория оказалась у многих глаголов подвижной. Так что достаточно часто категория является не признаком слова, а параметром, который принимает у разных его лексем разное значение. В силу изменчивости таксономической категории у слова возникает категориальная парадигма.

В [Падучева, Розина 1993] была описана категориальная парадигма глаголов контакта с поверхностью, таких как *залить*, *наполнить* (близкий класс — глаголы присоединения — описывается в [Гаврилова 1975]):

	НСВ	СВ	Пример
действие	+	+	Сторож <i>наполняет/наполнил</i> бассейн водой
процесс	+	+	Вода постепенно <i>наполняет/наполнила</i> бассейн
состояние	+	–	Вода <i>наполняет</i> бассейн до краев

Итак, необходимость в понятии таксономической категории не вызывает сомнений. Подчеркнем независимость Т-категории от тематического класса. Состояния могут быть физическими, физиологическими, эмоциональ-

ными, ментальными и т. д.; например, у глаголов *голодать* и *радоваться* одна Т-категория, но разные тематические классы: *голодать* — сфера физиологии, *радоваться* — эмоция. С другой стороны, ментальные глаголы могут быть действиями, состояниями, происшествиями: глаголы *выбирать* и *предпочитать* принадлежат к одному тематическому классу, но имеют разные Т-категории: *выбирать* — действие, *предпочитать* — состояние.

§ 3. К формальному представлению значения слова. Толкование Т-категории

Вопрос о Т-категориях возникает в связи с проблемой формализованного представления значения слова. Дело в том, что категория глагола — это не просто один из параметров лексического значения, а параметр, определяющий всю структуру толкования. Таксономическая категория играет такую же важную роль для семантики слова, как часть речи — для грамматики.

В рамках проекта «Лексикограф» (см. [Кустова, Падучева 1994]) был разработан вариант формализованного представления значения глагольных лексем: толкования в системе «Лексикограф» имеют определенный формат. Необходимость в форматировании толкований объясняется несколькими разными причинами.

Во-первых, просто тем, что в основе системы «Лексикограф» лежит база данных. Формат нужен потому, что толкования разных слов должны быть сопоставимы.

Во-вторых — в связи с проблемой многозначности. Слово имеет много близких друг к другу значений — семантических дериватов исходного значения. По отношению к формализованным представлениям значений можно говорить о моделях (общих правилах) преобразования исходного значения в производное: к формальному объекту применимы простые операции, типа замещения, перемещения и опущения частей, занимающих определенное место в структуре.

Идея представления лексического значения в таком виде, при котором над ним можно производить формальные операции, сейчас получила широкое распространение, взять хотя бы квазилогические формулы в [Jackendoff 1990]. Характерное название имеет статья [Levin, Rappaport Novav 1998]: «Building verb meanings»; статья посвящена возможности построения одних значений многозначного слова из других; в ней тоже используются форматированные толкования.

Наконец, в-третьих, и это для нас главное, формат может рассматриваться как истолкование таксономической категории — ее вклада в семантику лексемы.

З а м е ч а н и е. Форматированные толкования используются в [Wierzbicka 1987], где семантические компоненты идентифицируются как значения признаков исходная предпосылка, диктум и иллюкутивная цель. Цель формати-

рования у А. Вежбицкой — отразить общность структуры толкования у глаголов одного тематического класса (у глаголов речи), т. е. формат эксплицирует семантику тематического класса. Наше форматирование ориентировано на семантику таксономической категории.

3.1. Компоненты толкования как значения признаков

Толкование в системе «Лексикограф» — это последовательность отдельных синтаксически независимых компонентов предикативной структуры, аналогично толкованиям в [Wierzbicka 1987] или [Goddard 1998] (структурные связи между компонентами выражаются выстраиванием их в последовательность и разного рода пометами), ср. синтаксически связанные толкования в ТКС. Семантические компоненты — это элементарные составляющие смысла. Примеры компонентов: ‘X перемещается’; ‘Y действует с целью’; ‘идет процесс в X-е’.

Каждый компонент является значением какого-то признака, например: экспозиция, способ (деятельности), каузация, результат, цель. Так, цель — одно из различий между двумя значениями глагола *заслонить*, ср. ‘заслонить кого-то от вредного воздействия’ и ‘заслонить кому-то что-то’. Два значения глагола *укрыться* — *укрыться* чем? и *укрыться* куда? — различаются целью; третье (по МАС) значение *укрыться*, как в контексте *от меня не укрылось, что...*, относится к категории происшествий, и цель тут неуместна.

В толковании леммы различается категориальный каркас и семантическое ядро (т. е. лексический инвариант — примерно то, что в [Levin, Rappaport Novav 1998] называется «константа»). При категориальных сдвигах ядро остается неизменным. Например, у глагола *резать* семантическое ядро — ‘давить твердым предметом, имеющим острый край’. Ядро представлено в полном виде в контекстах типа *папа режет хлеб*, где категория у *резать* — действие, имеющее результат, но сохраняется и в контексте *шляпа режет лоб*, когда категория *резать* — свойство, так что результат отсутствует.

Каждый признак имеет определенный набор возможных значений — это и есть компоненты толкования. Компоненты могут быть двух видов: одни (как ‘X воздействует на Y’, ‘X деформируется’, ‘X нагревается’) эксплицируют семантическое ядро, другие — категориальную принадлежность данной леммы. Категориальных компонентов немного, а список ядерных компонентов открытый².

Толкования в системе «Лексикограф» не претендуют на полноту, т. е. на исчерпывающее описание смысла: это схематические толкования. Они отражают, в основном, те семантические свойства, которые данная лемма разделяет с достаточно большим классом других. Например, глаголы *зве-*

² О других аспектах толкований, в частности об акцентном и асертивном статусе компонентов, см. [Падучева 2003].

нет и *греметь* совпадают по своим семантико-синтаксическим свойствам, и их схематические толкования одинаковы — хотя они никак не синонимы.

Ниже приводится, в сокращенном виде, словарная статья глагола *разрѣзать* — в его исходном значении намеренного действия.

***разрѣзать* 1.1** (как в *разрѣзать арбуз*)

ЛЕГЕНДА — исходная лексема парадигмы

АКТАННАЯ СТРУКТУРА —

Имя	Синтаксис	Ранг	Роль	Таксономия
X	<i>Сб</i>	<i>Центр</i>	Агенса	ЛИЦО
Y	<i>Об</i>	<i>Центр</i>	Пациенса	ПРЕДМЕТ
Z	сущ. твор.	<i>Периф</i>	Инструмент	ПРЕДМЕТ: имеет острый край
W	на + сущ. вин.	<i>Периф</i>	Результат	ЧАСТИ ПРЕДМЕТА

T-КАТЕГОРИЯ — действие: обычное

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ —

0) *ЭКСПОЗИЦИЯ* — до $t < \text{МН}$ Y был целый

1) —

2) —

3) —

4) *ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* — в t до МН X действовал с целью

5) *СПОСОБ* — воздействовал на Y: с помощью Z-а

6) *КАУЗАЦИЯ* — это вызывало

7) *ПРОЦЕСС В ОБЪЕКТЕ* — шел процесс в Y-е: синхронный деятельности: имеет предел: Y утрачивал целостность

8) *РЕЗУЛЬТАТ* (совпадающий с целью; он же — предел процесса) — наступило и в МН имеет место состояние существует W — отдельные части Y-а

9) *СЛЕДСТВИЕ* — тем самым Y не существует как единый предмет

10) —

ТЕМА — деформация

АСПЕКТУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА — СВ; парный НСВ — *разрѣзать* 1.1, действие

Словарная статья представляет собой своего рода структурную формулу лексемы (подобную химической структурной формуле): ее компоненты и сочетания компонентов задают существенные аспекты поверхностного поведения лексемы.

В поле Актантная структура для каждого участника указано (соответственно, в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м столбце) его имя, которое используется в толковании (так называемая переменная), синтаксическое оформление, ранг, семантическая роль и таксономия — таксономический класс участника (для предикатных актантов — категория), а возможно и какие-то другие семан-

тические характеристики. Легенда показывает (для неисходных значений), как данное значение связано с исходным, что позволяет задать на множестве значений иерархическую структуру. В поле Тема указывается принадлежность глагола к тематическому классу. В поле Аспектуальная характеристика указывается грамматический вид данной лексемы, и если это СВ (который почти всегда является исходным членом видовой пары), то парный НСВ. Глаголам несовершенного вида посвящена отдельная словарная статья — как в обычных словарях, но с более полной информацией.

Замечание. Являются ли члены видовой пары одним словом или двумя, обычно несущественно. Говоря о *вытереть* — *вытирать* в разделе 3.2, мы апеллируем к интуитивному представлению о единстве слова: СВ и НСВ — видовые формы единого глагола. Однако, скажем, *рисковать* и *рискнуть* [Падучева 2002] трактовать как единое слово невозможно.

T-категории образуют достаточно сложную (не вполне иерархическую) систему. Основные категории для глаголов совершенного вида — действия, предельные процессы и происшествия. В разделе 3.2 мы рассмотрим категориальные подклассы глаголов действия.

3.2. Разновидности действий, их признаки и форматы толкования

Категория действие задается следующей конфигурацией компонентов (которые обязательно должны входить в толкование):

- 4) *ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* — X действовал с целью
- 6) *КАУЗАЦИЯ* — это вызвало
- 8) *РЕЗУЛЬТАТ* (совпадающий с целью) —

Признаки деятельность и каузация принимают у всех действий именно то значение, которое указано. Признак результат тоже обязательный, но компоненты, характеризующие результат, у разных действий разные (ср. открытое окно, разделенный на части хлеб и т. д.)³.

Внутри категории действие выделяются более мелкие — аспектуальные и прочие — разновидности действий. Всё это лингвистически релевантные классы глаголов, различающиеся своим языковым поведением, см. раздел 3.3.

У каждого признака есть одно немаркированное значение, которое дает самую общую разновидность действий, и по крайней мере одно маркированное. Частные разновидности действий получаются за счет маркированных значений. Глаголы, которые имеют немаркированные значения по всем признакам, например *открыть*, *вытереть*, называются действиями обычными.

Способ (иначе — характер деятельности), строка 5. Немаркированное значение по этому признаку имеют предельные глаголы, т. е. те глаголы совершенного вида, у которых есть парный несовершенный вид в значении

³ Аналогичным образом могут быть заданы конфигурации для категорий происшествие (каузативное/некаузативное) и процесс (предельный/непредельный).

актуальной деятельности, ведущей к данному результату. Например, у *вытереть* есть парный НСВ *вытирать*, так что деятельность называется тем же словом, что ее результат. Способ может быть задан указанием совокупности приемов, а также инструментов и средств, которыми пользуется Агенса; например, в толковании *красить* упоминаются участники *кисть* и *краски*. Предельные глаголы имеют переменный акцент: они допускают перенос акцента с результата на деятельность.

Маркированное значение признака способ — у глаголов с акцентом на результате; у них деятельность называется другим глаголом (для *прийти* — *идти*, для *найти* — *искать*); т. е. она гетерогенна по отношению к результату. Перенос акцента на деятельность у этого глагола невозможен. Отсюда отсутствие парного НСВ в актуальном значении.

Третье значение признака способ — ‘способ не специфицирован’, см. § 4.

Собственно моментальные глаголы, типа *раскаяться*, *предпочесть*, относятся к действиям — у них есть присущий действию элемент целеполагания. Поэтому в их семантическую формулу, согласно принятым соглашениям, входит деятельность. Но эта деятельность «не занимает времени»; во всяком случае, она не может быть в фокусе внимания. Так что у моментальных глаголов тоже нет актуального значения несовершенного вида. Заметим, что моментальными могут быть только идеальные действия — ментальные, волитивные, речевые. Глагол *расколоть* не моментальный, а сверхкраткий, см. ниже.

ПРОЦЕСС В ОБЪЕКТЕ, строка 7. Немаркированное значение этого признака у глаголов *забить* ⟨*гвоздь*⟩, *покрасить* ⟨*забор*⟩: эти действия предполагают деятельность с накоплением эффекта, см. о глаголах с накоплением результата в [Гловинская 1982: 72]. В толкование таких глаголов входит компонент ‘идет процесс в объекте, синхронный деятельности субъекта’, ср. в [Dowty 1991] (и более подробно — в [Filip 1999]) об участнике Incremental Theme (Накопитель).

Среди глаголов, у которых нет процесса в объекте, синхронного деятельности, выделяются конативы (от лат. *conatus* ‘попытка’), т. е. глаголы попытки. То, что синхронного процесса в объекте нет, означает, что результат обеспечивается не одной только деятельностью субъекта: субъект не обладает достаточными ресурсами для получения результата и успех зависит от какого-то непредсказуемого фактора — от удачи. Так, в ситуации, описываемой глаголом *убедить*, деятельность субъекта не гарантирует накопление эффекта: не то чтобы убеждаемый становился все более убежденным по мере своего убеждения, как гвоздь, вбиваемый в стену.

У конативов действие состоит как бы из двух частей — попытки и успеха. Иными словами, конативы — это глаголы, которые в несовершенном виде обозначают попытку достичь результата, ср. *убеждать*, *объяснять*, *соблазнять*, *решать*. Отсюда основное свойство конативов — презумпция попытки в отрицательном контексте: *не убедил* ⊃ ‘убеждал’, т. е. ‘пытался убедить’.

Конативы есть не только среди предельных глаголов (таких как *убедить*, с парным НСВ *убеждать*), но и среди действий с акцентом на результате; последние называются достижениями (*выиграть*, *найти*). Действия с акцентом на результате не все относятся к достижениям. Так, *найти*, *достичь*, *выиграть* — это конативы, т. е. достижения (*не нашел* \supset ‘искал’); а *прийти*, *пообещать* — нет: из *не пришел* не следует ‘шел’.

З а м е ч а н и е. В грамматиках говорят о конативном значении НСВ — это аспектуальное значение безуспешной попытки [Падучева 1996: 45] (пример из [Бондарко 1971]: *объяснял*, но не *объяснил*). У глаголов СВ, которые мы относим к лексическим конативам ⁴, значение безуспешной попытки возникает под отрицанием: *не убедил* \supset ‘убеждал’. Имеется класс глаголов НСВ, которые, напротив, не допускают употребления в значении безуспешной попытки: **предупреждал*, но не *предупредил*; это глаголы с гарантированной каузацией.

Второе маркированное значение признака процесс в объекте — ‘процесс в объекте, несинхронный деятельности субъекта’. Это значение соответствует случаю, когда деятельность субъекта состоит в придании объекту импульса движения или другого процесса, после чего заканчивается, а процесс идет дальше сам по себе. Например: *сбросить* (<со стола>); *бросить* (<на пол>); *отравить*; о следствиях из несинхронности деятельности процессу в субъекте см., в связи глаголом *убить*, в [Падучева 1992].

У глаголов с накоплением эффекта, т. е. немаркированных по признаку процесс в объекте, действие может протекать:

- в обычных временных интервалах (немаркированное значение); например, *собрать игрушки*;
- в сверхдолгих (*воспитать*);
- в сверхкратких (*расколоть орех*).

Сверхдолгота свойственна процессам, синхронным деятельности (*воспитывать*, *выращивать*), когда деятельность тоже сверхдолгая. Сверхкраткость, напротив, существенна и для процессов, не синхронных деятельности; более того, именно в этом случае она наиболее ощутима, поскольку именно у таких глаголов НСВ не имеет «хорошего» актуального значения, ср. *отравлять*, *взрывать*. Для процесса, синхронного деятельности, сверхкраткость не играет существенной роли; так, у глаголов *включить*, *выключить* есть нормальный парный НСВ со значением актуальной деятельности.

У глаголов с процессом в объекте, не синхронным деятельности субъекта, имеется еще одно противопоставление. Глагол *сбросить* отличается от *бросить* (как в *бросить в нее камень*) тем, что в первом случае фиксируется

⁴ О конативах в русском и финском языке см. в [Томмола 1987: 79 и сл.]. О глаголах с презумпцией попытки говорят — правда, не называя их конативами, — Ю. Д. Апресян [1980: 64—65] и М. Я. Гловинская [1982: 89—91].

только исходный пункт движения (*сбросил со стола*) и начальный импульс, контролируемый Агенсом, гарантирует успех, а во втором итог процесса неконтролируемый; достиг ли Агенс своей цели — неизвестно.

Замечание. Различие между предельными и моментальными глаголами иногда приравнивается к различию в паре *achievement — accomplishment*, а это последнее пытаются свести к какому-то одному противопоставлению. Например, в [Van Valin, LaPolla 1997: 104] различаются предикаты моментального и постепенного перехода в новое состояние: INGR (от *ingressive*) входит в толкование глагола *explode* ‘взорваться’, а BECOME — в *melt* ‘таять — растаять’. Наша техника описания значения выявляет более тонкие семантические противопоставления, а этого не использует вовсе.

РЕЗУЛЬТАТ, строка 8. Немаркированное значение признака результат — когда результатом является изменение состояния: Пациенс-субъект перешел в новое состояние: *я высушил одежду* ⊃ ‘одежда стала сухая’. Маркированное значение — количественный результат: Пациенс-субъект возник в некотором количестве (*выплавил десять тонн стали*). Об отражении этого различия в языковом поведении см. в разделе 3.3.

РАМКА, строка 10. Маркированное значение этот признак принимает, например, на глаголах интерпретации, типа *нарушать* [Апресян 2000]⁵. В семантику глагола интерпретации входит смысловой компонент, в котором один из участников — говорящий (например, компонент ‘говорящий считает, что Р ведет к опасным последствиям’ входит в значение *рисковать*; пример из [Падучева 2002]: *Она рисковала: Иван мог ее убить*). Субъектом рамочного компонента может быть и Наблюдатель (например, компонент ‘Наблюдатель слышит звук’ входит в толкование глагола *звучать*). Немаркированное значение — отсутствие рамочного компонента.

3.3. Категории глаголов действия (совершенный вид)

Перечислим категории, которые могут быть заданы с помощью вышеуказанных смысловых компонентов, и свойства глаголов, в которых проявляется их категориальная принадлежность.

действие: обычное

— *вымыть* ⟨*чашку*⟩, *вымести* ⟨*мусор*⟩, *открыть* ⟨*окно*⟩. К категории «действие: обычное» принадлежит предельный глагол. Он имеет немаркированное значение по признакам: способ; процесс в объекте; результат и рамка. У действий обычных должен быть парный НСВ со значением актуальной, т. е. протекающей в заданный момент, деятельности.

⁵ Ср. также [Гловинская 1989: 113—114], где речь идет об интерпретации как одном из значений наст. времени интенциональных глаголов.

действие: обычное: конатив

— *вспомнить, добиться, догнать, поймать, решить <задачу>, убедить, уговорить*. Особенность языкового поведения — отрицание предполагает попытку: из *не уговорил* нормально следует ‘уговаривал’ (см. [Апресян 1980: 64]). Некоторые контексты снимают импликацию попытки. Так, вопрос *Почему ты не уговорил его остаться?* попытки не предполагает.

действие: с акцентом на результате

— *послать, прийти, прислать; стащить, украсть*. Отражение категориальных свойств глагола в поведении: отсутствует парный НСВ в значении актуальной деятельности.

действие: с акцентом на результате; достижение

— *выиграть, найти, понять, попасть <на концерт>, удержать* [не уронив]. Отражение категориальных свойств в поведении: из акцента на результате вытекает отсутствие парного НСВ актуального. Кроме того, поскольку достижения — это конативы, *не нашел* предполагает ‘искал’, т. е. ‘пытался найти’.

действие: моментальное

— *воздержаться, отказаться, раскаяться, предпочесть, прекратить* (*прекратил занятия музыкой из-за болезни матери*). Актуальное значение у НСВ отсутствует. И никакого глагола, называющего деятельность, тут нет и быть не может. Это отличает моментальность от акцента на результате.

действие: интерпретация

— *нарушать, украшать* (*украсил свою каморку портретом Байрона*), *ошибаться*. Глаголам интерпретации свойственна квазисинонимия наст. и прош. (*ты нарушил* ≈ *ты нарушаешь*). Другие свойства интерпретаций перечислены в [Апресян 2000; Падучева 2002].

действие: с акцентом на результате; с несинхронным процессом

— *убить, отравить, взорвать, выкинуть*. Глаголы типа *бросить* называют глаголами каузации импульсом. Однако несинхронность процесса в объекте и деятельности субъекта более существенна, чем тип каузации, поскольку именно это объясняет отсутствие актуального значения НСВ, которое требует синхронной позиции Наблюдателя по отношению к ситуации в целом.

действие: сверхкраткое

— *ударить, сбросить <горшок с балкона>*.

действие: сверхкраткое: конатив

— *выбить <из рук>, расколоть*. У сверхкратких конативов, в отличие от просто сверхкратких действий, отрицание предполагает попытку: *не выбил* ≡ ‘пытался’.

**действие: сверхкраткое; с несинхронным процессом;
с неконтролируемым итогом**

— *бросить* ⟨в нее камень⟩, *выстрелить* ⟨в зайца⟩. К моменту окончания деятельности процесс еще не дошел до своего итога; так что цель остается недостигнутой. Так, *толкнуть* ⟨кого-л. в канаву⟩ неоднозначно: упал человек или нет — неизвестно.

действие: с количественным результатом

— *накопать* ⟨три мешка картошки⟩; *выплавить* ⟨десять тонн стали⟩. У парного глагола НСВ значение актуальной деятельности отсутствует: *выплавляет десять тонн стали* может значить ‘в год’, но не ‘в данный момент’.

действие: сверхдлгое

— *вырастить*, *воспитать*. Парный НСВ имеет не актуальное, а стативное значение.

Из категорий не-действий отметим происшествия с действующим субъектом, типа *уронить*, *пролить*, *промахнуться*. Как правило, такие глаголы обозначают ситуацию нанесения ущерба. Подлежащее обозначает в этом случае не Агенса, а Субъекта ответственности, ср. о main responsibility как свойстве прототипического Агенса в [Lakoff 1977].

§ 4. Способ действия

В [Levin, Rappaport Novav 1995, 1998] (ср. также [Pinker 1989]) противопоставлены глаголы способа (verbs of manner) и глаголы результата (verbs of result): у первых способ действий специфицирован, у вторых — нет. Это противопоставление использовано в [Падучева 2001], где показано, что глаголы результата входят в более широкий класс глаголов изменения состояния, отчетливо проявляющий себя при декаузативации. Так, семантика глагола *открыть* фиксирует только результат, отсюда хороший декаузатив *открыться*; а у *отрезать* фиксирован способ, и декаузатив от него не образуется.

З а м е ч а н и е. Несколько типов глаголов способа отмечено в [Апресян 1980], в частности, глаголы перемещения (например, *въезжать*, *вползать*, *влетать*; *выезжать*, *выползать*, *вылетать* и под.) и отделения части (*отрезать*, *отрубить*, *отпилить*; *срубить*, *спилить*, *срезать* и под.).

У глаголов *упростить*, *улучшить* способ обозначен как неспецифицированный; такие действия называются абстрактными [Плунгян, Рахилина 1990]. Абстрактными часто бывают глаголы тематического класса «приобретение признака», ср. *облегчить сани*. Из абстрактности можно вывести такое сочетаемостное свойство глагола, как отсутствие характерного инст-

румента. Ср. глаголы *нарисовать* и *изобразить*; первый — глагол способа, второй — абстрактный; отсюда *рисует карандашом*, но **изображает карандашом*.

Абстрактность — в отличие от таких признаков, как акцент на результате, моментальность, количественный результат, сверхкраткость и сверхдолгота, несинхронность процесса и деятельности, — не является категориальным признаком. Это признак семантический. Абстрактность влияет на аспектуальные свойства глагола, например на наличие НСВ актуального, не непосредственно, а лишь при каких-то «отягчающих» обстоятельствах. Так, у глаголов *добиться* ⟨разрешения⟩, *достать* ⟨денег⟩ (действие: обычное; конатив: абстрактное) способ не специфицирован, но они не отличаются в аспектуальном отношении от обычных конативов (*уговорить*, *решить* ⟨задачу⟩); глагол *предотвратить* (действие: с акцентом на результате: достижение: абстрактное) подобен глаголу *найти*; у глаголов *увеличить*, *задержать* ⟨выход книги⟩ (действие: с количественным результатом: абстрактное) актуальное значение НСВ примерно так же неестественно, как у *выплавить* (действие: с количественным результатом, но не абстрактное).

Эффект от неспецифицированного способа возникает при наличии какого-то другого компонента значения. Например, значения интерпретации (*испортить*): глаголы интерпретации всегда абстрактные. Действия сверхдолгие известны только абстрактные (*вырастить*, *воспитать*). Иными словами, абстрактные глаголы могут принадлежать к разным категориям, и решающую роль играет не абстрактность, а эти дополнительные компоненты.

Компонент «способ» — это важный фактор, определяющий поверхностное поведение лексемы. Рассмотрим пример. В классе глаголов контакта с поверхностью высокую продуктивность имеет диатетический сдвиг, при котором Тема (т. е. перемещающаяся сущность, обычно масса или эластичный предмет) переходит в позицию субъекта, а Субъект уходит за кадр:

- (1) а. Они [Агенс] *загородили* подходы [Место] к зданию баррикадами [Тема];
 б. Баррикады [Тема] *загородили* подходы [Место] к зданию.

При этом аспектуальная характеристика парного глагола НСВ может быть двойкой: он может обозначать перфектное состояние, см. (2), или процесс, как в (3):

- (2) Баррикады *загораживают* подходы к зданию.
 (3) Песок *засыпает* дорожки.

Какую из возможностей реализует данный глагол, зависит от наличия компонента «способ»: от того, указан ли прием, с помощью которого Агенс приводит участника Тема в контакт с участником Место. Если «способ» в семантике глагола не задан, в ней с легкостью осуществляется преобразование, при котором Агенс уходит за кадр (или даже замещается нецелеполагающим Каузатором) и акцент смещается на результат. Если же компонент «способ» есть, он фиксирует фокус внимания на себе, и это препятствует

стативному пониманию глагола. Так, глаголы из (4) имеют значение перфектного состояния, а типа (5) — нет:

- (4) загораживать, загромождать, закрывать (*тучи закрывают небо*), заполнять, заслонять, оживлять, окружать, отделять;
 (5) обклеивать, заливать, залеплять, усыпать, уставлять.

Другое дело, что компонент «способ» может выветриваться; выветривание делает возможным стативное значение, см. (6а), в противоположность (6б):

- (6) а. обозы *забили/забивают* переправу; б. *доски *забивают* окно.

§ 5. Т-категории и идея параметризации лексического значения

Таксономическая категория была первым шагом на пути параметризации лексического значения. Параметр тематический класс сформировался позднее, и водораздел между тематическим классом и категорией не везде ясен. В заключение рассмотрим еще два примера на тему о параметризации значения.

Пример 1 (демонстрирующий роль параметров в семантической парадигме слова). В парадигме глагола *упереться* (*Z уперся X-ом в Y*) различается три группы значений⁶. Значения лексем представлены ниже в сокращенном виде: указаны Т-классы участников, экспозиция, категория, тематический класс и легенда, которая дает понять, как значения связаны друг с другом.

***упереться* 1.1.** ‘*Z* привел *X* в контакт с *Y*-ом и прилагает усилия в месте контакта’.

Т-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ: *Z* — лицо (или другой целеполагающий субъект); *X* — часть тела *Z*-а или предмет.

ЭКСПОЗИЦИЯ: *Y* неподвижен или малоподвижен, и потому оказывает встречное сопротивление *Z*-у.

КАТЕГОРИЯ — действие. Парный НСВ *упираться* имеет актуальное значение.

а. цель *Z*-а — оттолкнуться от *Y*-а; или остановить движение *Y*-а; или подтолкнуть *Y* (*уперся шестом и плот тихонько поплыл от берега; уперся в нее [горящую мину] руками, стараясь подтолкнуть к борту*);

б. цель *Z*-а — принять устойчивое положение (*уперся руками в скалу*);

в. цель *Z*-а — остаться на месте в ситуации, когда кто-то/что-то заставляет *Z*-а двигаться против его воли (*она [лошадь] уперлась передними ногами в землю и не двигалась с места*).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС — физическое (действие).

⁶ При подборе примеров использовалась программа А. В. Санникова. В указаниях на источник использованы следующие сокращения: П. — А. С. Пушкин; С. — А. И. Солженицын; ММ — М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита.

ЛЕГЕНДА. Значение 1.1а исходное. Значения 1.1б, 1.1в получаются из 1.1а спецификацией цели участника X.

ПРИМЕРЫ. Макар легонько *уперся* стволом обреза в грудь ошеломленного Закревского, отодвинул его назад (Шукшин. Любавины); Он *уперся* тростью в пол и принялся загнать пальцы затянутой в серую перчатку руки (Б. Акунин. Любовница Смерти);

упереться 1.2. ‘Z направил *взгляд* [X] на Y’ (т. е. как бы привел *взгляд* в контакт с Y-ом).

Т-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ: участник X (*взгляд*) инкорпорированный (*уперся в меня вопросительным взглядом*).

КАТЕГОРИЯ — действие с акцентом на результате; парный НСВ *упираться*, как у всех неопредельных глаголов, не имеет актуального значения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС — восприятие.

ЛЕГЕНДА. Значение 1.2 получается из 1а меной Т-класса участника X и соответственным сдвигом тематического класса глагола — из физического в перцептивный. Это стершаяся метафора.

ПРИМЕР. Сел в отдалении, *уперся* глазами в пространство (Токарева);

упереться 1.3. ‘Z, придя в контакт с Y-ом, не может продолжать движение’.

Т-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ: X специфицируется как тело (или часть тела) Z-а и легко инкорпорировается (*Я прошел несколько переулков и уперся <носом> в забор*).

ЭКСПОЗИЦИЯ — Z двигался; Y стоял на пути; поэтому когда Z пришел в контакт с Y-ом, он не может двигаться дальше. [Следствие из экспозиции: Y — Препятствие.]

КАТЕГОРИЯ — происшествие с действующим субъектом.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС — движение.

ЛЕГЕНДА. Значение 1.3 получается из 1.1а за счет экспозиции ‘Z двигался’.

ПРИМЕРЫ. Бубенцов двигался все так же лениво, не произнося ни единого слова, до тех пор, пока Черкес не *уперся* в самую стену и замер на месте (Б. Акунин. Пелагия и белый бульдог); Катился, катился такой колобок — и *уперся* в некую прозрачную стену (Ким. Стена);

упереться 2.1. ‘X пришел в контакт с Y-ом (и оказывает давление в месте контакта)’.

Т-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ:

а. X — предмет (*елка уперлась в потолок; рука уперлась в стену*);

б. X — самодвижущаяся или саморазвивающаяся сущность; Y — место контакта (*наше кофейное дерево уперлось в потолок; ртуть уперлась в самый верх*).

ЭКСПОЗИЦИЯ: X перемещался (возможно, под воздействием фонового Каузатора Z), пока не дошел до Y.

КАТЕГОРИЯ — происшествие. Парный НСВ *упираться* — перфектное состояние.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС — движение/развитие.

ЛЕГЕНДА. Значение 2.1 получается из 1.1а диатетическим сдвигом (рецессия субъекта): участник Z, Каузатор, уходит за кадр, а в значении 2.1б он вообще отсутствует, что свойственно глаголам природного процесса.

ПРИМЕРЫ. 2.1а. В бок Березницкого однозначно *уперся* пистолетный ствол (Веллер. Приключения майора Звягина); Ствол автомата *уперся* в подбородок, а палец правой руки застыл на спусковом крючке (Солоухин. Не жди у моря погоды); Эраст Петрович между тем допятился до самой кромки набережной и был вынужден остановиться, чувствуя, как низенький окаем *уперся* ему в лодыжку (Б. Акунин. Азаль); 2.1б. Поток людей *уперся* в угол огражденного железной решеткой стадиона и стал растекаться на два рукава, я почему-то пошла направо (Ким. Стена);

упереться 2.2. ‘X закончился перед Y-ом’.

Т-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ: X — то, по чему/вдоль чего движется Наблюдатель Z; участник Z за кадром.

КАТЕГОРИЯ — происшествие; парный НСВ обозначает перфектное состояние.

ЛЕГЕНДА. Значение 2.2 получается из 1.3 диатетическим сдвигом: идущий остается в ситуации в ранге Наблюдателя: *дорога уперлась в забор* = ‘Наблюдатель, двигаясь по дороге, уперся в забор’, т. е. не мог продолжать движение.

ПРИМЕРЫ. Километра через два дорога *уперлась* в массивные ворота с красными звездами (Сорокин. Сердца четырех);

упереться 3. ‘Z не изменил своего мнения/волеитивного состояния’ (*Священник уперся и стоял на своем*).

ЭКСПОЗИЦИЯ — некто за кадром оказывает давление на Z, чтобы он изменил свое состояние; Z продолжает пребывать в своем состоянии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС — воля/мнение.

КАТЕГОРИЯ — перфектное состояние. Парный НСВ тоже обозначает перфектное состояние, т. е. СВ прош. и НСВ наст. практически синонимичны.

ЛЕГЕНДА. Значение 3 получается из 1.1в метафорическим переносом в другое пространство — из физической сферы в поле внутренних состояний.

ПРИМЕРЫ. А генерал *уперся* и ушел в полную несознанку — «Не было у меня никакого «ягуара»! Я вообще не знаю, что это такое?!» (Кунин. Русские на Мариенплац); — Садись! Чаю попьем сейчас, — настаивал Родионов, но Иван *уперся* на своем (Шукшин. Любавины); — Что, неужели веришь в этот свой двигатель? — Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что все: с этой минуты он *уперся* (Шукшин. Упорный); Словом, этот зажатый негр *уперся* — и ни в какую (Искандер. Сандро из Чегема).

Семантическая парадигма глагола *упереться* имеет следующее устройство. Через все значения проходит лексическая константа: ‘Z/X пришел в контакт с Y-ом’ (в исходном значении имеется второй компонент — ‘Z/X оказывает давление на Y в месте контакта’, т. е. контакт плотный). Разные значения возникают, прежде всего, за счет «упаковки», т. е. наиболее формальных параметров лексического значения — категории и диатезы. Кроме того, различие может возникать за счет тематического класса глагола; Т-классов участников; цели Z-а. Так, значения 1.1а — 1.1в различаются целью; цель переменная, но важен сам факт ее наличия, поскольку это позволяет идентифицировать категорию глагола как действие или деятельность.

Для значения 1.1*b* цель факультативна — следствием возникшего контакта может быть просто некая поза Z-а:

- (1) Он *уперся* подбородком в грудь, {...} он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом (ММ).

Вообще, есть у Z-а цель или нет — это не всегда ясно:

- (2) Левый вдруг приблизился к столу, *уперся* в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему: — Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарезу одного человека (ММ); Макар легонько *уперся* стволom обреза в грудь ошеломленного Закревского, отодвинул его назад (Шукшин. Любавины); Он *уперся* тростью в пол и принялся загибать пальцы затянутой в серую перчатку руки (Б. Акунин. Любовница Смерти); Водитель осторожно *уперся* носом катера в набережную (Сорокин. Норма).

У лексемы *упереться* 1.2 намеренность тоже факультативна; взгляд мог быть брошен нечаянно, и тогда это не действие с акцентом на результате, а происшествие. В примере (3) лексема *упереться* 1.2 употреблена в диатезе с рецессией участника Z — участник взгляд попадает в позицию субъекта:

- (3) Остановившийся взгляд *уперся* в матовый светильник на дубовой стене кают-компания (Аксенов. Мой дедушка-памятник).

Про луч света говорят так же, как про взгляд:

- (4) {...} луч света *уперся* прямо в него (С.); Через мгновение луч его *уперся* в наконечник башни «Курьера» и ослепил всех (Аксенов. Остров Крым).

Значения могут различаться за счет экспозиции и порождаемых ею следствий. Так, при значении 1.3 участник Y интерпретируется как Препятствие — при том что в значении 1.1*b* Z, напротив, и с п о л ь з у е т Y как способ укрепить свою позицию. В 2.1*a* роль Y-а как Препятствия идентифицируется за счет характеристики X-а (самодвижущаяся сущность) или его пребывания в движении.

В контексте *упереться* 2.1 участник Y может быть одушевленным существом, и тогда возможен дополнительный компонент ‘Y испытывает болевые ощущения’:

Это показалось ему забавным, тем более что девочка, молча и напряженно целясь, продолжала оттягиваться и все дальше заводила за спину руку, пока конец слегка трепещущей палки не *уперся* в его живот (Искандер. Сандро из Чегема).

На базе значения 2.1 невозможности продолжать движение возникает переносное значение — невозможности продолжать деятельность:

Когда американский издатель попытался заключить на нее контракт, он *уперся* в стенку авторского права (Бродский. Проза); Но в своих рассуждениях он *уперся* в забытые цифры (С.).

В (5) *упереться* 2.1б и диатеза с расщеплением:

- (5) А ведь стояли времена, когда изба еще не построена была, семья еще жила в старой избушке, называемой теперь флигелем, что задумчиво *уперся* покрившимися окнами в сугроб (Астафьев. Веселый солдат) [*← окна флигеля уперлись в сугроб*].

В ситуации, описываемой лексемой *упереться* 3, участники X и Y пропадают. Появляется (ср. *упереться* 1.1в) новый участник, закадровый, который побуждает Z-а изменить его позицию (пространственную или ментальную). Возникает потребность выразить участника Содержание мнения (в котором укрепился Z), которую, однако, синтаксические ресурсы глагола *упереться* не в состоянии удовлетворить; чаще всего содержание мнения/воли выражается при другом глаголе, см. (6); употребление в (7) пока за рамками литературного языка:

- (6) Вчера он с ним говорил об этом по-хорошему, потом пригрозил ему, но Кунта *уперся* и твердил одно и то же, мол, не брал, а если кто видел, пусть докажет (Искандер. Сандро из Чегема);
 (7) А он *уперся*, что, мол, наоборот (Алешковский. Николай Николаевич).

Мнение/воля субъекта Z могут быть выражены в прямой речи:

- (8) — Не буду плясать, — *уперся* Иван (Шукшин. До третьих петухов); — Он точно цитирует Белинского, — *уперся* Вадим, — эти слова Белинского есть в других воспоминаниях о нем, в частности у Кавелина (Рыбаков. Дети Арбата).

Категория глагола СВ позволяет предсказать свойства парного НСВ. Например, у *упереться* 2.1 категория — происшествие; соответственно, парный НСВ — перфектное состояние. У значения *упереться* 3 — категория перфектное состояние, редкая для глагола СВ; иными словами, это глагол СВ, лишенный событийного значения.

Пример (9) показывает, что сфера действия отрицания у *упираться* подчиняется общим правилам для глаголов с атрибутивным отношением между компонентами (в данном случае — между «контакт» и «плотный»), см. [Падучева 1996: 242]:

- (9) Балка не *упирается* в стену [= ‘то ли нет контакта, то ли есть, но не плотный’].

Пример 2 (демонстрирующий роль параметров в установлении связей между парадигмами разных слов). Глаголы *скрыть* и *спрятать* значат приблизительно одно и то же — ‘сделать так, чтобы X-а не было видно’. Однако семантические парадигмы этих слов существенно различны. Мы покажем, что это различие может быть выведено из параметров исходного значения глаголов *скрыть* и *спрятать*.

Источник всех различий между *скрыть* и *спрятать* — разница в тематическом классе. В самом деле, *скрыть* — глагол восприятия, он значит просто ‘каузировать не видеть’. А *спрятать* относится к глаголам перемещения (помещения объекта) — специфична только цель: *спрятать* = ‘поместить так, чтобы не нашли’. Отсюда целый ряд более частных различающих последствий.

1. Различие в таксономической категории: *скрыть*, как это свойственно перцептивам, моментальный глагол; его категория (в исходном употреблении) — действие с акцентом на результате; между тем *спрятать* — действие обычное, с нормальным актуальным значением несовершенного вида: *заметила, как, подходя, он прячет что-то за спину, и это что-то сверкнуло под луной* (Б. Акунин. Декоратор). Показательно, что в МАС в качестве исходной для *скрыть* дается форма СВ, а для *спрятать* — НСВ.

2. Различие в актантной структуре: у *спрятать*, как у всех глаголов движения, есть участник Конечная точка: *спрыгал — Куда?*; а у *скрыть* он отсутствует.

3. Статус компонента «перемещение»: у *спрятать* этот компонент неотъемлемый (*Он подмигивает мне и прячет улыбку, наклоня голову*. Аксенов. Звездный билет); а у *скрыть* он может возникать, но как вторичный, навеянный контекстом. В точности та же ситуация, что с глаголом *показаться*, который тоже перцептив, и перемещение для него факультативно (в стальных употреблениях, типа *прячет носик в воротник*, производных, компонент «перемещение» исчезает по аспектуальным правилам).

4. Тематические дериваты. Перцептивным глаголам свойственно употребляться в значении ментальных. Для глагола *скрыть* этот переход в высшей степени органичен: *скрыть <имя>* = ‘сделать так, чтобы не знали’. Для *спрятать* употребление в контексте, где X — информация, означало бы либо метафору, либо выветривание.

5. Деагентивация. Для *спрятать* употребление с неагентивным подлежащим опять-таки означает метафору или выветривание; а для *скрыть* в высшей степени естественно: *поднявшийся туман скрыл долину и горные отроги*. То же верно для возвратных глаголов *скрыться* и *спрятаться*.

6. Непосредственно из тематического класса выводится различие в интерпретации производного возвратного глагола: *скрыться* — это, в основном значении, декаузатив; изменяется перцептивное состояние Наблюдателя за кадром (ср. *потеряться, найтись*); а для *спрятаться* основное понимание рефлексивное, агентивное — как у всех глаголов движения, типа *скатиться, сброситься* (см. [Падучева 2001]).

Таким образом, в исходном значении и заложен весь потенциал семантического развития глаголов *скрыть* и *спрятать*.

Итак, мы вправе заключить, что таксономическая категория глагола (наряду с тематическим классом, актантной структурой и категориальными предпосылками) — важный фактор, одновременно систематизирующий гла-

гольную лексику и обеспечивающий компактное описание регулярной многозначности. Формализация и параметризация значения позволяет обосновать единство слова, сделав более наглядным соотношение между исходным значением и дериватами в его семантической парадигме.

Значение каждого отдельного слова неисчерпаемо, и нет двух слов, одинаковых по смыслу. В то же время, слово живет и развивается по законам, роднящим его с другими словами — его собратями, тоже живыми.

Литература

Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян 1980 — Ю. Д. Апресян. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ↔ Текст». Wien, 1980. (Wiener Slawistischer Almanach. Sbd 1).

Апресян 1988 — Ю. Д. Апресян. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. М., 1988. С. 57—78.

Апресян 2000 — Ю. Д. Апресян. Предисловие // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон, М. Я. Гловинская, Т. В. Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. XVIII—XLV.

Апресян 2002 — Ю. Д. Апресян. Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3). С. 10—29.

Бондарко 1971 — А. В. Бондарко. Вид и время русского глагола. М., 1971.

Булыгина 1982 — Т. В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов / Отв. ред. О. Н. Селиверстова. М., 1982. С. 7—85.

Гаврилова 1975 — В. И. Гаврилова. Особенности семантики, синтаксиса и морфологии глаголов присоединения // Семиотика и информатика. Вып. 6. М., 1975. С. 144—164.

Гловинская 1982 — М. Я. Гловинская. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Кустова, Падучева 1994 — Г. И. Кустова, Е. В. Падучева. Словарь как лексическая база данных // ВЯ. 1994. № 4. С. 96—106.

МАС — «Малый академический словарь» = Словарь русского языка: В 4 т. М., 1985—1988.

Падучева 1992 — Е. В. Падучева. Глаголы действия: толкование и сочетаемость // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992. С. 69—77.

Падучева 1996 — Е. В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 1998 — Е. В. Падучева. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // ВЯ. 1998. № 5. С. 3—23.

Падучева 2000 — Е. В. Падучева. О семантической деривации: слово как парадигма лексем // Русский язык сегодня: Сб. памяти Д. Н. Шмелева. М., 2000. С. 395—417.

Падучева 2001 — Е. В. Падучева. Каузативные глаголы и декаузативы в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 52—79.

Падучева 2002 — Е. В. Падучева. Глагол *РИСКОВАТЬ*: яркая индивидуальность или рядовой элемент лексической системы? // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002. С. 147—171.

Падучева 2003 — Е. В. Падучева. Акцентный статус как фактор лексического значения // ИАН СЛЯ. 2003. Т. 62. № 1. С. 1—14.

Падучева, Розина 1993 — Е. В. Падучева, Р. И. Розина. Семантический класс глаголов полного охвата: толкование и лексико-синтаксические свойства // ВЯ. 1993. № 6. С. 5—16.

Плунгян, Рахилина 1990 — В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина. Сирконстанты в толковании? // Z. Saloni (red.). Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Białystok, 1990. S. 201—210.

ТКС — И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Wien, 1984. (Wiener Slawistischer Almanach. Sbd. 14).

Томмола 1986 — Х. Томмола. Аспектуальность в финском и русском языках // Neuvostoliitto instituutin vuosikirja (Helsinki). 1986. № 28.

Туровский 1991 — В. В. Туровский. Словарная статья глагола *напоминать* // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991. С. 171—175.

Dik 1978 — S. C. Dik. Functional Grammar. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1978.

Dowty 1979 — D. R. Dowty. Word Meaning and Montague Grammar. The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montague's PTQ. Dordrecht (Holland): Reidel, 1979.

Dowty 1991 — D. R. Dowty. Thematic proto-roles and argument selection // Language. Vol. 67. Part 3. 1991. P. 547—619.

Filip 1999 — H. Filip. Aspect, eventuality, types and nominal reference. N.Y&L.: Garland publishing, 1999. Ch. 3. Telicity.

Goddard 1998 — C. Goddard. Semantic Analysis: A practical introduction. Oxford: Oxford Univ. Press, 1998.

Jackendoff 1990 — R. S. Jackendoff. Semantic Structures. Cambridge etc.: MIT Press, 1990.

Lakoff 1977 — G. Lakoff. Linguistic gestalten // Papers from the 13th Regional Meeting Chicago Linguistic Society. Chicago, 1977. Русск. пер.: НЗЛ. Вып. X. М., 1981. С. 350—368.

Lakoff, Johnson 1980 — G. Lakoff, M. Johnson. Metaphors We Live by. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1980.

Levin, Rappaport Hovav 1995 — B. Levin, H. M. Rappaport. Unaccusativity: At the syntax-lexical semantics interface. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.

Levin, Rappaport Hovav 1998 — B. Levin, Hovav M. Rappaport. Building verb meaning // M. Butt, W. Geuder (eds). The Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors. CSLI Publications, 1998. P. 97—134.

Mehlig 1981 — H. R. Mehlig. Satzsemantik und Aspektsemantik im Russischen: (Zur Verbklassifikation von Zeno Vendler) // Slavistische Beiträge. Bd 147. München: Verlag Otto Sagner, 1981. S. 95—151. Сокр. русск. пер.: Х. Р. Мелиг. Семантика пред-

ложения и семантика вида в русском языке // НЗЛ. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 227—249.

Miller 1970 — J. E. Miller. Stative verbs in Russian // Foundations of Language. Vol. 6. № 4. 1970. P. 488—504.

Pinker 1989 — S. Pinker. Learnability and Cognition: The Acquisition of Argument Structure. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.

Postal 1970 — P. M. Postal. On the surface verb remind // Linguistic Inquiry. Vol. 1. № 1. 1970. P. 37—120.

Rozwadowska 1997 — B. Rozwadowska. Towards a unified theory of nominalizations. External and internal eventualities. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Van Valin, LaPolla 1997 — R. D. Van Valin, R. J. LaPolla. Syntax: Structure, Meaning, and Function. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Vendler 1967 — Z. Vendler. Linguistics in Philosophy. Ithaca, N. Y.: Cornell Univ. Press, 1967.

Wierzbicka 1980 — A. Wierzbicka. Lingua mentalis. Sydney etc.: Acad. Press, 1980.

Wierzbicka 1987 — A. Wierzbicka. English Speech Act Verbs: A Semantic Dictionary. Sydney etc.: Acad. Press, 1987.

Е. В. УРЫСОН

СЕМАНТИЧЕСКАЯ И ВАЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА СЛОВ С УСТУПИТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ*

0. Объект исследования и постановка задачи

Предлагаемая работа посвящена так называемым уступительным словам, ср. *хотя, несмотря на то что, все-таки, тем не менее, как-никак* и т. п. Ср. следующие примеры:

(1) *Хотя (несмотря на то что) был сильный мороз, мы пошли кататься на лыжах.*

(2) *Был очень сильный мороз. Тем не менее лыжные тренировки не отменялись.*

(3) *Лыжные соревнования пришлось отложить. Как-никак (все-таки) мороз 52 градуса.*

Общность семантики уступительных слов кажется очевидной. Все они, какими бы разными ни были их синтаксические свойства, указывают на то, что одна ситуация препятствует существованию другой. Так, ситуация ‘сильный мороз’ — это препятствие для ситуации ‘кататься на лыжах’. Однако при попытке эксплицировать уступительную семантику в рамках современной лингвистической теории исследователь наталкивается на ряд проблем. Очертим основные из них, опираясь на работы, посвященные уступительному значению.

В диссертации [Богомолова 1955], при анализе сложноподчиненных предложений с уступительным придаточным типа (1), справедливо отмечается, что придаточное с союзом *хотя* описывает препятствие для ситуации, представляемой в главном предложении. Но коль скоро эта ситуация все-таки имеет место, значит есть некая причина, превосходящая данное препятствие. Это иллюстрируется следующим примером (из М. Горького): *И хотя он был*

* Автор приносит глубокую благодарность Н. Д. Арутюновой, В. Ю. Апресян, С. В. Кодзасову, Г. Е. Крейдлину, Е. В. Падучевой, А. Д. Шмелеву и всем участникам семинара «Логический анализ языка» за ценные критические замечания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 0204-00-306а), гранта НШ-1576.2003.6 и программы ОИФН РАН (раздел 4.15).

красив (Q) [препятствие действию], *она оттолкнула его (P)* [действие], *потому что боялась отца (R)* [причина, превосходящая препятствие]. Тем самым выделяются следующие три компонента уступительного значения: «действие» [выражается главным предложением, т. е. *P*], «препятствие действию» [выражается уступительным придаточным, т. е. *Q*], «причина, превосходящая препятствие» [выражается в широком контексте, ср. предложение *R* в примере выше].

Если значение уступительного союза *хотя* действительно складывается из этих трех компонентов, то в его толковании должны быть упомянуты три ситуации. Первая — это ситуация *P*, описываемая главным предложением. Вторая ситуация (*Q*) — это препятствие к существованию первой; она выражается уступительным придаточным. Наконец, третья ситуация (*R*) — это «причина, превосходящая препятствие», которая описывается, возможно, за пределами данного сложноподчиненного предложения, в достаточно широком контексте.

Возникает вопрос: не является ли уступительный союз *хотя* (и, возможно, другие уступительные слова) трехместными предикатами?

Попытка описать актантную структуру уступительных слов предпринята в работе [В. Апресян 1999]. В семантике большинства уступительных слов, в частности — в значении союза *хотя* и его синонимов *хоть*, *несмотря на то что* и др., компонент типа «причина, превосходящая препятствие» не выделяется. Однако он усматривается в значении некоторых уступительных частиц (например *как-никак*), которые признаются трехместными предикатами. Существенно, что в семантике по крайней мере некоторых уступительных слов выделяются три компонента, описанные в [Богомолова 1955]. Однако, на наш взгляд, модифицированию уступительной семантики может быть дано более системное описание.

В целом ряде работ [Эстрина 1968; Гречишникова 1971; Печенкина 1976; Перфильева 1985; Теремова 1986] внутри уступительного значения выделяется четыре основных компонента. Три из них полностью соответствуют компонентам, выделенным А. В. Богомоловой. Четвертый компонент — это ожидаемое, но не реализовавшееся следствие ‘не-*P*’ из ситуации, описываемой придаточным (*Q*). Ср. *И хотя он был красив (Q), она оттолкнула его (P)* [ожидаемое следствие — не-*P*, т. е. ‘она не оттолкнет его’], *потому что боялась отца (R)*.

Именно этот компонент — его часто называют «импликация» — считается основным компонентом семантики уступительности в целом ряде работ, в особенности типологических, ср., например, [König 1988; Храковский 1999]. Этот подход развивается и в монографии [Ляпон 1986]: «высказывание *Мальчик с пальчик хотя был мал, но был очень ловок и хитер* строится на априорной истине ‘если мал, значит не ловок, не хитер’ ⟨...⟩, которая опровергается актуальной истиной ‘мал и в то же время ловок и хитер’, соответствующей реальному положению дел» [Ляпон 1986: 137]. При этом во многих работах уступительная семантика в целом сводится к «имплика-

ции» и отрицанию. Ср. распространенное толкование прототипической уступительной конструкции *Хотя был сильный мороз (Q), мы пошли кататься на лыжах (P)*: 'имеет место P и имеет место Q; обычно если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P'. Идея препятствия, четко выраженная в описаниях [Богомолова 1955; Теремова 1986; В. Апресян 1999], в таком толковании не обозначена прямо — она «спрятана» внутри компонента 'обычно если P, то не-Q'. Вопрос о количестве актантов уступительного слова при таком описании не возникает: из предложенного толкования следует, что их всего два.

Сближение уступительных и условных предложений вполне традиционно, ср. [Лавров 1941; König 1988; Евтюхин 1996]. Оно основано не только на исследовательской интуиции, но и на реальных языковых фактах. В частности, хорошо известно, что некоторые полисемичные союзы в одном значении являются условными, а в другом — уступительными, ср. др.-русск. *аще* (см., например, [Лавров 1941]). Если значения 'хотя' и 'если' могут выражаться в пределах одного многозначного слова, то, значит, между ними есть семантические мосты, которые должны быть эксплицированы в описании данных союзов. Именно такое описание и предлагается в работах [Ляпон 1986; König 1988; Храковский 1999].

Остается, однако, неясным, каким образом приведенное толкование прототипической уступительной конструкции можно применить к другим уступительным словам, например *как-никак*, *все-таки*, ср. пример (3).

Цель настоящей работы — во-первых, выявить семантику уступительности и, во-вторых, показать, как данная семантика выступает в конкретных уступительных словах. В частности, мы попытаемся ответить на вопрос, сколько актантов и сколько синтаксических валентностей имеет то или иное уступительное слово.

ЗАМЕЧАНИЕ. По-видимому, проблемы описания семантики уступительности в определенной степени связаны с условностью, «непрозрачностью» самого данного термина. Слово «уступительный», очевидно, указывает на некое значение. Но данный термин не называет это значение напрямую, а является лишь его общепринятой меткой, неким условным ярлыком. Что же это за значение? Иногда говорят, что значение уступки. Но тогда слово *уступка* употребляют отнюдь не как общепринятое русское слово, а как сокращенный вариант термина «уступительность», и получается порочный круг. (Разумеется, не исключено, что какие-то компоненты значения русского слова *уступка* действительно выражаются в уступительных предложениях типа (1)—(3), однако остается неясным, какие именно.)

Заметим в связи с этим, что грамматический термин «уступительное значение (предложение)» коренным образом отличается от, казалось бы, аналогичных терминов типа «целевое значение (предложение)», «причинное значение (предложение)», «временное значение» и т. п. Действительно, слово «причинный» указывает на значение 'причина', слово «целевой» — на значение 'цель', «временной» — на значение 'время' и т. п. Тем самым, оха-

рактически любое предложение или слово как, скажем, целевое, исследователь утверждает, что в его семантику входит значение цели. Но говоря, что какое-то высказывание или слово является уступительным, мы лишь относим слово или высказывание к определенному классу, семантика же объекта остается невыявленной.

1. «Классические» уступительные союзы *несмотря на то что и хотя 1*

«Классические» уступительные слова — это синонимичные союзы *несмотря на то что* и *хотя 1*. Ср.

(1) *Хотя* \langle несмотря на то что \rangle был сильный мороз (Q), мы пошли кататься на лыжах (P).

(4) *Хотя* на улице никого не было (Q), Васю повели гулять (P).

(5) *Несмотря на то что* дожди шли больше двух недель (Q), проселочные дороги были в приличном состоянии (P).

Подробное описание данных союзов и, в частности, многозначности союза *хотя* содержится в работе [Урысон 2002], на которую мы будем опираться¹. Сейчас ограничимся толкованием данных лексем².

Рассмотрим сначала то толкование этих союзов, которое можно считать общепринятым (см. выше):

(I) *Хотя* \langle несмотря на то что \rangle Q, P =

‘[а, пресуппозиция] обычно если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P;

[б] в данном случае имеет место Q, имеет место P’.

Выражение (I) бывает удобно использовать в сокращенном виде:

(Ia) *Хотя* \langle несмотря на то что \rangle Q, P =

‘[а, пресуппозиция] обычно если Q, то не-P;

[б] в данном случае: Q, P’.

Компонент (а) толкования отражает некое общее знание, известное и говорящему, и слушающему³. Это может быть знание об устройстве мира; ср.

(1a) ‘обычно если бывает сильный мороз, люди не катаются на лыжах’,

(5a) ‘обычно если дожди идут долго, то проселочные дороги приходят в плохое состояние’.

¹ О союзе *хотя 2* см. также ниже, разд. 2.

² В соответствии со словоупотреблением, принятым в Московской семантической школе, мы называем лексемой слово, взятое в его конкретном значении.

³ В пресуппозиции уступительного союза может быть выражено не знание, а мнение, ожидание говорящего, см. об этом [Урысон 2002]. Сейчас мы от этого отвлекаемся.

Но это может быть и информация о распорядке жизни конкретного субъекта, ср.

(4а) ‘обычно если на улице никого нет, Васю не выводят гулять’.

Важно то, что высказывание с уступительным союзом истинно, если осмысленно соответствующее суждение (а). Тем самым компонент (1а) по определению входит в семантическую пресуппозицию высказывания (1).

Понятие семантической пресуппозиции (иногда ее называют «презумпцией») оказалось чрезвычайно важным для описания уступительных слов. Напомним в связи с этим его определение: «Семантический компонент Р суждения S является презумпцией S, если ложность Р в некоторой ситуации делает утверждение S в этой ситуации неуместным, аномальным, бессмысленным. Иначе говоря, Р — презумпция S, если из уместного употребления S в некоторой ситуации следует, что Р является истинным в этой ситуации» [Падучева 1985: 53]⁴. Заметим, что существует и операционное определение пресуппозиции: это «та часть значения лексемы (или другой языковой единицы), которая не подвергается действию отрицания» [Апресян 2000: XXXVI]. Последнее определение в высшей степени эффективно при анализе разных слоев лексики. Однако при описании союзов и подобных слов, которые, грубо говоря, обозначают связи между предложениями, легче опираться на неоперационное определение.

Вернемся к толкованию уступительных союзов *хотя* и *несмотря на то что*. Продемонстрируем, что оно не содержит одного важного компонента.

Возьмем какой-нибудь самый обычный пример с *если* и представим, что это пресуппозиция высказывания с *хотя* или *несмотря на то что*. Построим соответствующую фразу с уступительным союзом, исходя из примера с *если*, т. е. образуя исходный пример следующим образом:

(А) Если Q, то P' → (A1) Хотя Q, не-P

или

(В) Если Q, то не-P' → (B1) Хотя Q, P.

Иными словами, *если Q* заменяется на *хотя Q*, а главное предложение P — на его отрицание (если главное предложение имеет вид не-P, то оно, по правилу снятия двойного отрицания, заменяется на P)⁵. Ср.

⁴ Поскольку эта пресуппозиция предполагается известной и говорящему, она, очевидно, является не только семантической, но и прагматической. Действительно, «прагматическая презумпция — это суждение, которое слушающему должно быть известно, чтобы высказывание было нормативным» [Падучева 1985: 58]. О пресуппозиции уступительного предложения см. также [König 1988]. Разные типы сведений, выражаемых в пресуппозиции уступительного предложения, описаны в [Урысон 2002].

⁵ Разумеется, при этом необходимы и некоторые другие замены, связанные, на-

- (6) а. Если бумага была черной (Q), на ней ясно проступали все знаки (P) → б. Хотя бумага была черной (Q), на ней не проступил ни один знак ($\text{не-}P$).
- (1) а. Если был сильный мороз (Q), мы не ходили кататься на лыжах ($\text{не-}P$) → б. Хотя *⟨несмотря на то что⟩* был сильный мороз (Q), мы пошли кататься на лыжах (P).
- (4) а. Если на улице никого не было (Q), Васю не водили гулять ($\text{не-}P$) → б. Хотя на улице никого не было (Q), Васю повели гулять (P).

С определенной долей условности высказывание (а) с союзом *если* выражает пресуппозицию высказывания (б) с уступительным союзом. Это полностью соответствует описанию, предложенному выше. Такие примеры легко умножить.

Однако не всякое высказывание с *если* может служить пресуппозицией высказывания с *хотя* или *несмотря на то что*. Иными словами, не любой пример с *если* можно переделать во фразу с уступительным союзом, так чтобы исходный пример служил пресуппозицией полученного высказывания. Существенно, что эта трансформация невозможна благодаря специфике самих данных союзов. Ср.

- (7) а. Если он обижал ее (Q), она его прощала (P) → б. *Хотя *⟨несмотря на то что⟩* он обидел ее (Q), она его не простила ($\text{не-}P$).
- (8) а. Если он встречал ее (Q), она не обращала на него внимания ($\text{не-}P$) → б. *Хотя *⟨несмотря на то что⟩* он встретил ее (Q), она обратила на него внимание (P).

Фразы (7б) и (8б), по крайней мере произносимые с нейтральной интонацией, семантически аномальны — вряд ли можно представить какие-нибудь, даже искусственные ситуации, которые они могли бы описывать. Очевидно, что аномальность этих высказываний обусловлена единственно союзом *хотя* (или *несмотря на то что*).

Посмотрим на эти уступительные союзы внимательнее.

Пресуппозиция данных союзов указывает на каузальную связь двух ситуаций: обычно одна ситуация (вводимая союзом) является причиной или благоприятным условием существования другой (информация о ней содержится в главном предложении). Эта каузальная связь может быть выражена с помощью союза *если*, ср. (1а), (5а), (6а). Именно этот случай отражен в выражении (I), претендующем на статус толкования уступительных союзов.

Однако союз *если*, в отличие от *хотя*, может обозначать и некаузальную связь между ситуациями⁶. Так обстоит дело в примерах (7а) и (8а) — описываемые ситуации не связаны здесь никакой каузальной зависимостью, ни одна из них не обуславливает другую. Ясно, что при отсутствии каузальной

пример, с референциальным статусом описываемых ситуаций, см. подробно [Урысон 2002].

⁶ См. об этом [Вежицкая 1996]. Подробнее о семантике союза *если*, в частности — о типах выражаемых им связей между ситуациями, см. [Урысон 2001].

зависимости между ситуациями высказывание с *если* не может служить пресуппозицией высказывания с *хотя* или *несмотря на то что*. Теперь семантическая аномальность примеров (7б) и (8б) легко объяснима: с одной стороны, пресуппозиция уступительных союзов *хотя* и *несмотря на то что* выражает каузальную зависимость между двумя ситуациями, а с другой стороны, данные ситуации по своему характеру исключают какую-либо каузальную зависимость одной ситуации от другой. Это противоречие и порождает семантическую аномалию.

Заметим, что фразы (7а) и (8а) отличаются от предыдущих примеров — с «каузальным» *если* — еще одной чертой. Они допускают замену *если* на *хотя*, не требуя при этом каких бы то ни было преобразований Р и Q, в частности не требуя замены Р на не-Р. Ср.

(7) а. *Если он обижал ее (Q), она его прощала (P)* — б. *Хотя <несмотря на то что> он обижал ее (Q), она его прощала (P)*.

(8) а. *Если он встречал ее (Q), она не обращала на него внимания (не-Р)* — б. *Хотя <несмотря на то что> он встречал ее (Q), она не обращала на него внимания (P)*.

Союз *если* в подобных контекстах в ряде работ даже признается «эквивалентом уступительного союза» [Грамматика 80, II: 588]. Действительно, (7а) и (7в) [равно как и (8а), (8в)] описывают одни и те же ситуации Р и Q — ‘он ее обижал’ [Р], ‘она его прощала’ [Q] (или ‘он ее встречал’ [Р], ‘она не обращала на него внимания’ [Q]).

Однако фразы (а) и (б) внутри пар отнюдь не равнозначны: они выражают совершенно различную связь между описываемыми ситуациями. Фразы с *хотя* указывают на то, что ситуация Q препятствует существованию ситуации Р, а фразы с *если* ничего подобного не выражают. Почему же тогда в этих примерах союзы *хотя* и *если* так легко заменяют друг друга?

Все дело в специфике описываемых ситуаций или, шире, в устройстве нашего мира. Зная действительность, мы понимаем, что бывает трудно простить того, кто тебя обидел (или что когда встречаешь знакомого человека, то странно не обратить на него внимание). При этом с помощью союза *хотя* мы специально указываем на то, что одна ситуация препятствует существованию другой. Употребляя *если*, мы не выражаем подобный смысл средствами языка — он ясен нам, поскольку мы обладаем знанием о мире. Иными словами, во фразах типа (7)—(8) союзы *если* и *хотя* сохраняют все свои различия.

Мы убедились, что уступительные союзы *хотя* и *несмотря на то что*, в отличие от условного *если*, обязательно указывают на каузальную зависимость между ситуациями. Но тогда выражение (I), предлагаемое в качестве толкования данных уступительных союзов, неадекватно: в нем каузальная связь не эксплицирована.

Добавим в выражение (I) эксплицитное указание на то, что ситуация Q влияет на имеющееся положение дел. Ср.

(II) *Хотя* (несмотря на то что) $Q, P =$

‘[а, пресуппозиция] обычно ситуация типа Q влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место ситуация типа Q , то не имеет место ситуация типа P ;

[б] в данном случае имеет место Q , имеет место P ’.

Сразу оговорим, что существуют такие типы высказываний, для адекватного представления которых требуется модификация выражения (II). Опишем главные из них.

Первый случай — это высказывания типа

(i) *Хотя Иван сумел выиграть чемпионат Европы (Q), на Олимпиаде он не вошел даже в шестерку сильнейших (P).*

В данном случае неверно, что ситуация типа Q (‘некоторый спортсмен был чемпионом Европы’) обычно имеет своим следствием ситуацию типа не- P (‘этот спортсмен бывает сильнейшим и на Олимпиаде’). Данные две ситуации связаны опосредованно: они обусловлены общим фактором, а именно высоким уровнем мастерства спортсмена. Иными словами, в пресуппозиции подобных фраз выражен следующий смысл:

(IIa) ‘существует некоторая ситуация, которая обычно влияет на имеющееся положение дел; в результате обычно имеет место ситуация типа Q , в результате обычно не имеет место ситуация типа P ’.

Данный смысл можно выразить короче, с помощью союза *если*, ср.

(IIa’’) ‘существует некоторая ситуация, которая обычно влияет на имеющееся положение дел; в результате, если имеет место ситуация типа Q , то не имеет место ситуация типа P ’.

Ср. аналогичный пример:

(ii) *Хотя он испанец (Q), его фамилия Иванов (P).*

Пресуппозицию данного высказывания мы формулируем так: ‘существует нечто, что передается человеку от его родителей, а им — от их родителей и т. д. и что является причиной существования ситуации типа Q и существования ситуации типа не- P [т. е. того, что человек имеет определенную национальность, и того, что он не носит фамилию, свойственную представителям другого народа]; в результате если имеет место ситуация типа Q , то не имеет место ситуация типа P ’.

Важно, что в случае обусловленности двух ситуаций P и Q каким-то третьим фактором, союз *если* уже не вводит ситуацию-условие (она остается невыраженной) — он просто указывает на сопутствование двух ситуаций. Поэтому для данных высказываний справедливо следующее квазисинонимическое преобразование:

(iii) *Обычно если Q, то P ≈ Обычно если P, то Q.*

Ср. *Обычно если спортсмен выигрывает чемпионат Европы (Q), он и на Олимпиаде входит в число сильнейших (P) ≈ Обычно если спортсмен*

входит в число сильнейших на Олимпиаде (P), он выигрывает и чемпионат Европы (Q); Обычно если человек испанец (Q), то он носит испанскую фамилию (P) \approx Обычно если человек носит испанскую фамилию (P), то он испанец (Q).

Подчеркнем, что союз *если* и в этих высказываниях выражает каузальную зависимость между ситуациями. Однако в данном случае существование ситуаций Q и P обусловлено некоторой третьей ситуацией, и благодаря этому в данном классе высказываний союз *если* приобретает определенное поверхностное сходство с симметричными предикатами.

Это свойство союза *если* очень последовательно отражается в высказываниях с союзом *хотя* типа (i)—(ii), выражающих пресуппозицию (IIa"). Они допускают аналогичное симметричное преобразование:

(iv) *Хотя Q, P \approx Хотя P, Q.*

Ср. *Хотя он неоднократно выигрывал чемпионат мира (Q), он ни разу не стал победителем Олимпиады (P) — Хотя он ни разу не стал победителем Олимпиады (P), он неоднократно выигрывал чемпионат мира (Q); Хотя он испанец (Q), его фамилия Иванов (P) — Хотя его фамилия Иванов (P), он испанец (Q)*⁷. Союз *хотя* ведет себя здесь как симметричный предикат по единственной причине: в пресуппозиции данных высказываний выражена каузальная зависимость не одной ситуации от другой, а двух ситуаций от какой-то третьей.

Примеры, описываемые модификацией (IIa'), подтверждают тезис о том, что уступительные союзы *хотя* и *несмотря на то что*, в отличие от условного *если*, обязательно указывают на каузальную связь между ситуациями.

Второй случай, требующий модификации выражения (II), — это фразы типа

(v) *Хотя во всех окнах горел свет (Q), в квартире никого не было (P).*

В данном случае ситуация Q тоже, очевидно, никак не влияет на имеющееся положение дел. Наоборот, она сама обычно бывает обусловлена тем, что в квартире есть люди (т. е. ситуацией не-P). Можно подумать, что пресуппозиция этого примера такова: 'обычно ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате если в квартире никого нет (P), то в окнах не горит свет (не-Q)'. Иными словами, пресуппозиция примера (ii) отличается от пресуппозиции канонического выражения (II) «рокировкой» переменных P и Q. Но чем тогда отличается пример (v) от следующего высказывания? Ср.

(vi) *Хотя в квартире никого не было (Q), во всех окнах горел свет (P).*

Ясно, что различие между (v) и (vi) необходимо отразить в семантической структуре высказываний.

⁷ Наше внимание к примерам этого типа привлекла В. Ю. Апресян.

На наш взгляд, фразы (v) и (vi) различаются приблизительно так же, как примеры внутри следующих пар. Ср. (а) *Все окна заляпаны краской (P), потому что в доме идет ремонт (Q)* VS. (б) разг. *В доме идет ремонт (P), потому что все окна заляпаны краской (Q)*; (а) *Если отец задерживается на работе (Q), ужинают без него (P)* VS. (б) *Если ужинают без отца (Q), (значит) он задерживается на работе (P)*. Рассмотрим это различие внимательно.

В примере (а) ситуация, вводимая союзом, обуславливает существование второй ситуации, выраженной главным предложением (из-за ремонта окна в краске; из-за того, что отец на работе, ужинают без него). Пример (б) устроен сложнее: здесь ситуация, вводимая союзом, обуславливает не саму вторую ситуацию, а умозаключение о ее существовании. Действительно, говорящий понимает, что в доме ремонт, потому что видит окна, заляпанные краской (говорящий понимает, что отец задерживается на работе, потому что видит или знает, что ужинают без него). При этом соответствующий смысл может быть выражен вполне эксплицитно; ср. *Я считаю, что в доме ремонт, потому что все окна в краске; Я знаю, что если ужинают без отца, то, значит, он задерживается на работе*. Как отразить различие между примерами (а) и (б)?

Хорошо известно, что семантическая структура высказывания состоит из объектов разной природы. В частности, в ней выделяются диктум (собственно содержание высказывания) и модус (позиция говорящего), так что высказывание типа *Идет дождь* представляется следующим образом: «Я констатирую [модус]: идет дождь [диктум]» [Балли 1950/2001]. Очевидно, что в примерах (а) союз связывает диктальные части главного и придаточного предложения. Что касается примеров типа (б), то в них союз связывает диктальную часть придаточного предложения с модусом главного. См. об этом работу [Арутюнова 1970]. Многочисленные примеры подобного употребления разных союзов рассматриваются в книге [Падучева 1985: 46 и сл.]⁸.

Поскольку в примерах (б) союзы *потому что* и *если* описывают умозаключения субъекта, а не реальные связи между ситуациями, то будем говорить, что в высказываниях типа (б) представлено «логическое» *потому что* и «логическое» *если*.

Вернемся к примерам (v) и (vi). Очевидно, что (vi) ничем не отличается от основной массы примеров, рассмотренных выше. Что касается высказывания (v) *Хотя во всех окнах горел свет (Q), в квартире никого не было (P)*, то в нем представлено *хотя* «логическое». Действительно, существование

⁸ В современной семантической теории диктум и модус Ш. Балли — это соответственно пропозициональный смысл высказывания и его иллюкутивная функция. «В сложном предложении могут возникнуть ощутимые смысловые различия, связанные с тем, соотносится ли в его семантической структуре смысл одного предложения с пропозициональным смыслом другого или же с его иллюкутивной компонентой» [Падучева 1985: 46].

ситуации Q отнюдь не препятствует существованию ситуации P — оно противоречит естественному умозаключению: ‘имеет место P’. Пресуппозиция высказываний с «логическим» *хотя* выглядит так:

(Пб) [*Хотя во всех окнах горел свет (Q), в квартире никого не было (P)*] ‘обычно ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q; на основании этого правильно считать: если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P’⁹.

Как видим, *хотя* «логическое» тоже предполагает каузальную зависимость между ситуациями.

Обратим внимание на то, что описание и «обычного», и «логического» *хотя* не уместается в рамки собственно лексической семантики. Толкование «обычного» *хотя* включает в себя знание о мире, а толкование *хотя* «логического» — фрагмент логики умозаключений¹⁰.

Мы убедились, что семантика союза *хотя* богаче, чем это принято думать. Его пресуппозиция не сводится к выражению ‘обычно если Q, то не-P’ — в нее нужно ввести эксплицитное указание на то, что некоторая ситуация влияет на имеющееся положение дел и препятствует существованию другой ситуации. Такое указание содержат выражение (II) и его модификации. Выражение (II) мы выбираем в качестве словарного толкования лексемы *хотя I*. Выражение (IIa”) — это модификация пресуппозиции союза *хотя I*. Возможно, *хотя I* имеет еще одну модификацию, ср. (IIб), но возможно, мы имеем здесь дело уже с отдельной лексемой. Не исключено, что союз *несмотря на то что*, в отличие от *хотя*, каких-то из этих модификаций не имеет.

2. Общая схема уступительного значения

Итак, словарное толкование классических уступительных союзов *хотя I* и *несмотря на то что* имеет следующий вид:

(II) *Хотя* ⟨*несмотря на то что*⟩ Q, P =

‘[a, пресуппозиция] обычно ситуация типа Q влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P;

[б] в данном случае имеет место Q, имеет место P’.

Но если ситуация P все-таки существует, значит, имеет место одно из двух: 1) в данном случае ситуация Q не повлияла на имеющееся положение

⁹ Ср. логический закон контрапозиции: Высказывание «Если A, то B» равносильно высказыванию «Если не B, то не A».

¹⁰ Вопрос о том, является ли «логическое» *хотя* отдельным значением (лексемой) союза, мы пока оставляем открытым. Разумеется, этот же вопрос встает и при описании других союзов, ср. приведенные примеры с *если* и *потому что*.

дел; 2) существует какой-то фактор R, который преодолевает влияние ситуации Q.

На наш взгляд, ни союз *несмотря на то что*, ни союз *хотя* (по крайней мере в рассматриваемом употреблении, подробнее см. [Урысон 2002]) никаких подобных указаний не содержат. Действительно, фраза *Хотя <несмотря на то что> был сильный мороз (Q), мы пошли кататься на лыжах (P)* сообщает нам лишь о факторе, который обычно мешает лыжному катанию, но ничего не говорит о том, почему прогулка все-таки состоялась.

Более сильный фактор, преодолевающий влияние ситуации Q, может быть упомянут в широком контексте. Ср. *Хотя был сильный мороз (Q), мы пошли кататься на лыжах (P). Дело в том, что Петя очень любит зимний лес (R)*. Однако подобная информация не относится к семантике союза *хотя* или *несмотря на то что*. Так, в данном примере указание на причину, благодаря которой ситуация P все-таки имеет место, вводится отдельно — оборотом *дело в том, что*.

Союзы *несмотря на то что* и *хотя* описывают нестандартное, «ненормальное» положение дел: ситуация, которая обычно влияет на происходящее, в данном случае ни на что не повлияла¹¹. Однако с логической точки зрения можно представить и другое положение дел: когда соответствующий фрагмент действительности состоит из трех ситуаций, т. е. включает и тот более сильный фактор, который преодолевает влияние «ситуации-препятствия» (см. [Богомолова 1955] и, в особенности, [Эстрина 1968; Гречишникова 1971; Печенкина 1976; Перфильева 1985; Теремова 1986]). Как соотносится это логическое умозаключение с семантикой естественного языка?

Теоретически можно представить уступительное слово, которое указывало бы и на «ключевую» ситуацию, и на ситуацию, ей препятствующую, и на фактор, благоприятный для ключевой ситуации. Такой предикат выражал бы следующее значение:

- (III) [i] имеет место ситуация Q;
 [ii] имеет место ситуация R;
 [iii, пресуппозиция] обычно ситуация типа Q влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P;
 [iv, пресуппозиция] обычно ситуация типа R влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место ситуация типа R, то имеет место ситуация типа P;
 [v] в данном случае ситуация R влияет на положение дел больше, чем ситуация типа Q; в результате:
 [vi] имеет место ситуация P'.

КОММЕНТАРИЙ: 'Ситуация P влияет на данное положение дел' = 'ситуация P может быть или является причиной или условием того, что данное

¹¹ Ср. описание уступительных предложений в работе [Кухаревич 1955].

положение дел изменится' \approx 'из-за ситуации Р положение дел изменяется или может измениться'.

Общая схема уступительного значения — это семантический конструкт, представленный нами на метаязыке современной семантики. Забегая вперед, отметим, что по существу дела он «параллелен» понятию уступительной ситуации — специальному конструкту функциональной грамматики, введенному Р. М. Теремовой [Теремова 1986]. Теоретический статус этих двух конструктов будет обсуждаться ниже. Сейчас сосредоточимся на лексической семантике.

Оказывается, что данная схема лежит в основе семантики всего класса уступительных слов. А именно, значение конкретных уступительных лексем естественно представлять как результат одного или нескольких стандартных преобразований общей схемы. Продемонстрируем это ¹².

3. Реализация общей схемы уступительного значения в конкретных лексемах

3.1. Элиминация компонентов схемы — союзы *несмотря на то что* и *хотя* I

Начнем с «классических» уступительных союзов, рассмотренных выше, — *несмотря на то что* и *хотя* I. Их значение получается из схемы (III) элиминированием компонентов (ii, iv, v), т. е. тех компонентов, которые описывают «благоприятный фактор» R.

Оба союза описывают ситуацию с двумя участниками (причем каждый участник, в свою очередь, является ситуацией). Тем самым, эти союзы имеют по два семантических актанта. Один актант (P) — ситуация, существующая вопреки препятствию, а другой актант (Q) — ситуация-препятствие.

Семантические актанты данных союзов обязательно выражаются в тексте. Ситуация Q выражается придаточным предложением, которое вводится уступительным союзом, а ситуация P оформляется главным предложением. При этом придаточное предложение, вводимое классическим уступительным союзом, может находиться как в препозиции, так и в постпозиции к главному. Ср.

(1) *Хотя* ⟨*несмотря на то что*⟩ был сильный мороз (Q), мы пошли кататься на лыжах (P).

(1a) Мы пошли кататься на лыжах (P), *хотя* ⟨*несмотря на то что*⟩ был сильный мороз (Q).

¹² Сразу оговорим, что уступительные слова, наряду с собственно уступительной семантикой, могут выражать и тонкие оценки, различные «обертонь» и т. п., см. [В. Апресян 1999; 2000а; 2000б; Николаева, Фужерон 1999]. Обсуждение подобных компонентов значения не входит сейчас в нашу задачу.

Тем самым, каждому семантическому актанту данных союзов соответствует своя синтаксическая валентность.

Напомним, что актанты лексемы всегда ранжированы по важности (или, иначе, по силе логического ударения, которым выделен каждый их них). Чем важнее актант, тем обязательнее его синтаксическое выражение. В лексикографическом описании степень важности актанта отражается с помощью его номера, или ранга, причем тот же номер получает и синтаксическая валентность слова по данному актанту. Самый важный актант (и соответствующая ему валентность) получает первый номер, следующий по важности актант — второй номер и т. д. В общей схеме уступительного значения актанты даны без рангов. Следовательно, для того чтобы перейти от схемы к конкретной лексеме необходимо еще снабдить актанты номерами.

Будем считать, что первый ранг имеет тот актант, выражение которого вводится уступительным словом. У союзов *хотя 1* и *несмотря на то что* это актант, соответствующий ситуации-препятствию: $Q = 1$. Тогда актант P этих союзов, оформляемый главным предложением, имеет второй ранг: $P = 2$.

В соответствии с русской грамматической традицией, будем считать, что главное предложение (P) подчиняет придаточное (Q). Тогда естественно принять, что союз *хотя* синтаксически зависит от главного предложения P и при этом подчиняет себе придаточное Q . Тем самым первая валентность союза — на ситуацию-препятствие Q — является активной, а вторая валентность — пассивной¹³.

3.2. Неточные конверсивы *хотя 1* и *хотя 2*

Союз *хотя* многозначен. Перейдем к его второму значению (лексема *хотя 2*), представленному в примерах типа

(9) *Хороши такие туманные летние дни, хотя охотники их не любят.*

(10) *Петя теперь очень много занимается, хотя учителя им по-прежнему недовольны.*

(11) *Вчера вечером [Кузьмины] сидели у нас, ужинали, разговаривали — обо всем понемногу. Кузьмины чтут Сталина. В споры я не вступал, Тома — тем более; были взаимотерпимы, хотя в политику старались не вдаваться (И. Дедков).*

Союз *хотя 2*, в отличие от *хотя 1*, не синонимичен союзу *несмотря на то что*. Есть и синтаксическое отличие *хотя 2* от *хотя 1*: для *хотя 2* практически обязательна постпозиция вводимого им предложения, причем оно отделяется от главного гораздо большей паузой.

¹³ Напомним определение активной и пассивной валентностей. «Валентность, которая заполняется выражением, синтаксически подчиненным валентному слову, называется активной. Если же выражение, заполняющее валентность данного слова, не подчиняется ему, а само его подчиняет, то такую валентность принято называть пассивной» [Богуславский 1996: 14].

Однако между *хотя 2* и *хотя 1* есть и большое сходство. Фразы с *хотя 2* тоже описывают две ситуации, причем одна из них препятствует существованию другой. Но в высказывании с *хотя 2* ситуация-препятствие описывается главным предложением, а обозначение «ключевой» ситуации вводится союзом. Тем самым союз *хотя 2* — это конверсив, хотя и неточный, классического уступительного союза *хотя 1*.

Действительно, лексемы *хотя 1* и *хотя 2* обе имеют по два семантических актанта, поскольку предполагают две ситуации — Р и Q, причем ситуация Q препятствует существованию ситуации Р. Однако в случае *хотя 1* ситуация-препятствие Q является первым актантом, а ситуация Р — вторым, т. е. Q = 1, Р = 2. А в случае *хотя 2* ситуация Р поднимается в ранге до первого актанта, а на долю препятствия Q остается вторая валентность союза, т. е. Р = 1, Q = 2. При этом валентность на ситуацию-препятствие Q становится пассивной, а валентность на ситуацию Р — активной. Ср.

(9а) *Хотя такие туманные летние дни хороши* (Q = 1), *охотники их не любят* (Р = 2) VS. *Хороши такие туманные летние дни* (Q = 2), *хотя охотники их не любят* (Р = 1).

(10а) *Хотя Петя теперь очень много занимается* (Q = 1), *учителя им по-прежнему недовольны* (Р = 2) VS. *Петя теперь очень много занимается* (Q = 2), *хотя учителя им по-прежнему недовольны* (Р = 1).

(11а) *Хотя хозяева и гости были взаимотерпимы* (Q = 1), *в политику на всякий случай не вдавались* (Р = 2) VS. *Хозяева и гости были взаимотерпимы* (Q = 2), *хотя в политику на всякий случай не вдавались* (Р = 1).

Значение лексемы *хотя 2* получается из общей схемы уступительного значения (III) тем же преобразованием, что и *хотя 1*, т. е. элиминированием компонентов (ii, iv, v), описывающих «благоприятный фактор» R. Однако оставшиеся актанты Р и Q общей схемы получают теперь другие номера.

Отметим, что лексема *хотя 2* накладывает определенные ограничения на пропозиции Р и Q. В результате не всякое высказывание с *хотя 1* может быть трансформировано в нормальную фразу с *хотя 2*. Ср. *Детей повели гулять, хотя начался проливной дождь* — **Начался проливной дождь, хотя детей повели гулять*. Из-за этих ограничений *хотя 2* не является точным конверсивом к *хотя 1*¹⁴.

3.3. Тем не менее — еще один квазиконверсив классических уступительных союзов

Лексема *тем не менее* представлена в примерах типа:

(2) *Был очень сильный мороз. Тем не менее лыжные тренировки не отменялись.*

¹⁴ Неоднократно отмечалось, что *хотя 2* сближается с противительным союзом *но*. Жесткие рамки статьи заставляют нас ограничиться здесь классом уступительных союзов.

(12) *Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его писк слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое* (А. П. Чехов).

(13) *Да, это внезапное появление могло испугать кого угодно, и тем не менее --- оно являлось большой радостью* (М. Булгаков).

Подобно союзам *хотя 1* и *несмотря на то что*, лексема *тем не менее* не содержит никакого указания на «благоприятный фактор», преодолевающий влияние ситуации-препятствия. Следовательно, *тем не менее* тоже описывает ситуацию с двумя актантами. Один из них — это ситуация-препятствие. Другой актант — это ситуация, которая имеет место вопреки препятствию. У классических уступительных союзов, а также у союза *хотя 2* каждому семантическому актанту соответствует своя синтаксическая валентность. А сколько синтаксических валентностей у слова *тем не менее*?

Нет никаких сомнений, что *тем не менее* обладает синтаксической валентностью на ситуацию Р, существующую вопреки препятствию: обозначение этой ситуации вводится словом *тем не менее*, и, следовательно, $P = 1$. На наш взгляд, эта валентность слова *тем не менее* является пассивной.

Что касается ситуации-препятствия Q, то, с одной стороны, ее выражение в тексте обязательно. Ср. следующие высказывания, которые обязательно предполагают предтекст, содержащий описание ситуации Q:

(14) *Тем не менее костюм от редакции я получил* (С. Довлатов).

(15) *Тем не менее друг к другу они чувствовали настоящую приязнь и разговаривали обо всем совершенно свободно* (Ю. Домбровский).

Но, с другой стороны, не существует никаких синтаксических или подобных правил, которые бы описывали оформление данного семантического актанта. Действительно, ситуация-препятствие Q может быть выражена самыми разными способами: самостоятельным предложением, как в примерах (2), (12)—(13), придаточным предложением, фрагментом предложения, содержащим обособленный оборот. Ср.

(16) *Подавленный всем случившимся, он тем не менее продолжает лекцию* [ситуация Q — ‘он подавлен всем случившимся’; она выражена именной группой с обособленным оборотом *подавленный всем случившимся, он*].

(17) *Мало что понимая по-немецки, Иван тем не менее догадывался, как, отвечая физику, издевается над всем виденным Георг Майзель* (А. Азольский) [ситуация Q — ‘Иван мало что понимал по-немецки’ выражена фрагментом предложения, в который входит деепричастный оборот].

(18) *В этом городе, где уже столько лет вытравляется дух приключения, оно тем не менее живет, ползет по улицам, лепится к окнам* (В. Аксенов) [ситуация Q — ‘в этом городе уже столько лет вытравляется дух приключения’; она выражена фрагментом, содержащим придаточное предложение].

Существенно, что обозначение ситуации-препятствия Q может описываться весьма длинным фрагментом текста. Так обстоит дело с примерами

(14) и (15) — описание «препятствий» для Р занимает в соответствующих произведениях не одну страницу.

Дело в том, что *тем не менее* — это не союз, а фразовая частица. Даже в примерах (12)—(13), где выражение ситуации Q непосредственно предшествует обозначению ситуации Р, данная лексическая единица располагается после сочинительного союза *но* или *и*.

Все это — аргументы в пользу того, что семантическому актанту Q слова *тем не менее* не соответствует никакая синтаксическая валентность (или, если воспользоваться более широкой теорией И. М. Богуславского, — никакая синтаксическая сфера действия).

Действительно, существующая теория предполагает, что способы реализации синтаксической валентности (синтаксической сферы действия лексем) могут быть описаны достаточно формально. Более точно, фрагменты текста, соответствующие данному семантическому актанту, определяются как фрагменты синтаксической структуры высказывания, причем задаются четкими алгоритмизируемыми правилами. Эти правила могут быть весьма сложными и нетривиальными. В частности, возможны неканонические ситуации, когда семантическому актанту лексемы L соответствует «кусочек» лексического значения какой-либо словоформы, или ее грамматическое значение, или фрагмент коммуникативной структуры высказывания и т. п. Однако в любом случае для данного семантического актанта существует четкий набор способов его выражения, пользуясь которым можно формально определять тот фрагмент синтаксической структуры (или значения словоформы, или коммуникативной структуры), которым данный актант выражается (см. [Богуславский 1996]). Если же таких правил нет, то говорят, что данный семантический актант невыразим на синтаксическом уровне, т. е. лексема не имеет соответствующей синтаксической валентности (синтаксической сферы действия). Классический пример слова с невыразимым семантическим актантом — глагол *промахнуться* (см. [Мельчук 1974: 135; Апресян 1974: 148]).

Этот глагол описывает ситуацию, когда субъект стреляет (или бросает нечто) в цель, однако не попадает в нее. Следовательно, цель, или поражаемый объект, является одним из актантов описываемой ситуации. Однако русский глагол *промахнуться* не имеет синтаксической валентности по данному семантическому актанту; поэтому неудовлетворительны или невозможны высказывания типа ^{??}*Охотник промахнулся по тигру* (**в тигра*). При этом очень часто данный семантический актант выражен где-то в тексте. Ср. *Охотник выстрелил в тигра, но промахнулся; По выражению лица охотника мы поняли, что он опять промахнулся. А стрелял он, как выяснилось, в лису*. Поэтому отсутствие у слова синтаксической валентности по некоторому актанту не означает, что данный актант вообще невыразим, не может быть назван. Он выражается, но его выражение невозможно задать правилами, которыми описывается реализация валентностей. Именно так обстоит дело с актантом Q слова *тем не менее*.

Задача определения ситуации-препятствия Q, предполагаемой лексемой *тем не менее*, относится не столько к синтаксическому, лексическому и т. п. анализу, сколько к области понимания текста. Действительно, из текста, а также из «энциклопедических знаний» о действительности нужно извлечь информацию о том, какая именно ситуация в данном случае препятствует существованию ситуации P. Возможно, соответствующая процедура поддастся какой-то алгоритмизации, но при этом предполагается обработка не синтаксической или семантической структуры высказывания (текста), а некоторой понятийной сети.

Правда, имеется одно формальное требование, которое предъявляется к выражению актанта Q лексемы *тем не менее*: он должен быть назван в предтексте, причём его выражение содержит рему. Эта рема может быть основной (если ситуация Q описывается отдельным самостоятельным высказыванием) или второстепенной (так обстоит дело, если ситуация Q обозначается фрагментом, содержащим обособленный оборот). В некотором смысле у лексемы *тем не менее* как бы намечается данная синтаксическая валентность: какие-то формальные требования к выражению актанта есть, но их слишком мало¹⁵. Подобные случаи не могут быть описаны на языке имеющейся теории валентностей. Возможно, было бы целесообразно несколько расширить ее, так, чтобы иметь возможность рассуждать и о таких «промежуточных» случаях. Другие примеры подобных «зачатков» синтаксических валентностей будут приведены ниже.

Как бы то ни было, получается, что у лексемы *тем не менее* следующее соотношение между семантическими актантами и синтаксическими валентностями: $P = 1, Q = 0$. Следовательно, перед нами квазиконверсив классических уступительных союзов *хотя 1* и *несмотря на то что*¹⁶.

С точки зрения валентной структуры лексема *тем не менее* сближается с лексемой *хотя 2*. Ср.

(19) а. *Хороши такие туманные летние дни (Q). Тем не менее, охотники их не любят (P = 1) VS. б. Хороши такие туманные летние дни (Q = 2), хотя охотники их не любят (P = 1).*

(20) а. *Петя теперь очень много занимается (Q). Тем не менее учителя им по-прежнему недовольны (P = 1) VS. б. Петя теперь очень много занимается (Q = 2), хотя учителя им по-прежнему недовольны (P = 1).*

(21) а. *Хозяева и гости были взаимотерпимы (Q). Тем не менее в политику на всякий случай не вдавались (P = 1) VS. б. Хозяева и гости были взаимотерпимы (Q = 2), хотя в политику на всякий случай не вдавались (P = 1).*

¹⁵ Возможно, эти требования аналогичны требованиям к выражению антецедента местоимения типа *он*.

¹⁶ Тот факт, что лексема *тем не менее* находится в отношении конверсности к *хотя 1* и *несмотря на то что*, установлен в статье [В. Апресян 1999]. Но в этой работе данные лексемы признаются точными конверсивами.

Лексема *тем не менее*, как и классические уступительные союзы, и союз *хотя* 2, получается из общей схемы уступительного значения элидированием компонентов (ii, iv, v), описывающих «благоприятный фактор» R. Оставшиеся актанты P и Q и соответствующие им синтаксические валентности ранжируются специфическим образом: P = 1, Q = 0. Сближаясь с союзом *хотя* 2, лексема *тем не менее* отличается от него синтаксически — она одновалентна, причем ее единственная валентность является пассивной.

Между *хотя* 2 и *тем не менее* есть и одно существенное семантическое различие, на котором мы остановимся. Эти слова совершенно по-разному подают ситуацию P, при том что данный актант заполняет у них одну и ту же валентность. *Хотя* 2 вводит информацию о P как в каком-то смысле дополнительную, второстепенную. Основная информация в приведенных примерах с *хотя* — о ситуации Q. В примерах с *тем не менее* информация о P не менее важна, чем информация о Q. Поясним это.

Рассмотрим примеры (19)—(21) как микротексты. Подобно «нормальным» текстам, они посвящены какой-то теме. Подчеркнем, что мы употребляем сейчас слово *тема* не как термин актуального членения высказывания, а как нормальное русское слово; ср. выражения *сочинение на тему... тема выступления, раскрыть тему* и т. п. Данное понятие относится, скорее, не к лексической семантике, а к области понимания текста. Существенно, что тему текста, особенно художественного, можно сформулировать очень по-разному. Вероятно, по-разному можно сформулировать и тему многих микротекстов. Однако для нас существенно, что в некоторых случаях тема микротекста четко «высвечивается» с помощью союзов и подобных дискурсивных слов. Таковы микротексты (19)—(21).

Первый микротекст: (19а) *Хороши такие туманные летние дни. Тем не менее охотники их не любят.* Первое предложение микротекста — о летних днях, а второе — об охотниках. Поэтому весь данный текст допускает продолжение об охотниках. Ср.

(19а¹) *Хороши такие туманные летние дни. Тем не менее охотники их не любят. Они предпочитают ясную погоду.*

Второй микротекст: (19б) *Хороши такие туманные летние дни, хотя охотники их не любят.* Очевидно, весь этот текст о туманных летних днях и вряд ли об охотниках. Поэтому для данного текста нежелательно продолжение, которое было столь естественно для (19а). Ср.

(19б¹) *Хороши такие туманные летние дни, хотя охотники их не любят. Они предпочитают ясную погоду.*

(Мы отвлекаемся сейчас от возможных хороших продолжений текста, вводимых союзами и разного рода дискурсивными словами. Ср. *Хороши такие туманные летние дни, хотя охотники их не любят. Впрочем, охотники — народ особый.* Дело в том, что подобные слова часто маркируют

разного рода «повороты повествования», а нам нужен материал без таких «поворотов».)

Аналогичным образом обстоит дело в следующей паре: (20а) *Петя теперь очень много занимается. Тем не менее учителя им по-прежнему недовольны* [первая часть текста — о Пете, вторая — о его учителях] VS. (20б) *Петя теперь очень много занимается, хотя учителя им по-прежнему недовольны* [весь текст о Пете].

Тем не менее может начинать новую тему в микротексте. Союз *хотя* 2 этой способностью не обладает. Тем самым данные лексемы различаются метатекстовой функцией. Это отдельный компонент значения данных лексем, для описания которого требуется особое понятие темы текста¹⁷.

Благодаря этому компоненту данные лексемы сближаются с метатекстовыми предикатами А. Вежбицкой, основная функция которых — не описание той или иной ситуации действительности, а разметка текста — выделение в нем более или менее важных фрагментов, предупреждение о новой информации, отсылка к уже упомянутому и т. п. [Вежбицкая 1978].

Поскольку понятие темы текста относится не к собственно семантике, а к области понимания текста, его применение для описания значения слов ставит перед лингвистом ряд теоретических проблем. Они рассматриваются в [Урысон 2000], и сейчас мы на них останавливаться не будем.

Представление о важности (логической выделенности, семантическом акцентировании, фокусе и т. п.) лежит в основе очень разных лингвистических противопоставлений. На нем, в частности, базируется противопоставление темы и ремы, фокуса и топика, пресуппозиции и ассерции, ранжирование актантов (т. е. залоговые, конверсивные и т. п. различия) и, вероятно, другие противопоставления. Мы тоже столкнулись с выделенностью актантов по важности, но данное противопоставление не описывается в существующих терминах. Для того чтобы уяснить его природу, нам пришлось выйти за пределы обычной лексической семантики и обратиться к структуре текста.

3.4. Как-никак — уступительная лексема с тремя семантическими актантами

До сих пор мы рассматривали уступительные слова с двумя семантическими актантами. Значение этих лексем выводится из общей схемы уступительного значения устранением ее третьего актанта — «благоприятного фактора» R. Однако среди уступительных слов существуют и лексемы с полным набором актантов. Одна из них — *как-никак*. Ср.

(22) *За ней ухаживают. Как-никак дочка директора.*

¹⁷ О метатекстовой (текстобразующей) функции союзов см. пионерскую работу [Кручинина 1984]. Метатекстовая функция союзов *и* и *а* подробно рассматривается в [Урысон 2000].

(23) *В институт его не приняли. Как-никак две судимости.*

Лексема *как-никак* описана как трехактантная в работах [В. Апресян 1999; 2000б]. Мы рассмотрим, как соотносится валентная структура данной лексемы с общей схемой уступительного значения.

Лексема *как-никак* предполагает три ситуации. Существование одной из них (P) зависит от каких-то факторов. В примере (22) — это ситуация ‘за ней ухаживали’, в (23) — ‘его не приняли в институт’. Вторая ситуация (Q) — фактор, неблагоприятный для существования ситуации P. В приведенных примерах этот фактор предполагается известным и говорящему, и слушающему. Наконец, третья ситуация (R) — это фактор, благоприятствующий существованию ситуации P. В примере (22) ситуация R — ‘она — дочка директора’, в (23) — ‘он имеет две судимости’. Именно этот благоприятный фактор и вводится словом *как-никак*.

Ясно, что у слова *как-никак* есть синтаксическая валентность на «благоприятную» ситуацию R. Поскольку эта валентность заполняется высказыванием, вводимым данным словом, то $R = 1$. При этом данная валентность является пассивной — слово *как-никак* синтаксически подчиняется синтаксической вершине предложения R.

Рассмотрим теперь выражение других семантических актантов слова *как-никак*.

Ситуация P, как правило, выражается самостоятельным предложением в предтексте, ср. (23), (24). Существенно, что данное предложение может быть отделено от обозначения ситуации R достаточно большим фрагментом текста. Ср.

(24) *За Катей ухаживали (P), а на Дашу — ноль внимания. Даша долго не могла понять почему. Все ее подружки в один голос говорили, что Катя неинтересная, с ней скучно, одевается она дорого и без всякого вкуса (Q). Потом Даша поняла: ее-то родители по нынешним понятиям — никто, а Катя как-никак дочка директора (R). Вот ребята и стараются понравиться начальству.*

При этом выражение ситуации P обязательно. Однако в языке не существует никаких синтаксических или подобных правил, которые бы описывали оформление данного семантического актанта. Требуется только, чтобы он был выражен в предтексте. Поэтому задача определения данной ситуации — не синтаксическая. Она относится, в основном, к области понимания текста (и при этом далеко не тривиальна). Перед нами «зачаток» синтаксической валентности — явление, с которым мы столкнулись при описании слова *тем не менее*. Синтаксическая близость данных двух слов очевидна — оба они являются фразовыми частицами. С нашей точки зрения, у лексем *как-никак* тоже нет «настоящей» синтаксической валентности на ситуацию P, т. е. $P = 0$.

Последний актант лексем *как-никак* — ситуация Q — часто просто подразумевается, является «данным», ср. (22)—(23). Однако этот актант может быть и выражен. Ср.

(25) Она, вообще-то, мымра (Q). Но за ней ухаживают (P). Как-никак дочка директора (R).

(26) Экзамены он сдал блестяще (Q), но в институт зачислен не был (P). Как-никак две судимости (R).

С точки зрения синтаксиса существенно, что обозначение ситуации Q всегда находится в предтексте, т. е. левее лексемы *как-никак* и, соответственно, левее R. Оно может быть отделено от выражения ситуации R достаточно большим фрагментом текста, ср. (24). Тем самым выражение данного актанта не может быть описано никакими сколько-нибудь формальными правилами. Определение его относится не к области синтаксического или лексического анализа, а к области понимания текста. Поэтому, с нашей точки зрения, у слова *как-никак* нет синтаксической валентности на ситуацию-препятствие Q, т. е. $Q = 0$. Выражаясь более гибким языком, можно сказать, что данная валентность едва намечена: единственное синтаксическое требование к выражению актанта Q — его расположение в предтексте, до слова *как-никак*.

При этом можно говорить о разной «степени намеченности» валентностей на актанты P и Q слова *как-никак*. Валентность на актант P намечена в большей степени — хотя бы потому, что выражение данного актанта практически обязательно (хотя и не описывается сколько-нибудь формальными правилами). Актант Q часто подразумевается, а потому соответствующая валентность намечена в очень малой степени.

Отсутствие у слова *как-никак* «полноценных» синтаксических валентностей на ситуации P и Q подтверждается, между прочим, и тем, что не существует никаких ограничений на взаимную расстановку их обозначений. Ср. тексты (24) и (25).

Значение слова *как-никак* максимально близко общей схеме уступительного значения. Синтаксические валентности слова *как-никак* таковы: $P = 0$, $Q = 0$, $R = 1$.

3.5. Описание структуры многозначности слов с уступительным значением. Лексемы *все-таки 1* и *все-таки 2*

Из общей схемы уступительного значения с помощью разных преобразований выводятся разные слова, ср. *несмотря на то что, тем не менее, как-никак*. Однако из этой схемы выводятся и разные значения одного многозначного слова. Один такой пример описан выше — это союзы *хотя 1* и *хотя 2*. Правда, строго говоря, данную многозначность можно описать и не привлекая общую схему значения — лексема *хотя 2* выводится из *хотя 1* преобразованием диатезы¹⁸. Приведем более интересный пример.

¹⁸ Это стандартное преобразование типа залоговой мены диатезы. См. [Мельчук, Холодович 1970; Падучева 1998б].

Рассмотрим два значения слова *все-таки*, представленные в примерах

(27) *Вчера мы долго разговаривали с Димкой, чуть не подрались, но все-таки договорились писать друг другу до востребования* (В. Аксенов).

(28) *Я люблю вдруг осмотреть свою лабораторию глазами непосвященного человека. Это всегда забавно, но священного трепета в себе я уже не могу вызвать. Все-таки я все здесь знаю, все до последнего винтика, до самой маленькой проволочки* (В. Аксенов).

В примере (27) *все-таки 1* \approx *тем не менее*¹⁹. Ситуация Р — ‘мы договорились писать друг другу до востребования’; ситуация-препятствие Q — ‘мы чуть не подрались’. Ср. перифразировку этого примера

(27а) *Вчера мы долго разговаривали с Димкой, и хотя чуть не подрались (Q), договорились писать друг другу до востребования (P)*.

В примере (28) *все-таки 2* \approx *как-никак*²⁰. Ситуация Р — ‘я в себе уже не могу вызвать священного трепета, возникающего от того, что осмотришь свою лабораторию глазами непосвященного человека’; благоприятный фактор R — ‘я все здесь знаю, все до последнего винтика, до самой маленькой проволочки’. Ситуация Q, препятствующая существованию Р, — ‘я люблю вдруг осмотреть свою лабораторию глазами непосвященного человека’.

Ср. перифразировку этого примера

(28а) *Хотя я люблю вдруг осмотреть свою лабораторию глазами непосвященного человека (Q), того священного трепета в себе, какой бывает у непосвященного, я уже не могу в себе вызвать (P). Как-никак я все здесь знаю (R)*.

Лексема *все-таки 1*, подобно *тем не менее*, имеет два семантических актанта, но одну синтаксическую, причем пассивную, валентность, т. е. Р = 1, Q = 0. Действительно, актант Q данной лексемы (т. е. ситуация-препятствие) выражается в тексте самыми разными способами, причем его выражение не поддается формальному описанию. Ср.

(29) *Ошеломленная Галка все-таки действует с инстинктивной мудростью* (В. Аксенов) [ситуация Р — ‘Галка действует с инстинктивной мудростью’, ситуация Q — ‘Галка ошеломлена’].

(30) *И самое смешное то, что ведь он не убьет Долгова. Этого не случится. Не может этого случиться. Галка права, он просто глупый, смешной мальчишка. Но когда он поднимал голову и видел это раскаленное окно, он понимал, что все-таки его убьет* (В. Аксенов) [ситуация Р — ‘он убьет Долгова’; ситуация Q — ‘действительность такова, что он не может убить Долгова; он просто глупый, смешной мальчишка’].

¹⁹ Близость лексем *все-таки 1* и *тем не менее* отмечена в [В. Апресян 1999; 2000а], где они описаны как члены одного синонимического ряда.

²⁰ Лексемы *все-таки 2* и *как-никак* описаны как синонимы в [В. Апресян 1999, 2000б].

Что касается лексемы *все-таки 2*, то она, подобно лексеме *как-никак*, имеет три семантических актанта и такой же набор синтаксических валентностей: $P = 0$, $Q = 0$, $R = 1$. При этом единственная валентность лексемы *все-таки 2* является пассивной. Отсутствие у *все-таки 2* синтаксических валентностей на ситуации P и Q демонстрирует пример (28) выше.

Как описать структуру многозначности слова *все-таки*?

Одно значение слова естественно выводить из другого, «исходного», а им обычно является первое, центральное значение. Но в данном случае дело обстоит прямо противоположным образом: второе значение (*все-таки 2*) не только богаче первого, но и гораздо ближе общей схеме уступительного значения, хотя бы потому что *все-таки 2*, но не *все-таки 1* имеет полный набор из трех актантов. Поэтому естественно выводить значение *все-таки 1* из значения *все-таки 2*.

Получается, что логически исходное значение слова не совпадает с его центральным, первым значением. Такая ситуация уже подробно описывалась нами на другом лексическом материале (см. [Урысон 1999; 2000]), и сейчас мы не будем останавливаться на этом вопросе. Для нас существенно, что лексема *все-таки 1* получается из «логически первой» лексемы *все-таки 2* стандартным преобразованием: элиминированием актанта R и изменением ранга актанта P .

Однако структуру полисемии слова *все-таки* можно описать и по-другому. Оба значения этого слова выводятся из общей схемы уступительного значения по преобразованиям, описанным выше: *все-таки 1* выводится из схемы так же, как *тем не менее*, а *все-таки 2* — по тем же преобразованиям, что и *как-никак*²¹.

ЗАМЕЧАНИЕ. За пределами нашего описания остается не только тонкая семантика уступительных лексем, но и вопрос регулярной связи уступительного значения с некоторыми другими языковыми значениями: а) значением тождества, ср. *все РАВНО* (*Его не пригласили, но он все равно пришел*); б) значением небольшого количества, ср. *тем не МЕНЕЕ*; в) кванторным значением, ср. *ВСЕ равно*, *ВСЕ-таки*; г) отрицанием, ср. *НЕсмотря на то что, как-НИкак* и т. п. Список этих значений и соответствующие группы уступительных лексем по разным языкам приведены в [König 1988].

Отдельную задачу представляет собой выявление «мостов» между данными значениями и уступительным. Эта задача осложняется тем, что связь между значениями может не сохраняться в современном языке, и тогда выявление ее относится к области истории развития семантики уступительно-

²¹ Отметим, что *все-таки 1* может быть и «логическим», т. е. описывать умозаключение субъекта. Ср.: *Я не религиозен, но все-таки самоубийство — это грех* (С. Довлатов; пример из работы [В. Апресян 2000а]). Естественная перифразировка этого высказывания такова: *Хотя я не религиозен, но самоубийство — это грех*, т. е. *Хотя я не религиозен, но считаю, что самоубийство — это грех*. О «логическом» *все-таки* см. [Падучева 2001б].

сти. См. семантическую историю уступительного союза *хотя*, по происхождению деепричастия от *хотеть*, в книге [Лавров 1941], а также статью [Николаева, Фужерон 1999], в которой описаны «деепричастные рефлекс-ы» современного союза *хотя*.

3.6. О типологическом описании уступительной лексики

Мы описали двух- и трехактантные уступительные лексемы с разным ранжированием актантов, причем любой из актантов — Р, Q или R — может быть первым по важности. Тот факт, что уступительная семантика в разных словах выступает в столь разных обличьях, получил естественное объяснение: значение лексемы получается стандартным преобразованием логической схемы уступительного значения. Преобразования схемы сводятся к двум операциям: а) элиминированию ее фрагментов и б) ранжированию ее актантов.

С типологической точки зрения было бы интересно исчислить все теоретически возможные преобразования данной схемы, а затем рассмотреть реализации данных возможностей в разных языках и, в частности, валентную структуру разных лексем.

Ясно, что элиминации может подвергаться актант R (благоприятный фактор) — такие примеры были приведены. Безусловно, не может подвергаться элиминации актант Q — ситуация-препятствие: получится ситуация с двумя актантами — ситуацией Р и благоприятным для нее фактором R, а она описывается причинными и условными союзами.

Что касается валентной структуры уступительных лексем, то весьма вероятно, что какие-то лексемы с теоретически мыслимым набором синтаксических валентностей не существуют в каком-то одном или даже во многих языках. И напротив, какое-то значение с данным набором синтаксических валентностей выражается в одном или во многих языках сразу несколькими лексемами. Однако такое типологическое описание выходит далеко за рамки предлагаемой работы.

4. Теоретический статус конструкта «общая схема уступительного значения»

Прежде всего, заметим, что объект, подобный нашему конструкту, введен в работе [Теремова 1986]. Это «уступительная ситуация», состоящая из компонентов, подробно описанных выше.

«Уступительная ситуация» Р. М. Теремовой — это некая понятийная схема, которая лежит в основе понимания текстов, содержащих уступительные и противительные союзы, близкие им частицы и подобные лексемы. Р. М. Теремова «развертывает» реальные тексты с уступительными и противительными словами, восстанавливая соответствующие логические звенья. Так, в

следующем тексте отыскивается выражение всех трех компонентов Р, Q и R, предполагаемых уступительной ситуацией. Ср. *Хотя высланными вперед людьми были выложены гати (Q), все равно дорога оказалась очень трудной (P). Истоюнные и раненые задерживали движение. Их несли на руках (R)* (В. Дягилев) [Теремова 1986: 6]. Заметим, что уступительные слова — *хотя* и *все равно* — не имеют семантического актанта R, и его определение в тексте вряд ли относится к задаче лексической семантики. При этом «уступительная ситуация» может выражаться и в таком тексте, где вообще нет уступительной лексики (такие случаи квалифицируются как периферийные); ср. *Почти не курит сигар, которые очень любит* (Н. Г. Чернышевский), [Теремова 1986: 49]. Поэтому понятие «уступительной ситуации» (в том виде, как оно дано в цитируемой работе) в целом относится к области понимания текста.

Введенный нами конструкт имеет иной статус. Это схема значения, из которой получаются, путем стандартных лингвистических преобразований, толкования разных уступительных слов. Данную схему можно было бы назвать инвариантом уступительного значения. Однако для такого употребления термина «инвариант» есть определенные препятствия.

Во-первых, общая схема уступительного значения шире инварианта уступительных слов: он входит в нее как составная часть (инвариант уступительного значения — это компоненты, описывающие ситуацию Р и препятствие Q для ее существования).

Во-вторых, инвариант по определению не изменяется, а предложенная схема подвергается весьма существенным, хотя и стандартным преобразованиям.

В-третьих, понятие инварианта используется для описания полисемии. А именно инвариантом называют общую часть разных значений одной многозначной единицы. А наша схема — это общая часть значения не только лексем одного и того же полисемичного слова, но и разных слов, относящихся к выбранному семантическому классу.

Тем не менее используемый нами конструкт имеет целый ряд аналогов в современных лингвистических исследованиях.

Прежде всего, он в определенной мере сближается с архилексемой и классемой Э. Косериу, введенными для описания общности семантических классов [Косериу 1969].

В некоторой степени общая схема значения сближается с гиперлексемой — конструктом, предложенным в работе [Успенский 1977] для описания залоговых противопоставлений. Содержательно говоря, гиперлексема — это объединение близких лексем, которые различаются диатезами, ср. *катить* — *катиться*, *радовать* — *радоваться*, *пить* — *пить*, *покупать* — *продавать* и т. п. Однако гиперлексема — это хотя и абстрактная, но тем не менее двусторонняя единица: у нее есть и план содержания, и план выражения. Предложенная нами схема значения — односторонняя семантическая сущность, плана выражения у нее нет.

В большей степени предложенная схема значения сближается с «семантической сеткой» Н. И. Толстого, которая представляет собой набор семем, отражающий значение слов некоторого семантического класса. При этом значение конкретного слова класса может выводиться из данного набора удалением (но не добавлением) каких-то элементов. Такая семантическая сетка предназначена для сравнительно-типологического исследования синхронной семантики родственных (славянских) языков [Толстой 1997]. В работе [Бабаева 1998] рассматривается аналогичный конструкт, предназначенный для описания исторического развития семантики слова. Это «семантический потенциал» слова — набор семантических компонентов, из которого можно получить все зафиксированные значения данного слова, моделируя при этом пропущенные или утраченные «промежуточные» звенья развития семантики ²².

Еще один семантический конструкт, аналогичный общей схеме значения, — это разного рода обобщенные толкования, предназначенные для описания семантической специфики больших классов слов. Примером может служить «формат толкования», разработанный в проекте Е. В. Падучевой «Лексикограф» для описания глагольной лексики [Кустова, Падучева 1994]. Похожий конструкт используется в работе [Зализняк 1992] для описания семантики предикатов внутреннего состояния.

Общей схеме значения очень близка когнитивная модель ситуации, предложенная в работе [Кустова 2001]. И тот и другой конструкт имеет структуру толкования. Оба они предназначены для того, чтобы, с одной стороны, по определенным правилам выводить из него «костяк» толкования лексем, а с другой — демонстрировать общность семантики описываемых единиц. Однако когнитивная модель ситуации — это, по существу, представление прототипической ситуации, задаваемой исходным значением слова. На основе этого представления моделируется семантическое единство разных лексем многозначного слова. Заметим, что в работах, посвященных «портретированию» слов, такое представление прототипической ситуации считается просто исходным значением слова. Общая схема уступительного значения — это тоже представление некоей прототипической ситуации, однако она в гораздо меньшей степени связана с какой-либо конкретной лексемой.

И наконец, общая схема уступительного значения сближается с толкованием синонимического ряда. Последнее, как известно, является конструктом, отражающим общую часть значения синонимов. При этом в данном ряду может не оказаться синонима, значение которого полностью описывается данным толкованием ([Апресян 2000]), — подобно тому как предлагаемая общая схема, строго говоря, не является толкованием ни одного уступительного слова. Однако общая схема уступительного значения предна-

²² Ср. понятие концептуальной схемы и различных ее реализаций, предложенное в работе [Зализняк 2002] для описания структуры многозначности языковых единиц.

значена для описания более широкого класса слов, нежели синонимический ряд, — в данный класс входят, в частности, и отдельные синонимические ряды (см. их перечисление и краткое описание в статье [В. Апресян 1999]).

Итак, введенный нами семантический конструкт отнюдь не одинок в современной теоретической лингвистике.

Стандартные преобразования данного конструкта, во-первых, позволяют получить значения разных слов с уступительной семантикой. Во-вторых, те же операции над этим конструктом позволяют вывести из него разные значения одного и того же уступительного слова. При этом все стандартные преобразования схемы сводятся к ранжированию и удалению ее актантов. По существу, они описывают отношения типа конверсных, во-первых, между разными словами и, во-вторых, между лексемами одного слова. Конверсные отношения между разными словами описаны Ю. Д. Апресяном [Апресян 1974]. Стандартные преобразования такого типа, задающие переход от одного значения слова к другому (парадигму многозначности слова), описаны Е. В. Падучевой и участниками проекта «Лексикограф» [Падучева 1998а, 1998б, 2001а; Падучева, Розина 1993; Кустова 1998]. Используя логическую схему уступительного значения, мы еще раз убедились, что структура семантического класса и структура полисемии устроены аналогично: «устройство макроявлений [в данном случае семантического класса. — Е. У.] повторяет принципиальное устройство микроявлений — многозначных слов» [Апресян 1974: 255].

Литература

- Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика. М., 1974.
- Апресян 2000 — Ю. Д. Апресян. Лингвистическая терминология словаря // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. XVIII—XLV.
- Арутюнова 1970 — Н. Д. Арутюнова. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке // Филол. науки. 1970. № 3 (57). С. 44—58.
- Бабаева 1998 — Е. Э. Бабаева. Кто живет в вертепе, или опыт построения семантической истории слова // ВЯ. 1998. № 3. С. 94—106.
- Балли 1950/2001 — Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 2001.
- Богомолова 1955 — А. В. Богомолова. Уступительные конструкции с союзом *хотя* (*хоть*) в современном русском литературном языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1955.
- Богуславский 1996 — И. М. Богуславский. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- В. Апресян 1999 — В. Ю. Апресян. Уступительность в языке и слова со значением уступки // ВЯ. 1999. № 5. С. 24—44.

- В. Апресян 2000а — В. Ю. Апресян. Словарная статья «ВСЕ-ТАКИ 1» // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 38—44.
- В. Апресян 2000б — В. Ю. Апресян. Словарная статья «КАК-НИКАК 1» // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 163—165.
- Вежбицкая 1978 — А. Вежбицкая. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978. С. 402—421.
- Вежбицкая 1996 — А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Грамматика 80 — Русская грамматика. Т. I—II. М., 1980.
- Гречишникова 1971 — Р. М. Гречишникова. Сложное предложение с фразеологизирующимися средствами выражения уступительных отношений в современном литературном русском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1971.
- Евтюхин 1996 — В. Б. Евтюхин. Группировка полей обусловленности: причина, условие, цель, следствие, уступка // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996. С. 138—174.
- Зализняк 1992 — Анна А. Зализняк. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.
- Зализняк 2002 — Анна А. Зализняк. Многозначность в языке и способы ее представления: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2002.
- Кручинина 1984 — И. Н. Кручинина. Текстообразующие функции сочинительной связи // Русский язык: Функционирование грамматических категорий: Текст и контекст. М., 1984. С. 204—210.
- Кустова 1998 — Г. И. Кустова. Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 19—40.
- Кустова 2001 — Г. И. Кустова. Типы производных значений и механизмы семантической деривации: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2001.
- Кустова, Падучева 1994 — Г. И. Кустова, Е. В. Падучева. Словарь как лексическая база данных // ВЯ. 1994. № 4. С. 96—106.
- Кухаревич 1955 — Н. Е. Кухаревич. Сложноподчиненное предложение с уступительной придаточной частью в современном русском литературном языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1955.
- Косериу 1969 — Э. Косериу. Лексические солидарности // Вопросы учебной лексикографии. М., 1969. С. 93—104.
- Лавров 1941 — Б. М. Лавров. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. Л., 1941.
- Ляпон 1986 — М. В. Ляпон. Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
- Мельчук 1974 — И. М. Мельчук. Опыт теории построения моделей «Смысл ↔ Текст». М., 1974.
- Мельчук, Холодович 1970 — И. М. Мельчук, А. А. Холодович. К теории грамматического залога // Народы Азии и Африки. 1970. № 4. С. 111—124.

Николаева, Фужерон 1999 — Т. М. Николаева, И. Фужерон. Некоторые наблюдения над семантикой и статусом сложных предложений с уступительными союзами // ВЯ. 1999. № 1. С. 17—36.

Падучева 1985 — Е. В. Падучева. Высказывание и его соотношенность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.

Падучева 1998а — Е. В. Падучева. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // ВЯ. 1998. № 5. С. 3—23.

Падучева 1998б — Е. В. Падучева. Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 82—107.

Падучева 2001а — Е. В. Падучева. К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке) // ВЯ. 2001. № 4. С. 23—44.

Падучева 2001б — Е. В. Падучева. Модальность сквозь призму дейксиса // Традиционное и новое в русской грамматике / Сб. ст. памяти В. А. Белошапковой. М., 2001. С. 184—197.

Падучева, Розина 1993 — Е. В. Падучева, Р. И. Розина. Семантический класс глаголов полного охвата // ВЯ. 1993. № 6. С. 5—16.

Перфильева 1985 — Н. П. Перфильева. Синтаксический статус уступительно-противительных конструкций (в сопоставлении с адверсативными конструкциями) // Структурно-функциональный анализ языковых единиц. Иркутск, 1985. С. 50—60.

Печенкина 1976 — Т. Г. Печенкина. Синтаксическая категория уступительности и формы ее выражения в русском литературном языке второй половины XIX века: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1976.

Теримова 1986 — Р. М. Теримова. Семантика уступительности и ее выражение в современном русском языке. Л., 1986.

Толстой 1997 — Н. И. Толстой. К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии // Н. И. Толстой. Избр. тр. Т. 1: Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 114—119.

Урысон 1999 — Е. В. Урысон. *Дух и душа*: к реконструкции архаичных представлений о человеке // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 11—25.

Урысон 2000 — Е. В. Урысон. Русский союз и частица *И*: структура значения // ВЯ. 2000. № 3. С. 97—121.

Урысон 2001 — Е. В. Урысон. Союз *ЕСЛИ* и семантические примитивы // ВЯ. 2001. № 4. С. 45—65.

Урысон 2002 — Е. В. Урысон. Союз *ХОТЯ* сквозь призму семантических примитивов // ВЯ. 2002. № 6. С. 35—54.

Успенский 1977 — В. А. Успенский. К понятию диатезы // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977. С. 65—84.

Храковский 1999 — В. С. Храковский. Универсальные уступительные конструкции // ВЯ. 1999. № 1. С. 103—122.

Эстрина 1968 — Л. С. Эстрина. Уступительные конструкции, формируемые местоименными словами с частицей *НИ* в современном русском литературном языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Орел, 1968.

König 1988 — E. König. Concessive connectives and concessive sentences: cross-linguistic regularities and pragmatic principles // Explaining language universals / Ed. by J. A. Hawkins. Oxford, 1988. P. 145—166.

ПОЛЕМИКА

E. KLENIN (Los Angeles)

THE SMOLENSK TRADE TREATY OF 1229 (COPY A): OBSERVATIONS ON PRAGMATICS, TEXT BOUNDARIES, AND ORTHOGRAPHIC VARIATION

One of the most famous of all Old Russian texts is the first copy, known as Copy A, of a 1229 trade treaty between Smolensk and the traders of Wisby and Riga¹. Five other extant copies were made later, when the need arose to renew the treaty, and there is also extant a related document that is sometimes referred to as a treaty between an unknown Prince of Smolensk and the traders, but sometimes instead referred to as Copy K of the 1229 treaty². Here, however, we focus on Copy A. It is a classic document in the history of the interaction between Germanic and Slavic peoples and cultures around the Baltic area and in the river systems accessible therefrom.

Several new publications on the 1229 treaty have appeared lately, and more are announced. Especially helpful has been [Schaeken 2000], a digitalization of the authoritative Soviet edition [Сумникова, Лопатин 1963] available at the author's personal Website and through the Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien [TITUS]. A welcome historical perspective is afforded by the inclusion of analysis of the treaty in a recent study of the role of writing, more generally, in Rus' culture up to the end of the thirteenth century [Franklin 2002: 166-71]. Unfortunately, not all recent work is similarly useful or even scholarly. Bratishenko [2002], for example, treats the question of what she refers to as the authorship of the 1229 treaty, but she takes as her purpose the apotheosis of an aptly named article by V. I. Borkovskii [Борковский 1944], the enlightenment of those who work «in the context of Slavic linguistic research outside of Russia»

¹ I wish to thank Jos Schaeken for sending me copies of his work otherwise unavailable to me as well as for helpful comments on a presentation of this material at a conference held at UCLA (22 February 2003). I also wish to thank the members of my Winter 2000 graduate seminar, which dealt with the orthography of the Smolensk trade treaties.

² According to Sumnikova and Lopatin [Сумникова, Лопатин 1963: 15—17], it pre-dates the 1229 treaty, probably was in force before the later treaty was drafted, and may have been used as a preliminary text in compiling it. Ianin [Янин 1970], however, argues that the treaty with the unknown prince dates to the 1270s and that the source text of the 1229 Copy A has been lost.

[Bratishenko 2002:359]³, and the misrepresentation of those scholars («reputable ones at that») with whom she disagrees. I have the honor of being one of the foreign scholars she disagrees with, and of being, next to the late Professor Valentin Kiparsky, the one to whose views she devotes most attention. Although her characterization of my views is inaccurate, those of my opinions that she opposes are available in the open literature [Klenin 1983: 62—65], so I do not repeat them here⁴. I start my discussion of the treaty, however, with extensive reference to [Bratishenko 2002], since hers is as of this writing among the most recently published articles devoted to it, it is extensive in its presentation, and it is wrong.

Stating that her «paper addresses... unresolved or previously overlooked aspects of» the 1229 treaty [345], Bratishenko starts from a historical review of the literature about it and adduces in particular the opinions of Kiparsky and Borkovskii, who are taken to represent two opposing sides, what we may call the «German-author» side and the «Slav-author» side. She states that «Kiparsky's argument [that the treaty was written by a German] is ungrounded» [348] and that Borkovskii's work, which takes an opposite view, «greatly contributed» to scholarship but «falls short of adequately representing the actual process of the document's composition» [346]. She goes on to suggest that the scribe, working from dictation, was an East Slav whose «knowledge of German was questionable, or he did not have any German at all» [348]. She concludes [358]: «Thus, the notion of a non-Slavic authorship of the final part of the document may be rejected. Nor is there anything in the *Treaty's* opening part that would suggest non-native origin. The first paragraph may well be a translation of a standard [most likely Latin] formula. Nonetheless, ... its beginning was written down by the East Slavic scribe. ... [A]lthough the essence of the *Treaty* presupposes multilingual collaboration, the actual text of the protograph is a fine specimen of original O[ld] E[ast] S[lavic] writing. Such a conclusion differs from all previous hypotheses in that it postulates OESl authorship of the entire text. To allow that this document contains lexical borrowings and includes some degree of translation and transcription is by no means to diminish its value. The important fact is that everything in it manifests native Slavic tendencies. Aside from a few skilfully translated lexical items, foreign influence does not penetrate beyond the realm of the writing of non-native proper names.» Bratishenko concludes that «it is hoped» that her study

³ References to Bratishenko will hereafter be further abbreviated, giving the page number only.

⁴ Only one point requires correction here: according to [Bratishenko 2002: 345], I «rel[y] wholly on Kiparsky's conclusions», but this is not so. I cannot claim that the conclusions in [Klenin 1983] were better than Kiparsky's, but they were based on the excellent textual editions and research cited in my discussion. Much of the work was not available when Kiparsky wrote his lapidary treatments in 1939 and 1960 [Kiparsky 1939; 1960], and, like Sumnikova and Lopatin [Сумникова, Лопатин 1963], I found, and find, Kiparsky's analysis valuable for its clear argumentation even when I am not convinced by it.

will «re-emphasize the significance of this wellspring of OESL data», especially among foreigners [359], who are evidently most in need of one.

I disagree with Bratishenko's conclusion, and venture that «it» is not «hoped» anything of the sort. With any luck, this «wellspring of... data» will continue to be treated with the caution that it deserves. In my opinion, the text is interesting for linguistic research because it documents the kaleidoscopically rich language situation that obtained in the Baltic region not only in the Middle Ages but even in modern times. This does not, of course, mean that the treaty is *not* of interest for the study of medieval East Slavic writing, so long as one understands what the text can serve as evidence of and what not. Ignoring its sociolinguistic context is, in my opinion, naive at best and at worst an abuse of scholarly method in the service of national feeling.

In addition to the obscurity of the sociolinguistic situation represented in the text⁵, the scholar is faced with other, more narrowly linguistic, problems. Some arise from the composite nature of the text, the several sections of which are clearly demarcated with respect to content and syntax. The different sections of the text, as will be shown below, also exhibit markedly different orthography, but the boundaries between sections are not so clear on this level as on others. The following divisions stand out on the basis of their different content and linguistic usage:

1. a formulaic opening [2 lines], explaining in general terms the reason for promulgating the provisions of the treaty,
2. a narrative of the genesis of the treaty [lines 2 — 13],
3. the provisions of the treaty [lines 14 — 90],
4. a general conclusion specifying the entities participating in the treaty and the date of its ratification [lines 90 — 92],
5. a list naming individual signatories and representative groups [lines 93 — 100],
6. a statement enforcing the treaty [lines 100 — 101], and,
7. a final statement of where and in front of whom the document was officially filed [lines 101 — 102]⁶.

There is no reason to assume that all parts of the text were composed at the same time or by the same person, nor need the person or persons who composed any part of the text be the scribe whose handwriting is before us. It is likely that at least the third section, the largest one, has a prehistory of its own, now lost to us, and prototypes and/or parallels exist for some other sections as well. For example, the introductory formula in lines 1 — 2 corresponds to those used in contemporary German charters. The closest parallel I have found is in the 1253 charter of

⁵ I have discussed this issue briefly elsewhere [Klenin 1983: 62—65], but now see [Peters 1987], especially pp. 80—83, and [Сквайрс 2000]. For general background on the use of Middle Low German at Wisby in its earliest period, see [Gabrielsson 1971].

⁶ See [Goetz 1916:293 fn.5]. The treaty was filed in Wisby, but the perspective from which the arrival of the Smolensk embassy is presented is Riga [«КНАЗЪ СМОЛЬНЕСКЫИ... прислалъ въ ри|гоу», lines 3—4].

Frankfurt on the Oder, and, more generally, the formulaic reference to the passage of time is registered in texts from about 1220 [Klenin 1983:63]⁷.

Naturally, a composite like this is harder to analyze than a homogeneous text, and the notion of authorship is more difficult, since it entails differentiating both the parts of the text and the various roles played by the people who brought it into existence. The composite nature of the text has been an issue for over a century, and it becomes an increasingly delicate matter to represent the earlier scholarship clearly on this point. Bratishenko's treatment is somewhat confusing on this issue — surprisingly so, since it is evoked directly in her title. Although she states that she is explicitly concerned with who wrote the text down («*Written* means exactly that — put down on... parchment... in... final redaction» [346]) from dictation [355], as a scribe only and not as the source of the whole text, she seems also to be concerned with deeper issues, such as the quality of the translation of foreign sources. She is not always easy to follow, and, moreover, in arguing strongly against Kiparsky's views, she seems not to address the evident difference between her notions of authorship and his, which, according even to the title of his 1960 article, focus on the composition of the text, not on scribal activity («put[ting] down on... parchment») as such. In attempting to clarify this point, Bratishenko compares the language of the treaty with that of Old Church Slavonic: the fact that Old Church Slavonic texts are translated does not, she says, mean that they are not, in her terms, «acceptable as a Slavic source» [350]. The problem, however, is not one of acceptability, but of understanding. The fact that a Slav wrote a text down does not ipso facto make it «perfectly authentic» Slavic [350], nor does saying a text is «perfectly authentic» tell you much about the language system and speech situation that gave rise to it.

One consequence of the composite nature of our text is that it can be risky directly to compare forms taken from different parts of it. One especially regrets this, because the language of the treaty is sometimes obscure. As is illustrated below, the text contains problematic syntactic constructions, as well as lexical items that have troubled generations of scholars. We are in at least one important way better off than our predecessors, however: we can now recognize, as neither Kiparsky nor Borkovskii could have, that the writing system of the 1229 treaty recalls the graphics found in Novgorod birchbark texts. Bratishenko is at pains to demonstrate this point, and she uses her understanding of the orthography to illuminate syntactic material that others, notably Kiparsky, have found obscure.

⁷ Since my 1983 commentary I have found many later Low German treaties with the same phraseology, so my cut-off point of the mid-14th century must be revised. Bratishenko opines [358] that the model must have been a Latin text, but she does not indicate which ones she takes to be candidates, or why she believes that the model is likelier Latin than German. The East Slavs were not keen Latinists, while Peters [Peters 1987:82] proposes that the Hanse traders were not especially inclined to learn Russian, but used Estonian (and Scandinavian?) intermediaries. For an early view of the traders' knowledge of foreign languages, see [Stieda 1885].

In at least one case, Kiparsky interprets an obscure word the same way as did a scribe writing a new version of the treaty no more than a generation later. Bratishenko [352] says that the scribe and Kiparsky both made the same mistake, but that seems wrong. Bratishenko says that Copy A of the 1229 treaty is written in perfect East Slavic, which the 13th-century scribe of the succeeding copy presumably knew at least as well as Bratishenko does. If he thought the text of 1229 could and should be modified for his purposes, who are we to say otherwise? Bratishenko's response is that it was the *later* scribe who, like Kiparsky, knew German — and so it turns out that our pure East Slavic «wellspring» has been corrupted by later knowers of foreign languages, from the 13th century to our own days. But let us look at the disputed material.

The example in question, which is the one treated at length by Bratishenko, is adduced by Kiparsky [1939:85] as a Germanism incompatible with normal Slavic syntax. The text reads as follows ⁸:

(1) тако былъ князю любо • и рижанъмъ всемъ • и всемоу латинеско | мою
языку • И всемъ темъ кто то **на оустоко морѧ** ходить •• [line 10].

The passage has been understood, not only by Kiparsky but also by earlier scholars ⁹, to mean something like the following: «So [it] was pleasing to the prince and to all the men of Riga and to all the Latin tribe and to all those whosoever goes upon the East Sea», where «East Sea» is a literal rendition of what in German would now be the Ostsee, or, in English, the Baltic Sea. As an East Slavic construction, however, the morphology is strange. The suggested reading implies that «оустоко морѧ» is a noun phrase in the accusative case. However, the normatively expected accusative of the word for *sea* is «море», spelled with a letter «е» representing the desinence. The form that appears in the text, in contrast, looks like the normatively expected genitive singular. In addition, no East Slavic language regularly permits nouns to function attributively by virtue of being simply appended to the left of a noun head: we expect Slavic morphology corresponding in English not to *east sea* but rather to *eastern sea*. The scribe of the next oldest copy (Copy E) of the treaty transforms the construction accordingly: «и всѣмъ немцѣмъ по вѣсто|чномуу морю ходѧщимъ» [lines 13—14] ¹⁰. He thus read

⁸ I quote the 1229 treaty, Copy A, from [Schaeken 2000] but correct his text from enlargements of text photographs provided in [Сумникова, Лопатин 1963]. See note 13 below.

⁹ For extensive references to earlier literature, beginning with the first publications in 1819, see [Сумникова, Лопатин 1963]. The historiography of the Smolensk trade treaties deserves separate study.

¹⁰ Copy E, which dates from before 1250 [Сумникова, Лопатин 1963: 39], is the oldest of the copies of the so-called Riga Redaction of the treaty, the language of which differs in many ways from the language of Copy A or later texts of the so-called Gothland or Wisby Redaction. Bratishenko cites not Copy E but Copy D, which dates from the 1270's, as the earliest text showing the revision. She may here be relying wholly on Kiparsky

the word ‘east’ as specifying the sea as the Baltic, but changed the language of his predecessor.

Bratishenko, however, says that the original text meant something else. She takes the form «морѦ» seriously and pays special attention to the spelling of the desinential vowel. She stresses that «Ѧ» must spell /a/ after palatalized consonant, a usage abundant in the text. She finds that the word «морѦ» thus cannot be accusative, but must instead be genitive singular, that «оустоко морѦ» means ‘east of the sea’, and thus «на оустоко морѦ» becomes ‘to the east of the sea’. Although this is indubitably better from the standpoint of normative Slavic morphology, the syntax remains odd, and the sense of the phrase remains in my opinion strained. Except in its meaning of ‘a source’ (inappropriate in the 1229 text) the only adnominal genitive complements the word «восток» seems regularly to take are words referring directly or metaphorically to the sun. To the extent I have found statements meaning «east of X», then X appears as the genitive object of a preposition «отъ», as in «и ѡбратисѦ на вѣстокъ ѿ мене»¹¹. The syntax corresponds to etymology: the notion of «восток» remained, and remains, grounded in the semantics of ‘going upward’, which here cannot be attributed to the sea in the meaning required. Moreover, the treaty explicitly states that its purpose is to protect the rights of the traders of Riga and Wisby, who had already established themselves in the region, on one hand, and likewise the people from Smolensk who might come to Riga or Wisby, and the article in question states that the treaty corresponds to the wishes of both parties, who sometimes might wish to sail eastward, at other times westward, and presumably also both north and south, depending on their itinerary. Why would the parties to the treaty specify that it suited the pleasure of whoever might wish to come to the east of the sea? It may well be that the Germans traveled on the sea and the Slavs stayed home, but this is not what the treaty says. If Bratishenko is right about the orthography, then the words make less sense than Kiparsky thought. And what about the change introduced by the scribe of Copy E — who, according to [Сумникова, Лопатин 1963:60—61], was a contemporary of the scribe of the 1229 treaty? Surely, instead of dismissing him, the more natural interpretation of the change he introduced is that it is genuinely synonymous with what was meant in Copy A but is more consonant with the language used elsewhere in Copy E¹².

[1939], who was following a no longer accepted dating of the texts. Her example [3a], however, which is attributed to Kiparsky [1939], either was not taken from this source or misquotes it.

¹¹ The example, cited from [Словарь XI—XIV, 2: 132], is from a 12th-century «Чудеса Николая Чудотворца».

¹² This does not mean that the changes introduced in Copy E are necessarily corrections of errors. Typical is the appearance of the participial construction in our example, in place of a synonymous relative clause. On the syntax of the relative clause in which the disputed preposition phrase occurs in Copy A, cf. [Зализняк 1981; 1986: 160]. His examples are from late 12th and early 13th centuries. On Low German parallels, see [Lübben 1882:

Bratishenko's command of orthography is not always secure. Since she devotes so much attention to the orthography of the treaty text, and makes an orthographic argument central to her discussion of this example, we turn here to orthography, starting from Bratishenko's analysis.

Bratishenko states that the spelling of vowels in the 1229 treaty is, if idiosyncratic, nonetheless entirely consistent, with no confusion between the two groups of vowel letters she calls respectively Front, representing /e/, and Back, representing /o/. This is mostly correct, but not entirely. The most obvious exception is in the part of the text from which our example (1) is drawn. The passage can be put into a fuller context as follows:

(2) Пре сен миръ | трюдили сѧ дѣбрии людиѣ • Ролфо • ис кашела • ѿи дворанинъ •¹³ тоумаше смолнанинъ • аж бы миро былъ и | дъ вѣка • оурадили пакъ миръ • како бы^{то} любо рѣси • и всѣмоу латинескому языкоу • кто то оу роусе гостить •• | На томъ миру аж бы миръ твѣрдъ былъ • тако былъ князю любо • и рижанъмъ всемъ • и всемоу латинеско | моу языкоу • И всемъ темъ кто то на оустоко мора ходить ••

[lines 6 — 10].

The first word in (2), «пре», is odd, and Sumnikova and Lopatin gloss it as «про», which makes perfect sense. Moreover, the letters that appear in positions where jers have dropped are not covered by her Back/Front schema: in (1) and (2), for example, does she posit any value for the front jers in the dative plural «всемъ темъ»? We thus see that, although exceptions to Bratishenko's general rule are rare, they do occur in the part of the text most immediately relevant to discussion of example (1). More generally, Bratishenko's approach to vowel orthography is insensitive to the regularities of vowel-letter distribution in our text.

The letters «ѣ» and «ь», for example, fall together in Bratishenko's single Front series of vowel letters representing /e/. Her description presents the competition between the two letters as though it were unconstrained, but it is not. The substitution is more often in the direction «ь» > «ѣ» than the reverse, «ѣ» is used to spell a historically weak jer' more in the beginning and end of the text, and less frequently in the middle, and «ь» instead of «ѣ», but not the reverse, is usually word- or line-final, where its appearance may be connected with limitations of space: «посль» [line 2], loc. sg. «смольнѣскъ» [line 15], dat. sg. «свободнь» [line 41], gen. sg. «вѣль» [line 48], dat. sg. «вѣ|сцю» [line 77]. If we compare these five «ѣ» > «ь» forms with the eight forms in which «ѣ» replaces «ь» in final

113—14]. Lübben's description is intended to cover the whole period from roughly 1250 to 1600, and I have not encountered examples contemporary to the 1229 treaty.

¹³ The dot is omitted from [Schaecken 2000]. Since the dots are generally not equidistant from text to the left and right, but clearly follow closely after the preceding text, I have inserted the dot here without preceding space. I have left Schaecken's dots where he put them and otherwise kept the spacing he introduces.

position, we find that three of the «Ѣ» < «Ь» forms occur in the first 11 lines of the text, and *all* of them occur in the first 34 lines. In general, «Ѣ» ~ «Ь» confusion is not unique to the 1229 treaty. It can be found in all kinds of texts and is sometimes doubtless caused by the *ja*ʹ and *je*ʹ letters being so similar. In our text, it is also partly lexicalized; for example, the nominative singular князь is always so spelled [3x], while the root «държ» is spelled with a «Ѣ» [5x] except when it occurs at line end, where it appears in the form «де|ржати» [lines 10 — 11]. Lexical aspects of the orthography of Copy A have been emphasized by Schaeken [2001a], who also notes other regularities in vowel-letter distribution, for example correlation with specific preceding consonant letters. We may note in passing here that lexical and space-governed motivations need not be entirely distinct; for example, the meaning of the word for «prince» may perhaps encourage scribal flourish. Space-saving is not, however, evidently limited to particular lines in the text, whereas «Ѣ» < «Ь», which «wastes» space, does seem to favor some parts of the text more than others. In any case, the «Ѣ» ~ «Ь» phenomenon in the 1229 text need not, overall, be part of a special orthographic system, nor should it be treated on a par with «Ь» ~ «Е», «Ь» ~ «О», or «Е» ~ «Ѣ».

The ligature 8 occurs four times in our text, disproportionately often in the earlier section: thus, in lines 1 through 13 it represents two occurrences out of 35 spellings of /u/, whereas in the part of the treaty that lists its specific articles [lines 14 — 90], /u/ is spelled with the ligature 2 times out of 282. According to [Сумникова, Лопатин 1963] the ligatures at lines 8 («рѢси») and 77 («гривнѢ») are corrections for original «о», and Schaeken [2000] proposes that the ligature at line 86 («кѢпчь») is also a correction for «о». If Schaeken is right, then the unique «correct» occurrence of the ligature is in line 3 («Ѣздоумаль»). Moreover, if three out of four (or even two out of four) of the occurrences of the ligature are corrections, then evidently the scribe, or his sources, had some trouble distinguishing /o/ from /u/. This possibility also evokes the spelling of the famous «тоумаше смолнанинь» who in line 7 is assigned credit for helping produce the treaty¹⁴. This gentleman has a name that in form is alien to the East Slavs, not only because of the initial /t/ instead of /f/ but also because of the raised /o/, and the hushing /š/ — features characteristic not of East Slavs but of their friends to the north and west¹⁵. If the narrative part of the treaty shows a writer stumbling over keeping his «о» and «у» in order, surely this is something worth our attention, but such orthographic clues are missed by Bratishenko. We note in passing that the distribution of ligature 8 is entirely different from that of the spelling «у», as distinct from «оу». The monograph «у» spelling is found 7 times, but only in the articles in the body of the treaty, where it seems to be used mainly to save space:

¹⁴ In Copy E he has lost his final «е» and acquired a patronymic, becoming «тоумашь михалѣвичь» (Copy E line 9, [Сумникова, Лопатин 1963: 40]).

¹⁵ For a complete analysis of specific features of 13th-century Middle Low German, see [Korlén 1945]. On the forms taken by loanwords in Slavic-Germanic contact situations, see [Thomas 1978; Andersen 2000].

it is 4 times word-final, 4 times in the last word of the line, and once in the word «по̃у» [line 20], where the word-medial «п» is raised so far above the line that desinential «у» stands directly after the «о» of the preceding syllable. The broad span of the tittle in the abbreviation, moreover, makes it possible that «оу» in fact spells /u/, and that the missing «о» letter is therefore the /o/ of the stem, not part of the desinence. Sumnikova and Lopatin [Сумникова, Лопатин 1963] offer detailed description (as well as photographic documentation) of how the scribes of the Smolensk trade treaties spell /u/. The Smolensk practice may be compared with that of the Novgorod birchbark texts, which show gradual replacement of the digraph spelling by the monograph in the course of the 13th century [Зализняк 1995: 25—26].

We thus find that the beginning of the 1229 treaty contains several spellings that distinguish it from the central part, although less clearly from the end of the text, where we find further evidence of corrected /u/, not to mention the well-known but disputed conjunction «ѡдѣ», which has been viewed as a spelling of *unde* (but cf. [Schaeken 2001b], who suggests that this issue is more complicated than has sometimes been thought) joining signatories' names five times in lines 97—99. The spellings characteristic of the early parts of the text include some clearly produced as a result of scribal errors, not as systematic variants. This includes the «е» in «пре» for «про» and the use of the ligature spelling of /u/ insofar as it is used to correct mistaken «о» into «оу». If the spelling «морѡ» in line 10 is an incorrectly spelled accusative, and if the usage differs from the spelling of the accusative of the same word in later in the text [«мъре», line 85], still, that is entirely within the range of usage of the 1229 text, in which some spellings in lines 1 through 13 are different from norms elsewhere, including later parts of the document.

We have already seen that the lexical items in our text tend toward fairly stable representations. As it happens, several words frequent in the text are pleophonic. The spelling of the pleophonic words is of special interest, because the spellings in these words could follow any of several different norms even within the «high» Slavonic tradition of the Rusians. The most frequent word with a pleophonic form is «берегъ», which usually occurs [26 out of 34 times] in the locative singular¹⁶. In at least three quarters of the examples, the stem in all forms of «берегъ» has two «е» letters, and in a like proportion of the locatives the desinence is spelled with a jat' [with preceding «з»]. One example repeats the stem-sequence «ре» [thus: «берепезѣ»], and another example has two jat's in the stem. Except for these two instances, all the non-standard spellings of «берегъ» are non-standard in the same way: the first vowel letter of the stem would, in a normative system, represent a vowel historically longer than the vowel in the following stem syllable. We thus find stems «берѣг ~ берѣз» and «бѣрег ~ бѣрез», in all cases with the letter representing the historically longer vowel in the stressed first syllable. There

¹⁶ My statistics on pleophonic forms were gathered by S. Tighearnain [Klenin et al. 2000].

is no trace of the Russian Slavonic «бръг» or «берг». Whoever the scribe was, he seems to have been using the front vowel letters more systematically than might be expected, but not in a way that corresponds to other known East Slavic graphic systems. His usage, moreover, changes in the course of the text, with the generally minority «беръг ~ беръз» option actually predominating at the beginning and the normative stem spelling «берег» taking over early in the body of the document. As with the orthographic phenomena described above, there is a change in usage between the beginning of the text and the central core, but the shift is gradual. As is true of the other phenomena discussed above, the spelling of pleophonic vowels in the later copies of the treaty follow East Slavic norms, with relatively little trace of the idiosyncracies found in the early parts of Copy A. (See, however, [Schaeken, to appear] on the linguistic unity of all of the copies of the treaty.)

That a single finished document in the medieval tradition might incorporate heterogeneous usages, with no compulsion to level them, is illustrated in many composite texts, among East Slavic legal documents perhaps most famously in the testament of Varlaam [Зализняк, Янин 1992/1993]. The 1229 usage is interesting, however, for several reasons. First, the nature of the shifts from one section to the next are of several distinct sorts: syntactic and contentive as well as orthographic, and the orthographic shifts include some that might be representative of a special orthographic system, whereas others are evidently just mistakes. Moreover, although the orthography shifts from one part of the text to another, the textual divisions, which are very clear in other ways, are orthographically labile. Notably, even though the beginning of the document is different from the main body of the treaty, there is no clear orthographic break at the beginning of line 14, where we find a clear contentive demarcation: «Зде починаєть ся правда ••» Similarly, the apparently mistaken /u/ spellings toward the end of the text are still within the scope of the core articles of the treaty, not in the end matter. Thus, the orthographic boundaries, unlike the contentive ones, are fluid, and non-normative spellings «leak» into the main body of the text both fore and aft.

Although scholars have disagreed about whether the first copy (Copy A) of the 1229 treaty in fact dates to 1229 (the seals are «younger» [Сумникова, Лопатин 1963: 53—54])¹⁷, no one doubts that it was copied by a single scribe. He presumably did not just sit down in front of the signatories and start scribbling, but rather will have availed himself of at least one draft, much as the 1229 Copy A itself served as a principle source for later copies. Copy A, however, was not merely a copy of an earlier text, but constituted a newly composed document. The different parts of the treaty were presumably composed either on the basis of earlier documents that served as a template or relying on the signatories' adducing models out of their knowledge of earlier practice. The narrative (second) section of the text, lines 2 — 13 of course has parallels in other medieval documents and it may well have had specific, consciously chosen models. However, it is the only

¹⁷ The scribe gives the date as 1228, presumably because of differences in calendrical reckoning [Goetz 1916: 294].

section requiring narrative exposition on the part of the author, and, as I have noted elsewhere [Klenin 1983: 64], this pragmatic function by itself readily accounts for differences in language between this section and the rest of the text. What is not predictable, however, is that there should be orthographic peculiarities that distinguish the early sections of the document but «leak» into the legally binding articles that follow, nor can we declare a priori that one or another phenomenon in the narrative section *must* be free of barbarisms or *must* be directly comparable to material in other parts of the text.

My conclusions, then, remain tentative, as they were when I first wrote about the 1229 treaty two decades ago. The native language of the scribe is still unknown, and it is not clear what role the scribe had in composing the text. The text contains sometimes clear linguistic traces of Germanic origins, and these include translated formulae and some awkward calques but also labile Slavic orthography with some evocation of Germanic phonetics. The treaty continues to be hard to integrate into a coherent history of East Slavic in the medieval period. Translated texts and even original texts with foreign models can have any of a wide variety of relationships to their sources, on one hand, and to native usage, on the other. We cannot, except with great caution and in the most limited arena, exploit the 1229 text to establish otherwise unknown native East Slavic usage, nor, in the absence of its German and Latin source texts, can we be sure about how the scribe, whoever he was, coped with them. At the same time, the discovery and decipherment of abundant new materials, in particular the Novgorod birchbarks, has materially advanced our understanding of the 1229 Smolensk trade treaty, as of other documents and aspects of the history of East Slavic. Careful analysis of the orthography of the 1229 text raises new questions and new possibilities, and demonstrates, if any further demonstration is needed, that the 1229 treaty, *pace* Bratishenko, is anything but a «consistently idiosyncratic» text from which is absent «anything... that would suggest non-native origin» [358]. The document offers rich testimony to cross-cultural communication, which scholars representing national schools dismiss at their intellectual peril. Bratishenko, instead of valuing this unique document for what it is, instead has made a personal decision about what «the important fact» [359] about the treaty really is, namely its «manifest[ation of] native Slavic tendencies». My dictionary tells me that a fact is «something known to exist or have happened». In my opinion, the important fact is the text.

Works cited

Andersen 2000 — H. Andersen. Nedertysk og slavisk. Fra sprogberigelse til sprogdød // Språkkontakt — Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. Forskningsprogrammet Norden og Europa / Ed. E. Håkon. Copenhagen, 2000. P. 111—130.

Bratishenko 2002 — E. Bratishenko. On the Authorship of the 1229 Smolensk-Riga Trade Treaty // Russian Linguistics. 2002. Vol. 26. P. 345—361.

Franklin 2002 — S. Franklin. *Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950—1300*. Cambridge, 2002.

Gabrielsson 1971 — A. Gabrielsson. *Zur Geschichte der mittelniederdeutschen Schriftsprache auf Gotland // Niederdeutsches Jahrbuch*. 1971. Bd 94. S. 41—82.

Goetz 1916 — L. K. Goetz. *Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters*. Hamburg, 1916. [Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts, Bd 37. Reihe A. Rechts- und Staatswissenschaften. Bd 6.]

Kiparsky 1939 — V. Kiparsky. [Review of] G. Schmidt. *Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache in der Rigaschen Ratskanzlei*. *Neuphilologische Mitteilungen*. 1939. Bd. 40. № 1. S. 83—87.

Kiparsky 1960 — V. Kiparsky. *Wer hat den Handelsvertrag zwischen Smolensk und Riga vom J. 1229 aufgesetzt? // Neuphilologische Mitteilungen*. 1960. Bd 61. № 2. S. 244—248.

Klenin 1983 — E. Klenin. *Animacy in Russian. A New Interpretation*. Columbus, 1983.

Klenin et al. 2000 — E. Klenin, M. Angelovskiy, A. Stern, S. Tighearnain, and C. Weiner. *The Smolensk Trade Treaties and Their Linguistic Implications*. [Materials distributed for a paper read at the:] *Second Northwest Conference on Slavic Linguistics*. March 10—11, 2000. Berkeley, CA: Dept. of Slavic Languages and Literatures. The University of California, Berkeley.

Korlén 1945 — G. Korlén. *Die Mittelniederdeutschen Texte des 13. Jahrhunderts. Beiträge zur Quellenkunde und Grammatik des Frühmittelniederdeutschen*. [Lunder Germanistische Forschungen, 19.] Lund; Kopenhagen, 1945.

Lübben 1882 — A. Lüb ben. *Mittelniederdeutsche Grammatik, nebst Chrestomathie und Glossar*. Leipzig, 1882.

Peters 1987 — R. Peters. *Das Mittelniederdeutsche als Sprache der Hanse // Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprachausgleichs im Ostseeß und Nordseeraum*. Akten des 7. Internationalen Symposions über Sprachkontakt in Europa, Lübeck 1986 / Ed. P. Sture Ureland. Tübingen, 1987. S. 65—88.

Schaeken 2000 — J. Schaeken. *The 1229 Treaty between Smolensk, Riga and Gotland [version A] // Website <http://odur.let.rug.nl/~schaeken/1229/>*.

Schaeken 2001a — J. Schaeken. *L'Orthographe de la charte de Smolensk de 1229, version A // Slavica occitania*. 2001. Vol. 12. P. 327—341.

Schaeken 2001b — J. Schaeken. *Zu ode im altrussischen Handelsvertrag zwischen Smolensk, Riga und Gotland (1229) // Zeitschrift für slavische Philologie*. 2001. Bd 60. S. 1—8.

Schaeken, to appear — J. Schaeken. *Zur Spracheinheit im Korpus der Smolensker Urkunden des 13. — 14. Jahrhunderts, to appear*.

Stieda 1885 — W. Stieda. *Zur Sprachkenntniss der Hanseaten // Hansische Geschichtsblätter XIII [Jg. 1884]*. Leipzig, 1885. S. 157—161.

TITUS — *Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien*. «[A] joint project of the Institute of Comparative Linguistics of the Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, the Ústav starého Předního východu of Charles University, Prague, the Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab of the University of Copenhagen and

the Departamento de Filología Clásica y Románica [Filología Griega] de la Universidad de Oviedo». Website <http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm>.

Thomas 1978 — G. Thomas. Middle Low German Loanwords in Russian. Munich, 1978.

Борковский 1944 — В. И. Борковский. Смоленская грамота 1229 г. — русский памятник // Учен. зап. Ярослав. гос. ун-та. 1. 1944. С. 27—46.

Зализняк 1981 — А. А. Зализняк. Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981. С. 89—107.

Зализняк 1986 — А. А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Новгородские грамоты на бересте [из раскопок 1977—1983 гг.]: Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам [из раскопок 1951—1983 гг.]. М., 1986. С. 89—219.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зализняк, Янин 1992/1993 — А. А. Зализняк, В. Л. Янин. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // Russian Linguistics. 1992/1993. Vol. 16. С. 185—202.

Сквайрс 2000 — Е. Р. Сквайрс. Русь и Ганза: модель языкового контакта // Славяно-германские исследования. Т. 1 — 2. [2 vols. published as one, with consecutive page numbers throughout.] М., 2000. С. 436—540.

Словарь XI—XIV — Словарь древнерусского языка (XI — XIV вв.). М., 1988 — .

Сумникова, Лопатин 1963 — Смоленские грамоты XIII — XIV веков / Изд. подгот. к печати Т. А. Сумниковой и В. В. Лопатиным; Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1963.

Янин 1970 — В. Л. Янин. К вопросу о датировке экземпляров Д и К «Смоленской правды» // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970. С. 102—108.

Т. Д. СЛАВОВА (София)

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

(по поводу статьи К. А. Максимовича «Текстологические и языковые критерии локализации древнеславянских переводов» в связи с изданием R. Pavlova, S. Bogdanova. Die Pandekten des Nikon vom Schwarzen Berge (Nikon Černogorec) in der ältesten slavischen Übersetzung. Т. 1—2. Frankfurt am Main, 2000)

Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем.

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Эта знаменитая, волшеббно высказанная и бесконечно верная фраза приходит, незваная, мне на ум, когда я мучительно добираюсь до пятой страницы «научного» произведения г-на Максимовича [Максимович 2001]. Я чувствую себя обиженной не только за болгарскую медиэвистику, в целом заклеяменную, но и за всю славистику, в том числе и русскую. Наука, г-н Максимович, по моему скромному мнению — это не только накопленные знания, но и культура слова. И хотя Вы, по-видимому, обладаете «истиной в последней инстанции», позвольте мне выразить свое еретическое несогласие со многими Вашими утверждениями и оценками.

Повод для написания статьи г-на Максимовича — издание [Pavlova, Bogdanova 2000] самого раннего перевода «Пандект» Никона Черногорца (далее ПНЧ) по сербской рукописи XIII в. Хиландар № 175 (далее Хил 175). Публикация средневекового переводного памятника, поражающего своим внушительным объемом и энциклопедическим составом, всегда является событием в медиэвистике. Обнародование только славянского текста ПНЧ является лишь первоначальным этапом его целостного изучения, но, несомненно, это издание не опубликованного до сих пор сербского списка будет стабильной основой дальнейших исследований. Несмотря на отсутствие в издании текста греческого оригинала, не следует умалять значение сложного труда по изданию славянского текста. Нельзя не признать, что благодаря появлению данного издания будут восполнены многие пробелы в изучении

истории возникновения древнейшего перевода ПНЧ, и это будет достаточно твердым основанием, на которое могут опереться в дальнейшем исследователи этой книги. Исключительно ценными и необходимыми для будущих исследований бесспорно являются богатые и полезные археографические сведения о сохранившихся средневековых славянских рукописях ПНЧ, сопровождающиеся личными наблюдениями Р. Павловой (уточнениями датировок, идентифицированием перевода, указаниями на исправления и дополнения к основному переводу и др.) и впервые собранные воедино в издании [Pavlova, Bogdanova 2000: 17—30].

В попытке локализации данного перевода, как и других ранних славянских переводов, уже более столетия палеослависты основываются прежде всего на лексическом критерии, сформулированном еще И. И. Срезневским [Срезневский 1875] и А. И. Соболевским [Соболевский 1897; 1980]. Разумеется, медиэвистические исследования прошлого века обогатили и развили этот критерий, который первоначально сводился лишь к выделению специфической для русского языка лексики в текстах предполагаемого восточнославянского происхождения. В науке воспринята необходимость привлечения новых лексикографических свидетельств, в том числе из южнославянской книжности и южнославянского языкового ареала; учет лингвистического (орфографического и грамматического, семантического и словообразовательного) аспекта при анализе; принципы, качество и направление лексико-текстологических замен в разных ветвях славянской рукописной традиции; учет рукописной традиции первоисточника, литературной истории конкретного славянского переводного памятника, а также культурно-исторического контекста его возникновения [Павлова 1988; Турилов 1993; Богданова 1993; 2001; 2002; Молдован 1994; Алексеев 1996; Пичхадзе 1998; Максимович 1998а; Pavlova, Bogdanova 2000]. На самом деле в последующей комплексной работе при локализации первого перевода ПНЧ должны учитываться все перечисленные критерии. Но в своем исследовании — введении к изданию [Pavlova, Bogdanova 2000, I: 11—63] Р. Павлова не ставила перед собой такой масштабной задачи и не высказывала конкретной гипотезы в отношении возникновения самого раннего перевода ПНЧ — указаны только примеры, оспаривающие предположение о восточнославянском происхождении перевода, причем не только на лексическом, но и на грамматическом уровне (об этом см. также [Богданова 1993; 2001: 104—105]).

С большинством этих примеров г-н Максимович не соглашается, опираясь в своей аргументации на лексико-семантический критерий. Приведенные в его статье в качестве русизмов 58 лексем (четверть которых добавлены к списку Срезневского и Соболевского г-ном Максимовичем) нуждаются в комментариях. Прежде всего я отмечу, что *большая часть из них (47) фиксируются только в русских списках перевода ПНЧ*, так как в сербском Хил 175 отсутствуют текстовые отрывки с соответствующими лексемами. По-другому обстоят дела с несколькими «русизмами», которые встречаются как в русских списках, так и в сербском Хил 175, — именно они, по

мнению г-на Максимовича, прежде всего свидетельствуют о первоначальном восточнославянском протографе, из которого они впоследствии были унаследованы сербским списком. Но на самом ли деле следующие лексемы ¹ чужды южнославянской средневековой письменности и современным южнославянским литературным языкам и диалектам?

грамота ‘буквы, начертание букв; послание, книги, писание’, καλλιγράφοι (сл. 29: Хил 175, л. 127а не пишете въ писаньхъ доброу грамотоу жития и словесъ, Яр, Син, Чуд грамотоу). Лексикографические источники [СДЯ XI—XIV, II: 381—382; Срезн. I: 578—579; СРЯ XI—XVII, 4: 119—120] отмечают грамота преимущественно в русских списках южнославянских по происхождению памятников (Златоструй XII в., Толковое Евангелие Феофилакта Охридского), см. в том числе и значение ‘буква’ в «Изборнике» 1073 г. (л. 252а 28 кѣ грамотѣ ииѣтъ, Симеонов сборник I: 697). Ср. также несколько употреблений грамота ‘буква’ в болгарской переработке «О писменехъ» Черноризца Храбра, засвидетельствованных в Берлинском (XIII—XIV в.) и Марчевском (XVI в.) списке [Джамбелука-Коссова 1980: 28, 78, 89—103, 149—152]: едва съставише грамотоу (Берлинский, л. 73 v), Кюряль едань створи грамотоу [Марчевский; Джамбелука-Коссова 1980: 150] в соответствии с едва съврашж ѿн писменъ («За буквите», см. [Джамбелука-Коссова 1980: 135]), кто вы сътвори грамотоу ... кто вы състави грамотоу (Берлинский, л. 74г), кто сътвори грамотѣ ... такови грамотѣ сътвори (Марчевский, см. [Джамбелука-Коссова 1980: 151]) в соответствии с кто вы естъ писмена створиѣтъ ... кто вы писмена створиѣтъ естъ («За буквите», см. [Джамбелука-Коссова 1980: 139—140])². Имея в виду то, что лексема *грамота* ‘писмена; умение да се чете и пише’ не является чуждой болгарскому [Младенов 1941: 109; РБЕ III: 359] и сербскому языку (*грама* ‘слово, писмо’, см. [Вујаклија 1937: 248]), едва ли следует с такой уверенностью утверждать, что здесь речь идет о русизме, оказавшемся каким-то образом в сербском списке ПНЧ.

динауць ‘младший причетник’, παιδοτίτης (сл. 13: Хил 175, л. 56а ице кто дѣтиць сын ... или динауць, Яр дьяуць, Чуд дьяуць). За исключением сербской кормчей ³ XVI в. [Miklosich: 162] справочники не отмечают лексему динауць, которая в примерах из ПНЧ имеет уменьшительное значение от мотивирующего слова днакъ. Эта словообразовательная модель известна в древнеболгарской книжности, ср. градць — от градъ [СС: 177], сжучць — от сжкъ [СС: 684—185], цвѣтъць — от цвѣтъъ [СС: 771]. Мотивирующая лексема днакъ ‘дьякон’ встречается в Супрасльском сборнике, Синайском евхологии, Рыльских глаголических листах, Шишатовском,

¹ Здесь и далее все примеры приводятся в алфавитном порядке по изданиям [Pavlova, Bogdanova 2000] и [Максимович 1998б].

² Выражаю сердечную благодарность д-ру Марии Йовчевой за оказанное мне содействие в отыскании части лексем.

³ В сербских списках Кормчей исследовательская традиция допускает русское влияние.

Слепченском и Христинопольском апостолах, Кркском патерике, Михановичевой минее [Slovník I: 485; Miklosich: 162], в Беседе Пресвитера Козьмы [Давидов 1976: 88]. См. многократные употребления *днякъ* в заметках и приписках в средневековых болгарских и сербских рукописях: *поимнн ѿ коннфалга днака* (праздничная минея, нач. XV в., БАН, София, № 23; см. [Кодов 1969: 44—48]), *ѿцн н поѿве н днаконн н днацн* (Хлудовский, или Лобковский паремейник 1294—1320 г., л. 170б—171; [Иванов 1931: 103]), *калоуѣрннѣ попове днацн не кльнѣте* (Евангелие и апостол 1313 г.; [Иванов 1931: 104]), *попове днацн анагностн* (сербская богослужебная книга, 1300 г.; [Стојановић 1902: 15]). Мотивирующая лексема функционирует в южнославянских языках до наших дней, ср. серб., хорв. *djâk* ‘причетник’ [Преображенский 1959, II: 206—207], *diĵak* ‘онај који се стреми за калуђерски или свештенически позив, манастирски ђак’ [РСХЈ 4: 295], как и болг. *дякъ*, *дяци* ‘който знае книгѣ и чете и пѣе въ черковѣ’ [Геров I: 396], *дяк* ‘черковен певец или четец’ [РЧДБЕ: 273], *дякъ*, *дѣче*; *дѣча* [Младенов 1941: 158].

мечъникъ ‘стражник, помощник судьи’, *ἐπαρχος τῶν πραιτορίων* ‘префект преторианской гвардии’ (сл. 12: Хил 175, л. 52а *аще ли... сѣднѣю и мьѣвники исхѣдѣшиихъ же изъ манастиръѣ нгѣмѣны да накажоуть се*, Яр, Чуд тоже *мьѣвники*). Неточный и свободный славянский перевод в рамках конкретного контекста указывает на более широкую семантику *мечъникъ* — ‘стражник; сторож, воин с мечом, помогающий в данном случае судье при наказании провинившихся’. В подобном значении лексема употреблена не только в «Русской правде», как утверждает г-н Максимович, но и в «Хронике» Константина Манассии (в среднеболгарском списке, см. [Среднеболгарский перевод: 334]), Михановичевой минее и Повести о Варлааме и Иоасафе по сербскому списку XVI в. [Miklosich: 390]. Если добавить к этому и тот факт, что в серб., хорв. до сих пор употребляется *таѣник*, *таѣнику* ‘меченосец’ [ЭССЯ 18: 42; RHSJ 26: 352], то нельзя согласиться с заключением, что «в [Хил 175: 52а] этот текст полностью воспроизведен» [Максимович 2001: 215].

митѣшати (ногами) ‘ритмично переступать, притоптывать’, *μεταβαίνωσι πόδας* (сл. 29: Хил 175, л. 126б, Яр, Син, Чуд и *митѣшашають ногами*) — того же корня наречия *митѣжъ* и *митѣѣ*; *митѣжъ* ‘взаимно’ встречается в среднеболгарском Григоровичевом паремейнике (Иез. 1: 23 *два митѣсѣ прикрывающе тѣлеса ихъ*, см. [Slovník: 217; Рибарова, Хауптова 1998: 281]) и в Михановичевой минее — сербском списке XVI в. [Miklosich: 371], а *митѣѣ* ‘попеременно’ засвидетельствовано в Супрасльском сборнике и «Шестодневе» в переводе Иоанна Экзарха, в том числе и в самом раннем его сербском списке 1263 г. (*митѣѣ пѣдѣниа*, *митѣѣ тѣчениа*, *митѣѣ тицанию*) (см. [Slovník: 217; Срезн. II: 155; Miklosich: 371; Aitzetmüller 1958—1971, IV: 377]). Следы этих наречий сохраняются и сейчас в южнославянских языках и диалектах — ср. болг. *мито* ‘полегато, на верев’ (Врачанский район), *намито* ‘полегато, косо’ (Монтанский район), серб., хорв. *миће*, *митикце* ‘на смени’, *митити се* ‘меня се’, словен. *mitúška*, как и в западнославянских языках [БЕР IV: 131—132;

Младенов 1941: 299; Геров, II: 185; ESJS, 8: 480; Фасмер 1986—1987, II: 628]. Так почему же тогда мы должны принять, что слово *линтоушати* могло бы возникнуть только на восточнославянской почве?

нарадити (письменно) распорядиться, завещать', διατάττω (сл. 4: Хил 175, л. 76 *пѣрѣдѣ линишества не наредивъ*, Яр, Чуд не *нараднвѣ*); сл. 4: Хил 175 пропуск, — Яр 22с *радити διατάττεσθαι* 'распоряжаться, постановлять'; сл. 15: Хил 175 пропуск, — Яр 85а *оураднх са кннгы напнсання ёлѣтаѡа* 'договориться о чем-л.; заказать что-л.'; сл. 23: Хил 175 пропуск, — Син 80 *оураднти са оуцфонео* 'договориться'. Утверждать, что глаголы *раднти*, *нараднти*, *ѡраднти* с указанной семантикой «представлены только в русских памятниках» [Максимович 2001: 216], означает игнорировать южнославянскую книжность, в которой они многократно зафиксированы, ср. *нарадити* 'распорядиться, распределить' в сербском патерике XIV в., сербском прологе XVI в., Хиландарском сербском типиконе XIV в. и др. [Miklosich: 412], *оураднти διατάσσειν* 'распорядиться, приказать, определить' в хорватских памятниках, «Житии Александра Великого» в Михановичевом прологе и др. [Miklosich: 1064]. См. и употребление этих глаголов в южнославянских языках: серб., хорв. *редити* 'управлять, руководить' [РСХJ, 5: 486—487], болг. *рядж*, *-ишь* 'повеламъ; распоряжать' [Геров, V: 105], *уряждамъ* [Геров, V: 451], *нарѣждам* 'заповядам, повелявам, распорѣждам' [РБЕ, X: 455], *нарѣждам*, *наредя* 'издавам наредба, порѣчвам' [БТР: 482—483], *урѣждам*, *уредя* 'уговарям' [БТР: 995], *тебе, синко, да нарендва* 'заповядва' — Костур [Селищев 1925: 364] и т. д.

похоронити (похранити) 'прибрать (помещение)' καθίστημι, φιλοκαλέω (сл. 6: Хил 175, л. 146 *видѣвшѣ келию его непохраненѡ*, Яр *непохороненѡ*, Чуд *нехороршою*; Хил 175, л. 146 *ни келни свое ѡпраздннти се похранити*, Яр, Чуд *похоронити*; Хил 175, л. 146 *келню его ѣтоу н пометеноу*, Яр, Чуд *похороненоу*). Вероятно, здесь мы имеем дело с семантическим гапаксом, так как лексикографические справочники не отмечают *похоронити* (похранити), как и *непохраннѣ* в указанном значении вне ПНЧ [Slovník; СС; Срезн.; Miklosich; Даничић; Фасмер 1986—1987; Преображенский 1959; ЭССЯ; Дювернуа; Даль 1880—1882; Геров; БЕР; РБЕ; БТР; РРОДД; Младенов 1941; Ожегов 1986; СРНГ; РСХJ]. Что касается распределения фонетических вариантов, естественным является наличие *похоронити* в русских списках и *похранити* в сербском списке, но на основе этого нельзя утверждать, что «именно форму *похоронити* следует считать исконной» [Максимович 2001: 213].

пристравати 'побуждать, заставлять' πορασκευάζω (сл. 8: Хил 175, л. 246 *ѡченника... пристраваетъ*, Яр, Син, Чуд — пропуск; сл. 15: Хил 175 — пропуск, Чуд *престраваетъ*, по [Срезн. III: 1463] *врагъ пристраваетъ и бездѣльвника*; сл. 17: Хил 175, л. 79а *диаволь... пристравати*, Яр 101а, Син *пристравати*, Чуд *пристраивати*). В силу того, что согласно лексикографическим справочникам [Срезн. II: 1463; Miklosich: 681; СРЯ XI—XVII, 20: 37] *пристравати* (*пристраивати*) в указанном значении является гапаксом в ПНЧ, а также из-за того, что оно не обнаруживается в сербском, хорватском, болгарском и русском

[ср. РСХJ; СРНГ; Преображенский 1959; Фасмер 1986—1987; БЕР; Геров; РРОДД; Даль 1880—1882; Дювернуа; Даничић; Чукалов 1975; Ожегов 1986], т. е. из-за отсутствия достаточно стабильной лингвистической основы для анализа, я не решаюсь отнести как пристравати, так и пристрапати к какому-либо славянскому языковому ареалу.

пристроа ‘утварь, приспособления’, в данном случае в греческом τὰ ἄρκοῦντα πρὸς τὴν λυχνοκαΐαν ‘все необходимое для освещения’ (сл. 22: Хил 175, л. 101а пристрои въсь съвькѣпивь, Яр, Чуд пристрою всакѣ съвькѣпнть), ‘инструменты’, ἐργαλεῖα (сл. 15: Хил 175 — пропуск., Яр 154с, Син, Чуд пристрою дѣлати ремества). По мнению г-на Максимовича, пристрои и особенно пристроа в указанных значениях «отмечены только в восточнославянских памятниках» [Максимович 2001: 216], но достаточно заглянуть в словарь [Miklosich: 681], чтобы установить употребление пристрои в сербском прологе XVI в. и в сербской минее, принадлежавшей когда-то В. Караджичу.

харатыа, харотыа (харѣтнѣ) ‘пергамен’, μεμβράνα (сл. 29: Хил 175, л. 127а не пишнѣ... на кожъныхъ харѣтнѣхъ, Яр харотыахъ, Син харотнѣхъ, Чуд харатыахъ). Действительно, если мы будем доверять только избранным лексикографическим источникам [Срезн. III: 1361; Фасмер 1986—1987, IV: 223—224], может возникнуть впечатление, что слово харѣтнѣ в значении ‘пергамен’ (обычно при греч. χαρτίον, χάρτης) характерно для восточнославянской книжности. Известно, что до XIII в. (появления Ватопедской и Дубровницкой грамоты 1230 г. царя Ивана-Асеня II) в болгарских книжных центрах именно пергамен являлся единственным писчим материалом и средневековые болгарские книжники называли его словом харѣтнѣ (или кожа), ср., например, приписки в писанных на пергамене Битольской триоди XII в. (л. 54а ...харѣтнѣ сѣ петръ иванъ ковачъ а газъ тагониса⁴, см. [Кодов 1969: 74], т. е. Петр и Иван-кузнец принесли переписчику попу Георгию еще пергамена — харѣтнѣ) и Добрейшевом евангелии XIII в., НБКМ, № 17 (л. 3а ѿ де проклѣта харѣтнѣ). В служебной минее (сербском пергаменном списке) начала XIV в. из собрания Ундольского № 75 читаются следующие две приписки: л. 124а попиѣ харѣтнѣ урьнил[о], л. 144а изъсоухоше харѣтнѣ ѿ ветра се злѣ пишшоу ([Симић 1974: 81]; здесь же читаем комментарий: «виде се су у XIV веку пергамент називали хартијом»). См. следующие выражения из рассказа о восстановлении иконопочитания (в сербском списке Триодных синаксарей, первая неделя Поста⁴): харѣтнѣ написанѣ приѣмь, л. 4v и харѣтнѣ ѡврѣтѣ, л. 44г, где единственно возможным значением слова харѣтнѣ является ‘пергамен’. Поэтому невозможно утверждать, что «значение ‘пергамен’ также следует считать типично восточнославянской чертой» [Максимович 2001: 203—204]. В сущности, в примере из ПНЧ носителем этого значения является и прилагательное кожънъ, так как именно сочетанием кожъна харѣтнѣ ‘лист кожи’ переводится гр. μεμβράνα ‘пергамен’. В значении ‘лист’

⁴ О сербском характере перевода см. [Taseva 2002].

слово *харѣтиа* встречается еще в Супрасльском сборнике (л. 2), а позже также во многих других среднеболгарских (Паренесисе Ефрема Сирина, см. [Vojkovsky 1984—1988, I: л. 506]; «Хронике» Константина Манассии, см. [Среднеболгарский перевод, л. 63б, 74аб, 79а]) и сербских памятниках (Шишатовоцком апостоле, Михановичевом прологе и Михановичевой минее, см. [Miklosich: 1088]). Что касается утверждения г-на Максимовича, что «термин *харѣтиа* используется в ПНЧ как вариант к *харотыа*» [Максимович 2001: 203], то с такой же уверенностью можно было бы утверждать и обратное, потому что фонетические варианты *харатыа*, *харотыа* (в русских списках) и *харѣтиа* (в Хил 175) вряд ли следует считать релевантными по отношению к первичности одного из вариантов.

Итак, ни одна из перечисленных лексем не может быть определена как русизм (даже семантический), поэтому их присутствие в Хил 175 не должно вызывать удивления. Еще в меньшей степени они могут рассматриваться как унаследованные в сербском списке из восточнославянского протографа, так как в сущности это словарные единицы или производные слова общеславянского лексического фонда, которые не могут свидетельствовать ни о русском, ни о южнославянском характере первоначального перевода ПНЧ.

Другая часть русизмов из статьи Максимовича зафиксирована исключительно в русских списках первого перевода ПНЧ — по причине пропуска слов, в которых они встречаются, их нет в Хил 175 и в других сербских списках, описанных Р. Павловой (см. [Pavlova, Bogdanova 2000, I: 17—24]). Речь идет о таких русизмах, как *возгръ* (сл. 58), *вьрста* ‘мера длины’ (сл. 45), *дешевъин* (сл. 46), *доспѣнъ* ‘готовый, полностью собранный,’ (сл. 45), *изъвѣръ* (сл. 40), *опльщевати* (сл. 43), *печуць* (сл. 58), *похоронати* ‘приготавливать (св. Дары)’ (сл. 40), *ривифъ*, *ривиньфиѣ* (сл. 45), *сканье* (сл. 49), *тръпастъкъ* (сл. 43), *щюпати* (сл. 47). Тот факт, что в русских списках переводного сочинения встречаются русизмы, есть нечто совершенно естественное. Являются ли они следствием переписывания текста или принадлежат переводу, можно только предполагать. Более категорический вывод можно сделать только в случае, если соответствующие русизмы обнаружатся и в сербских списках. Как кажется, до сих пор ни одним исследователем не доказано то, что русизмы в русских списках — явление перевода, как это полагает и г-н Максимович, а его доводы никак нельзя считать вкладом в выяснение данного вопроса. Перечисленные выше русизмы не могут рассматриваться как доказательство восточнославянского характера первого перевода ПНЧ. Тем более что для некоторых из них определение «русизмы» находится под вопросом, так как они зарегистрированы и в южнославянской книжности, т. е. за пределами восточнославянского языкового ареала. Ср., например:

возгръ ‘мокрота, слизь’, без гр. соответствия (также и *возгри* и *охраци* и *излишьние оутрovy*, [СДЯ XI—XIV, I: 460]) — встречается не только в восточно- и западнославянских языках, но и в южнославянских, ср. болг. *возгѣра* ‘усещане за киселини в хранопровода’ (Пирдопский район, [БД IV: 93]),

‘неприятен, горчив вкус в устага’ [РБЕ, II: 343; РРОДД : 66], словен. *vózger* [Фасмер 1986—1987, I: 333].

доспѣти, доспѣнѣ ‘готовые, полностью собранные’, ἐν σόμασι (книги доспѣны) — глагол доспѣти ‘подготовить, закончить’ встречается в сербских литературных памятниках [Даничић I: 293; Miklosich: 173], ср. также серб., хорв. *dospjeti* в значении ‘бити готов, стићи с нечим; довести крају, довршити (нешто); доћи крају, свршити се, престати’ [РСХЈ 5: 588—590; ЭССЯ 5: 83—84]. Глагол доспѣти находим и во втором среднеболгарском переводе ПНЧ, см. рукописи ПОИИ № 502, л. 132а и Егор. 18, л. 96а [Pavlova, Bogdanova 2000, I: 48].

ринифѣ, ривинѣ ‘турецкий горошек’, ἐρεβίνθια — встречается как ривинѣтъ в сербских памятниках (Михановичевом прологе XIV в., сербском патерике XIV в.: [Miklosich: 799]). См. и пример из Станиславова (Лесновского) пролога — среднеболгарской рукописи 1330 г., Белград, Архив Сербской Академии наук и искусств, САНУ № 53, л. 296б: *нмаше же ннѣж нѣкъгда въ ривинѣѣ* [Павлова, Желязкова 1999: 314]. Болгарские диалекты сохранили это слово как *ривит* (с. Орещец, Хасковский район) и *ирвит* (с. Долно Луково, Ивайловградский район) (по данным Картотеки идеографического диалектного словаря болгарского языка при Кафедре болгарского языка в Софийском университете им. Св. Климента Охридского).

Некоторые из русизмов, встречающихся только в русских списках ПНЧ, являются гапаксами, что делает их не особенно надежными для локализации перевода, ср. *опльщевати* ‘делать местом всеобщего посещения’, *ὄχλαγωρέω*, *похоронати* ‘приготавливать’, *похоронити* ‘прибрать (помещение)’, *печуць*, *ἐμαυκοπατίων*.

Весьма показательными для будущего исследования окажутся лексические соответствия русизмам из русских списков ПНЧ, которые обнаружатся в сербских списках, содержащих более полную версию текста, чем Хил 175 (см., например, сербскую рукопись конца XIII в., РНБ, СПб., Q.п.I.27, и сербскую рукопись середины XIV в., хранящуюся частями в нескольких библиотеках — РНБ, СПб., Ф.п.I.121, БАН-СПб., 24.4.20 и 24.4.23, и Народной библиотеке Сербии, сб. Ковачевича, Рс708); см. [Pavlova, Bogdanova 2000, I: 20—22].

Некоторые из цитируемых в статье г-на Максимовича словарных единиц, без сомнения, являются лексическими или семантическими русизмами, например *вѣзига*, *вѣзижны*, *вѣкъша* νομίων ‘денежная единица’, *гривна* δηνάριον ‘денежная единица’, *жъньюгъ* μαργαρίτης ‘жемчуг’, *крити* ἀγοράζω, *ἐξωνέομαι* ‘купить’, *ларь* ἀλοθήκη, *наинитъ* μισθαρός, *отарица* τεκούλιον ‘имущество’, *ровни* ὀμίλιξ ‘сверстник’, *рѣзъ* τόκος ‘ростовщический процент’, *скотъ* κτήμα ‘имущество, деньги’, *хорошавчи* (σ)πλαστρεύομαι, *хорошание* θάρσος, *шелкъ* σπηρικὰ ὑψάσματα. Были ли эти словарные единицы присущи и архетипу перевода или они являются следствием переписывания, т. е. первичны ли они или вторичны, — об этом можно рассуждать только после внимательного текстологического сопоставления с возможно боль-

шим количеством сербских рукописей. Немалую часть приведенных в статье Максимовича лексем, несмотря на их наличие только в русских списках ПНЧ, едва ли следует определять как русизмы, так как они употребительны и в южнославянских литературных памятниках, языках и диалектах, ср:

вьрвьнѧиѧ недѣѧиѧ ‘праздникъ Входѧ Господнѧиѧ в Иерусалим’ (сл. 57: **праздникъ вьрвьнѧиѧ недѣѧиѧ**, [Срезн. I: 462]) — в православной христианской традиции это шестое воскресенье Великого поста (серб. *Цветна недеља, Цвети*; болг. *Врѣбница, Цветница*; рус. *Вербное воскресенье*), которому предшествует Суббота Лазаря (серб. *Врѣбца*). Название **вьрвьнѧиѧ недѣѧиѧ** отмечается не только в русских текстах, но и в южнославянских, ср., например, **нѣ врьвьнѧиѧ** в четвероевангелии НБКМ, № 509, болгарском списке XV в. ([Дограмаджиева 1998: 10; см. и [Минчева 1999]); **недѣѧиѧ врьвьнѧиѧ** в сербском патерике XIV в. [Miklosich: 76]; **нѣѧиѧ врьвна** в сербских рукописях (Собрание Дечанского монастыря, № 105, 1370—1380 г., л. 22v; № 104, 1375—1385 г., л. 60r; собрание Хлудова, ГИМ, № 134 1392 г., л. 233v); *Врѣбна недѣѧиѧ* [Геров, I: 156].

грѣвѣ ‘злой, грубый’, **сѣгрѣвити** ‘оскорбить, обидеть’ (сл. 9: Чуд 22г **въ нѣхъ же ли сѣгрѣвихомъ**, без гр. соответствия; Чуд 28а **аще ли тѣ сѣгрѣвиши къ комѣ σφάλης εις τινά**) — глагол **сѣгрѣвити σφάλεσθαι** встречается и в сербских литературных памятниках (прологе XVI в., минее и патерике XIV в.), см. [Miklosich: 921]. В современных южнославянских языках это значение сохраняется в серб., хорв. *грѣбити* ‘чинити грубим, ружним, ружити, нагрѣивати’ [РСХJ 3: 695], болг. *нагрубявам, нагрубя* ‘отнасям се грубо, оскорбявам, обиждам’ [БТР: 463; БЕР I: 286], болг. *груб* ‘който... в отношении тѣ си с хората не се интересува дали ще ги обиди, засегне, огорчи’ [РБЕ III: 416].

гльѣкъ (гльѣкъ, голькъ, глѣкъ) ‘сосуд; кувшин, кружка’, βουκόλιον ‘сосуд’, ξέστης ‘покрытая глазурью чаша’ (сл. 12, 43: **дѣсѧтъ глѣкъ вѧна**, [СРЯ XI—XVII, 4: 32]) — этимология этой лексемы не очень ясная [ЭССЯ 7: 192; ЭСРЯ I, 4: 92; Фасмер 1986—1987, I: 412; Младенов 1941: 101] и заслуживает дальнейшего исследования, но нельзя пренебрегать данными южнославянских языков, в которых сохраняется тот же самый корень и семантика, ср. серб., хорв. *глеђ, глеђа* ‘стакласта превпосуђу: монооксид олова, који се употребљава за такво превлачење (глеђосање)’ [РСХJ 3: 341], *gleta, gledja* ‘глѣч, глазура’ [ЭСРЯ I/4: 92], *glѣha* ‘сребьрен гланц, глазура’ [БЕР I: 248], болг. *глѣч* ‘вещество за покриване на изделия от глина’ [РБЕ 3: 205], ‘вещество, с което се покриват глинени изделия’ [БТР: 124], ‘глазура на глинѣн сѣд’ [БЕР I: 248], *глѣчь* ‘мазилка, сѣ коѣто грѣнчѧри мажѣтъ и послѣк пѣжѣтъ глинѧны сѣдовы’ [Геров, I: 220], *глѣчь=глетъ* ‘эмаль, лакъ’ [Дювернуа I: 363], *глеј* ‘горизонтален почвен пласт от лепкава глина’ [РБЕ, 3: 204] и др. производные.

жагало ‘жало, острие’, **кѣтров** (сл. 36: **днѧвоѧа жагала**) — варианты лексемы и ее производные не чужды южнославянским языкам и диалектам, ср. серб., хорв. *жага* ‘тестера, пила’ [РСХJ 5: 275], *жага* [БЕР I: 521—522],

болг. *жа̀га* ‘трион’ [БЕР I: 521—522], ‘голям трион за рязане на трупи или мек варовик’ [РБЕ V: 10; БТР: 210], *жѣ̀ло* ‘жило на пчела, оса и др.’ [БЕР I: 533], словен. *želo* [БЕР I: 533; Фасмер 1986—1987, II: 34]. См. также древнеболг. *жало* ‘жало’ в Супрасльском сборнике, Христинопольском апостоле и других памятниках, в которых это слово тоже передает *κέντρον* [СС: 222; Slovník I: 620], *жѣ̀ло* в сербской «Похвале князю Лазарю» [Даничић I: 333], как и среднеболгарские формы с меной юсов *жжло*, *жжла*, *жжлоносна* в «Хронике» Константина Манассии [Среднеболгарский перевод: 304].

манатѣ̀га (*мантия*) ‘монашеская мантия’, *πόλλιον* (сл. 34: Чуд 89а *манатѣ̀га*, Яр 15583 *мантия*) — в данном случае г-н Максимович правильно отмечает, что судить «об исконности того или иного варианта в ПНЧ затруднительно» [Максимович 2001: 215], так как речь идет о фонетических вариантах. Действительно, *манатия* встречается в восточнославянских текстах [СДЯ XI—XIV, IV: 503; Срезн., II: 110—111; СРЯ XI—XVII, 9: 26], но зато *мантия* встречается как в восточнославянских, так и в южнославянских текстах [Slovník, II: 188; СДЯ XI—XIV, IV: 505; Даничић II: 47; Срезн., II: 111; СРЯ XI—XVII, 9: 28]. Вот почему наличие подобной пары в тексте русских списков *мантия/манатия* (как и *хратѣ̀га/хратия*) не может быть показательным. Более того, и сегодня данный грецизм бытует в южнославянских языках, ср. серб., хорв. *māntija* ‘дугачка (обычно црна) широка халина, одора свештенных лица, реверенда’ [РСХJ 12: 102], болг. *māntija* ‘широко наметало’ [РБЕ, IX: 154; БЕР, II: 656], ‘почтителна горна дреха’ [Геров, VI: 203].

мангерѣ̀на ‘приготовленная пища’, *μαγειρία* (сл. 57: Чуд 197в н *гамы мангерню*, н *гамы двѣ̀ мангерни*) — однокоренное греческое заимствование засвидетельствовано в южнославянской книжности как *магерѣ̀ръ* ‘повар’, ср. *магериникола* в надписи в монастыре Св. Архангела, в с. Бошава в Македонии [Иванов 1931: 88, 170], в сербской Александрии, сербском списке «Повести о Стефаните и Ихнилате», см. [Miklosich: 359]. Ср. и *маћерница*, *магерница* в надписи из монастыря Св. Богородицы недалеко от г. Кичево и в надписи в Лесновском монастыре [Иванов 1931: 88, 170]. Много производных от данного корня находим в болгарском литературном языке и болгарских диалектах: *māgerница*, *māgerна* ‘манастирска готварница’, *māgerски*, *māger* ‘манастирски готвач’, *māgerя*, *māgяря* ‘готвя ястие’ [БЕР, III: 601; РЧДБЕ: 488; Геров, II: 41, VI: 200; РРОДД: 244; РБЕ, IX: 33; Младенов 1941: 285], как и в серб., хорв. *maћer* ‘манастирски готвач’ [БЕР, III: 601].

новикѣ̀тъ ‘новичок, новенький’ (сл. 33: Син *новици*, Яр *ловѣ̀ци!*, *ἀδελφοὶ ἀρχαριοὶ*) — словообразовательная модель для адективных существительных с суффиксом *-икѣ̀тъ* действительно не очень продуктивна в древнеболгарском языке (только в Супрасльском сборнике, л. 145, встречается *златикѣ̀тъ* ‘золотая монета’), но все-таки не является чуждой южнославянской книжности, ср. несколько употреблений *златикѣ̀тъ* в Хил 175: л. 105б *златника* (Яр, Чуд, Син *злата*), л. 105б *златикѣ̀тъ* (Яр, Син *златъникѣ̀тъ*), л. 66а, 103аб, 105б *златикѣ̀тъ* (Яр, Чуд, Син *златъникѣ̀тъ*). Если *златикѣ̀тъ* — русизм, почему он не употребляется в русских списках ПНЧ, а только в сербском? См. сходную

словообразовательную модель в слове *любнѣнци* (Бдинский сборник 1360 г., л. 1, 6v, 16v [Bdinski Zbornik: 43—55]) и *любнѣнкъ* ‘любимец’ (Паренесис Ефрема Сирина, около 50 употреблений; [Vojkovsky 1984—1988, IV: 230]), как и в Хил 175, л. 110a: *хоцѣши ли любити се любнѣнѣ, Любнѣнѣ прилѣпи се.*

овнѣѣканиѣ ‘хождение, ходатайство; круговое движение» (сл. 35: *овнѣканиѣмь ѿлкъ даръ бѣжн прилѣти*, [СРЯ XI—XVII, 12: 57]) — утверждение г-на Максимовича, что слово *овнѣѣканиѣ*, как и его производящее *овнѣѣкати*, «зафиксировано только в восточнославянских памятниках» [Максимович 2001: 212], неверно, так как *овнѣѣкати* *перитрѣхѣи* встречается в сербском патерике XIV в., Михановичевой минее и др. [Miklosich: 481]. В серб., хорв. и в наши дни употребительны *опѣкати*, *опѣканье* [РСХJ, 4: 172—173], а в болг. — *опѣкам* ‘обшивам дреха по рѣба’ [БЕР, IV: 758; Младенов 1941: 368], ‘обшивам дреха по рѣба с гайтан, ширит, кожа и др.’ [БТР: 538], *опѣкѣ* ‘заобиколя, обсадя’ [ПРОДД: 304], *опѣкамь*, *опѣканиѣ* ‘зашивам по крайща-та на дрѣхѣ или на друго нѣчто гайтанъ, шарить или какво да е друго’ [Геров, III: 314]. Глагол совершенного вида *овѣѣци* ‘обежать’ встречается в Супрасльском сборнике [Slovník: 495; СС: 400] и в сербских литературных памятниках [Даничић II: 194]; см. *овѣѣциѣ* ‘обхождение’ в «Шестодневе» Иоана Экзарха (л. 154b, [Aitzetmüller 1958—1971, IV: 349]).

паволока (повлака) ‘дорогая (царская) одежда’, *пѣпλος* (сл. 36: Чуд 102a *не украси ихъ паволокою*) — эта лексема известна не «только древнерусским памятникам» [Максимович 2001: 206], так как она засвидетельствована как *павлака* в Михановичевой (1262 г.) и сербской кормчей (XVI в.), как и в сербском сборнике 1472 г. [Miklosich: 550]; немаловажно и ее наличие в «Житии Вацлава» [Slovník III: 1]. Это слово известно болгарскому литературному языку как *павлака* [Младенов 1941: 407], а также болгарским диалектам, ср. *павлака* ‘мѣталка, намѣтка’ [Геров, V: 1], *повлека* ‘дълга горна дреха от бял шаяк с бял гайтан наоколо’ [БЕР, V: 408]. См. сербск.-ц.-слав. *павлака* [Фасмер 1986—1987, III: 182], словен. *povlák* ‘горен чаршаф’, как и присутствие слова в западнославянских языках [БЕР, IV: 997, V: 408]. Во втором среднеболгарском переводе ПНЧ тоже читается *павлака* [Pavlova, Bogdanova 2000, I: 49].

цѣлѣ ‘весь’, *ѣлос* (сл. 23: *за цѣлѣ мѣсаць*) — даже беглая справка в общедоступных словарях убеждает нас, что в указанном значении лексема *цѣлѣ* встречается в ряде южнославянских памятников ([Miklosich: 1107], см. среди множества примеров *за цѣлѣ мѣсаць* в Струмицком апостоле; [Даничић III: 455]) и в болгарском литературном языке и диалектах ([Геров, V: 532], см. специально пример *цѣла година* наряду с *цѣла-та кѣща*, *цѣлото село*; [БТР: 1041]: *цял ‘пылен, в пълна мяра’, ‘който е без прекъсване, непрекъснат, пылен’ — цяла година, цяла ноц*).

Необходимость в обязательном сочетании лексического исследования с текстологическим особенно отчетливо выступает при анализе следующей группы лексем из статьи Максимовича, которые демонстрируют разные переводческие решения, с одной стороны, в русских списках первого пере-

вода ПНЧ и, с другой стороны, в сербском Хил 175. Только при таком комплексном подходе, учитывающем и греческий текст, можно было бы рассуждать по вопросу о том, какие лексемы первичны и какие вторичны: лексемы в русских или лексемы в сербских рукописях. По мнению Максимовича (см. также [Турилов 1993; Молдован 1994]), единственно возможное направление замен — это направление от русских списков, отразивших первоначальный перевод, к сербскому списку Хил 175, в котором замены толкуются как вторичные явления, возникшие под пером переписчика. Иными словами, сербский переписчик (переписчики) заменяет русизмы (преимущественно лексические и, реже, — лексико-семантические и словообразовательные) «нейтральными (не дающими оснований для локализации) церковнославянизмами» [Максимович 2001: 212], адаптируя их к своему южнославянскому стандарту. Но действительно ли приведенные Максимовичем русизмы в древнейшем переводе ПНЧ исконны или возможно и другое объяснение? Рассмотрим сначала конкретные примеры:

вариво ‘вареная пища’, ἔλαιον (сл. 23: Яр 123а, Син, Чуд не вѣкоуѣсть варива — Хил 175, л. 103а не вѣкоуѣнше масла дрѣвѣнаго); (сл. 59: масла ли варива... гасн, по [Срезн. I: 228] — в Хил 175 пропуск). Из факта, что **вариво** отсутствует в [Slovník] (в [Miklosich: 56] нет указания на памятник), не следует автоматически, что лексема имеет восточнославянский характер [Максимович 2001: 214], так как она хорошо известна (не только в значении ‘боб, пища из бобов’) южнославянским языкам, ср. серб., хорв. *vàrivo* ‘свако варено, кувано јело, најчешће од поврћа или махунастог биља; кување’ [РСХЈ 2: 404], болг. *вариво* ‘ястие от боб, леща, грах и др.’ [РБЕ II: 38], *vàrivo* ‘съ това имя ся наричатъ обще бобъ, ляща, грахъ и други такывы рожби, что ся готвятъ за ѣдене; гостба варена’, ум. *варивце, варилце* ‘малко вариво’ [Герров I: 108; Дювернуа I: 196; Младенов 1941: 58], *вариво* ‘зърнести зеленчукови плодове, употребявани за храна (боб, леща, грах и др.)’ [БТР: 76]. В то же время перевод ἔλαιον (сл. 23) в Хил 175 словосочетанием *масло дрѣвѣнаго* говорит о его принадлежности к архетипу, и более вероятно, что это сочетание было заменено словом **вариво** в русских списках.

вѣврица ‘денежная единица’, φόλλις ‘монета из меди’, νομίων (сл. 23: Яр, Син, Чуд ·ѣ· вѣвриць, 3 раза — Хил 175, л. 104б ·ѣ· мѣднницъ); в русских списках **вѣврица** встречается и в сл. 45 и 46, которые, однако, отсутствуют в известных мне сербских списках. По мнению Максимовича [Максимович 2001: 210], а также Молдована [Молдован 1994: 75—76] и Алексеева [Алексеев 1996: 289], сербский переписчик заменил региональное по значению **вѣврица** общеславянским **мѣдница**, которое вторично в тексте именно потому, что является более нормативным и имеет более широкое употребление в славянском языковом ареале. А нельзя ли считать столь же возможным и обратное, тем более что **мѣдница** передает точнее греческое соответствие? Использование шкурки белки в качестве платежного средства — нечто более частное, поэтому, скорее всего, употребление русизма **вѣврица** можно было бы рассматривать как замену со стороны переписчика, для куль-

турной среды которого специфической денежной единицей были шкурки белки. Весьма интересен, однако, факт, что в некоторых местах в русских списках ПНЧ встречается и лексема мѣдъница, ср. сл. 4: Яр 23б и хоудыин мѣдъницаи свои спенне отъдаваи (этого отрывка в Хил 175 нет), см. [Pavlova, Bogdanova 2000, II: 58]. Эта пестрота в русских списках при передаче денежных единиц (вѣверица, мѣдъница для φόλλις, νομίσιον) могла бы возникнуть скорее как явление вторичное, а не первичное.

рѣзана ‘мелкая древнерусская монета, 1/50 гривны’, τριμισιον ‘монета достоинством в 1/3 золотого динария’ (сл. 23: Яр 123с, Син, Чуд начать по рѣзанѣ красти — Хил 175, л. 105а начеть по ·Г·ста красти; сл. 36: кодрάντης Яр 195б ѿ единого рѣзаны — Хил 175 пропуск). Согласно Максимовичу «[Хил 175: 105а] в вопиющем противоречии с греческим оригиналом (где стоит τριμισια) демонстрирует здесь явно вторичную замену ·Г·ста <...> именно близкое к оригиналу чтение восточнославянских списков и является исконым» [Максимович 2001: 213]; см. этот же тезис в [Алексеев 1996: 289].

Последние две замены находятся в контексте, который я позволю себе прокомментировать подробнее (основной текст приводится по Хил 175, л. 104б—105а, а разночтения — по русским спискам Яр, Син, Чуд): ...·Г· мѣдъница (Яр, Син, Чуд вѣверница) доволна ти соуть... ·Г· мѣдъница (Яр, Син, Чуд вѣверница) и даиши... доврѣ творе и начеть красти ·К· дѣка дѣка (Яр·Г· ·Г·, Чуд десять десять, Син десять) иеть же игда и по больше... и начеть по ·Г·ста τριμισιον (Яр, Син, Чуд рѣзанѣ) красти. В отношении славянского перевода греч. δέκα δέκα ‘по десять’ я вполне согласна с Молдованом ([Молдован 1994: 76], см. и [Алексеев 1996: 289—290]) в том, что соответствие в русских списках ближе к греческому оригиналу — в отличие от сербского ·К· (= 20), как и в том, что при возможном заимствовании направление могло быть только от русских списков к сербским. Передачу τριμισιον при помощи ·Г·ста Молдован объясняет осведомленностью сербского переписчика относительно русского денежного соответствия: 1 резана = 3 веверицам. Но даже если допустить, что это так, то следовало бы ожидать замену 1 резаны на 3 медницы (= 3 веверицам), чего, в сущности, не наблюдается. По-моему, логическое объяснение появления ·Г·ста заключается в том, что именно переводчик (а не переписчик) семантизирует механически τριμισια посредством ·Г·ста, вероятнее всего, не зная точного значения греческого слова, но понимая, что в его основе лежит числительное три. Но если принять тезис о том, что переводчик неслучайно выбирает слово рѣзана для τριμισια, зная, что его значение — это ‘монета достоинством в 1/3 золотого динария’, возникает вопрос, почему тогда он передает и другую денежную единицу (кодрάντης в слове 36) тоже посредством рѣзана? Приведенные два примера (о греч. δέκα δέκα и τριμισιον) нельзя согласовать ни с гипотезой о первичности русских списков, ни с гипотезой о первичности сербских списков, но, может быть, они дают нам основание искать правильный ответ в третьем направлении. Нельзя ли предположить, что обе ветви списков (русских и сербских) возникли на основе общего не сохранившегося протогра-

фа, что могло бы объяснить, с одной стороны, их текстологическую близость, а с другой стороны, указанные выше различия?

дѣрѣзнвѣ ‘дерзкий’, *проскекроуκός* (сл. 28: Яр 140с, Син, Чуд *дѣрѣзнвѣхъ* — Хил 175, л. 137а *нѣко и тѣ ѿ рабѣхъ нѣсть аще и ѿ вѣсѣустьныхъ и дръзнвыныхъ*) — из-за близости семантики лексем (в данном случае негативной) *дѣрѣзнвѣ* ‘дерзкий; непокорный’ [Срезн., I: 655; СДЯ XI—XIV, II: 455; СРЯ XI—XVII, 4: 231] и *дръзвѣ* ‘дерзкий, резкий; отважный’ [СС: 198; СДЯ XI—XIV, III: 146; Slovník, I: 523; СРЯ XI—XVII, 4: 227, 229], использованных для передачи греч. *проскекроуκός* (из *проскροῦω* ‘оскорблять, обижать кого-нибудь, быть враждебным к кому-нибудь’, см. [СБР: 704; Дворецкий, II: 1413]), трудно дать окончательный ответ на вопрос, какой из двух вариантов принадлежал архетипу и каково направление замены. В связи с категорической оценкой г-на Максимовича, ср. «*дѣрѣзнвѣ* должно не только остаться в списке русизмов, но и рассматриваться как исконный элемент архетипа ПНЧ» [Максимович 2001: 200], я бы процитировала мнение Миклошича о *дѣрѣзнвѣ*: «*recte fortasse дръзнвѣ*» [Miklosich: 158]. Что касается утверждения г-на Максимовича о том, что *дръзнвѣ* — «слово, невозможное в словообразовательном отношении» [Максимович 2001: 200], ср. подобную адъективную словообразовательную модель в древнеболгарском языке от глагольных и адъективных основ (я исхожу из того, что возможными мотивирующими словами для *дръзнвѣ* могут быть *дръзати* и/или *дръзѣ*): *гжгъннѣ* — от *гжгънати*, *любнѣ* — от *любити*, *нѣпрѣпърнѣ* — от *прѣпърѣтити*, *прѣтрѣбнѣ* — от *прѣтрѣбѣтити*, *страшнѣ* — от *страштити*, *тѣштнѣ* — от *тѣштати*, *вѣсточнѣ* — от *вѣсточѣтити*; *жрднѣ* — от *жредѣ*, *напрасннѣ* — от *напрасѣнѣ*; см.: «в некоторых случаях возможна двойная мотивация — от глагольной основы и от прилагательного, как в *лѣбннѣ*, *жрдннѣ*» [Грамматика 1991: 214].

кльбѣ ‘узелок, клубок’, *κομβάριον* (сл. 23: Яр 122d, Син, Чуд *такѣ клѣбѣ трѣпещище* — Хил 175, л. 103а *такѣ и клѣбо трѣпещище*). Максимович включает *кльбѣ* в список русизмов, признавая, однако, что «пара вариантов *кльбѣ/кльбо*, ввиду их большого внешнего сходства и неясности, какой вариант первичен, нерелевантна для локализации перевода ПНЧ» [Максимович 2001: 202]. Действительно, лексикографические справочники не фиксируют *кльбѣ* (*кльбѣ*), но южнославянские диалекты и по сей день сохраняют форму м. р., ср. серб. *klub* [Miklosich: 292], словен. *klòb, klòp* [ESJS: 323], болг. *кльуп* ‘примка, възел’ — троянский говор [БД, IV: 207], *кльупь* ‘на нишкж, на връвь, вжже и проч. връзано на колелце’ [Геров, II: 373], *кльмб* — с. Сухо, Солунский район [СБНУ 1891: 157].

кѣкто ‘некий’ в атрибутивной синтаксической конструкции с субстантивом в качестве определяемого слова (сл. 9: Яр 44d *Ошьльникъ кѣ въ*, Чуд 27d *Ошьльникъ нѣкто въ* — Хил 175, л. 35а *Ошьльникъ нѣкы въ*; сл. 12: Яр 63б *ошьльникъ вѣ кто* — Хил 175, л. 48б, Чуд 34б *ошьльникъ вѣ нѣкто*; сл. 15: Яр 143б, Син, Чуд *хлюбѣць инръскы кѣ въпраша* — Хил 175а, л. 138б *хлюбѣць инръскынхъ кѣ въпрашааше*; сл. 17: Яр 101б *ѡлькъ кѣ нмаше сна* — Хил

175, л. 796, Син, Чуд *члѣкъ нѣкто нмѣашѣ сѣна*; сл. 31: Яр 162а, Чуд, Син, Хил 175, л. 147а *члѣкъ нѣкто рѣкою възатъ оумръ*)⁵. По мнению Максимовича, в указанной функции местоимение *кѣто* якобы не встречается в южнославянских текстах за исключением двух сходных употреблений в Супрасльском сборнике, где, однако, в качестве определяемых выступают имена собственные (л. 24 *несторъ кто*, л. 23 *мдринъ кто*, по данным [Slovník II: 96]). Если бы г-н Максимович не ограничился лишь механической словарной справкой и был бы более сведущим в грамматике древнеболгарского языка, он бы знал, что рассматриваемое употребление местоимения *кѣто* *вм.* *нѣкѣто* — это не изолированное явление в древнеболгарских текстах, в которые оно попадает под греческим влиянием (обычно в соответствии с *τις*). Оно особенно характерно для Супрасльского сборника, где примеров больше, чем указанные два, включая и случаи с местоимением после существительных нарицательных, ср., например, *пжт'ннкъ же к'то оболѣросъ тис* (л. 40). С другой стороны, даже русские списки ПНЧ показывают исключительное многообразие в употреблении *кѣто*: Яр употребляет в 4 случаях *кто* и в одном случае *нѣкто*; Чуд — один раз *кто*, один раз *нѣкы* и 3 раза *нѣкто*; Син — одно употребление *кто* и 4 — *нѣкто*. Одного этого факта достаточно, чтобы усомниться в том, что «данное явление тяготеет к восточнославянскому ареалу» [Максимович 2001: 208]. Неоднозначны также данные Хил 175: одно употребление формы *кто*, одно — *нѣкы* и 3 употребления *нѣкто* (между тем картина в Хил 175 аналогична той, что наблюдается в Чуд!). И это вполне естественно, так как употребление *кѣто* (resp. *нѣкѣто*, *нѣкы*) не может быть релевантным при локализации древних славянских текстов.

медъ ‘вино’, *οἶνος*, *медъша* ‘кладовая для меда’, *κελλάριον* (сл. 23: Яр 123а, Син, Чуд *медъ пролнваемъ въ люенъ медоушн* — Хил 175, л. 103а *внно пролнваемюе въ люенъ винницн*). Обе замены следует рассматривать вместе, а не по отдельности, как это видим у Максимовича [2001: 211, 215], так как они тесно связаны между собой. Объяснение того, что русизмы *медъ* (*οἶνος*) и *медъша* первичны, но были заменены впоследствии сербским писцом посредством *вино* и *виньница*, не кажется логичным, поскольку именно *вино*, которое является мотивирующим для *виньница*, точно передает греческое *οἶνος*. Но даже если допустить, что сербский книжник списывает с русского перевода, не располагая при этом греческим оригиналом, по какой логике он должен был заменить общеславянскую хорошо знакомую ему лексему *медъ* ‘мед’ на *вино* и *медоуша* на *виньница*? Даже Срезневский [Срезн., II: 121—122] приводит при этом же примере из ПНЧ для *медоуша* единственное значение ‘кладовая для меду’. Обратное предположение — о замене *вино* и *виньница* на *медъ* и *медоуша* — кажется более вероятным.

одѣвало ‘широкая одежда, плащ, служивший также одеялом’, *ρονάχιον* (сл. 23: Яр 122с, Чуд, Син *хочдою одежею покрыватн, одѣватн сж* — Хил 175, л. 102б *хочдою одеждею покриватн се*; Яр 122с, Чуд, Син *раздрантъмь одѣ-*

⁵ Последние два примера добавлены мной. — Т. С.

валънь — Хил 175, л. 1026 раздраною ѡдждѣю; Яр 122d одѣвалънь, Син, Чуд одѣвалою одѣвають — Хил 103a ѡдждѣю покрывають се; Яр 123a, Син, Чуд съ вѣбънь злѣнь въ одѣвалѣ — Хил 103б съ вѣбънь зломъ въ ѡдѣвни; Яр 122с, Син, Чуд одѣвалънь покрывають сѧ — Хил 102б ѡдждѣю покрывають се; Яр 122с, Син, Чуд ѡтетъыр одѣвала — Хил 103б ·д̄· ѡдждѣ; Яр 122d, Син посла къ немѣ одѣвало; Чуд одѣвало — Хил 102б посла емѣ ѡдѣвниѣ). Данные примеры красноречиво свидетельствуют о неомогенности русских списков ПНЧ, в которых одновременно употребляются лексемы одѣвало (4 раза в Яр и Син, 3 раза в Чуд), одѣвало (2 раза в Яр и Син, 3 раза в Чуд) и одѣжда (по 1 разу в Яр, Син, Чуд), тогда как в Хил 175 им соответствуют одѣжда (5 раз) и одѣвниѣ (2 раза). Лексикографические справочники не указывают на наличие одѣвало в южнославянских памятниках, но едва ли одѣвало следует считать русизмом при наличии глагола одѣвати [Slovník II: 519], серб., хорв. *odevati (se)* [РСХКJ IV: 35], болг. *одѣвамъ* ‘обличам’ [Геров, V: 340] и производных *одѣвание, одѣване* [Младенов 1941: 375; Геров, V: 340], серб., хорв. *odevanje* [РСХКJ, IV: 35]. В южнославянском языковом ареале хорошо известно образование существительных нарицательных от вторичных глаголов несовершенного вида, например от *покрывати* [СС: 470] — *покрывало* («Хроника Константина Манассии, л. 52; см. [Среднеболгарский перевод: 461]), болг. *покривало* ‘тѣкан, предназначена за покриване на глава, тѣло и др.’ [БЕР III: 15; БТР: 693], *покривало* ‘тѣкань или друго нѣчто за покриване’ [Геров IV: 141], серб., хорв. *покривало* ‘оно чиме се неко или нешто покрива’ [РСХКJ IV: 634]; от *помагати* [СС: 474] — болг. *помагало* [БЕР V: 508] ‘книга или друго нешто, което спомага за по-широко или нагледно обучение’ [БТР: 701], серб., хорв. *помѣгало* ‘помоћно средство, помагач’ [РСХКJ, IV: 671]; от **грѣвати* — болг. *гребало* ‘гребло, с което се огриба жито пред веялка’ [БЕР I: 276], ‘гребалка’ [РБЕ III: 374], ‘с което ся загриба нѣчто’, ‘сѣд, уред за гребане на брашно, ориз, сол др.’ [БТР: 134], серб., хорв. *гребало* ‘онај који нешто гребе, черпка’ [РСХJ, 3: 600]; от *погрѣвати* [СС: 458] — болг. *погребало* ‘погребѣние’ [Геров, IV: 72; Младенов 1941: 438].

посадъникъ ‘судебный чиновник по делам церкви’, *ѣкдикос* (сл. 12: Яр 69d, Чуд *ѡво въ властѣхъ вьнѣшнихъ посадникънь да ѡмѣдрит сѧ* — Хил 175, л. 52a *ѡво въ властѣхъ вьнѣшнихъ прахторомъ да ѡмѣдрит се*). И в этом случае г-н Максимович прибегает к принятому а priori тезису о замене первоначального русизма *посадъникъ* на «более привычный на грекоязычном Афоне грецизм» *прахторъ* [Максимович 2001: 205]. Рассмотрим эти две лексемы, задаваясь вопросом, какая из них передает более точно греческое слово *ѣкдикос* ‘судебный чиновник по делам церкви’, согласно [Дворецкий I: 481] — ‘*юрид.* эдик, представитель государственных интересов, прокурор’. Судя по лексикографическим справочникам, слово *прахторъ*, встречающееся в значении ‘судебный исполнитель’ в «Пандектах» Антиоха, Никольском евангелии и других памятниках ([Срезн., II: 1370] ‘исполнитель судебных приговоров’, [Miklosich: 658; Даничић, II: 416]), тогда как для *посадъникъ* подобное значение не характерно, см. [Срезн., II: 1228—1230] ‘князем на-

значенный правитель города и относящейся к городу области в древней Руси; представитель власти в Новгороде и во Пскове, избираемый вечем; правитель, начальник»; [СРЯ XI—XVII, 17: 152] ‘правитель, властелин, начальник; наместник князя, правящий городом, областью; представитель высшей государственной власти в Новгороде и Пскове’; [Miklosich: 632] — только στρατηγός ‘военачальник’. Лексема прахторъ ‘сборщик налогов, у которого была и судебная власть по финансовым делам; вообще административный чиновник’ многократно встречается и в болгарских царских грамотах (Ватопедской, Виргинской, Оряховской, Витошской). С редакцией текста в русских списках можно было бы связать и разночтение властельми в Яр 15606 (наряду с посадыникъльмь), см. [Максимович 1998б: 141].

Кроме случаев замен, прокомментированных г-ном Максимовичем [2001], можно указать и на другие, подсказывающие направление замены, например Яр, Син, Чуд оградъ, ограда, оградьникъльмь, шгородникъльмь, оградникъльмь — Хил 175, л. 107а кыпоурь, кнпоура, кнпоурьникъльмь кѣлос, кѣлоросъ и др. [Богданова 2001: 105—106].

Итак, лексическое варьирование в русских списках ПНЧ и сербском списке Хил 175 раскрывает сложную картину, отражающую далеко не одностороннюю и категоричную, как считает г-н Максимович, замену первоначальных русизмов более нейтральными и распространенными церковнославянизмами. Во-первых, часть рассмотренных примеров не может быть определена как специфическая только для восточнославянского языкового ареала (вариво, кѣто ‘некий’); во-вторых, другую часть примеров, вероятнее всего, следует отнести к первоначальному переводу, а не к процессу переписывания (масло дрѣвѣньно ἔλαιον, мѣдъница фоллис, воуцион, вино оѣнос и виньница, прахторъ ἔκδικος, по ·Г· ста трѣцисион); в-третьих, относительно некоторых лексических синонимов трудно сказать, являются они первичными или вторичными (дѣрлзньвѣ и дръзньвѣ προσκεκρουκός, клѣвь и клѣво κομβόριον, одѣвало и одѣвало γονάχιον). Интерес представляет пример из слова 23, где чтение в некоторых русских списках ближе к греческому тексту, чем чтение в сербском списке: Яр ГГ, Син десать, Чуд десать десать дѣка дѣка, тогда как в Хил 175 — ·К·. Для выяснения лингвотекстологической истории самого раннего славянского перевода ПНЧ необходима еще продолжительная и серьезная работа. Издание сербского списка Хил 175 с разночтениями и дополнениями по трем русским спискам Яр, Чуд и Син [Pavlova, Bogdanova 2000], несомненно, облегчит задачу будущих исследователей. Поэтому любая попытка умалять значение опубликованного труда является ненаучной.

Свое несогласие с утверждениями г-на Максимовича [2001] я могу обобщить следующим образом:

1. Большая часть лексем, определенных как русизмы, встречаются и в южнославянской средневековой книжности и южнославянских литературных языках и диалектах, что автоматически переводит их в разряд общеславянской лексики и лишает доказательной силы.

2. Немногие русизмы зафиксированы только в русских списках ПНЧ, и вопрос о том, в какой момент они появились — в процессе перевода или из-под пера переписчика, можно решить лишь после детального сопоставления с возможно большим количеством более полных по составу сербских списков.

3. При определении направления замены (от русских к сербским спискам или наоборот) решающим критерием должна быть близость к греческому тексту (по возможности текстам), а не воспринимаемый а priori тезис о том, что единственно возможной является замена в направлении от региональных к более нейтральным общеславянским лексемам. Потому что с такой же уверенностью можно было бы утверждать и обратное. Как было показано, вторичность русизмов можно предполагать не только в двух случаях — *варнко* и *нехорошь*, как считает г-н Максимович [2001: 219].

4. Лексические или семантические гапаксы в переводном памятнике с все еще не установленной текстологической историей, каким являются ПНЧ, не могут быть показательными в определении характера и истории перевода (например, *похоронити* (*похранити*) ‘прибрать (помещение)’; *пристравати*, *пристравати* ‘побуждать, заставлять’; *опльщивати* ‘делать местом всеобщего посещения’; *похоронати* ‘приготовлять’; *печуць ѓмауклѣтѣвон*).

5. На настоящем этапе исследования тезис о южнославянском происхождении перевода ПНЧ остается вполне возможным и ни в коем случае не может считаться опровергнутым — вопреки категорическому, чаще всего вызывающему тону г-на Максимовича.

Ряд вопросов все еще ждет своего ответа. Еще Срезневский [Срезн. I: 477—478, 486] заметил некоторые несоответствия в числовых обозначениях, допуская при этом возможность их возникновения в результате транслитерации глаголических букв-цифр⁶. Можно ли на самом деле строить гипотезу о первоначальном глаголическом переводе или речь идет о разного рода ошибках, можно будет сказать после внимательного рассмотрения всех цифровых обозначений в списках обеих ветвей с учетом соответствий в греческом тексте.

С другой стороны, давно отмечены [Павлова 1988; Богданова 1993, 2001: 104—105] орфографические и фонетические особенности в русских списках и в Хил 175, которые дают основание допустить предположение о бытовании ПНЧ на южнославянской языковой территории. К указанным уже в [Богданова 1993: 77—78] южнославянским морфологическим особенностям русских списков ПНЧ я бы добавила как материал для размышления и следующие свои наблюдения:

краткие формы личного местоимения: Яр 67б *дѣвным ти* (σου⁷) *чадомъ*, Яр 188а *нѣсть ти* (σοι) *части*, Яр 188с *гавн ми* (μοι) *сѧ*, Яр 189а *разъмѣните же ми* (μοι), Чуд 207а *нѣс ти* *мѧж* (σοι) и др.;

⁶ См. по этому вопросу мнение Р. Станкова в [Богданова 2001: 104, примеч. 17].

⁷ Греческий текст даю по изданию [Максимович 1998б].

дательный притяжательный: Яр 26а съ ми (μου) вратъ, Яр 28б тако во и тѣщаниѣ вратомъ (σποδή τῶν ἀδελφῶν), Яр 158б главоу ѿмоу, Син ѿго κεφαλὴν αὐτοῦ, Чуд 199а тѣло грѣхѣ (τῆς ἁμαρτίας), Чуд 102d корень всемѣ зѣб (πάντων τῶν κακῶν), Чуд 189б главоу ѿмоу (κεφαλὴν αὐτοῦ) и др.;

указательные местоимения в постпозиции (не подкрепленные греческим оригиналом) с тенденцией к членному употреблению: Яр 24d ѿгоже мѣста того ѿспѣтъ испытають (κατὰ τὸν τόπον), Яр 73d прѣде вставленыи же съ разоумѣ (ὁ δὲ καταλειφθεὶς σύγγνωστος), Чуд 118с ненавнѣтъ тѣша славы мнра сего (τοῦ κόσμου), Чуд 196б хранити всегда два та днн (τὰς δύο ἡμέρας) и др.

В специальном исследовании нуждаются словообразование и синтаксис рукописей, отразивших древнейший славянский перевод ПНЧ, см. в этой связи и по поводу других переводных сочинений [Пичхадзе 1998]. Начало изучению словообразовательных моделей в Хил 175 (в сопоставлении с Яр, Син, Чуд) положено в работе [Богданова 2002]. Установление редакций перевода многочисленных библейских цитат в ПНЧ тоже могло бы пролить свет на некоторые проблемы возникновения и дальнейшей судьбы памятника [Богданова, в печати].

Только так, путем комплексного источниковедческого, лингвотекстологического и культурно-исторического исследования, которое только еще предстоит осуществить, может быть раскрыта все еще загадочная история ПНЧ.

В науке всегда были споры. Время опровергало иногда мнения даже крупных ученых, от этого, однако, их значимость и вклад в медиэвистику не померкли. Но мне неизвестно, чтобы когда-нибудь полемика велась в подобном грубом тоне, дидактическом стиле и с обидными определениями. Волшебство русского слова побуждало меня перечитывать не одного его великого мастера, чтобы насладиться блестяще высказанными и как бы божественным образом упорядоченными «обыкновенными» словами. Поэтому, прочитав с чувством огорчения статью г-на Максимовича, я спрашиваю себя: неужели он наследник А. В. Михайлова, И. Е. Евсева, В. М. Истрина, А. А. Шахматова и многих других? Ведь наука не заключается только в том, что ты скажешь и как это отстоишь, но и в том, *как* ты это выскажешь. Подобное писание не делает чести г-ну Максимовичу, которому надлежало бы достойно нести на своих плечах традиции русской лингвистической школы и не принижать ее подобным образом.

Возвращаясь снова к гениальному Булгакову, в каждой строке которого русское слово чарует и завораживает, я мечтаю о времени, когда каждый пишущий человек будет уважать и сохранять культуру этого слова.

Литература

Алексеев 1996 — А. А. Алексеев. Кое-что о переводах в Древней Руси (по поводу статьи Фр. Дж. Томсона «Made in Russia») // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 278—296.

БД — Българска диалектология: Материали и проучвания. София, 1962—1981. Кн. I—X.

БЕР — Български етимологичен речник. Т. I—V. София, 1971—1996.

Богданова 1993 — С. Богданова. Към въпроса за произхода на първия славянски превод на Пандектите на Никон Черногорец // Медиєвистични ракурси: Общество за изучаване на славянската старина. София, 1993. С. 71—86.

Богданова 2001 — С. Богданова. Об издании текстов из «Пандектов» Никона Черногорца и проблемах исследования этой средневековой книги // *Palaeobulgarica*. 2001. № 2. С. 98—107.

Богданова 2002 — С. Богданова. Към изследването на лексиката на «Пандектите» на Никон Черногорец в първия им славянски превод // Преславска книжовна школа. София, 2002. Т. 5. С. 131—142.

Богданова, в печати — С. Богданова. Евангелските цитати в найранния славянски превод на «Пандектите» на Никон Черногорец // Преславска книжовна школа. Т. 6. София. (В печати).

БТР — Български тълковен речник. София, 1973.

Вујаклија 1937 — М. Вујаклија. Лексикон страних речи и израза. Београд, 1937.

Геров — Н. Геров. Речник на българският език с тълкуване речите на български и на руски. Ч. 1—4. Пловдив, 1895—1904.

Грамматика 1991 — Грамматика на старобългарския език: Фонетика. Морфология. Синтаксис. София, 1991.

Давидов 1976 — А. Давидов. Речник-индекс на Презвитер Козма. София, 1976.

Даль 1880—1882 — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1880—1882.

Даничић — Ћ. Даничић. Рјечник из књижевних старине српских. Д. I—III. Београд, 1862—1864.

Дворецкий — Древнегреческо-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий. Т. I—II. М., 1956—1958.

Джамбелука-Косова 1980 — А. Джамбелука-Косова. Черноризец Храбър. О писменехъ. София, 1980.

Дограмаджиева 1998 — Е. Дограмаджиева. Озаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари // *Palaeobulgarica*. 1998. № 2. С. 3—13.

Дювернуа — А. Дювернуа. Словарь болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати. М. Т. 1—2. 1885—1888.

Иванов 1931 — Й. Иванов. Български старини из Македония. София, 1931.

Кодов 1969 — Х. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. София, 1969.

Максимович 1998а — К. А. Максимович. К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода «Пандектов» Никона Черногорца // Славянское язы-

кознание: XII Международный съезд славистов. Краков, 1998: Доклады российской делегации. М., 1998. С. 398—412.

Максимович 1998б — К. А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII века: (Юридические тексты). М., 1998.

Максимович 2001 — К. А. Максимович. Текстологические и языковые критерии локализации древнеславянских переводов (в связи с новым изданием «Пандектов» Никона Черногорца) // Русский язык в научном освещении. 2001. № 2. С. 191—224.

Минчева 1999 — А. Минчева. *недѣла цѣлѣна — врьвѣница* // Старобългарска литература. 1999. № 31. С. 105—115.

Младенов 1941 — С. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.

Молдован 1994 — А. М. Молдован. Критерии локализации древнеславянских переводов // Славяноведение. 1994. № 2. С. 69—80.

Ожегов 1986 — С. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1986.

Павлова 1988 — Р. Павлова. Пандекты Никона Черногорца в славянской письменности // Славянска филология. Езикознание. София, 1988. Т. 19. С. 99—116.

Павлова, Желязкова 1999 — Р. Павлова, В. Желязкова. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. Велико Търново, 1999.

Пичхадзе 1998 — А. А. Пичхадзе. Языковые особенности древнерусских переводов с греческого // Славянское языкознание: XII Международный съезд славистов. Краков, 1998: Доклады российской делегации. М., 1998. С. 475—488.

Преображенский 1959 — А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. Т. I—II. М., 1959.

РБЕ — Речник на българския език. Т. 1—10. София, 1977—2000.

Рибарова, Хауптова 1998 — З. Рибарова, З. Хауптова. Григоровичев паримејник. 1. Текст со критички апарат. Скопје, 1998.

РРОДД — Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век / Под редакцията на С. Илчев. София, 1974.

РСХЈ — Речник српскохрватског книжевног и народног језика. Књ. 1—14. Београд, 1959—1989.

РСХКЈ — Речник српскохрватског книжевног језика. Књ. I—VI. Нови Сад, 1967—1976.

РЧДБЕ — Речник на чуждите думи в българския език. София, 1992.

СБНУ 1891 — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. IV. Народни умотворения. II. 2. От Костурско, записал Никола Цицов. С. 108—109; Народни умотворения. II. 6, II. 8. От Солунско, записал Никола Цицов. С. 156—157, 189—191. София, 1891.

СБР — Старогръцко-български речникъ. София, 1938.

СДЯ XI—XIV — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—6. М., 1988—2002—.

Селищев 1925 — С. Селищев. Рец. на: Новый сборник по диалектологии и фольклору Македонии // Slavia. 1925. Roč. IV. Seš. 1. С. 350—361.

Симеонов сборник — Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 1. Изследвания и текст. София, 1991.

Симић 1974 — П. Симић. Структура и редакције словенских минеја // Богословље. 1974. № 1—2. С. 67—108.

Соболевский 1897 — А. И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского периода // Труды девятого археологического съезда в Вильне. М., 1897. С. 53—61.

Соболевский 1980 — А. И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского периода // А. И. Соболевский. История русского литературного языка. Л., 1980. С. 134—147.

Среднеболгарский перевод — Среднеболгарский перевод хроники Константина Манассии в славянских литературах. София, 1988.

Срезневский 1875 — И. И. Срезневский. Пандекты Никона Черногорца // СОРЯС. Т. 12 (1). СПб., 1875. С. 217—296.

Срезн. — И. И. Срезневский. Материалы для Словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1903.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Т. 1—34. СПб., 1965—2000.

СРЯ XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 1—26. М., 1975—2002.

СС — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

Стојановић 1902 — Стари српски записи и натписи. Књ. I. Скупио их и средιο Љ. Стојановић. Београд, 1902.

ТБД — Трудове по българска диалектология. Т. I—VI. София, 1965—1969.

Турилов 1993 — А. А. Турилов. Памятники древнерусской литературы и письменности у южных славян в XII—XIV вв.: Проблемы и перспективы изучения // Славянские литературы: XI Международный съезд славистов. Братислава, 1993: Доклады российской делегации. М., 1993. С. 27—42.

Фасмер 1986—1987 — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1986—1987.

Чукалов 1975 — С. Чукалов. Русско-болгарский словарь. М., 1975.

ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского. Т. I. Вып. 4. М., 1972.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 1—29. М., 1974—2002.

Aitzetmüller 1958—1971 — R. Aitzetmüller. Das Hexaameron des Exarchen Johannes. Graz. Т. 1—6. 1958—1971.

Bdinski Zbornik — Bdinski Zbornik. An Old-Slavonic Menologium of Women Saints (Ghent University Library. Ms. 408, A. D. 1360) / Ed. and annotated by J. L. Scharpè and F. Vyncke. Bruges (Belgique), 1973.

Bojkovsky 1984—1988 — G. Bojkovsky. Paraenesis. Die Altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Freiburg. Bd. I—IV. 1984—1988.

ESJS — Etymologický slovník jazyka staroslověnského. D. 1—10. Praha, 1989—2000.

Miklosich — F. Miklosich. Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862—1865.

Pavlova, Bogdanova 2000 — R. Pavlova, S. Bogdanova (Hrsg.). Die Pandekten des Nikon vom Schwarzen Berge (Nikon Černogorec) in der ältesten slavischen

Übersetzung. (Vergleichende Studien zu den Slavischen Sprachen und Literaturen. Bd. 6). Frankfurt am Main. 2000. Т. 1—2.

RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. 1—79. Zagreb, 1880—1969.

Slovník — J. Kurz (ed.). Slovník jazyka staroslověnského. D. 1—4. Praha, 1958—1997.

Taseva 2002 — L. Taseva. Die Synaxarien zum Triodion und Pentekostarion in südslavischen Übersetzungen des 14. Jahrhunderts // Zeitschrift für slavische Philologie. 2002. Bd 61. № 1. S. 25—40.

Сокращения

БАН — Библиотека на Българската академия на науките, София

ГИМ — Государственный исторический музей, Москва

Егор. 18 — болгарский список ПНЧ, Российская государственная библиотека, Москва, ф. 98 (собрание Егорова), № 18 (XIV в.)

НБКМ — Народна библиотека «Свв. Кирил и Методий», София

ПОИИ № 502 — болгарский список ПНЧ, Архив Петербургского отделения Института истории РАН, коллекция Н. Лихачева, оп. 1, № 502 (XIV в.)

РНБ — Российская национальная библиотека, СПб.

САНУ — Српска академија за наука и уметности

Син — русский список ПНЧ, ГИМ, Син 217(836) (XIII в.)

Чуд — русский список ПНЧ, ГИМ, Чуд 16 (XIV в.)

Яр — русский список ПНЧ, Ярославский гос. музей-заповедник 15583 (XIII в.)

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Восточнославянские изоглоссы 2000. Вып. 3. М., 2000.

Монография «Восточнославянские изоглоссы» (ВСИ) — выпуск 3 — продолжает серию комплексного исследования диалектного пространства методами лингвогеографии, проводимого в отделе диалектологии и лингвогеографии ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН. Это третья монография в данной серии исследований.

Уже первые две предшествовавшие ей работы показали перспективность направления, которое избрал авторский коллектив. ВСИ ставит перед собой задачу всестороннего лингвогеографического изучения современных восточнославянских диалектов.

ВСИ — атлас нового типа. В нем языковые явления и процессы, характеризующие в.-слав. языковое пространство, исследуются в целом, без разделения его государственными границами. Таким образом в.-слав. область рассматривается как органическое неделимое единство.

Создание такого атласа стало возможным только после того, как в научный оборот был введен обширный диалектный материал трех в.-слав. языков, собранный и систематизированный в диалектологических атласах русского, украинского и белорусского языков, а также материал атласов групп родственных языков, таких как ОЛА, ЛАЕ, ОКДА.

Авторы исследования основываются на том, что многие явления и процессы не могут быть прослежены на основе данных какого-либо одного языка, без учета его связей с другими языками в.-слав. группы, т. к. понятие одного языка относится прежде всего к сфере социально-исторической, культурной, а не

структурно-языковой. Ареалы самых разных языковых явлений нередко охватывают соседние территории близкородственных языков.

Используемый в атласе метод рекартографирования позволяет получить интересные данные для решения важных вопросов, связанных с возникновением и развитием трех в.-слав. языков¹.

Особенностью монографии является то, что в ней в рамках всего в.-слав. диалектного континуума в лингвогеографическом аспекте рассматриваются явления разных уровней системы языка (фонология, фонетика, морфонология, морфология, синтаксис, лексика). Это позволило определить целый ряд изоглосс, которые выделяют на территории всего в.-слав. диалектного пространства «центральные» и «периферийные» говоры.

Авторы используют метод сопоставительного картографирования для показа явлений разных языковых уровней. Эти явления имеют важное значение как для членения всего в.-слав. диалектного пространства, так и для сравнительной характеристики в.-слав. диалектов и интерпретации их контактов, а также для разработки целого ряда вопросов в.-слав. глоттогенеза и этногенеза.

Идея создания труда, в котором было бы проведено целостное лингвогеографическое изучение диалектных явлений трех в.-слав. языков — русского, украин-

¹ Подробнее об атласе ВСИ см.: П о л о в а Т. В. Восточнославянские изоглоссы // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1977 № 3. С. 205—212.

ского и белорусского, впервые была выказана Р. И. Аванесовым.

Однако разработка теоретической концепции нового типа атласа принадлежит С. В. Бромлей. Этот атлас был задуман как труд, занимающий промежуточное положение между ОЛА и национальными лингвистическими атласами². Задача атласа — раскрыть системные отношения между отдельными явлениями и показать те сходства и различия современных в.-слав. диалектов, которые обуславливают синхронную типологическую группировку исследуемых говоров.

Эта задача реализуется на картах и в комментариях к ним. Карты и комментарии содержат сведения, необходимые для разработки актуальных проблем исторического и типологического плана. Проведенные авторами исследования позволили внести некоторые коррективы в уже изученные проблемы, такие, например, как соотношение вокальных и консонантных систем с точки зрения разрывания языковых последовательностей (статья Л. Э. Калнынь) или судьба инфинитивных форм разных типов глаголов (статьи Т. В. Поповой). Интересные данные получены авторами, исследовавшими явления словообразования, лексики, синтаксиса.

Заслугой авторов карт является то, что они осуществляют поиск новых ареалогических аргументов для решения фундаментальных дискусионных проблем современной славистики, таких как проблема диалектного членения позднепраславянского языка или решение вопроса о том, можно ли считать позднепраславянский период временем возникновения диалектной дифференциации праславянского языка.

² Бромлей С. В. Восточнославянские языки как объект лингвогеографии // Восточные славяне: Язык. История. Культура. М., 1985. С. 172.

На картах показано распределение явлений разных уровней языковой системы на всем в.-слав. языковом пространстве. При этом огромное значение приобретает также типологическая и диахроническая интерпретация всех основных изоглосс, которые могут быть сконструированы именно на основе данных карт.

Особого внимания заслуживают комментарии, которые представляют собой монографические исследования показанных на картах явлений с привлечением диахронических, этимологических, сопоставительных и др. необходимых данных. Использование материалов ОЛА, ОКДА, а также данных письменных памятников позволяет провести углубленный анализ картографируемых явлений.

В ВСИ важное значение приобретает исторический аспект лингвогеографического метода исследования всех диалектных материалов, содержащихся в трех национальных атласах.

Наряду с историческим направлением труд ВСИ содержит типологическое осмысление современных диалектных данных. «Задача так называемых типологических карт — отразить наиболее существенные для диалектных систем связи и противопоставления между отдельными явлениями и показать те сходства и различия современных в.-слав. диалектов, которые обуславливают синхронную типологическую группировку исследуемых говоров»³.

На типологических картах одновременно с явлениями, раскрывающими современное состояние диалектов, выявляются и архаизмы или некоторые сходные явления.

Используемая авторами ВСИ методика дает возможность в ряде случаев переосмыслить известный в науке диалектный и исторический материал.

³ Попова Т. В. Указ. соч. С. 207.

Фонетические процессы исследуются в статьях Л. Э. Калнынь и Н. Н. Пшеничновой.

Л. Э. Калнынь в статье «Отношение к признакам вокальность/консонантность в фонетике восточнославянских диалектов» на основе интерпретации ряда фонетических явлений показывает в.-слав. диалектные различия, выражающиеся в уровне значимости признаков вокальность/консонантность в фонетическом строе диалектов в парадигматическом и синтагматическом аспектах.

Концепция карты основана на том, что констатация компонентов фонетических диалектных различий дает ценную информацию, обобщение которой позволяет выявить фонетические характеристики более высокого ранга — типологические.

Вторая статья того же автора — «Фонетические диалектные различия, обусловленные рефлексацией прасл. сочетаний плавных сонантов с редуцированными гласными».

Темой карты являются континуанты сочетаний типа *trьt, *tlьt, trьt, tlьt, *rьt, *lьt. Автор делает интересный вывод о том, что украинское развитие праславянских интерконсонантных сочетаний плавных сонантов с редуцированными гласными шло путем, отличавшимся от того, который имел место в других в.-слав. языках.

Н. Н. Пшеничнова в статье «Утрата интервокального [j] и стяжение гласных в формах прилагательных» использует данные национальных атласов, а также материалы опубликованных исследований по украинской и белорусской диалектологии. Использование автором статистического анализа позволило подтвердить уже известные в науке положения и внести существенные дополнения и коррективы в оценку данной проблемы в русских говорах.

Явления морфонологии исследуются Л. Е. Лопатиной и А. В. Тер-Аванесовой в статье «Морфонологические особенности склонения имен существительных с основой на заднеязычный согласный».

Вопрос о морфонологической мягкости основ на заднеязычный в западнорусских говорах практически не освещен в литературе, поэтому особый интерес представляет подробный комментарий к карте, на которой показан основной ареал этого явления (западнорусские говоры кривичского происхождения).

Морфологическим процессам в в.-слав. диалектах посвящены статьи А. В. Тер-Аванесовой «Отражение флексии nom.-acc. dualis в счетной форме существительных а-склонения и о-склонения среднего рода», С. К. Пожарицкой «Флексии творительного падежа множественного числа существительных», Н. Л. Голубевой «Указательные местоимения, соответствующие рус. лит. *tot-tot*». Н. Л. Голубева в своей статье не только систематизирует уже известный лингвистический материал, но и публикует новый — данные русского фрагмента ОЛА — по указательным местоимениям.

Интересные данные приводятся в статьях Т. В. Поповой «Формы инфинитива от глаголов с основой на /к, г/ типа рус. лит. *печь, беречь*»; «Формы инфинитива от глаголов с основой на гласный типа рус. лит. *ходить, видеть, знать, писать*»; «Формы инфинитива от глаголов с основой на согласный типа рус. лит. *плести, вести, грести и класть, прять, грызть*». Тщательный анализ материала, а также привлечение данных письменных памятников позволили автору не только показать территориальное распределение инфинитивных форм с различными суффиксами, но и высказать предположение о том, что три гла-

гольные флексии 3 л. ед. ч. существуют как диалектные варианты в позднепраславянском.

Не изученным вообще или мало изученным синтаксическим проблемам посвящена статья Л. Е. Лопатиной «Конструкции типа рус. *корова (корову) подоено*, бел. *грыбы пазбирана*, укр. *гроші узято*». Анализ проводится в рамках русских говоров, т. к. в диалектологических атласах украинского и белорусского языков эти материалы отсутствуют. Однако автор привлекает не только данные письменных источников XV—XVII вв., но и материалы исследований по украинскому и белорусскому языкам. Л. Е. Лопатина в статье «Формы винительного падежа множественного числа одушевленных существительных» обращается к вопросу о категории одушевленности-неодушевленности в в.-слав. языках и приходит к выводу об общеславянском характере этой категории.

Интересный материал отражен на лексической карте и в комментариях к ней, представленных Г. П. Клепиковой, — «Названия частей плуга: 1. ‘лемех’, 2. ‘отвал’». Широкое использование данных национальных атласов, а также материалов ОЛА и ОКДА и исследований по данному вопросу позволило автору сделать интересные выводы о том, что недифференцированность ареалов лексических единиц в русском диалектном континууме (в противоположность украинскому и белорусскому) может иметь экстралингвистическое обоснование. А именно: «относительно позднее проникновение плуга “нового типа” (и соответственно “официальной” технической терминологии его частей) в различные, особенно северные районы Европейской России, со своими природными и климатическими особенностями, оказало значительное влияние на формирование и бытование *современных рус-*

ских диалектных наименований и самого орудия, и его частей». Автор делает вывод о необходимости изучения континуума диалектных форм Восточной Славии с учетом широкого контекста, образуемого не только собственно лингвистическими, но и историко-культурными факторами развития диалектов и их взаимодействий.

В статье Г. П. Клепиковой «Названия ‘муравьев’ используются материалы карт национальных атласов и ОЛА. Явления показаны на двух обобщающих картах (собственно лексических) и словообразовательной карте, в основу которой положена карта ОЛА⁴. Представлены черты, общие для диалектов всех языков Восточной Славии, и в то же время — их противопоставленность диалектам других славянских языков на лексическом и словообразовательном уровнях. Интересно описание особенностей дифференциации в.-слав. диалектного ландшафта в целом.

В заключение следует сказать, что 3-й выпуск атласа ВСИ, как и два предыдущих, содержит интересный, тщательно отобранный систематизированный материал диалектов трех современных в.-слав. языков. Карты атласа и комментарии к ним способствуют прояснению целого ряда актуальных для в.-слав. диалектов проблем исторического и типологического плана, а также некоторых вопросов, являющихся дискуссионными. Материалы атласа являются неоценимым источником для создания исторической диалектологии в.-слав. языков.

Всяческого одобрения заслуживают списки использованной авторами литературы. Широкое привлечение материалов исследований по разрабатываемым

⁴ Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. I «Животный мир». Карта № 41.

проблемам позволяет сделать интересные выводы.

Карты, опубликованные в выпуске, и комментарии к ним дают новую материальную базу для решения многих важных вопросов славянского глоттогенеза и этногенеза, таких, например, как развитие в.-слав. диалектов, сложение русского, украинского и белорусского языков, история восточных славян и формирование русской, украинской и белорусской народностей. Материалы 3-го выпуска ВСИ подтверждают существующее мнение о том, что говоры, расположенные в центральной части всего в.-слав. диалектного пространства, содержат, в основном, инновационные черты, в отличие от пе-

риферийных, которые характеризуются архаическими признаками.

Заслуживает внимания вывод о том, что украинский язык по своему происхождению занимает особое место среди других в.-слав. языков, нередко нарушая представление о едином в прошлом в.-слав. диалектном континууме.

На основе карт могут быть сконструированы основные изоглоссы, которые являются ценным материалом для дальнейших диахронических и типологических исследований.

Атлас ВСИ может дать надежную базу для решения ряда проблем построения и развития исторической диалектологии восточнославянских языков.

Л. В. Вялкина

Fenyvesi István. Orosz-Magyar és Magyar-Orosz szlengszótár
Русско-венгерский и венгерско-русский словарь сленга
Syca Klado. Budapest, 2001. 633 с.

Написать эту рецензию меня побудил интерес к русскому жаргону, которым я занимаюсь уже несколько лет.

Я не знаю венгерского языка и могу оценить словарь лишь в его русской части, следовательно, не могу ничего сказать о приводимых автором соответствиях из венгерского сленга.

О задачах, которые ставил перед собой автор словаря и о его понимании сленга я могу судить на основе русского варианта «Введения» к словарю, который, по моей просьбе, господин Иштван Феньвешти любезно предоставил в мое распоряжение (хотя о том, что вкладывает автор в содержание понятия «сленг», можно составить представление, внимательно читая словарь). Приведу, однако, слова самого автора.

«Русский сленг — это лексика с высокой степенью непринужденности, от-

носящаяся к области нестандартной, которая состоит из случайно или намеренно измененных, переосмысленных или вновь созданных слов и выражений, усечений, аббревиатур, заимствованных нередко из языка улицы, из городского просторечия, из арго, жаргонов, а также из других языков. Сленг не брезгует и обращением к словам грубым, а то и неприличным. В сленг входят также слова разговорного языка, не нашедшие еще кодификации в толковых словарях. Для сленга характерно пристрастие к свежим, экспрессивным, часто ироническим словам и выражениям. Сленговой лексике присуща постоянная изменчивость, хотя со временем некоторые, самые живучие из ее слов могут приобретать характер нормативности».

Последние десятилетия XX века характеризуются небывалым проявлением

интереса исследователей некодифицированной русской речи к жаргону. Появилось большое количество словарей жаргона, изучению жаргона посвящаются научные работы — статьи, диссертации.

Всплеск «жаргоноведения» объясняется заметной активизацией роли жаргона в современной городской речи. Все исследователи отмечают жаргонизацию современной публицистики и разговорной литературной речи.

В этой рецензии нет необходимости перечислять все вышедшие за последние годы словари жаргона: все они названы автором рецензируемого словаря в списке литературы.

Словарь содержит огромный материал — около 13 тысяч словарных статей, включающих в себя около 16 тысяч лексических единиц и более 3 тысяч фразеологизмов. Сам автор видит главную новизну словаря в том, что сленговые слова даются в нем, как правило, «в живом контексте»: 90 % — это цитаты из художественных произведений и текущей периодики, 10 % — это, по словам автора, «подслушанные» в жизни предложения.

В рабочий аппарат книги входят три списка: а) сокращений общих (грамматические категории, стилистические пласты, социолингвистические сферы и др.); б) сокращений фамилий цитируемых авторов и в) использованной литературы. Главная часть книги — это алфавитный русско-венгерский словарь, состоящий из развернутых словарных статей (от *абажур* до *ящик*). Затем следует венгерско-русская часть, где по алфавиту венгерских нейтральных значений — от *abbajaagy* до *zsugori* — перечислены все сленговые слова и выражения главной части (напр. ISZIK — *балдеть, бухарить, бухать, вздрогнуть, врезать, газовать, дербалызнуть, жажнуть* и др.).

В структуре словарной статьи, как правило, 7 компонентов. За заглавным

словом, снабженным ударением, следует его грамматическая характеристика (части речи, вид глагола и др.), затем социолингвистическая (свыше 30 сфер, см. в списке сокращений, где нужно и возможно — время употребления вплоть до десятилетия) и стилистическая (см. список сокращений) помета к нему. К тому же примерно 500 слов, требующих, по мнению автора, страноведческого фона, содержат этимологические объяснения.

Автор пишет, что словарь «вобрал в себя всю нестандартную вертикаль, не зарегистрированную в нормативных словарях: наиболее употребительные слова из тюремно-лагерного арго, из жаргонов (в частности, детского, ученическо-студенческого, солдатского, элементы партийного, спортивного, больничного, жаргона хиппи и многих других), слова из просторечия и сниженных слоев разговорной речи, а также часть обценной лексики, играющей активную роль в повседневной коммуникации русских между собой».

Несомненно, «Словарь русского сленга» составлен серьезным русистом и филологом с широким диапазоном. Автор использовал в работе над словарем весь предшествующий опыт лексикографического описания русского жаргона и арго.

Как всякая солидная лексикографическая работа словарь вызывает большой интерес и требует внимательного изучения. Словарь включает большое количество слов, которые российские исследователи сленга относят к бесспорным жаргонизмам; эти слова отмечены в словарях русского жаргона. Среди них такие, как *бодяга, крутой, тусовка, развлекуха, капуста* ('деньги'), *чайник, врубиться, прибабасы, светиться, беспредел, отстегнуть, оттягиваться, с прибабавом, прикид, мент, травка, отпад, облом, фишка* и многие другие.

Венгерские соответствия, приводимые автором, дают венгерскому читателю представление о значении многих жаргонизмов и других слов из круга некодифицированной лексики. Иллюстрации употребления слов, очевидно, рассчитаны на тех, кто читает по-русски. Но наряду с этим словарь содержит такой разнородный материал, что составить представление о русском жаргоне очень трудно.

Словарь включает разные слои русской лексики: несомненные жаргонизмы (примеры уже приводились), просторечные слова, среди которых большое место занимают вульгаризмы (*жопка, срать* и т. п.), широко представлена в словаре общенная лексика — так называемый мат. Замечу, что такое понимание сленга расходится с традицией, отраженной в работах русских лингвистов.

Безусловно, жаргон на современном этапе существования взаимодействует с просторечием, в значительной мере питается за счет арго и, конечно, не отличается изяществом выражений, однако, на наш взгляд, включать в жаргон общенную лексику нецелесообразно.

Мат всегда составлял особую сферу нелитературной русской лексики. В процессе развития языка определенные слова могли олитературиваться и, напротив, уходить в сферу просторечия, иногда повторно совершая движение в том или ином направлении. Так, слова *давеча* и *намедни* в XIX веке употреблялись как литературные, в XX оценивались как просторечные (см., например, словарь [Ушаков 1935—1940]), а в наше время делается попытка вернуть *намедни* в литературный язык — так называется телелепередача, содержащая обзор недавних политических событий.

Но мат всегда оставался на особом положении в русском национальном языке. Употребление мата в текстах некото-

рых современных писателей (что встречалось и в XIX веке, и ранее) все-таки составляет исключение.

Хотя автор декларирует во «Введении» к словарю, что представленный им материал — слова, еще не нашедшие отражения в толковых словарях, довольно много разговорных и просторечных слов, которые содержатся в «Словаре сленга», отмечены разными толковыми словарями русского языка. Приведу лишь отдельные примеры: *налимонтиться* ‘напиться’, *лизун* (‘о подхалиме’), *лежка* (‘действие’ и ‘место’) — *в лежку, утекать* (‘убегать’), *хлопец, трепаться* (и ‘болтать’, и ‘шляться’) зафиксированы в [Ушаков 1935—1940]; *пьянка, наколка* (‘татуировка’), *самоволка, филон* и др. — в [Ожегов, Шведова 1994]; *пображничать* — в [БАС] (*бражничать* отмечено всеми словарями, но не все включают регулярные легко образуемые, так называемые «потенциальные слова» [Винокур 1943: 15], *пображничать* — одно из них).

Отмечены также разными словарями *кол* (‘единица’ — школьная отметка), *миллионщик* (слово встречается у Гоголя и др. писателей до Шишкова), *мигалка* (‘о глазах’ — просторечное и ‘о мигающем фонаре, подающем сигналы’ — разговорное), *кошка* (‘якорь’ или ‘железное приспособление для лазания по столбам’), *мелочь* (‘о мелком кустарнике’) и др.

Замечу также, что вряд ли целесообразно включать в словарь сленга окказиональные образования, извлеченные из текстов отдельных авторов.

Не совсем понятно, какое отношение к сленгу имеют слова, которые встречаются в составе устойчивых выражений или частушек, но при этом сохраняют значение, отмеченное в словарях литературного языка: *сеновал* («я упала с сеновала»), *колбаска* («катись колбаской по Малой Спасской»), *колбаса* (метафора —

о предмете, напоминающем колбасу: *трамвайная колбаса*, устар.). Слово *искатель* дается в выражении «искатель приключений на свою жопу». Не говоря даже о сомнительной употребительности такого сочетания слов (иллюстрации и указание на источник в этой статье отсутствуют), слово *искатель* и в нем [выражении] не содержит ничего сленгового и при том самом широком понимании сленга, которое свойственно автору данного словаря. Это относится в полной мере и к статье *Исаич* (так кто-то — из статьи неясно, кто — где-то называл для конспирации А. И. Солженицына).

Во введении автор заявляет о том, что при включении лексических единиц в словарь он ориентировался на широкую употребляемость слов и значений (что, на наш взгляд, совершенно разумно). Однако этот принцип соблюдается не вполне последовательно. В словаре встречаются слова, которые неизвестны многим носителям русского языка. В русском языке нет слова *ездынка* (чешск. *jízdenka*). Современным молодым людям неизвестно значение слова *коллективка* (из текста В. Аксенова).

В словарь включены и некоторые поговорки, шуточные тосты, которые автор относит к фразеологизмам. Так, при слове *пьянка* приводится шутливая поговорка — «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец»; при слове *несмотря* (?) шуточный тост «Выпьем за то, что, несмотря ни на что, мы пьем во что бы то ни стало!»

Вне зависимости от того, считать ли приведенные тексты фразеологизмами, вызывает некоторое недоумение выделение предлога *несмотря на* и существительного *пьянка* в качестве «опорных слов»: предлог, как правило, не является центром фразеологизма и не выделяется в словаре в качестве такового, в слове *пьянка* нет ничего сленгового — и оба

эти слова зафиксированы в толковых словарях (*пьянка* дается в [Ожегов, Шведова 1994] с пометой «прост., неодобр.»).

К сожалению, в словарных статьях, содержащих материал из устной речи, нет сведений о социальном статусе и о возрасте говорящих. Пожалуй, впервые в этом словаре так полно представлена вся внелитературная лексика, употреблявшаяся русскими писателями XIX (а частично и XVIII) и XX веков. Использовано огромное количество текстов.

Однако и это, на первый взгляд, достоинство словаря вызывает сомнение. Язык художественной литературы, как известно, «государство в государстве», и употребление любой нелитературной лексики в этой сфере определяется прежде всего художественными задачами. Широкая употребительность жаргонизмов, диалектных слов, просторечия в текстах художественных произведений еще не говорит об употребительности этой лексики носителями литературного языка. Очевидно, был бы интересен словарь жаргонизмов, извлеченных из текстов художественной литературы с подробной дифференциацией употребления в авторской и неавторской речи. Но это особая задача.

Несомненно, материал словаря свидетельствует о том, что многие жаргонизмы, свойственные современной речи, родились не в наше время, а были известны и употреблялись уже в XIX веке.

В заключение скажу, что рецензируемый словарь со всеми его особенностями может быть полезен венгерскому и русскому читателю. Русскому исследователю интересен взгляд со стороны на жаргон и другую некодифицированную лексику в русском языке. Кроме того, большой иллюстративный материал словаря может быть использован при изучении употребления разных типов некодифи-

фицированной лексики в художественной литературе.

Л и т е р а т у р а

БАС — «Большой академический словарь» = Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1950—1965. Т. 1—17.

Винокур 1943 — Г. О. Винокур. Маяковский — новатор языка. М., 1943.

Ожегов, Шведова 1994 — С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1994.

Ушаков 1935—1940 — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935—1940. Т. 1—4.

О. П. Ермакова

Давайте говорить ПРАВИЛЬНО! Трудности современного русского произношения и ударения. Краткий словарь-справочник. Составители Вербицкая Л. А., Богданова Н. В., Скляревская Г. Н. Филологический факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 2002.

Этот справочник быстро получил отклик в прессе (Вадим Глаголев. Покажите язык! «Еженедельный Журнал», 22 октября 2002). Автор сделал ряд справедливых замечаний, обнаружил несколько изумивших его рекомендаций, в том числе:

сб́зыв — неправильно! созы́в

Не скрою, что за рецензирование словаря, содержащего такую рекомендацию, я бралась с самыми мрачными предположениями, но была, к счастью, «приятно разочарована»: ничего, столь же «вопиющего», словарь не содержит.

Начну с некоторых положительных моментов. Хорошо, что в предисловии внятно заявлено о правомерности вариативности в нормативных рекомендациях. Это выгодно отличает маленький словарик от вышедшего много раз большего нормативного словаря, первоначально адресованного работникам радио и телевидения, а в последних изданиях снявшего это ограничение и, следовательно, претендующего на адресованность всякому носителю литературного языка. Этот словарь (авторы его — Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва) произвел самую настоящую «реформу русского

языка», ибо решительно покончил с вариативностью литературной нормы. Из существующих в литературном языке вариантов всегда выбирается один правильный! Если верить этому нормативному источнику, можно сказать только *тра́кторы* (ни в коем случае не *тракторá*), только *блédны*, *вкúсны*, *гру́стны*, только *кру́жится* и т. д. Авторы же рецензируемого словарика придерживаются современной научной точки зрения на вариативность нормы как на явление, органически присущее литературному языку в процессе его развития.

Приятно обнаружить, что словарь дает на первом месте (т. е. как предпочтительные) варианты ударения *одно-вре́менный*, *одновременнó*. Только что упомянутый словарь рекомендует как единственно возможное ударение *одно-врéменный*, *одновременнó* (варианты, признаваемые лишь допустимыми в авторитетном «Орфоэпическом словаре русского языка»).

В словарях, дающих норму ударения, стали традиционными так называемые «запретительные пометы». Для рецензируемого словаря такие слова представляют первостепенный интерес. Он дает

довольно большой набор актуальных «запретов». Помещены в рамочку с указанием *неправильно!* распространенные в речи варианты *агент, алкоголь, апокалипсис, аргумент, арест, выбора́, диспансер, документ, дбсуг, заголовок, изобретение, инструмент, каталог, квартал, намерение, оптовый, приобретение, процент, соболезнование, средства́, углубить, ходатайствовать* и многие другие. Но множество не менее актуальных «запретов» не нашло отражения в рассматриваемом пособии; к ним относятся: *баловать* (и *баловаться*), *библиотека, гражданство, засуха, знамение, каучук, корысть, кухонный, насквозь, незадолго, ненадолго, обострить, паралич, партер, правы́, премировать, случай, таможня, убрaнство, щавель* и др.

Выше говорилось о недоразумении со словом *созыв*. Для однокоренного отглагольного образования с приставкой *от-* правильно разграничены значения:

о́тзыв (мнение, оценка: *о́тзыв о книге*)

отзы́в (действие по глаголу отозва́ть, отзывать: *отзы́в депутата*).

Но не хватает запрета *неправильно!* **о́тзыв**

(очень актуального для тех, кому в первую очередь адресован словарь).

В словаре отмечено неправильное ударение *газопробо́д*, но следовало бы включить и слова *мусоропрово́д, путепрово́д, нефтепрово́д* и др., которые тоже произносятся с неправильным ударением на *-прово́д*.

Запрещено *осу́женный* — неправильный вариант ударения, характерный для работников правоохранительных органов, но нет причастия *возбу́ждённый*, для которого отмечена аналогичная ошибка («Дело *возбу́ждено*»).

Широко представленное в речи неправильное ударение страдательных причастий приставочных глаголов от *вести*,

вести, нести отражено в словаре очень неполно. Запрещены варианты *ввезе́нный, перевезе́нный*, но не хватает других приставочных глаголов с такими же запретами: *завезе́нный, отвезе́нный, подвезе́нный, привезе́нный, увезе́нный* и др.; запрещен вариант *произвезе́нный*, но нет *ввезе́нный, завезе́нный, навезе́нный, отвезе́нный, привезе́нный, провезе́нный* и др.; запрещены *перене́сенный, превозне́сенный, произне́сенный*, но нет *вне́сенный, зане́сенный, нане́сенный, прине́сенный* и др.

У приставочных глаголов на *-ключить* в последнее время получило широкое распространение неправильное ударение на корне вместо правильного — на флексии; в словаре запрещены варианты *вкля́чит, вкля́чат, вкля́ченный* и *закля́чит, закля́чат, закля́ченный*, но не хватает глаголов *исключить, отключить* (очень «актуальное» слово!), *переключить, приключить* с такими же запретами.

Данный здесь перечень слов, которыми мог бы быть дополнен словарь рецензируемого словаря, конечно, далек от полноты.

Запретительные пометы при некоторых словах неактуальны; таковы, например: *апокалипсис, анб́ним, единовременный, измене́нный, катарсис, пасквиль* и др.

В этом маленьком словаре, казалось бы, включение каждого слова должно быть мотивировано содержащимися в нем трудностями. Однако здесь есть слова, не вызывающие затруднений с точки зрения ударения и произношения (на это уже обратил внимание автор упомянутого выше журнального отзыва). Зачем нужны в этом словаре, например, слова: *аукцион, брифинг, вердикт, дайджест, дилер, имидж, кастинг, концепция, лиценз, налоговик, олигарх, персонал, президент, республика, сенат, спонсор,*

стагнация, субсидия, ценз, экспорт и др.? Некоторые из них, видимо, привлекли составителей своей «новизной», но это свойство не может служить основанием для включения в словарь, не раскрывающий значений слов.

Гораздо больше замечаний вызывает всё, что относится к указанию произношения. В. Глаголеву сразу бросились в глаза рекомендации к словам с начальным э. Можно только присоединиться к его изумлению. Все указания к этим словам абсолютно неприемлемы: [и]вакуация и [ы]вакуация, [и]волюция и [ы]волюция, [и]кипаж и [ы]кипаж и т. д.

Но неприемлемой представляется и сама разработанная авторами форма подачи произносительных помет.

Для обозначения твердости/мягкости согласных в положении перед е авторы ввели транскрипционный знак мягкости в виде апострофа и отказались от применяемого в большинстве словарей указания твердости согласного звука с помощью буквы э. Это стремление к максимальной «научности» привело к крайней громоздкости в оформлении помет, и при всей «разжеванности» они весьма нелегки для восприятия.

Согласный звук, нуждающийся в указании его твердости или мягкости, сначала выделяется с помощью прописной буквы, затем следует собственно произносительная помета с выделением в прямых скобках транскрипции для одного этого звука. Вот как это выглядит:

адекватно — аДекватно — а[д]екватно

депонент — ДепоНент — [д']эпо[н']ент

Не понадеявшись (и справедливо), что читатель внимательно прочтет предисловие, авторы внизу каждой страницы дали в рамочке такое указание:

[т] — произносится твердо

[т'] — произносится мягко.

В предисловии оговорено: «Буква <т> здесь обозначает любой согласный», но читатель, не прочитавший предисловия, может этого не понять. Уж прибегли бы в таком случае к латинскому т!

А вот как выглядят указания при слове *контекст*:

контекст — конТекст — кон[т']екст *неправильно!* кон[т]екст

Оно, конечно, научно, но уж очень ненаглядно! Стало традиционным использовать в таких случаях букву э; к этому «упрощенному» способу прибегает и «Орфоэпический словарь русского языка», где дается помета:

! *неправ.* кон[тэ]кст

Не соответствующее литературной норме произношение твердого согласного перед е в рецензируемом словаре запрещено еще только для слов *демократ, демократия, демократический*. В запрете произношения с твердым согласным нуждаются слова: *бухгалтер, бухгалтерия, гарем, конкретный, милиционер, музей, одеколон, пионер, резерв, тема, тенор, фанера, шинель* и др. Режущее слух произношение ши[нэ]ль, к сожалению, довольно часто приходится слышать с телеэкрана, в том числе на канале «Культура»; говорят даже: «Ши[нэ]ль» Гоголя!

Практическая полезность небольшого по объему словаря ударения и произношения, словник которого ограничен только «трудными» словами — такими, в которых постоянно допускаются ошибки, не вызывает сомнения. Но первый опыт его создания оставляет желать много лучшего. Следует серьезно пересмотреть словник, не только очень многое добавив, но и кое-что убрав. В подаче произносительных помет следует отказаться от неудачно выбранного способа, громоздкого и трудного для восприятия. Этот разряд рекомендаций словаря нуждается в особенно серьезном пересмотре.

В упоминавшемся выше отзыве В. Глаголев справедливо упрекнул составителей в «келейном» характере подготовки словаря. Я могу констатировать, что ни один сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН не только не был привлечен в качестве кон-

сультанта или рецензента при подготовке словаря, но до недавнего времени даже не держал его в руках (этот отзыв удалось написать только благодаря случайно «раздобытой» ксерокопии).

Н. А. Еськова

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Международная научная конференция «Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское образование»

11—13 апреля 2003 года в г. Звенигороде (Московская область) состоялась IV Международная научная конференция «Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское образование», организованная Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН и филологическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова. В конференции приняли участие более семидесяти фонетистов, представляющих разные научные школы — отечественные и зарубежные, а также разные поколения ученых — от самых маститых до аспирантов и студентов.

На открывавшем конференцию пленарном заседании было представлено пять докладов. **Л. Л. Касаткин** (Москва) в своем докладе «Факторы, обуславливающие течение фонетического процесса — изменения С'С' > СС' в современном русском литературном языке» проанализировал диахронический процесс разрушения позиционной мягкости согласных звуков и выявил систему факторов (как фонетического, так и нефонетического характера), влияющих на изживание мягкости согласного звука в позиции перед следующим мягким. В докладе **Е. А. Брызгуновой** (Москва) «Аспекты восприятия звучащей речи» был проанализирован целый ряд лингвистических аспектов восприятия звучащей речи, в частности вопрос о соотношении сознательного и бессознательного в процессе восприятия звучащей речи носителями языка, а также возможности преодоления

и изменения этих составляющих. Бессознательное в звучащей речи, по мнению автора, наиболее полно проявляется в структурах разговорной речи, в развитии аналитизма, непрямого диалектного влияния, во взаимодействии синтаксиса, лексики и интонационно-звукового состава предложения и контекста. Доклад **В. Б. Касевича** и **Е. В. Ягуновой** (Санкт-Петербург) «Ударение и фонетическое слово в русском языке» был посвящен выяснению вопроса о том, чем просодические отличаются словосочетания, составленные из двух фонетических слов, от созвучного им отдельного фонетического слова. Экспериментальное сравнение примеров типа *дядя Ваня — на диване* показало, что в русском языке нет полностью однозначного противопоставления подобных произнесений за счет одно-/двуударности (при условии, если ударение ассоциируется с большей длительностью). Доклад **С. М. Кузьминой** (Москва) «Панов-фонетист» содержал анализ научного наследия выдающегося отечественного лингвиста; было показано, что русская фонетика исследовалась М. В. Пановым во всех аспектах: современная и историческая, сегментная и суперсегментная, теоретическая и нормативная, системная и функциональная, поэтическая и сценическая. В выступлении **Ю. А. Клейнера** (Санкт-Петербург) «Что заимствуется при языковых контактах и теряется при языковых изменениях?» утверждалось, что степень предсказуемости результатов взаимодействия

фонологических систем при языковых контактах зависит от полноты и адекватности описания типологических характеристик участвующих в контакте языков.

Анализ тематики представленных докладов показывает, что в современной фонетической науке приоритет отдается изучению просодии, причем просодические аспекты анализа распространяются не только на собственно суперсегментные явления, но и на чисто сегментный языковой материал. На двух заседаниях секции «Просодия» прозвучали доклады, связанные с проблемами суперсегментной фонетики разных языков. В выступлении **Т. М. Николаевой** рассматривался вопрос о разграничении понятий спонтанной, разговорной, устной речи и др., которое предполагает выделение просодических и сегментных признаков спонтанной речи, позволяющих описать универсальные и специфические особенности данного типа речи. В докладе **Е. Л. Фрейдной** (Москва) «Некоторые просодические особенности публичной речи в контексте риторической теории и практики» была подчеркнута значимость просодических средств в публичной речи, раскрыта их полифункциональность и освещен вопрос об отличиях современной публичной речи от классической. **М. А. Соколова** и **О. М. Глухова** (Москва) выступили с докладом «Функциональный аспект тембральной окраски речи», в котором подчеркивалась необходимость исследования тембра речи. Были выделены некоторые функции тембральной окраски. В докладе **И. И. Гавриленко** (Москва) «Особенности чтения вставных конструкций в научных текстах» было предложено описание эксперимента, направленного на изучение того, как озвучиваются вставные конструкции носителями языка при чтении научных текстов. Анализ результатов эк-

сперимента показал, что наибольшее влияние на фонетическое оформление вставного элемента оказывает его позиция в предложении, длина и наличие синтаксической связи между вставной конструкцией и частью содержащего ее высказывания. В докладе **В. А. Виноградова** (Москва) «Просодика языка зай» был представлен предварительный анализ материала ранее не изучавшегося языка зай тайско-кадайской языковой семьи, описаны восемь фонетических тонов, характеризующих этот язык. Серьезную дискуссию вызвал доклад **Л. Л. Касаткина** (Москва) «Понятие центра интонационной конструкции и движение тона при наличии и отсутствии постцентра», в котором уточнялись некоторые положения интонационной теории Е. А. Брызгуновой, в частности, доказывалось, что основное изменение тона при наличии постцентра может происходить на акцентно выделенном слого фонетической синтагмы или на следующих за ним. Автор предложил обозначать в интонационной транскрипции и терминологии соотношение акцентно выделенного слога и места основного изменения тона. Выступление **Р. М. Тихоновой** (Москва) «К проблеме изучения семантики текстовой интонации» включало в себя характеристику двух основных функций интонации: дифференцирующей и организующей. Акцент был сделан на необходимости изучения организующей функции интонации, поскольку она почти не исследовалась, но чрезвычайно важна для анализа текста. Кроме того, был приведен список тех вопросов, на которые может дать ответ изучение семантики интонации текста.

Работа двух фонологических секций на конференции продемонстрировала, что фонологические проблемы продолжают требовать новых интерпретаций как в чисто теоретическом плане, так и

при принятии конкретных языковых решений. Так, **Л. Э. Калнынь** (Москва) обратила внимание на то, что в славянских языках признак назальности у /n/ и /m/ имеет различную фонологическую природу. Для /n/ этот признак является дифференциальным, так как внутри класса смычно-проходных согласных эта фонема вступает в привативную одномерную оппозицию с фонемой /l/, от которой отличается только признаком назальности. Фонема /m/ лишена такой пары, так как внутри класса смычно-проходных нет фонемы, которая составляла бы с ней одномерную привативную оппозицию. Следовательно, признак назальности для /m/, в отличие от /n/, не является дифференциальным. Постулированное фонологическое различие между славянскими назальными было проиллюстрировано большим количеством примеров из славянских языков. В докладе **С. Гжибовского** (Польша) было показано, что /j/ русского литературного языка отличается по своим синтагматическим свойствам от аналогичной фонемы в других славянских языках. Русская /j/ имеет наиболее богатую сочетаемость по сравнению с другими славянскими языками. Особое внимание слушателей было обращено на выступление **Д. Кавицкой** (США), которая в своем докладе подвергла проверке теорию К. Стивенса о восприятии сегментных единиц. Согласно этой теории все признаки выстраиваются в определенную иерархию. В первую очередь слушающим должны восприниматься признаки \pm сонорный, во вторую — \pm звонкий, губной, зубной и др., наконец, в последнюю очередь — \pm палатализация. Однако проведенное исследование показало, что признаки не извлекаются слушающими из звукового сигнала в определенном порядке, что признак палатализованности в русском языке является не менее значимым, чем

звонкость или место артикуляции. Наиболее серьезную дискуссию в работе фонологических секций вызвало выступление **Е. Ф. Кирова** (Москва). В докладе Е. Ф. Кирова была предпринята попытка уточнить ряд теоретических положений Пражской фонологической школы. Автор считает целесообразным ввести в систему терминов этой научной школы понятие *суперфонемы*, под которой понимается архифонема второго уровня. Так, в слове [вада́] безударный звук [а] представляет собой архифонему, а в слове [вѣдаво́с] звук [ѣ] — это уже суперфонема. **Д. Д. Беляев** (Тула) посвятил свое выступление виртуальным единицам, возникающим в процессе фонологического анализа. К ним он относит виртуальные согласные, виртуальные паузы и виртуальные (нулевые) морфемы. В докладе **Г. М. Богомазова** (Москва) рассматривался вопрос о наличии двух аспектов — паралингвистического и лингвистического — при описании явлений звучащего текста и двух уровней фонологической абстракции, соотносимых с петербургской и московской фонемами, в речи детей.

В секции «Диалектология» было заслушано 8 докладов. В выступлении **М. Пост** (Норвегия) доказывалось, что севернорусское *дак* не может быть ударным. Иллюзию ударности в некоторых случаях создает просодическая система говоров, сильно отличающихся по интонационным параметрам от литературного языка. **А. А. Соколянский** (Магадан) изложил свои представления об истоках псковско-новгородского цоканья в системе праславянского языка. По его мнению, цоканье в древненовгородском диалекте — прямое следствие отсутствия в нем второй палатализации. В силу этого в псковско-новгородских говорах вторая аффриката просто не сформировалась. **А. В. Тер-Аванесова** (Москва) проана-

лизовала такое специфическое явление заонежских говоров, как «ляпанье», то есть перенесение ударения с конечного слога в слове на первый. Исследование этих явлений представляется важным при изучении механизмов формирования постоянного ударения в ряде славянских языков. В докладе **М. Д. Люблинской** (Санкт-Петербург) «Система согласных фонем тундрового диалекта ненецкого языка и ее реализация в разных говорах» было высказано предложение описывать систему фонем в подобных языковых ситуациях как некоторую обобщенную модель одного языка, предполагающую разные варианты реализации в зависимости от региона. **В. Л. Стромченко** (Москва) в своем выступлении рассказала о результатах экспериментального сравнительного исследования просодии одного из вятских говоров и литературного языка на материале одного и того же текста. В докладе **О. Р. Гориновой** (Москва) анализировались способы передачи чужого высказывания без вводного компонента в русских говорах, в частности, изменение темпа речи и особенностей паузирования, использование для чужой речи иного регистра, чем для своей. **Д. М. Савинов** (Москва) в своем выступлении рассмотрел особенности реализации гласных фонем в частицах и приставках в различных системах предупредительного вокализма в южнорусских говорах.

Целый ряд выступлений был посвящен проблемам описательной и экспериментальной фонетики. В докладе **М. Л. Каленчук** и **Р. Ф. Касаткиной** (Москва) обсуждался вопрос о начавшемся в русском литературном языке процессе разрушения позиционных закономерностей в области согласных, в результате чего в системе «младшего» произношения стали возможны сочетания звуков, запрещенные на предыдущих этапах развития языка. В докладе **И. М. Ло-**

гиновой (Москва) «Системный фактор в сопоставительных описаниях с лингводидактической направленностью» анализировался фрагмент двух вокалических систем русского и французского языков: передние гласные среднего подъема [e]-[э] в русском языке и неогубленные носовые [e]-[ẽ] во французском языке. Практической целью подобного сопоставления служит обучение произношению на неродном языке. При описании звукового строя должна соблюдаться системность, строящаяся на фонологической системе и артикуляционной базе. В докладе **Тьерда де Граафа** (Нидерланды) «Фонетические аспекты двух исчезающих языков: нивх и айну» автор дал краткое описание особенностей фонетической системы языка нивх в сопоставлении с русским языком. Опасность для данного языка представляет не только с каждым годом уменьшающееся количество его носителей, но также и влияние русского языка. Язык айну, с точки зрения исследователя, также испытывает на себе влияние, но уже со стороны японского языка. В докладе **И. В. Полюшкиной** (Москва) «Качественные модификации гласного звука [æ] в спонтанной разговорной речи (на материале английского языка)» речь шла о количественных модификациях звука [æ] в ударной позиции в спонтанной речи. Особый интерес привлек доклад **В. Б. Кузнецова** (Москва) «О вокалическом компоненте вибранта в русском языке». В нем говорилось о проведенном исследовании вибранта с точки зрения артикуляции и акустики. В докладе были представлены частичные результаты качественного анализа аллофонической вариативности и акустических характеристик дрожащего сонанта в русском языке и определена дистрибуция вокалического компонента вибранта в зависимости от позиции. В докладе **А. Корытовской** (Польша) «Гортанная

смычка в славянских языках» вынесенное в заглавие явление было описано на материале чешского, польского и южнославянских языков. Автор обратил внимание слушателей на частотность присутствия гортанной смычки в польском языке, для определения которой им был проведен эксперимент. Отмечалась и особая роль темпа при появлении гортанной смычки в различных позициях, а также связь с артикуляционной базой польского языка. В докладе «Произношение гласного на месте фонем /э, о/ в первом предупредительном слоге после мягких согласных в оперном пении» **Н. Д. Ягодкина** (Москва) представила результаты своего исследования певческой речи. Был подвергнут сомнению тезис о господстве эканья в вокальной речи. В первом предупредительном слоге после мягких согласных на месте фонем /э, о/ зафиксировано произношение звуков [э^н], [э], [и^н] и [и], причем употребление того или иного звука зависит от музыкальной длительности, темпа музыкального произведения, пола поющего, стилистической окраски слова, характера персонажа, эмоциональности речи.

В программу конференции была включена секция «Языковые контакты: фонетический аспект», на которой были представлены доклады, посвященные интерференции звуковых систем в диахронии и синхронии. Исследования, выполненные в рамках первого, исторического направления, основываются на материале, собранном авторами в последние годы, и отражают современную ситуацию в различных языковых сообществах, лингвистическая (и социальная) история которых определяется сосуществованием на одной территории различных (часто генетически и лингвистически далеких) этносов. Одной из ключевых стала проблема атрибуции контактно обусловленных явлений и доказательства

их негенетического происхождения. **Л. Н. Каминская, Ю. А. Клейнер и А. А. Лукина** (Санкт-Петербург) в докладе «"Фонетические балканизмы" и их фонологические обоснования» рассмотрели вопрос о том, можно ли к числу фонетических балканизмов относить черты, которые, хотя и проявляются на фонологическом уровне в ряде балканских языков, однако не несут в себе ничего специфически балканского (наличие ряда гласных, утрата геминат, появление буферных согласных и др.). Поскольку многие рефлексy возникли до образования Балканского языкового союза, при этом сходные результаты обнаруживаются и за его пределами, то в качестве балканизмов они могут рассматриваться, только если на их распространение повлияли контакты между балканскими языками и имеются специфически балканские условия их реализации. Сходной проблеме — совсем в другом регионе — был посвящен доклад **А. М. Красовицкого** (Москва) «Просодические изменения вследствие языковых контактов (на примере речи русских старожилов Сибири)». Автор рассмотрел способы акцентного выделения, используемые в речи русских старожилов заполярной зоны Якутии, где русское население на протяжении нескольких веков находилось под сильным лингвистическим влиянием коренных народов — эвенов и юкагиров. Присущие севернорусскому наречию просодические стратегии реализуются здесь, по мнению автора, средствами, заимствованными из соседних контактирующих языков. Учитывая сложную природу отмеченного явления, целесообразно поставить вопрос об источнике интерференции и о принадлежности данных просодических явлений только определенной контактной зоне. Исследованию контактно обусловленных явлений в области сегментной фонетики и поиску

языка — источника интерференции был посвящен доклад **Н. С. Уртегешева** (Новосибирск) «Эйективные и инъективные консонантные настройки в шорском языке: к проблеме субстрата». Автор приходит к выводу, что система согласных шорского языка не вписывается в типологическую классификацию консонантных систем в языках народов Сибири и сопредельных регионов. Проведенное исследование позволяет предложить новый классификационный признак — по типу работы гортани и языка. Учитывая, что аналогичное явление зафиксировано ранее при изучении кетского вокализма, можно предположить, что выявленная особенность артикуляционно-акустической базы шорцев-мрасцев в области шумного консонантизма является наследием кетского субстрата. Фонетическому оформлению лексических заимствований был посвящен доклад **Л. П. Васиковой** (Йошкар-Ола) «Фонетические изменения в звуковой системе горномарийского языка во взаимодействии с русским». В представленном исследовании рассматриваются фонетические процессы, происходящие в заимствованных из русского языка словах, а также влияние русской фонетики на горномарийский язык в условиях интенсивных контактов. Эта тема была продолжена в докладе **Н. О. Кирсанова** (Финляндия) «Бумеранговые заимствования как источник особенностей прибалтийско-финской и восточнославянской онимии Ингерманландии». Согласно предложенной автором «бумеранговой» гипотезе, топонимы Ингерманландии, будучи сначала заимствованы из восточнославянских диалектов в прибалтийско-финские, позднее заимствовались обратно в восточнославянские диалекты. Такой подход позволяет установить много интересных этимологий, например касающихся ингерманландской топонимии и антропони-

мии. Изучению языка диаспоры был посвящен доклад **Е. А. Оглезневой** (Благовещенск) «Явление фонетической интерференции в условиях русско-китайского двуязычия (на материале речи потомков русской диаспоры в Китае)». Объектом исследования автора стала речь первого поколения потомков от смешанных браков русских и китайцев, родившихся и живущих в Китае. Пассивное использование русского языка и явное доминирование китайского внутри этой группы приводит к нарушению норм русского языка и появлению черт, обусловленных интерференцией. К ним можно отнести изменение просодии под влиянием китайской тоновой системы, изменение артикуляции согласных, упрощение консонантных сочетаний и в целом — нечеткость артикуляции русских слов, что связано с неуверенностью в точном знании их фонетического облика.

Исследование «живого» процесса интерференции было представлено в работах по интерференции звуковых систем при изучении иностранных языков. В докладах нашел отражение опыт преподавателей русского языка как иностранного, а также авторов методик преподавания РКИ. Вопрос о том, как типологические и специфические характеристики родного и иностранного языков отражаются в речи учащихся, рассматривался в докладе **Е. Л. Бархударовой** (Москва) «Фонетическая интерференция как показатель особенностей звукового строя родного и изучаемого языков». Исследуя русскую речь носителей большого числа языков (китайского, корейского, японского, испанского и др.), Е. Л. Бархударова показывает, что проявление в интерференции типологических черт возможно лишь при несовпадении соответствующих характеристик родного и изучаемого языков. При этом специфические черты изучаемого языка всегда

так или иначе обнаруживаются в фонетической интерференции, а специфические черты родного языка могут найти отражение в ней только при наличии соответствующих условий в изучаемом. Другому аспекту взаимодействия двух фонетических систем — родного и изучаемого языков — был посвящен доклад **Л. С. Красновой** (Москва) «Формирование «фонетического кода» русского языка у иностранных учащихся». Автор показал, насколько важно говорящему для решения его коммуникативных задач владеть «фонетическим кодом», то есть набором компонентов, позволяющих охарактеризовать его язык как русский. К числу таких компонентов относится, среди прочих, и мелодика речи. Овладеть ею иногда мешает просодия родного языка. Например, китайские студенты, в языке которых имеется четыре смысловозначительных тона, функционирующих в четких фонетических границах, не сразу овладевают небольшими перепадами тона в русской речи. Выработке этого навыка помогает чтение ритмизованных текстов. Методика акустического контроля произносительных навыков при обучении русскому языку как иностранному была представлена **К. И. Долотинным** (Москва). В докладе «Акустический метод оценки явлений фонетической интерференции при обучении иностранцев русскому языку» автор предложил оценивать степень отклонения артикуляции гласных у учащихся от нормы преподавателя при озвучивании ими одного и того же текста.

Целый ряд выступлений на конференции был посвящен обсуждению проблем кодификации в орфоэпии и орфографии. В докладе **С. К. Пожарицкой** «Орфоэпия: ее предмет и задачи» был поставлен вопрос о разделении предметов орфоэпии и описательной фонетики; при этом орфоэпия, по мнению автора, дол-

жна отвечать только на те практические вопросы, которые реально возникают у носителя языка. В выступлении **Н. В. Богдановой** (Санкт-Петербург) «Диереза с точки зрения орфоэпической кодификации» анализировались различные проявления диерезы в русском литературном языке и связанные с данным фонетическим явлением проблемы кодификации; при этом, по мнению автора доклада, чередования согласных и гласных с нулем звука бывают как обязательными, так и факультативными; в одних случаях диереза проявляется в кодифицируемой сфере языка, в других случаях — в тех разновидностях речи, которые не поддаются кодификации. **С. А. Полковникова** (Москва) в своем докладе «О правописании глаголов *приклонить* и *преклонить*» предприняла попытку доказать, что исторически приставки *пре-* и *при-* не были так строго разграничены, как в современном языке, чем, по-видимому, и объясняются сложности правил их употребления. В докладе **Е. М. Болычевой** (Москва) «Компрессированные варианты как показатель стиля произношения» был поставлен вопрос о стилеобразующей функции особых компрессированных вариантов произношения и лексической закрепленности подобных вариантов. **J. Evans** (Великобритания) в своем выступлении «Pronunciation and the OED» рассказала о системе произносительных помет в Оксфордском словаре английского языка и диапазоне фонетической информации, нуждающейся в кодификации. Два доклада — О. В. Антоновой и Т. М. Григорьевой — были связаны с функционированием старомосковских вариантов произношения в наше время. **О. В. Антонова** (Москва) в своем выступлении «Рефлексы старомосковского произношения в современной звучащей речи» показала, что некоторые произноситель-

ные нормы, восходящие к московскому говору начала XX века, не так архаичны, как это было принято считать. В докладе **Т. М. Григорьевой** (Красноярск) «Старомосковская орфоэпическая норма сегодня» внимание было привлечено к использованию старомосковских вариантов произношения в сценической и поэтической речи.

В рамках конференции была проведена демонстрация компьютерных программ, связанных с анализом звучащей речи. **С. Оде** (Нидерланды) продемонстрировала возможности программы ToRI (Transcription of Russian Intonation) — транскрибированный в однозначных символах корпус звучащих текстов в московском и петербургском произношении. **А. С. Леонов, И. С. Макаров, В. Н. Соколин** (Москва) представили участникам конференции обучающую фонетическую систему, которая демонстрирует реконструированный речевой тракт в динамике в среднесагитальной плоскости, а также фронтальное изображение движений губ и нижней челюсти.

Результаты, представленные разными исследователями-фонетистами в своих докладах и в прошедших на конференции дискуссиях, привлекли внимание к вопросу о надежности данных, которыми оперируют фонетисты. И дело здесь вовсе не в недобросовестности исследователей, а в самой природе речевого сигнала и в тех программах его анализа, которыми пользуются исследователи. Поэтому некоторые доклады были посвящены уточнению именно исходных фактических данных, относящихся к базовым речевым характеристикам. Уточнение количественных характеристик гласных в пределах просодического центра фонетического слова в русском языке, полученных предшествующими исследователями, было представлено в докладе **Р. Ф. Касаткиной** (Москва).

Опираясь на данные о длительности гласных 1-го предударного слога, полученные при записи речи 20 москвичей, она пришла к выводу о диссимилятивно-количественном принципе организации предударного вокализма в русском литературном языке. Доклад **О. Г. Ключинской** был посвящен уточнению темпоральных характеристик гласных неприкрытых слогов в русском языке. Сопоставление длительности гласных 1-го предударного слога с длительностью гласных того же тембра во 2-м предударном неприкрытом слоге привело ее к выводу о том, что, вопреки устоявшемуся мнению, гласные неприкрытых слогов значительно короче тех же гласных в 1-м предударном слоге. **Н. Б. Вольская** и **С. Б. Степанова** (Санкт-Петербург) в докладе «Особенности предпаузного удлинения слов в русском языке» представили результаты своего исследования темпоральных характеристик гласных в разных фразовых условиях. Вопросам правильного выбора компьютерных программ, а тем самым повышения уровня метрологической культуры экспериментально-фонетических исследований был посвящен доклад **А. В. Венцова** (Санкт-Петербург), показавшего, что многие популярные среди фонетистов программы страдают определенным редуционизмом, что приводит к искажению акустических характеристик.

На конференции была организован круглый стол «Всё о звуке [р]» (под руководством **В. Б. Кузнецова**), на котором в свободной дискуссии обсуждались артикуляционные и акустические особенности звуков типа [р] в разных языках мира.

Проведенная конференция еще раз подтвердила необходимость подобных встреч, на которых фонетисты, принадлежащие к разным научным школам, имеют возможность участвовать в очных

конструктивных дискуссиях. Очень важен и тот факт, что в конференции приняли участие лингвисты не только из таких традиционных центров отечествен-

ной фонетической мысли, как Москва и Санкт-Петербург, но и из многих регионов России.

А. М. Красовицкий, А. А. Соколянский

Gender-Forschung in der Slawistik Гендерные исследования в славистике

Материалы конференции «Гендер — Язык — Коммуникация — Культура» (28 апреля—1 мая 2001 г.). Институт славистики, университет Йены // Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 55. Wien, 2002.

(Редакторы сборника: И. ван Лейвин-Турновцева, К. Вуленвебер, У. Долежал, Ф. Шиндлер).

В настоящее время гендерная тематика в исследованиях гуманитарного профиля в России и за рубежом выходит на передний план. Внимание, которое уделяется проблемам полового диморфизма в сфере социологии, философии, психологии, литературы и языка, объясняется тем, что ключевые гендерные понятия все органичнее становятся естественной составляющей общественного сознания. Попытаемся представить самые интересные исследования в этой области, которые были опубликованы в Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 55.

Сборник открывается статьей Хельги Коттхофф (Фрайбург) «Что означает выражение 'doing gender', или Новые перспективы гендерных исследований в области изучения дискурса». В ней содержится критический анализ состояния гендерных исследований в области анализа дискурсивных практик, а также предлагается программа изучения коммуникативных актов с точки зрения гендерной дифференциации в культурном и ситуативном контекстах.

Х. Коттхофф считает, что со времени появления работ Р. Лакофф [Lakoff 1973] и М. Р. Кэй [Key 1975], основной акцент которых был сделан на подчиненном положении девочек и женщин при интерсексуальном общении, были получены результаты, во многом дополняющие и опровергающие их основной тезис. Исследовательница в своих выводах опирается прежде на результаты Gender Studies, которые проводились в Германии и Австрии. За 20 лет социолингвистических исследований в сфере языковой дифференциации, связанной с полом говорящих, ученые пришли к заключению, что нельзя рассматривать данную асимметрию при речевом общении столь примитивно, не учитывая других факторов, влияющих на структуру распределения ролей в коммуникативном акте (гендерно-ориентированное разделение труда, общественное положение говорящих, их возраст). Поскольку понятие «гендер» представляет собой не биологическую, а социокультурную категорию, оно связано с понятием «половой идентичности», под которой понимается моделирование личностью своей идентичности в соответствии (или несоответствии) с социально обусловленным канонам для лиц разного пола. Недаром, подчеркивает Х. Коттхофф, в масс-медиа, рекламе и других идеологических дискурсах создаются идеальные образы «феминности» и «маскулинности», которые ориентируют

ся на модель наиболее адекватного речевого и социального поведения лиц разного пола.

Раскрытию последнего положения посвящена следующая статья сборника **Ольги Ц. Йокояма (Лос-Анджелес) — «Когнитивный статус гендерных различий в языке и их прагматическое моделирование»**, в которой делается попытка моделирования процесса порождения речи, содержащей гендерные признаки. При изучении когнитивного статуса проявления гендерных различий в системе русского языка исследовательница главным образом опирается на результаты, полученные Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой [Земская и др. 1990, 1993] на материале русской разговорной речи, а также на работы [O'Bagh, Atkins 1980; Coats 1993], в которых анализируется зависимость проявления признаков женской речи от конкретных параметров дискурсивной ситуации: от статуса собеседников, социальных отношений между ними и от распределения гендерных ролей согласно первым двум позициям. Корреляция характеристик женской речи с этими факторами выявила, что различия женской и мужской речи скорее могут быть соотнесены со стилистической, а не диалектной дифференциацией языка.

Делая основой своего исследования «стилевой подход», О. Йокояма строит прагматическую модель переключения женщин на так называемый «женский язык» в условиях «своего» модуса коммуникации, при этом она отмечает, что только в определенных коммуникативных условиях носитель «подключает» те языковые правила (т. е. грамматику) и тот инвентарь (т. е. лексикон), которые дают на выходе гендерно отмеченную структуру. Поэтому, считает исследовательница, подключение «гендерлектов» можно рассматривать как code switching.

Моделирование механизма порождения русских гендерлектов О. Йокояма осуществляет в рамках Трансакционной модели дискурса с учетом дейксиса, опирающегося на референционные знания как говорящего, так и адресата. Она выделяет целую систему презумпций (позиционных знаний), релевантных в данной дискурсивной ситуации и находящихся на окраине активизированной части сознания, к примеру,

(1) [я говорю по-русски] [ты говоришь по-русски] <...>

(3) [я тебе своя] [ты мне свой/своя] <...>

(4) [я тебе чужая] [ты мне чужой/чужая] <...>

(6) [я женщина/мужчина] [ты мужчина/женщина/ребенок] <...>

(10) [я пестун/-ья] [ты пестуемый].

Некоторые из этих презумпций сами находятся в отношениях импликации, например, [я тебе своя] — >[я женщина]. Гендерлектное множество подключается тогда, когда с дейксисом (*Я, ты, здесь, сейчас*) соотносятся презумпции (1), (3), (6). Далее показывается, как гендерные признаки могут быть выведены в речи. Так, словообразовательное правило порождения деминутивной формы *лицо* > *личико* определяется в русском языке набором презумпций (1), (3), (10). У женщин, считает автор, презумпция (10) имплицитруется наличием в активизированном когнитивном множестве признаков [я женщина] [ты ребенок], которое детерминируется презумпцией (3). У мужчин же презумпции [я мужчина] [ты ребенок] и [я пестун] [ты пестуемый] всегда ситуативны, т. е. связаны с подключением знаний *здесь, сейчас*. В предложенной автором попытке моделировать порождение гендерлектов носителями русского языка просматривается принципиальная возможность моделиро-

вания сложного когнитивного процесса переключения кодов вообще.

Вопросам гендерных различий в территориальных диалектах посвящена статья **Мартины Спордаевой (Йена) «Диалектная компетенция, употребление диалекта и установка к диалекту у школьников — гендерный аспект»** (на материале исследований в Австрии и Северной Германии). В ней читатель знакомится с результатами двух исследований по использованию диалектов немецкого языка, которые были проведены в Зальцбурге (баварский диалект), а также в Экернфёрде и Гутсфельде (нижненемецкий диалект). Основное внимание в ходе этих диалектологических обследований уделялось уровню владения диалектом и личному отношению носителя диалекта к его использованию. Итогом данных исследований явилось то, что в обоих диалектах было отмечено более активное использование диалектной речи среди девочек (что противоречит предшествующим выводам социальной диалектологии). По мнению специалистов, проводивших опросы, широкое использование диалектов девочками связано с их более положительным отношением к диалектной речи, чем у мальчиков. При этом, как показывают и более ранние исследования, в целом отношение женщин к использованию диалекта более позитивное, чем у мужчин, поэтому они чаще прибегают к нему в речевой практике. Однако, как предполагает автор статьи, несоответствие самооценки знания нижненемецкого диалекта среди учеников и их реального уровня владения диалектом заставляет думать, что подобные опросы при в целом негативном отношении общества к использованию этого диалекта привели бы к совсем иным результатам. В связи с последним М. Спордаева делает заключение, что методы исследований, основанные на самооценке знаний

диалекта опрошенными, не заслуживают доверия и ставят результаты подобных исследований под вопрос.

В статье **Урсулы Долежал (Вена) «Концептуализация рода в разных славянских языках (лингвистическое сравнение)»** ставится вопрос о том, как при помощи категории рода выявляются разнообразные явления языкового сексизма. Как известно, категория рода для большинства славянских языков является классифицирующей, в то же время она определяет кореферентность соседних высказываний. Однако почти на всех уровнях языка (морфологическом, лексическом, синтаксическом и даже текстовом) эта категория может концептуализироваться (или сексуализироваться), когда необходимо детерминировать референт высказывания с точки зрения его половой принадлежности. Каждый из славянских языков обладает своим набором специфических средств для языкового выражения полового диморфизма. Так, в русском языке некоторые существительные мужского рода легко образуют соотносительные пары женского рода (ср. *учитель-учительница*), другие (например, *политик, космонавт, философ*) — таких пар не имеют. В некоторых же славянских языках образование соотносительных имен женского рода от слов *политик, космонавт, философ* вполне нормативно: ср. хорв. *političarka*, чеш., словац. *politička*; словен. *kozmonavtka*, чеш., словац. *kosmonautka*, хорв. *kozmonautkinja*; словен., чеш., словац. *filozofka*, хорв. *filozofkinja*.

Для выделения и рассмотрения уникальных родо-половых соотношений в разных языках автор предлагает считать основанием для сравнения то отношение, которое возникает между означающим и означаемым. Например, то, что слова *дитя* в русском или *dziecko* в польском относятся к среднему роду на синхронизи-

ческом уровне является уникальным явлением, особенно когда в русском языке существует слово мужского рода *ребенок*, соотносимое с маленькими детьми обоего пола. На основании соотношения между означающим и означаемым в разных языках могут быть установлены различные степени проявления языкового сексизма. Так, при наличии пары *заведующий/заведующая* нередко в русских текстах официально-делового стиля используется форма мужского рода: ср. *такие вопросы каждый заведующий решает сам*. Нейтрализация же гендерной противопоставленности может, по мнению У. Долежал, рассматриваться как особый случай метонимического или метафорического переноса. К примеру, в случае, если слово *человек* используется по отношению к мужчине, то это метонимия; если к женщине — то в этом можно видеть аналог метафорического переноса.

Безусловно, все наблюдения, приведенные в данной статье стимулируют внимание к анализируемым явлениям. Однако при предложенном У. Долежал ракурсе рассмотрения почти не учитывается семантико-символическая функция категории рода, т. е. исключены из рассмотрения те случаи, когда при олицетворении грамматический род осмысливается как пол.

В общей структуре сборника исследование У. Долежал находит своеобразное продолжение в статье **Марии Дмитриевой (Киев) «Гендерные роли через призму языка»**, в которой предметом рассмотрения становится отображение гендерных ролей в языковой картине мира. Эту систему, по мысли автора, можно свести к дихотомии *мужчина/женщина*. Данное противопоставление было одним из первых, созданных человечеством, и оно в любом языке имеет развитую систему средств выражения, фразеологических оборотов и паремий.

М. Дмитриева, во-первых, рассматривает слова, обозначающие женщин и мужчин в русском, украинском и английском языках, во-вторых, производные женского рода от названий мужского в русском и украинском (типа *бухгалтерша, бухгалтерка* и т. п.), и, в-третьих, производные прилагательные и существительные от слов, называющих женщин и мужчин в трех языках. В результате обнаруживается, что в украинском языке, в отличие от других языков, существует синкретичное наименование *жінка*, которое означает одновременно и 'женщина', и 'жена'; в английском же языке словосочетание *his woman*, по материалам словаря Longman, считается оскорбительным. Что касается производных наименований женского рода, обозначающих лица женского пола, то они почти всегда маркированы, причем в украинском это более ощутимо, чем в русском. В отличие от России и Украины, в англоязычных странах были разработаны способы преодоления подобной асимметрии. Появление форм *chairperson/-woman/-man, spokesperson/-woman/-man, businessperson/-woman/-man* внесло изменения в словообразование.

Прилагательные *женоподобный/женственный, мужеподобный/мужественный*, по мнению автора, указывают на стремление общества регламентировать поведение людей в зависимости от пола. Причем первые члены пар обычно присоединяются к существительным, указывающим на противоположный пол, — поэтому они приобретают «обратную» характеристику. Подобное же наблюдается в английском языке: ср. *womanish/womanly; mannish/manly*; при этом сравнение с мужчиной является похвальным, с женщиной — наоборот (ср. фразеологизмы *play the man, play the woman*). Однако парадоксальным образом устоявшиеся уподобления женщин

мужчинам не всегда являются уничижительными, на что указывает похвала для сильной женщины в украинском — *баба з яйцями*. В то же время в таких словосочетаниях, как *женский характер, женская логика*, положительные коннотации имеют непостоянный характер.

Данное исследование показывает, что стереотипы и предубеждения, под воздействием которых находились наши предки и которые определяли их характеры и поведение, влияют на современное словоупотребление.

Статья **Татьяны Янко (Москва) «О влиянии женского морфологического рода русских существительных, обозначающих мужчин, на их сочетаемость с числительными»** также затрагивает грамматический уровень русского языка в аспекте его асимметрии. В ней делается попытка выяснить, почему в русском языке существуют некоторые запреты на сочетаемость имен лиц с числительными. Так, оказывается, что неспособность существительных на *-а*, обозначающих мужчин, сочетаться с числительными *три* и *четыре* объясняется совпадением в этом контексте моделей образования счетного словосочетания у мужчин и женщин. Совпадение мужской и женской моделей создает «феминизирующий» эффект, что ведет к запрету на сочетаемость именованных мужчин на *-а* с числительными *три* и *четыре*. Так, например, по-русски сочетания *три (четыре) мужчины* и даже *три (трое) Алеши* звучат неестественно. В первом случае используются собирательные формы *трое (четверо) мужчин*, во втором — аналитический тип высказывания: *трое мужчин по имени Алеша*. При этом запрет на формы типа **три Алеши* снимается в контексте ‘имя-отчество’: *У нас в школе три Алексея Ивановича*. Доказательство «феминности» получаем при использовании существительных общего

рода на *-а* типа *судья, сирота, староста*. В контексте числительных *три, четыре* они понимаются носителями русского языка как относящиеся к женщинам: ср. *Три жены, три сестры, три судьи милосердных открывают бессрочный кредит для меня* (Б. Окуджава).

В исследовании **Елены Горошко «Гендерные различия при порождении и восприятии речи в русском языке» (Харьков)** центральным оказывается психолингвистический аспект гендерной дифференциации. Оно посвящено изучению различий речевых стилей мужчин и женщин при процессах создания, восприятия и реконструкции текстов в русском языке и имеет конкретную практическую ценность: полученные результаты могут быть полезны при проведении судебно-автороведческих криминалистических экспертиз.

В эксперименте Е. Горошко использовалась методика «поврежденного текста», описанная А. А. Брудным [Брудный 1972, 1974]. А именно, прослеживалось, насколько точно исходный целостный текст реконструируется испытуемыми по смысловым отрезкам. Испытуемым разных полов и разных возрастных групп предлагались отрезки исходного текста (чаще всего это предложения или абзацы), которые подавались в случайном порядке, и ставилась задача реконструировать исходный текст. Тексты для эксперимента выбирались по трем критериям: они должны быть 1) не слишком длинными; 2) разнообразными по своему логико-композиционному строению и контекстно-вариативному членению; 3) написаны авторами различных полов (проза Э. Хемингуэя, М. Цветаевой, З. Гиппиус, А. Герцена и др.). Вариативность текстов по логико-композиционному строению позволяла проследить, как «жесткость» смысловой структуры влияет на его последующее восстановление:

а именно, текст-повествование в смысловом плане четко структурирован, текст-рассуждение в смысловом плане более разветвлен, размыт, бессюжетен; текст-описание занимает промежуточное положение между первым и вторым.

В эксперименте участвовало 200 человек (100 мужчин и 100 женщин) с высшим образованием, как гуманитарным, так и техническим. Считалось, что существует определенная корреляция между возрастом и характером половых различий в функциональной асимметрии мозга (у мужчин она уменьшается, у женщин увеличивается), поэтому были выбраны две возрастные группы — от 17 до 25 лет и от 40 до 50 лет, так как в более ранних исследованиях было показано, что у людей первой группы феминные и маскулинные качества находятся в стадии формирования, у людей второй группы — носят устоявшийся характер. Анализ результатов проводился по специально разработанной компьютерной программе. В результате эксперимента были сделаны следующие выводы:

1) Женщинам легче было воспринять логико-композиционную структуру повествовательного текста — этот тип текстов был собран ими точнее; однако «сборка» текстов-рассуждений, где логико-композиционная структура неоднородна, у мужчин была более точна.

2) Обнаружилась корреляция между полом воспринимающего текст и полом автора текста: текст-описание, автором которого была женщина, лучше был восстановлен женщинами, текст-описание, созданный автором-мужчиной, точнее был собран мужчинами. Аналогичный результат был получен при рекомпозиции текстов-рассуждений М. Цветаевой и А. Герцена: цветаевская канва рассуждений лучше была реконструирована женщинами, герценовская — мужчинами.

3) Была установлена также корреляция между возрастом и полом: женщины старшей возрастной группы были менее точны в «сборке» текстов, чем женщины младшей; у мужчин же результаты рекомпозиции текста оказались в меньшей зависимости от возраста.

4) Анализ ответов на вопросы о методике «сборки» показал, что для женщин основной была задача передачи содержания текста (35 % в младшей группе и 55 % в старшей) и восстановления исходного текста с наибольшей точностью (соответственно 65 % и 45 %); мужчины же скорее стремились создать свой собственный текст (80 % в старшей группе и 70 % в младшей), и почти ни один мужчина-испытуемый не ставил своей задачей реконструкцию исходного текста.

Однако к полученным результатам надо относиться осторожно, поскольку в эксперименте была представлена ограниченная выборка испытуемых, а также предъявлены тексты очень узкого круга авторов.

Статья **Всеволода Потапова (Москва) «Фонетические гендерные признаки в русской разговорной речи»** освещает вопросы, связанные с разницей в произношении людей разных полов. Автор прежде всего сосредоточивается на гендерных различиях акустического и перцептивного уровня, важность которых определяется практическими потребностями — прикладной проблемой разработки систем акустического распознавания и автоматического синтеза звучащей речи. Трудности в этой области связаны прежде всего с характеристиками женского голоса. Замечено также, что понимание и запоминание слушателями передаваемой речи находится в зависимости от тембра голоса говорящего, в частности от мужского или женского качества голоса.

Анализ фонетических средств русского языка позволил выделить наиболее информативные для пола говорящего звуковые и просодические средства. Основные выводы уже были сформулированы в работах Е. А. Земской, М. В. Китайгородской, Н. Н. Розановой [Земская и др. 1987, 1993]. В области вокализма отмечается ряд особенностей в тембральной окраске гласных, в области консонантизма отмечается общая тенденция, свойственная мужскому произношению: меньшая степень артикуляции согласных. Различия явны и на просодическом уровне. В женской речи широко представлена растяжка ударного гласного, поэтому и рельефно выражены модулированные тоны и акценты. Эти особенности женского голоса нередко используются в рекламе (см. [Кодзасов 2000]). В мужской речи в акцентно выделенных словах чаще используется растяжка согласного. В целом, женщины для выражения многих значений чаще используют интонационные средства (ср. *Он та-акой симпатичный (противный)!*), в то время как мужчины для передачи экспрессивной оценки используют лексические средства (*отличный, здорово* и т. п.). Женщинам также свойственно использование придыхания, лабиализации, назализации.

Таким образом, проблема нахождения дифференциальных речевых гендерных признаков включает в себя как универсальную (присущую и мужчинам, и женщинам), так и специфическую (свойственную только одному полу) информацию. Специфическими являются (1) тембр голоса, коррелирующий с акустическими характеристиками спектра речи (спектр женских голосов в среднем на 17 % выше спектра мужских), (2) некоторые сегментные особенности порождения речевого сигнала (артикуляционные особенности при реализации гласных и согласных), (3) а также супrasegmentные

характеристики интегративного оформления речевого высказывания (большая степень вариативности основного тона в женской речи). Вариативность голосовых характеристик также определяется принадлежностью к тому или иному этносу и языковому ареалу. Колебания внутри одного или другого вида голоса (дихотомия «мужской-женский») могут быть связаны и с различными типами ситуаций. Ранее это было отмечено А. А. Реформатским [Реформатский 1987], который писал, что один сказитель, который пел и «сказывал» басом, говорил «из вежливости» тенором.

С точки зрения семиотики интерсексуального общения особое внимание в сборнике обращает на себя публикация **Григория Крейдлина (Москва) «Женское и мужское невербальное интерактивное поведение (межкультурный аспект)»**. В статье с гендерной точки зрения в основном исследуются русские невербальные (устные) и вербальные (устные и письменные) тексты, однако для сравнения Г. Крейдлин прибегает к текстам других культур. Ученый отмечает, что если раньше при составлении речевого портрета больше внимания уделялось анализу действия лингвистических признаков двух видов — артикуляционных признаков и фонационных качеств, которые различны у мужчин и женщин, то сейчас стали широко исследоваться паралингвистические особенности речевого потока (паузы, хезитации, игра тона и интонации, смех, свист, плач и т. п.). Оказалось, что в каждой культуре выделяются некоторые паралингвистические элементы, которые являются вполне надежными диагностическими признаками для определения пола, возраста, социального статуса и других параметров. Примеры Г. Крейдлина связаны с темой «человеческого голоса». Он отмечает, что прежде всего музыкальные голоса во

многих языках имеют особые обозначения, связанные с различиями их обладателей по возрасту и по полу. Так, в русском языке есть особые названия для детских голосов (альт, дискант), взрослых мужских голосов (бас, баритон, тенор) и для женских (альт, контральто, сопрано, меццо-сопрано, колоратурное сопрано). При этом в каждом языке у речевых и музыкальных голосов отмечаются гендерные проявления. Если принять, что в языковой картине мира мужчины говорят обычно низкими голосами, а женщины — высокими, то окказиональное использование слова *бас* для характеристики женского голоса заведомо указывает на его подобие мужскому: ср. *Она произнесла эти слова дрогнувшим голосом, а затем низким голосом, почти басом спросила: Ты в Москве?* (пример из В. Попова). Большой интерес, по мнению автора, представляет концептуализация «голоса» в разных культурах. Так, «грудной голос» свойственен только русским женщинам, но не мужчинам, однако его английские и немецкие эквиваленты *rich voice* и *tiefe Stimme* совсем не связаны с женским образом.

Во второй части исследования автор в основном сосредоточивается уже на *манерах поведения*, которые стереотипически различны у женщин и мужчин, а также своеобразны в различных культурах. Он замечает, что и в художественных, и научных текстах очевидны отличия в описаниях мужских и женских поз и телодвижений, особенно это касается угла наклона корпуса тела и положений ног и таза, что проявляется явно в описаниях походки и сидячих поз. Например, американским мужчинам свойственна более свободная сидячая поза (они отклоняются назад, колени у них раздвинуты), чем у женщин, у которых колени обычно сомкнуты. Мужские и женские жесты и телодвижения могут различать-

ся не только в своей физической реализации, но и по своему содержанию — т. е. по внутреннему смыслу и коду. Так, по наблюдениям автора, при выражении смысла ‘смущение’ русские мужчины обычно сжимают рукой подбородок и нос и потирают их, а женщины потирают щеки или область, смежную с шеей. Можно также указать культурно-специфические мужские и женские позы. Русским мужчинам свойственно: *сидеть, разваливаясь в кресле; стоять, широко раздвинув ноги, стучать кулаком по столу* и т. п. Молодым же американцам присуще положение, когда они *сидят, вытянув ноги вперед*. Женский стиль поведения отражается в следующих словосочетаниях: *поправить волосы; ходить, покачивая бедрами* и др. Основные поведенческие жесты и манеры, конечно, варьируются в разных ситуациях общения и зависят от социального статуса мужчины и женщины.

В заключение Г. Крейдлин останавливается на особенностях окулесики — а именно, на проявлении гендерных различий в движениях глаз и век. Он перечисляет основные отличия в визуальном поведении людей Европы и Северной Америки: 1) число и частота взглядов, которые мужчины бросают в сторону женщин, линейно растет с ростом расстояния между ними; у женщин же показатели обратно пропорциональны; 2) при разговоре контакт глаз между женщинами больше, чем при беседе между мужчинами; 3) в смешанных парах женщины дольше смотрят на мужчину, чем наоборот. Это означает, что в целом, женщины больше смотрят на людей обоих полов, чем мужчины.

Все характеристики невербального общения, отмеченные в статье Г. Крейдлина, интересны, на наш взгляд, не только сами по себе. Они собственно и позволяют смоделировать некоторые образ-

цы «мужского» и «женского» поведения, специфичного для разных культур, о которых говорилось в статье Х. Коттхофф. Особенно эти «образцы» полезны для режиссеров игрового кино и копирайтеров, создающих рекламные ролики.

Развитие темы корреляции полового диморфизма с определенными стереотипами сознания и поведения находим в статье **Аллы Кирилиной (Москва) «Манифестация гендерных стереотипов в российской прессе: журналистская и читательская перспективы»**. Автор ставит своей задачей проследить различные типы манифестации гендерных стереотипов в прессе. На материале публикаций газеты «Комсомольская правда» за 1997—99 годы А. Кирилина рассматривает манифестацию стереотипов «феминности» и «маскулинности» с позиций журналиста и читателя. Анализируются тексты, заголовки, интервью, а также рубрики «Письма читателей», «Прямая линия» и ряд аналогичных разделов газеты, отражающих мнение аудитории.

Исследовательница стремилась выявить, при помощи каких языковых средств эксплицируется «женственность» и «мужественность», с какими семантическими полями связана интерпретация этих образов, а также какие качества и возможные аспекты деятельности лица, связанные с его полом, отображаются в публицистических текстах. Для анализа выбирались публикации, имеющие в своем составе обозначения лица по признаку пола — *мужчина, женщина* и т. п., и тексты, адресованные читателям определенного пола или посвященные вопросам интерсексуальной коммуникации (рубрики «Мужской клуб», «Дама и Адам»).

Прежде всего А. Кирилина регистрирует, что большое число публикаций и заголовков газеты имеет отчетливый эро-

тизированный характер: ср. *«На диване с «Комсомолкой»*. В некоторых заголовках используется прием двойной актуализации, когда один и тот же текст может восприниматься в двух смыслах — буквальном и эротическом: ср. *Арина Шаранова поимела «Место встречи» на ТВ-6*. Распространенными стали публикации о проституции, сексуальных меньшинствах, интимной жизни в целом. В этих целях используются различные изобразительные средства: ирония, аллюзии, перифразы известных клише и штампов, паронимические сочетания и др.

В целом проанализированный А. Кирилиной материал не дает оснований утверждать о существовании значительной гендерной асимметрии, так как наименования мужчин и женщин по роду их профессиональной деятельности и другим характеристикам представлены равномерно. Отмечено также, что слово *человек* для обозначения лиц обоего пола используется редко.

При анализе прилагательных, вступающих в сочетания с наименованиями женщин, выяснилось, что наибольшей частотностью обладает атрибут *красивая*, далее по частоте использования следуют: *умная, очаровательная, молодая, женственная, беременная, милая, обнаженная* и т. д. Хотя внешним признакам женщины уделяется в целом больше внимания, в частности, в связи с тем, что женщина выступает как сексуальный объект, обнаружено значительное число прилагательных, характеризующих женщину как человека: с одной стороны, она предстает как *распутное, эмоционально неустойчивое, незащищенное существо*, с другой, — как *талантливая, серьезная, умная, заботливая, самостоятельная, полная энергии* и т. п. С прилагательным же *женский* (-ое, -ая, -ие) чаще всего сочетаются следующие существительные:

любопытство, хитрости, кокетство. Из прилагательных, характеризующих мужчин, наиболее частотны красивый, знаменитый, мужественный, женатый.

В целом, для описания лиц любого пола А. Кирилина отмечает в газетных публикациях весьма высокую частотность лексем, обозначающих родственные отношения, что свидетельствует о релевантности семейных уз. В характеризующих контекстах при этом более положительные качества приписываются чаще женщинам, чем мужчинам. При анализе же писем читателей и соответственно их перспективы автор статьи обнаруживает, что гендерные стереотипы выражены в них не так явно, как в текстах профессиональных журналистов. Полученные результаты, видимо, говорят о том, что часть современных гендерных стереотипов прежде всего смоделирована самими представителями масс-медиа; обыденные же представления о стереотипах довольно консервативны.

Статья **Катарины Клингсайс (Вена) «О пересечении гендерных и национальных дискурсов в устном автобиографическом рассказе русской эмигрантки в Вене»** посвящена корреляции категорий половой и национальной идентичности. В ней проводится мысль о том, что гендерная идентичность человека образуется в сложном переплетении его/ее классовой и национальной/этнической идентичностей. Автор статьи рассматривает проявления данного идентификационного переплетения на примере автобиографического рассказа русской эмигрантки, которая проживает в Вене уже в течение 5 лет. В своем описании К. Клингсайс исходит из положения, что процессы идентификации, или личностного осознания своих ролевых функций, происходят в пространстве общественных дискурсов. А именно, для конструкции образа самого (самой) себя как мужчи-

ны или женщины, субъект пользуется элементами существующих в данном обществе дискурсов, предоставляющих ему/ей занимаемые субъектные позиции. В широком смысле можно даже говорить о «поло-ролевой адаптации», или о социально-психологическом приспособлении к существующим в обществе гендерным отношениям и нормам. Анализ рассказа эмигрантки, который провела К. Клингсайс, сочетает в себе элементы социологического метода Объективной герменевтики с методами британской школы анализа дискурса, а также концептами современной нарратологии.

В литературе, посвященной гендерным исследованиям, автобиографии занимают особое место потому, что так называемые «эгодокументы» собственно и являются документами личностной самоидентификации. Статья **Виталия Безрогова (Москва) «Гендер, язык, память: размышления над российскими автобиографиями XX века»** — прямое свидетельство важности изучения «исповедей» XX века с точки зрения гендерологии. Соотнося два понятия — «гендер» и «память», В. Безрогов заявляет, что соответственно можно говорить о двух типах (мужском и женском) перцепции, импринтинга и меморайзинга.

Уже с детства память у девочек и мальчиков функционирует по-разному: девочки почти точно могут воспроизводить слова, к ним обращенные, а также вербальное наполнение всего диалога; мальчики же прежде всего запоминают существо дела и способны представить его в обобщенном виде. В связи с этим женским воспоминаниям присуща особая детализация как самого происходящего, так и эмоций, ему сопутствующих. При воспроизведении фрагментов прошлого женщины лучше мужчин пользуются словами и образами для регистрации факта переживания самого события;

мужчины точнее в определении времени событий прошлого и топографической их привязки.

Однако все это, по мнению автора, не означает, что при написании автобиографии женское «Я» слабее мужского. Со всем наоборот: вслед за философами-феминистами можно говорить о «несубстанциональности женской идентичности», о том, что женщина подвержена смене разных идентичностей, примеряемых на себя в зависимости от меняющихся обстоятельств. Правильнее говорить, что в женских и мужских автобиографиях используются разные типы фиксации пережитого, что в пределе приводит к частичному непониманию некоторых фрагментов текста при чтении их лицами противоположного пола. В мужских текстах более выражена профессиональная принадлежность их авторов, а также сексуальная тематика. Они более активны используют сленг, не очень разборчивы в своих характеристиках собеседника. Женщины чаще пользуются стилистическими и риторическими фигурами, что придает их речи эмоциональность. В то же время женщины нередко прибегают к формам, смягчающим выражение и снимающим с него категоричность: эвфемизмам, вводным словам, диминутивам. Мужчины при передаче информации более предметны, в их текстах немного сенсорных оценок. Может быть, поэтому письменная речь женщин более богата синонимами, мужчинам же свойственно повторять одно и то же слово.

Исследование автобиографических нарративов, т. е. способов языковой фиксации воспоминаний, по мнению В. Безрогова, служит инструментом анализа гендерных особенностей памяти. В этом случае релевантно, насколько в автобиографиях «скачет» сюжет, насколько он последователен относительно общего течения времени; если же он «непоследо-

вателен», то необходимо понять, что за этим стоит: литературный прием, форма фиксации внимания или специфика меморайзинга конкретного автора определенного пола. Оказывается, что последовательность и логика изложения в женских и мужских мемуарах сильно отличаются друг от друга: (1) мужчины более сосредоточены на отношениях Я-героя с государством, женщины — на связях Я-героини с конкретными людьми; (2) женщины повествуют о тех событиях, которые касались их лично, мужчины часто склонны к обобщениям о жизни всей страны; (3) в текстах мужчин больше указаний на локализацию места события, его временной отнесенности, женщины этому не придают особого значения.

Пространство женских текстов населено большим количеством персонажей, но они слабо «поименованы»; пространство мужских нарративов более «номинаризованное»: в нем больше имен с фамилиями, да еще и с фиксацией общественного положения. Женщины в своих автобиографиях чаще всего дают свою личную, открытую оценку происходящих событий, мужчины или не склонны давать оценку вообще, либо представляют ее схематично, не пытаясь внести коррективы в устоявшееся мнение.

Статья **Нatalьи Пушкаревой (Москва) «Пишите себя!» (Задачи исследования ранних женских автобиографий)** переносит нас более чем на век назад, однако по своим методам она вполне современна. Автор опирается на работы Ж. Деррида, Ю. Кристевой, Х. Сиксу и Л. Иригари, в которых было введено понятие «женского письма» как особой саморепрезентации по так называемому «женскому типу». Это понятие, по мнению Пушкаревой, открывает широкие возможности для исследования женских его-документов (мемуаров, автобиографий, дневников, писем).

Женское письмо и чтение традиционно соотносится с «включением воображения» и повышенной способностью воспринимать «чужое как свое». В то же время, как пишет Х. Сиксу [Sixoux 1981], женщины при чтении способны «телесно видеть», а женское письмо присваивает нарратору переживания, которые мужчинам не близки (менструации, лишение девственности, беременность, роды). Поэтому и исследователь женских текстов должен уметь найти в них некоторое латентное «подрывное» начало, которое то и дело «проговаривается», а не только явный голос нарратора. В прямой связи с этой задачей стоит вопрос об осознании женщинами-авторами понимания расщепленности своего «Я»: стремление выразить «женское» при необходимости соответствовать «мужским» социокультурным стереотипам.

Н. Пушкирева анализирует первые русские автобиографии, написанные женщинами в XVIII — начале XIX века, появление которых связано с внутренним контекстом этого времени. В отличие от «мужской» и западноевропейской традиции автобиографического жанра, в рамках которой жизнеописания походили более на «квазидемонстративный, публичный портрет», женская автобиография в России с самого начала отличалась наличием в ней индивидуального, творческого начала. В каждую эпоху, отмечает Пушкирева, существовал определенный «автобиографический контракт», под которым подразумевается комплекс интенций и ожиданий, связывающий автобиографа и его эвентуального читателя (понятие введено М. Спинкером [Spinker 1980] и П. Лежёном [Lejeune 1996]). Такой «контракт» всегда опосредован историческим контекстом, так как автор был вынужден подстраиваться в своих оценках под нормы интерпретации жизни и степени допустимого для «са-

мопризнаний» в данное время. В отличие от западных женщин-мемуаристок, которые осознавали свою «уязвимую инаковость», русским женщинам, писавшим автобиографии, было присуще стремление к поиску собственной, подчеркнуто женской идентичности. Мемуары женщин в России считались не совсем «литературой», что помогало их авторам создавать для себя психологическую нишу. Особенностью русских женщин-мемуаристок являлось то, что они все демонстрировали не свою отделенность от мира, но подчеркнутую принадлежность их «Я» к родовому «Мы», к семейному целому. В этом женщина достигала легитимацию своего права писать, не выходя из предписанной роли дочери, супруги, матери.

Наиболее распространенной тематикой воспоминаний поэтому становилась семейная и домашняя жизнь их авторов (ср. тексты Н. Долгоруковой, А. Лабзиной, А. Керн, С. Скалон и др.). В текстах женщин, которые не ограничивали себя только семейной сферой (Е. Дашкова, Н. Дурова), внедомашняя жизнь также предстает как ценностная, однако события частной жизни все равно в них преобладают. Интрига самой жизни в женских текстах предстает более динамичной, чем в мужских. Обращает на себя внимание также тенденция «рассказывать себя через других» — эта особенность наррации не встречается в мужских жизнеописаниях. Когда женщины пишут о других, то их язык освобождается от литературных клише, становится индивидуализированным: описывая других, они четко прописывают самих себя. В целом, женщины-мемуаристки выбирали для себя одну из двух стратегий: одни оставались в рамках традиционной системы ценностей (как морализаторша А. Лабзина), другие — ломали привычные нормы и жизни, и жизнеописания

(Н. Дурова). Параллельно исследователи отмечают в текстах Н. Дуровой метание между «мимикрией» и «бунтом», т. е. расщепленность «Я», подмеченную феминистской критикой.

Особенностям женского дискурса начала XX века посвящена статья **Джейн Гэри Харрис (Питтсбург) «Женский дискурс и женская субъективность в периодических изданиях начала XX века: Женский вестник и Дамский мир»**. Автор знакомит читателей с особенностями тематики и языка изданий, которые в советский период в России совсем были забыты. Во-первых, это журнал «Женский вестник», который издавался с 1904 по 1917 год. Он был основан Марией Покровской как печатный орган Женской прогрессивной партии (сама партия образовалась в 1905 году). Во-вторых, это журнал «Дамский мир» (1907—1918), который издавался графиней Александрой Муравьевой. Последний сначала был задуман как журнал мод, но очень скоро основное место в нем стало уделяться событиям русской и европейской культурной жизни, также широко освещались новости из сферы искусства. С августа 1914 года в обоих журналах появилось много материалов, посвященных военным событиям.

По своей направленности и сфере распространения журналы различались. Первый, имея социально-политическую ориентированность, функционировал в сфере действия мужского языка и идеологии. На страницах «Женского вестника» разрешались вопросы равноправия мужчин и женщин, возможности получения женщинами достойного образования. Соответственно авторы-женщины искали адекватный язык выражения, отражающий процесс уравнивания женских и мужских прав. Однако в этом «политическом» журнале не избегались и вопросы, связанные с личной, семейной

жизнью женщины, а также проблемы обретения женской идентичности.

Журнал «Дамский мир» был главным образом ориентирован на освещение культурной жизни, которая, однако, также рассматривалась с точки зрения женской перспективы. В нем также обсуждались проблемы положения женщины в семье. Обе эти сферы рассматривались и в соприкосновении с политической и экономической жизнью всего общества. Так, в рубрике «Хроника современной жизни» наравне с сообщениями о последних балах, благотворительных мероприятиях, вечере в честь английского посла можно было встретить материалы, посвященные статистике рождаемости в Германии и Франции. В этих материалах выражалось враждебное отношение к росту милитаризма в Германии и к вопросу о том, что женщин заставляли рожать побольше мальчиков для будущей армии. Параллельно в «Дамском мире» можно было встретить достаточное количество материалов, связанных с оккультизмом. Именно оккультизм признавался областью функционирования женского дискурса, поскольку то тайное и сокровенное, что он с собой нес, могли, по мнению авторов журнала, постичь только женщины, имеющие «особую чувствительность».

Широкий отклик в обоих журналах вызвала книга О. Вайнингера «Пол и характер», вышедшая в 1910 году. В «Женском вестнике» эта книга была охарактеризована как «крик души» мужчины, свергнутого со своего пьедестала. В журнале «Дамский мир» отмечалось, что Вайнингер совершенно неправильно интерпретировал женскую природу, поскольку инстинктивно относился к женщинам враждебно.

В заключение Д. Г. Харрис пишет, что оба журнала сыграли большую роль в разработке мировоззрения и языка выраже-

ния русских женщина начала XX века. Они взаимно дополняли друг друга, создавая два идущих друг другу навстречу женских дискурса: «Женский вестник» формировал способы женского выражения в сфере политического языка, где доминировали мужчины, «Дамский мир» создавал «домашний» и «светский» язык женщины, на котором бы она также могла выразить свою гендерную идентичность.

Интересный аспект проблемы «женственности» и «мужественности» затронут в статье **Олега Рябова (Иваново) «Российско-германские отношения в русской и немецкой историософии: гендерный аспект»**. В центре внимания автора идея о «женственности» России и «мужественности» Германии, которая получила распространение в историософской мысли обеих культур. Основная тенденция представления России в западных текстах — как мир ИНОГО, мир, построенный на ценностях, противоположных собственным (О. Шпенглер, В. Шубарт, А. Розенберг и др.). Инаковость или расценивается как «отсутствие цивилизации», «варварство», или как «восточность», причем «ориентальность» России встраивается как в русофобский, так и русофильский дискурсы. С другой стороны, России присваивается свойство «детскости». Значит, Россия выступает как ИНОЕ в возрастном, геополитическом и культурно-цивилизационном смысле и одновременно ей присваивается и маркер «феминности», или ИНОГО в гендерном смысле. Русской культуре также приписывается «матрифокальность»: женщина объявляется символом национального спасения России, причем акцентуированным является материнский архетип. Доминирование в России материнского над отцовским связано с Божественным женским началом: в России издавна существовал миф

о сакрализации материнства (культ Богородицы, почитание Софии-Премудрости Божией, поклонение Матери-сырой земле). Атрибутирование маркеров феминности и инаковости России и маркера маскулинности Западу помогает обоснованию определенного отношения Запада к России. Западная цивилизация при этом наделяется маркерами «прогресса», «разума», «модерности». России же «инкриминируются» те качества, которые в гендерной картине мира маркируются как феминные: хаос, непредсказуемость, иррационализм, излишнее терпение, слабость воли, неумеренность в выражении чувств.

Но образ ИНОГО, ДРУГОГО по своей сущности амбивалентен. ИНОЕ — это и надежда на спасение, на преобразование несправедливой реальности. Так рождается образ России — спасительницы Европы, которому приписываются черты, утраченные западной цивилизацией. Еще один модус рассмотрения данной проблемы связан с «аутофеминизацией»: а именно, смысловые оттенки, свойственные образу женственности в русской культуре, — сила, мудрость женщины-матери — позволяли видеть в женственности России не недостаток, а преимущество. Так, образ всепобеждающей Матушки-Руси, который использовался как в визуальной пропаганде, так и историософской публицистике, был неотъемлемой частью идеи неизбежного военного поражения Германии.

В итоге О. Рябов приходит к выводу, что гендерные представления, поворачиваясь различными ипостасями феминного и маскулинного, принимают самое активное участие в картине взаимодействия народов Германии и России. Обращение пропаганды к гендерным метафорам, воздействующим на подсознание, оказывается весьма эффективным, поскольку отношения между полами воспринима-

ются как наиболее естественный и не подлежащий рефлексии пласт человеческой культуры.

Исследование же **Татьяны Рябовой (Иваново) «Маскулинность как фактор российского политического дискурса»** сосредоточено на анализе гендерной ориентированности современного политического языка. Механизм политической борьбы подразумевает групповую идентификацию политических сил, которая уже сама по себе предполагает существование Другого. Поэтому среди форм такой борьбы активно используется гендерная метафора как символическая составляющая гендерного концепта.

Гендерные характеристики прежде всего очень важны при репрезентации лидера определенной группировки или партии. Поскольку существует гендерная асимметрия «власть-подчинение», в которой левый член соотносим с мужским началом, а правый с женским, власть коррелирует с такими атрибутами маскулинности, как сила, разум, воля, ответственность, активность. Женское же начало ассоциируется с бесформенной материей, хаосом, необузданной стихией. Этот стереотип предполагает, что власть должна находиться в руках мужчины. Значит, доказательство своей маскулинности служит аргументом в пользу претендента в борьбе за власть, сомнение же в мужественности лидера может его дискредитировать. Поэтому, чтобы представить своего политического соперника в непрезентабельном виде, ему отказывают в «мужских» качествах, присваивают ему феминные характеристики. Так, такие феминные черты, как многословие, непостоянство, страх перед силовыми акциями президента пропрезидентские СМИ приписывали оппозиционной Госдуме; президент же Б. Н. Ельцин в тех же текстах был представлен как уверенный в себе, упрямый, жесткий.

Существуют определенные приемы дискурсивных практик маскулинизации в политтехнологиях. Во-первых, это явная маркировка «настоящий мужик (мужчина)» — именно эти характеристики были выбраны для президентских кампаний Б. Ельцина и В. Путина. Во-вторых, используется скрытая «маскулинизация» политического лидера. Так, в предвыборных материалах акцентировалось, что В. Путин — мастер спорта по дзюдо и самбо; Г. Явлинский занимается боксом. Хобби политиков также используются для подачи их чисто «мужских» характеристик: автомобили и горные лыжи у Путина, охота — у Черномырдина. Особо важна установка «мужчина-воин», которая обеспечила такую высокую популярность генералу А. Лебедю. Б. Ельцина также изображали в камуфляже и с оружием в руках, В. Путин появлялся на подводной лодке или боевом истребителе.

Манифестация маскулинности связана и с успехом политика среди представительниц «прекрасного пола». Упоминание о внешности и мужской производящей силе играет на руку политикам. Так, явно «маскулинизированными» являются заголовки *«Иваново проголосовало за молодого красивого Шойгу»*, *«Новую Думу осеменяют в Кремле»*. Акцентируются и грамматические характеристики слов: ср. *«Рубль стоит, как и подобает существительному мужского рода»*, *«Вся Россия под Медведем»*. Недаром во время второй предвыборной кампании Б. Ельцина Н. Михалков использовал очень действенную метафору: *«Ельцин — мужик, а Россия существительное женского рода»*.

В то же время, считает Т. Рябова, и феминный образ, в связи со своей амбивалентностью, может быть на руку лидеру. Феминность связана с образом Другого, а значит, с надеждой на спасение и

преображение. Как уже отмечалось в статье О. Рябова, женщина в русской культуре, особенно мать, всегда имела признаки «всемогущества», тем более что в России были великие правительницы-женщины. Поэтому женщины-политики могут опираться в своих предвыборных текстах на веками сложившийся образ сильного русского женского начала. Недаром агитационная брошюра Э. Памфиловой так и называлась: «Россия — слово женского рода».

Статья **Нины Давидовны Арутюновой (Москва) «Мужчины и женщины: конкурс красоты»** выводит нас в сферу эстетических измерений. В ней автор, во-первых, исследует, одинаковы ли атрибуты, оценивающие женскую и мужскую красоту, а во-вторых, затрагивает проблему «мужских» и «женских» анималистических метафор с точки зрения их парности-непарности. Прежде всего отмечается, что во многих современных европейских языках прилагательные, характеризующие женскую и мужскую красоту, различны: ср., например, *a beautiful woman* и *a handsome man* в английском. Далее делается более общий вывод о том, что типы мужской и женской красоты формируются на основании присоединения характеристик, относящихся к внутреннему миру человека, его отношению к другим людям, наличию вкуса в создании своего социального образа, сексуальной притягательности и т. п. Так, по мнению исследовательницы, языки различают сублимированную ('небесную, чистую') красоту и красоту 'земную'. В случае актуализации «земной» красоты в семантику оценки вводятся дополнительные коннотации: ср. фр. *joli/jolie* 'хорошенький, привлекательный' (*une jolie femme*), *mignon/mignonne* 'миленький, славный' (*Elle est mignonne!*). При этом «земная» красота часто располагает для своего выражения синонимическими ря-

дами, в которых и проявляют себя различные коннотативные значения.: ср. рус. *красивая, хорошенькая, милостивая*.

Эпитеты «небесной» красоты служат и атрибутами произведений искусства. Так, в романских языках прилагательные, восходящие к лат. *bellus*, являются основными эпитетами, используемыми в сфере искусства: ср. фр. *les beaux arts*, ит. *belle arti*, исп. *arte belle*. Русское прилагательное *прекрасный* также широко используется в сфере искусства. Однако к женщине это прилагательное применимо преимущественно в позиции предиката и только в краткой форме: *Она прекрасна*. Одновременно это прилагательное широко применяется при определении названий частей внешнего и внутреннего облика человека — мужчины и женщины: ср. *прекрасные глаза, прекрасное лицо, прекрасная душа*. В последнем случае, отмечает Н. Д. Арутюнова, эстетическая оценка уступает место этической. Красота, размышляет далее автор, предполагает гармонию между внешним и внутренним обликом человека. Когда этот баланс нарушается, можно говорить о так называемой 'демонической красоте' — красоте, в которой прекрасная внешность соединена с пороками и необузданными страстями. В феминной сфере «демонической красоте» противостоит «святая красота» — возвышенная и одухотворенная, связанная с образом Мадонны.

Что касается метафор, характеризующих преимущественно мужские (*лев, ястреб*) или женские образы (*тигрица, голубица*), то они прежде всего соотносимы не с внешним, а с внутренним обликом человека, т. е. выводят на поверхность его поведенческую и жизненную позицию. При этом отмечается, что представленные в русском языке образные значения не формируют систему, и даже если существуют родовые пары наиме-

нований (например, *ворон* и *ворона*), то они в сфере переносных значений не образуют одномерной оппозиции. По мнению Н. Д. Арутюновой, метафорические преобразования нередко связаны с образованием пары «хищник — жертва», и довольно часто мужским отрицательным характеристикам противопоставление находится в совсем иной «женской» сфере: ср. *лев*, *ястреб* (агрессия) — *лиса*, *змея* (злая хитрость, изворотливость). Однако в русском языке обнаруживаются и «общеполые» метафоры красоты. Прежде всего они связаны с образом *лебедя* (*лебеди*), который обнаруживает «парность» в выражении категории рода.

Отрецензированные нами работы демонстрируют, что гендерные исследования затрагивают различные гуманитарные дисциплины, переплетая их между собой. Обширна и сфера проблем, изучаемая собственно лингвистической гендерологией. Прежде всего это — дискурсивный анализ мужской и женской речи, фиксация в языке стереотипов феминности и маскулинности, инвентаризация средств выражения мужественности и женственности на фонологическом, грамматическом, лексическом уровнях и на уровне организации целостного текста. Однако поскольку сама по себе гендерология — это молодая наука, необходимо отметить, что ее методы и способы представления иллюстративных материалов не всегда можно считать строго аргументированными. В то же время данный сборник докладов демонстрирует и очень положительные изменения в области Gender Studies — подавляющее большинство его публикаций лишено идеологической ангажированности. Почти все авторы стремятся найти объективные критерии вычленения и систематизации явлений, связанных с гендерной дифференциацией, и найти им адекватный язык описания.

Л и т е р а т у р а

Брудный 1972 — А. А. Брудный. Экспериментальный анализ процесса понимания // Тезисы докладов к XX Международному психологическому конгрессу. М., 1972. С. 35—37.

Брудный 1974 — А. А. Брудный. К анализу понимания текстов // Знак и общение. Фрунзе, 1974. С. 3—6.

Земская и др. 1987 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Особенности мужской и женской речи в русском языке // Proc. of the XIth International Congress of Phonological Studies. Tallinn, 1987. Vol. 1. P. 191—194.

Земская и др. 1990 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Особенности мужской и женской речи в современном русском языке // Язык: система и подсистемы. М., 1990. С. 224—242.

Земская и др. 1993 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. С. 90—136.

Кодзасов 2000 — С. В. Кодзасов. Голос в телевизионной рекламе // Рекламный текст. Семиотика и лингвистика. М., 2000. С. 214—224.

Реформатский 1987 — А. А. Реформатский. О тембре голоса // Лингвистика и поэтика. М., 1987. С. 260—262.

O'Barr, Atkins 1980 — W. O'Barr, B. Atkins. 'Women's language' or 'powerless language'? // Women and Language in Literature and Society. New York, 1980. P. 93—110.

Cixous 1981 — H. Cixous. Castration or Decapitation // Signs. 1981. Vol. 7 (Autumn).

Coats 1993 — J. Coats. Women, Men and Language. London-New York, 1993.

Key 1975 — M. R. Key. Male / Female Language. Metuchen, 1975.

Lakoff 1973 — R. Lakoff. Language and Women's Place // Language in Society. 1973. № 2. P. 45—79 (перевод опубликован в серии: Гендерные исследования. 2000. № 5. Харьковский центр гендерных исследований. С. 241—255).

Lejeune 1996 — P. Lejeune. Le pacte autobiographique. Paris, 1996.

Spinker 1980 — M. Spinker. Fictions of the Self: the End of Autobiography // Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton, 1980. P. 321—342.

Н. А. Фатеева

Международная конференция «Агрессия в языке и речи», организованная Институтом лингвистики РГГУ, прошла в Москве 20—21 октября 2003 года

На конференции рассматривался широкий спектр вопросов, связанных с заявленной проблематикой. Несколько докладов были посвящены **агрессивности в стратегиях поведения**. Это, например, доклады Р. Ратмайр (Австрия) «Пробивные» стратегии на деловых переговорах как пример «положительной» завуалированной агрессивности, Т. В. Базжиной (Москва) «Агрессивность как маркер слабости в диалогической позиции», К. Фогельберг (Тарту) «Роль агрессивности в различных академических дискурсах» и др.

Ряд докладов был посвящен семантическому и лексикографическому **описанию слов, выражающих агрессию**. Среди них доклады М. А. Кронгауза (Москва) «Сексуальная агрессия в языке», Н. Т. Валеевой (Москва) «К вопросу жаргонного словообразования в современном русском языке», А. Д. Кошелева (Москва) «Об одном классе глаголов с семантикой агрессивности» и др.

Особое внимание было уделено вопросам **агрессивного поведения с позиций речевого этикета и принципа вежливости**. Можно отметить доклады И. А. Шаронова (Москва) «Агрессивные стратегии в косвенных речевых актах», С. И. Гиндина (Москва) «Что считать агрессией (на примере эпистолярной коммуникации)», И. Б. Шатуновского (Дубна). «Риторические вопросы как форма демагогически-агрессивного речевого поведения» и др.

В ряде докладов рассматривались **языковые и жестовые средства выражения агрессивности**. Среди них доклады Г. Е. Крейдлина (Москва) «Мужчины и женщины в диалоге (невербальная агрессия как тип поведения)», Т. Е. Янко (Москва) «Интонационные средства “нажима” на аудиторию» и др.

Сборник статей на основе прочитанных докладов будет издан в 2004 году в «Московском лингвистическом журнале».